

Александр Малиновский

**Собрание
сочинений**

в 4-х томах

Том четвёртый

Москва

Российский писатель

2009

ББК 84 (2-Рус)

М19

Малиновский А. С.

М19 Под открытым небом: Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. — М.: Издательский дом «Русский писатель», 2009. — 518 с.

ISBN 978-5-90- 226293-0

ISBN 978-5-99- 380020-2 (т. 4)

Два первых тома настоящего издания известного русского писателя Александра Малиновского составили произведения, объединённые одним главным героем Александром Ковальским. В них автор показывает русскую жизнь, какой она сложилась во второй половине XX века.

Послевоенное село, село и город второй половины прошлого века, индустриализация и химизация народного хозяйства. Взлёты и падения. Перестройка. Всё это нашло своё отражение в двух томах, охватывающих сорок лет (1957-1997 гг.) жизни героев повествования. Писались эти книги в течение десяти лет. Так сложилось это эпическое полотно.

Книги 3-го и 4-го тома состоят из повестей, рассказов и стихов, написанных в разные годы..

Выход в свет уже первых повестей А. Малиновского показал, что в русскую литературу пришёл серьёзный реалистический писатель. Автор является лауреатом двух всероссийских литературных премий: «Русская повесть» (2000 г.) и премии им. Э. Володина «Лучшая книга» (2004 г.).

ISBN 978-5-90-226293-0

ISBN 978-5-99-380020-2 (т. 4)

ББК 84 (2-Рус)

© Малиновский А. С.

СТЕПНОЙ ЧАЙ

На тропинках моего детства

Они разные — тропинки моего детства. Одни — утопанные, утрамбованные десятками мальчишеских ног, пройдешь по ним босиком и не оставишь следа. Другие — уже полузабыты, заросли травой-муравой. А есть одна, зовущая к обрыву у реки, прямая, словно струна. Когда я поднимаюсь по ней под бесшабашное ликование жаворонка в синеве или гляжу, как идёт семилетняя соседка Любка, несущая на самодельном коромысле крохотные ведерки с водой, мне кажется, что тропинка поет. Поет что-то своё, высокое и вечное. И впрямь, как струна!

Все тропинки начинаются незаметно. Выйдешь за село, выберешь нужное направление, а когда помотришь под ноги, она уже тут — тропинка. А рядом её подружки: бегут, извиваются, заманивают...

Есть тропинки, которые, добежав до бочажка или до лесной полянки, обрываются так же незаметно, как и начинались. Но есть и такие, что, поплутав по овражкам, зарослям шиповника и ежевики, вдруг выходят на шумный большак и вливаются в него, как ручейки.

И покажется вдруг, что сама дорога — это несколько объединившихся тропинок. И потому так шумна она, что каждый ручеек принёс с собой свои звуки, журчание своего родничка, шлепанье босых ног своих мальчишек...

Я давно мечтал вернуться на тропинки моего детства. Так хочется иногда снять башмаки и босиком припустить по тропке, да так, чтобы в лицо бросились мокрые ветви, осыпали крупной росой и где-то за поворотом, вдруг, сразу — голубизна знакомой с детства, но уже немножко другой речки.

Или так: выйти потихоньку на закате за село и не спеша побродить. И не спеша обдумать житье-бытье своё, обдумать то, что тебя давно «томило, мучило и жгло».

И, прислушавшись в звёздном сумраке к собственным шагам, может быть, найти ответы на вопросы, которые не раз задавал себе...

Нестеркин колодец

Моё село заметно меняется. Газовые плиты потихоньку вытесняют русские печи. Моя бабка, искусная варительница дрожжей на всю нашу улицу, уже и забыла, когда готовила их в последний раз. Забыл и я, когда в последний раз добывал ей хмель в лесу. Теперь все привыкли к «базарискому» хлебу.

Но дед Андрейка обижен на жизнь:

— Ракеты запускаем, а простой керосиновой лампы завезти в село не можем. — Это после того, как на прошлой неделе два дня не было электрического света в селе: как раз, когда по телевидению показывали фигурное катание.

Село потихоньку строится. Только немножко жаль — телевизионных антенн над крышами все больше, а скворечниц — меньше.

Водопроводные колонки начали вытеснять колодцы. Лишь на нашей улице по-прежнему стоит колодезный журавль, как и в детстве задрал шею высоко в небо. И кажется в морозные синие ночи, что, дотянувшись до холодной звезды, он тихо касается её, и оттого сверху доносится холодный тихий звон. Или это звенит колодезная цепь?

Колодец зовется Нестеркиным. Был когда-то, говорят, такой мужичок по имени Нестор. Вот и нарекли вырытый тем мужичком колодец его именем да в свой срок чистят и поправляют ветловый сруб — знаменита на всю округу вода его.

С детских лет не тускнеет в памяти картина. Зимний вечер. На печке тепло и привычно. Монотонное повизгивание бабкиной пряжи порой заглушают порывы ветра. За стеной февральская метель. На сундуке мурлычет кот. И от его тени на бревенчатой стене, большой и причудливой, немножко жутковато. Весь день падал с небес белый косой снег, и было странно видеть: снег белый, а становилось от него во дворе темно. Позёмка разыгралась, когда начало смеркаться. В дремотной тишине мне слышатся странные звуки. Прислушиваюсь — звуки ещё жалобнее. «Это же Тема и Жучка, там, в колодце. Им надо помочь!» Незаметно для бабки сползаю с печки и, растворив дверь, проваливаюсь в темень. Увязая в синем и мокром снегу, добираюсь до колодца. Перевесившись через обледенелый сруб, кричу в глубину. Пустынное чрево колодца отвечает глухо и насмешливо:

— Тё-о-мма-а!

Никого нет.

Испуганно оборачиваюсь назад и враз утопаю в бабушкином полушубке...

...Сегодня утром, проходя мимо колодца, не удержался от соблазна, подошёл и, отодвинув в сторону бадью, заглянул в него. Не такой уж он и глубокий, как мне казалось раньше. И уж совсем не страшный...

Все правильно — мы взрослеем. Давно уже выросли из детских своих одежек. И что же грустить по этому поводу? Может, просто жить?

Но что значит жить?

Наверное, идти, торить свою дорогу, узнать, постичь, на что ты способен. И постоянно беречь в себе впечатления того далёкого, отлетевшего детства, той чудесной поры, когда окружающая нас жизнь была на тысячу красок ярче, а собственная — походила на огромный, пахучий, едва-едва початый каравай ржаного хлеба...

И разве можно по-другому!..

Дневник учителя

Пожар за ночь уничтожил два двора, легко расправившись с тесовыми и соломенными крышами. И теперь на месте пятистенника Суховых стояла почерневшая от копоти печка да чуть на отшибе торчала невесть как уцелевшая скворечница с раскрытым пустым ртом.

Несмотря на ранний час, на куче хлама копошатся стайкой ребятишки. Чуть поодаль, около палисадника, на свежошкуренном осиновом бревне сидит дед Андрейка. С пшеничными прокуренными усами и большими шишковатыми руками, которые мелко подрагивают, как бы прося работы, — таков дед Андрейка. Дедова саманная изба уцелела, сгорели деревянный сарай и погребница.

Поздоровались. Я присел рядышком.

— Председатель наш, Петрович, обещал прислать к вечеру трактор — свезти бревна на пилораму.

— Много ль сгорело?

— У Суховых подчистую все, а моё успели вынести, только вот книжки очкарика порастеряли.

— Очкарика?

— Жил у меня около двух лет учитель Вадим Сергеевич — математик. Станный был мужик. Да и то, какой он мужик? Мальчишка совсем, худосочный, как вон та скворешня. Все, бывало, говорил про себя, что знает только то, что ничего не знает. Как же, спрашиваю, тогда учительствуешь-то? А так, говорит, каждый день приходится краснеть в классе.

И то верно, маловато, видать, в институте чему научился. Ночами так и сидел за книжкой. А нашим ребятишкам дай все знать, и точка. Они по необразованности такой вопрос поставить горазды — профессора испужать можно.

— А сейчас где же учитель?

— А вот, дружок, и не знаю. Я тогда со своей глаукомой в Куйбышеве в глазной больнице лежал. Приехал через месяц — его и след простыл. Только моей Захаровне сказал, что мать позвала к себе в Саратовскую область — она у него болела крепко. Писали мы с Захаровной с год после отъезда учителю, но ни слуху ни духу.

Глубоко вдавив окурок сапогом в землю, дед Андрейка потянулся к топору.

— Ну, наговорились мы с тобой, как бы мне не запоздать в срок с бревнами-то. Покопощусь ещё малость.

В это время к нам подошёл восьмилетний внук деда Андрейки — Вовка, с обгоревшей тетрадью.

— Деда, вот ещё нашел.

— У тебя глаза молодые, посмотри-ка, может, кому согодится.

Смотрю. Похоже, дневник учителя. На самой первой странице расплывшиеся фиолетовые строчки:

«Я понимаю, сын, что быть искренним всегда, во всем до конца, очень трудно. Поэтому, начиная сегодня разговор с тобой, я обещаю стараться быть предельно искренним. Почему я все это затеял? Потому что мне не хватает тебя, потому что так уж случилось, что мы не вместе, а вместе можем быть только мысленно. Тебе пока всего три года, мне — 23-й, но я буду говорить с тобой, как со взрослым, и хочу, чтобы ты прочёл эту тетрадку взрослому. И, может быть, понял бы нас с мамой...»

— Он что, разошёлся с женой?

— Разошелся, да как-то уж больно не по-человечески, не допускала его теща к сыну.

— Как так?

— Вот так. Всяко бывает. Я его винил сначала, а теперь вижу: тут дело не по моему разуму. Тут свой пожар, крепче нашего.

Под датой «20.06.62 г.» написано торопливо карандашом: «Понимаешь, я очень боюсь за тебя, хочу каждодневно, ежедневно быть около. Я хочу о тебе знать как можно больше. Мне надо знать, как ты относишься к кошкам, собакам, деревьям...

Помню, в нашем селе около озера стоял могучий дуб, казалось, он — олицетворение долголетия и мощи. Но вдруг в одно лето его расщепило надвое молнией. Он засох и весной уже не зазеленел. Так и стоял года три мертвым. Потом его спилили. А вот как громадный пенёк сгнил и пропал вовсе — никто и не заметил. Теперь там, где был дуб, ровная лужайка, поросшая муравой. Тем, кто не знает, что здесь стоял такой великан, и подумать об этом трудно. И приходит минута, когда вдруг резанет в сердце за несчастную его судьбу. И вновь переживаешь все, как в детстве... Бывает ли такое у тебя? Понятно ли тебе, что жизнь травинки каждой, дерева, наша ли жизнь быстротечна и неповторима? И надо жалеть её и дорожить ею?»

Пропускаю десятка два страниц. Открываю наугад. Строчки первого абзаца сверху, датированные маем 1963-го года, бьют деду Андрейке не в бровь, а в глаз.

«Видишь ли, краеведение у нас считается делом почти что несерьезным. Но ведь любовь к своей земле, речке, полю начинается не с абстрактного разговора о любви вообще, а с бережного отношения к истории родного края, с общения с сегодняшними людьми его, со знания того, какой она была и стала, окружающая нас жизнь».

Запоздало спохватившись, что, в общем-то, некрасиво читать чужой дневник, закрываю тетрадь. Хочется встать, оглядеться, будто заранее знаешь, что увидишь вокруг себя нечто такое, что никогда раньше не замечал. Кажется, будто учитель где-то здесь, рядом. Просто отошел на минутку, сейчас вернется, подойдет к деду Андрейке, и мы встретимся как старые знакомые.

— Дружок, — дед замолкает на полуслове, что-то ещё про себя решая. — А ведь ошибку я допустил — не сходил в те годы к нашему учителю на урок. Посидел бы, поглядел, послушал, а?

Память

Вместо сказок бабушка рассказывала нам истории из своей жизни. Её не надо было просить. В ней жила неистребимая жажда высказаться. Рисуя все в лицах, принимая характерные позы героев своих рассказов, подражая голосом, она безраздельно владела вниманием взрослых слушателей, а что уж говорить о нас — ребятах.

Мне думается, что все хорошее в нас, внуках, от неё, от её рассказов. Их было много. И они были так живописны, что и сейчас эти истории остались в моей памяти, как куски киноленты уже не бабушкиного, а моего прошлого.

Бабушка моя прожила долгую жизнь. Дочь дьячка, она рано осталась сиротой, была в прислугах в Самаре, пережила голод в Поволжье. Из девяти её детей выжили только трое. Ей было о чем рассказать. Мне теперь думается, что будь грамотной, она обязательно бы устремилась писать...

Вспоминаю один из рассказов и будто нахожусь с ней в тех далеких годах, будто вижу её глазами давно исчезнувшие, не виданные мной никогда лица.

...Вижу, как мать, дьяконица, гонит побираться мою бабушку, совсем ещё маленькую её сестрёнку Марусю и двенадцатилетнего Митю.

С тех пор как отца — местного дьячка принесли на масленицу мертвого с пробитой в кулачной драке головой, мать только и делает, что пьянствует, и пьяная бьет их, прогоняет с проклятиями просить милостыню.

Они стараются ходить в дальние деревни и, когда их спрашивают, жалея, чьи они, называют не свою фамилию. Так продолжается второй год. Их уже все кругом знают, а они все стыдятся называть себя. Потом началось самое страшное. Мать стала приходить домой с Гаврилой-алкоголиком, когда-то здоровенным, а теперь плоским и длинным, как доска, мужиком.

Глядеть на пьяную растрепанную мать в компании с Гаврилой было не в силах, и они убегали на улицу. В один из таких вечеров, застав мать опять с Гаврилой, они забились на печь и горестно молчали.

— Я её убью, — лицо Мити бесстрастно, и только верхняя губа как-то нервно дергается, — убью, и нам будет некого сты-

даться. Отсижу в тюрьме, зато никто не будет отбирать милостыню.

— Митенька, Митенька! — Голос моей бабушки высокий, режущий, на лице безнадежность: Митя никогда не отступает от своих слов. — Митенька! — Она гладит ему щеку. — Что же будет?

— Будет, как я сказал.

Убить мать решено было сразу же, как только уйдет ночью Гаврила.

Стали ждать.

В полудреме бабушке видится большой длинный барак, по которому она идёт, взяв за руку Марусю. Идут долго, путаясь в каких-то закоулках. Наконец выходят к большой яме, в которой лежит Митя. Он лежит на самом дне ямы, привязанный к столбу. Все ждут воду. Вода должна затопить яму. Так поступают с каждым, кто убивает кого-нибудь.

— Не хочу, не хочу, — она вскакивает на ноги, сильно ударившись о потолок головой, валится с полатей.

Митя, на лету подхватив легонькое тело, прижимает её к себе.

...После третьих петухов в глубине комнаты во весь рост выросла фигура Гаврилы. Шлепая босыми ногами по полу, на котором клоками валяется солома, пошёл он к порогу. Подойдя к ведру с водой, шумно напился, сплюнул и вывалился во двор. Немного спустя, бормоча ругательства, вышла за ним и дьяконица.

Крадучись, вслед за ней скользнула фигурка Мити. Видел он, как, словно слепая, хватаясь за все на своём пути, прошла она в глубь двора и, открыв калитку, подпёртую старой пешней, вышла в огород. Дрожащей рукой подобрав пешню, Митя ступил за калитку.

Дьяконица лежала в картофельной ботве, уткнув лицо в землю и поджав под себя ноги. Тихонько похрапывала. Осталось подойти ближе, закрыть глаза и ударить.

Но не было сил ни подойти на шаг ближе, ни замахнуться пешней. Бессильно осев на землю, он дрожащими руками утирал лицо. Плакал.

Дьяконица умерла сама. В один из осенних вечеров она, пьяная, упала в старый заброшенный колодец.

Это было в шестнадцатом году...

...Сейчас я вижу другого Дмитрия — первого председателя колхоза в нашем селе и последнего здорового мужика, уходящего в сорок втором на фронт.

Не велел плакать Дмитрий на своих проводах. Помня мучительную растрепанную жизнь своих родителей, он за всю свою молодую жизнь ни разу не притронулся к стакану с водкой. И теперь, порозовевший от хмельного, чинно обходя кружок стариков и прощаясь со всеми за руку, был он преувеличенно бодр. От его крутых плеч и крупной спины веяло силой. И, то ли инстинктивно почувствовав, что с последним здоровым мужиком уходит из села опора, то ли просто по слабости, кольхнулся бабий рядок, потянулись платки к глазам, когда дрожки отчаянно застучали по жидкому мосту.

Погиб Дмитрий весной в сорок третьем...

— Когда умру, — частенько говаривала бабушка, — продолжайте помнить Дмитрия Лобачёва. Никак его нельзя забывать. На нашей памяти свет держится.

И я помню.

Кривая ветла

Я часто думаю: почему нас так сильно волнует возвращение в родные края, встреча с речкой, лесом, полем? И почему, по странствував по свету, увидев много интересного и поразительного и отдав дань этому поразительному, мы с ещё большей силой тянемся к немудрёному, знакомому с детства? Почему молчаливая ветла у околицы нам кажется приветливой и ближе, чем роскошный платан?

И вольнее дышится здесь, и работается, и думается, почему?

Уж не потому ли, что и речка, и лес, и луг, и деревце каждое — свидетели живые детства нашего, времени, когда делаются удивительные открытия, намечаются невидимые связи с миром. Когда впереди ещё целая жизнь и все свежо и остро. Не потому ли, что они — свидетели того, как ты босиком шлепал по затравевшим, омытым дождем улицам, свидетели твоей первой рыбалки.

Меня волнуют названия наших озер: Латинское, Лещевое, Осиновое, Таловая Яма.

Когда и кому пришло в голову назвать заросшее ивняком озеро Латинским, не знаю, но только совсем недавно я обратил внимание, что очертания его берегов похожи на изображение в географических картах Латинской Америки. Время меняет многое — старая истина. Как можно теперь догадаться, что мелеющее озерцо с пологими берегами, в котором бойкие пацаны, засучив штанины, ловят пескарей, зовется Прыгалкой за то, что когда-то оно отличалось и глубиной, и крутыми берегами, прыгнуть с которых в прохладную толщу воды было непременно желанием каждого заядлого ку-пальщика...

Я иду поляной, утопая в лесном разнотравье. Это место тоже имеет своё название. Собираясь за земляникой на эту поляну, мы, ребяташки, называли её или Большой, или Нашей. И, когда однажды моя бабушка позвала нас с собой за ягодами к Кривой ветле, мы не сразу сообразили, что речь идёт о Нашей поляне. И как только бабушка подвела нас к зарослям клена у самого поворота дороги на поляну, мы ахнули — в кустах стояла прямая ветла в три обхвата, но высоко над головой ствол делал такой резкий зигзаг, что, казалось, будто ветла нагнулась над поляной, присматриваясь да прислушиваясь к возне ребятни в зарослях таволги и чилиги. Оказывается, стоило только поднять голову, чтобы увидеть...

...Недавно я побывал у Кривой ветлы. Она все такая же, как и раньше, такая же и поляна. Даже старый вяз посреди ситцевого разнотравья с тёмным пеньком и тот цел. Мне даже удалось отыскать давнишний след от отцовского клина для отбивания косы... Но сам пенёк, на вид крепкий, уже чуть дышит, весь пробуравленный множеством муравьев-древоточцев, устроивших в нем своё рабочее общежитие. Уходя, я с пригорка помахал Кривой ветле на прощание рукой. Старушка стояла сторбленная и молчаливая.

Теперь я точно знаю: пройдёт много лет, не будет моей бабки, давшей впервые поляне это имя, не будет меня, самой ветлы, наконец, а название так и будет жить. И будут другие босоногие мальчишки недоумевать, откуда взялось такое странное название: «Кривая ветла», как я сейчас гадаю над названиями озер.

И отрадно знать, что есть пяточок родной земли, к названию которого причастен и ты...

В сентябре прошлого года я принес с поляны домой маленький кленёночек, завернув его вместе с комочками лесной земли в мокрую рубаху. Посадил. Часто теперь любуюсь им, я замечаю, что иногда смотрю на него так же, как на меня уставший за день отец.

В газетах пишут, что в Лос-Анджелесе городские власти приступили к высадке в городе... пластмассовых деревьев. Долговечно и меньше забот. Не надо поливать, рыхлить землю, убирать осенние листья, ничего не надо. Бессмертные неживые деревья. Дальше некуда. Так и видится чье-то далекое детство, враз ставшее наполовину беднее...

...Плохо спалось. Всю ночь гремела гроза. Под окном, удаляясь в стекло, словно просясь в дом, шумел мой кленёночек. В фосфорических вспышках высвечивалась белая лента реки, ещё больше усиливая какую-то нереальность, жуткость происходящего. Мычал по задворкам скот. В каком-то кошмарном полусне виделись падающие деревья. Горящие леса пылали до боли в глазах ярко. Все живое билось, металось и пряталось с глаз вон.

А над всем этим стоял громовый хохот летнего знойного неба...

Утром июльское солнце, словно желая задобрить за ночные страхи, разлилось щедро и улыбчиво. На блестящих от росы травяных улицах в ложбинах образовались лужи, манящие пробежаться босиком, наперегонки, оставляя за собой семиструнную радугу.

Я подошёл к изгороди. Мои ночные страхи были напрасны. Клен стоял уверенно и прямо. Широко раскинув плети, цвела тыква, над её бледно-желтыми цветами, над распаренной солнцем землей жужжали пчелы. В поднимающейся после ливня и ветра траве невидимая глазу птаха начинала свою утреннюю песню. Во всем была своя, уверенная жизнь.

Дикая яблоня

Вечерело. Когда я подошёл к околице села, увидел у плетня сбившихся в кучу ребятишек. Похоже, ждут возвращения стада. Среди них седенький старичок, не по годам подвижный, ведет, как бы между делом, рассказ:

— ...Была-то она худенькой хворостинкой, когда принес её из дальнего леса твой, Николашка, дед и посадил первую на все село под своими окнами. А года через два на ней уже были яблоки. Деревцо крепко прилепилось. И сколько радости было весной, когда цвело оно. И возмечтали мужики сады развести, поверили, значит, что и у нас могут яблони расти. Да такое вот дело случилось: в слепой ярости, то ли спьяну, то ли сводя какие счеты, вырезал Гришка Косой на стволе её широкую ленту коры. Не надеясь, что яблонька выживет, съездил дед Степан в район и привез ещё три саженца антоновки, потом ещё. Так и появился первый яблоневый сад. Но выжила яблонька, затянулась рана. Только теперь она стояла перехваченная в талии широким тугим поясом — дед Степан то место варом обмазал. И ни одна яблоня потом не смогла перерасти её.

— А что же Косому? — вставил Николашка вопрос.

— Косому-то? Недолговечным оказался Косой, помер и свои тридцать неполных. С опою. Когда потом кто вспоминал о нем, то говорил: «Это тот, который яблоньку чуть не сгубил?» А больше о нем и помнить было нечего. Знаменитой стала дикая яблоня. Много слышала она разговоров парней и девчат деревенских, тех, что с глазу на глаз говорятся. Да и твоя вот, Васятка, бабка Ульяна дала согласие выйти замуж за Корнея, деда твоего, тоже у яблони. Так что и свахой, вишь, она была, и советчицей. А когда на войну Отечественную уходили наши, совала всем Ильинична на счастье по кульку диких сушёных яблок. А однажды весной старая яблоня уже и листом не покрылась, не зацвела. Несколько лет никто не трогал её, ни у кого рука не поднималась спилить. А сады в ту весну цвели особенно дружно, будто за старую яблоню старались...

Помолчал дед. И сказал, как черту подвёл:

— Вот две жизни, хоть и неравные: человека, который хотел погубить дерево, и дерева самого. И какие разные жизни. Ну, я пошёл, а вы смекайте...

Он оттолкнул своё легонькое тело от плетня и пошёл на встречу мычавшему на подходе к околице стаду.

Березовая удочка

Вчера, перебирая заброшенные рыбацкие снасти, наткнулся на крючок, сделанный из простого гвоздя. И вспомнилась одна из самых ярких картин детства.

Все началось с первой моей собственной берёзовой удочки. Её сделал мой дед. Делалась она так: облюбованную березовую заготовку, только что срезанную, он крепил на длинной доске гвоздями, исправляя все кривулины, и клал на несколько дней на просушку. После снимал её, прямую, и специально для крючков привязывал к удочке замоченную в кадке кугу, крепко стянув её в трех местах лыком. Поплавки он выстругивал из ветловой коры.

Первое, что я сделал — побежал показывать удочку Кольке. Рядом с моей удочкой Колькина выглядела обыкновенной хворостиной. Наскоро накопав под поющим на все лады мостом червей, мы отправились на Самарку.

Не помню, первой ли была эта поклевка или нет, но помню, как мой поплавок, прибившийся в омутке к коряжке, не спеша погрузился под воду — так бывало, когда был зацеп. На всякий случай легонько дернув, я вдруг ощутил непривычную, но податливую тяжесть, руки инстинктивно рванули удочку. Она согнулась до воды и словно выстрелила. Поплавок метнулся в воздухе и отвязался. Когда я, не чувствуя боли в ушибленном колене, бросился к добыче, на крючке сидел огромный, клешни больше ладони, флегматичный рак. Было и досадно, и удивительно. Досадно от того, что в те мгновения бессознания, когда я рвал удочку из воды, ожидалось, что на крючке будет кто-то большой и таинственный, а удивительно от того, что на червяка попался простой, хотя и большой, рак, каких мы с Колькой ловили просто на бечевку, привязав на конец мясо ракушки.

Решив выкупаться, поставили удочки на живца и уплыли на противоположную сторону речки на прогретую песчаную косу.

— Смотри, смотри, — Колька показал пальцем в сторону наших удочек.

Я оглянулся. Здоровенный парень из соседнего села, Стёпка, взял Колькину удочку, отвязал поплавок, кинул его под ноги в воду. Удочку воткнул у своих ног рядом со своими донками. Мы рванули обратно.

— Что вы понимаете в рыбалке, пескари несчастные, кыш отседова и не шуметь.

Вылезая из воды, Колька попробовал канючить:

— Степка, а Степка, отдай, мне за неё тятка задаст, без спроса взял.

— Надоедать будешь, я задам. Буду уходить домой, отдам.

Дальше просить расхотелось, хотелось подойти потихоньку сзади и дать по Степкиной красной шее, но было страшновато, Степку даже некоторые наши мужики побаивались.

— Жди, отдаст, как же! Скорее переломает. Пойдем домой, Шурка, пока светло.

— Коль, давай пока порыбачим, может, взаправду отдаст. — Мне ещё хочется верить в Степкину порядочность.

Теперь уже одной удочкой мы ловим пескарей и окунишек. Насаживаем их на длинный кукуан и ждем Степкиной доброты.

Вдруг около упавшей поперек реки в половодье осины кто-то словно невидимым веслом раздвинул толщу воды и хлопнул по ней. Минут через десять после нового всплеска мелкие рыбешки выбросились из воды.

— Сом, — определил Колька, — на, — он протянул мне удочку, — я знаю, что надо делать. У тебя крючки есть?

— Есть.

Я достаю из фуражки крючок.

Колька снимает с кукуана окунишек и выпускает их, они нам теперь ни к чему. Привязываем крючок к капроновой бечеве, бечеву — к коряжке, торчавшей в воде у ног, и через минуту наш один-единственный пескарик с крючком в спинном плавнике, обрадовавшись обманчивой свободе, исчезает в воде.

Решено, пока не поймаем следующего пескаря, не проверять нашу снасть.

Забыто все: и Степка, который сидит метрах в тридцати от нас за мыском, и то, что уже темнеет. Но, наконец, пойманы один за другим два пескаря. Дрожащей рукой нащупываю поводок, но рука чувствует досадную легкость.

Что это? Пескаря нет, а крючок разогнут так, что стал похож на маленький гарпунчик. Отвязав крючок от удочки, ладим заново свою снасть и насаживаем другого пескаря. Колька бросает снасть в воду. Теперь мы уже не можем отойти от этого

места. Оно не отпускает, завораживает, заставляет забыть обо всем, даже о моей берёзовой удочке. Когда Колька, не вытерпев, вскакивает и берется за бечеву — становится жутковато. Рывком дёргает — бечева легко подаётся, и вот в Колькиных руках сломанный пополам крючок. Долго сидим неподвижно. Обидно. словно желая ещё больше досадить нам, под самым Колькиным носом (Колька забрался на лодку напиться) сом поднимает бурун. Совсем уж нахал распоясался.

И тут-то происходит чудо. Колька вскрикивает и хватается за голень. В штанине у него торчит забытый кем-то в лодке самодельный, величиной с палец, крючок из гвоздя. Торопясь, мы восстанавливаем свою снасть. Уже поздно. Решено завтра, как погонят коров, прийти проверить. Степки уже нет на своём месте, нет и моей удочки. Мы бежим по песчаной дороге домой. Страшновато. Но признаваться в этом не хочется. Для бодрости поем все песни, какие только знаем...

Колькину мать мы уговариваем разрешить ночевать нам вместе в нашей сельнице.

...Утром по холодному песку спускаемся к заветному омуту. Солнце ещё не поднялось. Над водой тянется слоистый белесый туман. Около нашей коряжины на мыске метрах в десяти сидит Степка. В руках у него моя удочка.

Нащупав в воде поводок, Колька разочарованно смотрит на меня — леска идёт свободно. Но вдруг он с силой рвет её на себя и падает животом на что-то огромное и страшное. Продолжая борьбу уже в воде, мы выволакиваем скользкое чудовище на берег. Ошарашенный Степка бросает свои удочки и идёт к нам.

— А ну, рыбаки, дай гляну.

— Драпаем!..

Колька хватается за добычу за жабры, я пытаюсь взяться за скользкий пегий хвост... Вот мы уже на высоком берегу. Когда густые ветви сомкнулись за нашими спинами, мы остановились перевести дух и осмотреть добычу. Чумазый, весь в пиявках, сом был Кольке от пят до подбородка. Наши руки, рубахи и штаны покрылись липкой слизью и прилипшим песком. Счастливые, мы трогаемся в путь. День только начинается, до вечера далеко — можно ещё вернуться на рыбалку...

Лист семижилльника

Растение это по-книжному называется по-другому. Только моя мама зовет его семижилником. Растет оно обычно в тени, на влажных местах, чаще на лесных дорогах, проходящих по оврагам и близ озер. В степи семижилник встречается реже. Его везде безжалостно мнут копыта лошадей, колеса телег. По нему, обжигающему босые ноги прохладой, бегают ребятишки, забравшиеся вглубь леса.

До поры до времени его не замечают, но когда вдруг нога наткнется на битое стекло или гвоздь и рана потом начнет гноиться — обязательно найдется человек, который вспомнит об удивительных свойствах семижилника. И он, этот прохладный зеленый лист, своими семью жилочками, как щупальцами, накроет рану. Пройдет время, и рана очистится, опухоль спадет, а листок, ещё недавно зеленый, засохнет, пожелтеет и пропадет совсем. И опять все забудут про это неприметное растение. Но забудут только до поры.

Завидная судьба у семижилльника.

Истоки

Стоял конец августа.

Устав от назойливых поклевки мелочи, я собрал свои нехитрые рыбацкие снасти и направил лодку к берегу, напротив Кунаева ключа.

На пологом речном берегу доцветали голубые васильки. Не слышно было привычной щебетни в поникших над водой ивовых кустах.

В задумчивости смотрел я на непривычно пустынную и тихую речную даль, когда внимание моё привлекло странное светлое пятно. словно большая бабочка, оно трепетало то у воды, то высоко на круче. Пятно приближалось. В этом месте речка выпрямляется и течет почти по прямой метров двести, поэтому-то я и смог видеть все происходящее на берегу.

До рези в глазах всматривался я в трепещущий светлый клинышек, и наконец понял: это же мальчишка. Совсем маленький мальчишка в белой рубашонке!

Но почему один в такой дали? До нашей Утёвки километра

три, но ведь он идёт совсем в противоположную сторону, по направлению к поселку Красная Самарка, а до него совсем не близко.

Я стал с нетерпением ждать приближения мальчишки, гадая, пройдет он стороной по круче или мы встретимся. В полусотне метров от меня он неожиданно вынырнул из кустов, шумно плюхнулся в речку, набрал в фуражку воды и, хватаясь за оголенные корни, влез на кручу. Встревоженный его долгим отсутствием, я стал внимательно всматриваться в кустарник. И, когда заметил синюю струйку дыма, не раздумывая, поторопился к нему.

В глубине леса, чумазый, сорвав с себя мокрую рубашку, он бил ею, не останавливаясь, со всего плеча, по шипящим змейкам огня, обжигая пятки, перепрыгивал с места на место. Высушенная за лето трава пожиралась огнем со страшной быстротой, огонь десятками юрких ящериц ускользал из леса на опушку, на простор.

...Когда с огнем было покончено и мы устало опустились на черную землю, он сказал:

— Деда Матвея работа, точно.

— Это которого же Матвея?

— Да нашего Самосада, сторожа с паровой мельницы, он меня обогнал с удочками совсем недавно. От его самосада пожар...

Кого-кого, а Матвея Чугунова, по прозвищу Самосад, я отлично помнил. Как и большинство жителей села, он имел свою особенность: многие из мужиков здешних курили самосад, но такого крепкого и ароматного, какой готовил он, ни у кого не было. Секретом владел старик, за что и был отмечен прозвищем.

Спускаясь к воде, украдкой я присматривался к мальчишке. Я узнал его: Лёнька — сынишка Трохина, бригадира тракторной бригады. Ему лет десять. Ладненькая фигурка, у пояса на ремне самодельный нож и старенькая сумка, в руках стеклянная банка. На загорелом подвижном лице сама озабоченность.

— Ну и куда путь держишь, путешественник?

Он тут же отозвался на вопрос вопросом:

— А откуда вы знаете, что я путешественник?

— Да уж видно по снаряжению.

— Бабка у меня в Крепости (так ещё у нас называют поселок Красная Самарка), мамка отпустила к ней в гости.

Он приселу воды и поставил банку на песок. Взглянув на неё, я понял, почему он так странно шёл по берегу — в банке были стрекозы, десятка два.

— А что, не боялась мамка тебя одного отпустить?

— Не-е, я же не в первый раз. — Он встал, собираясь уходить.

— Ну раз так, пойдем к лодке чай пить.

— Спасибо, дяденька, мне некогда, а еда у меня в сумке есть.

Так я и не смог с ним разговориться. Надев мокрую (в дороге высохнет) рубашку, он ушёл.

— А ведь нет никакой бабки у него в Крепости, — скорее догадался, чем припомнил я.

...Вечером, возвращаясь в село, я все же решил проверить свою догадку и свернул к дому Трохиных, того самого Трохина, который в нашем детстве был едва ли не героической фигурой. Ему, сыну конюха, колхозное начальство доверяло объезжать молодых лошадей, что он и проделывал самоотверженно, поражая нас нездешней ловкостью и лихостью.

У новых тесовых ворот, чертыхаясь, отрывисто что-то говоря жене, располневший Трохин садился на дрожавший мотоцикл.

Когда я подошёл, Ленькина мать пояснила:

— Опять поехал искать нашего путешественника. Вот наказание-то. Хоть не выпускай из дому. Вбил себе в голову составить карту всей нашей местности — и все тут. Вот теперь, говорят, вверх по речке ударился... Колумб доморощенный. Вы бы хоть зашли как-нибудь к нам, поговорили с ним. Может, вас послушает, у моего терпенья уже не хватает.

Что я мог ответить ей, если у меня у самого хранится собственноручно составленная в детстве карта речки, начиная от нашего села и до ближайшей деревеньки. Если нас самих с Трохиным, когда-то задумавших добратся до верховья к истокам речки и оттуда спуститься на плотах, вернули с полпути, не дав осуществить одно из самых сильных желаний детства — отыскать начало родной речушки, увидеть тот родничок где-

нибудь в осоке или под валуном, который дает жизнь целой многошумной речке.

...Истоки... Они и сейчас манят неодолимо, неся в себе намного больше смысла, чем в детстве. Это и ветла у дороги, разбуженная серебряным звоном отбиваемой в утренней рани косы, и наша саманная беленая изба, в которой, взрослея, я впервые не смог заснуть майской короткой ночью от щемящего и неожиданно осознанного чувства жгучей связи и с раскатами весеннего грома, и с первыми крупными каплями дождя, упавшими в распахнутое окно, и с пьянящим настоем сирени в посвежевшем и мокром саду. И — многое-многое другое...

Государственный человек

Случилось мне как-то, ещё мальчишкой, работать с мужиками в добровольной артели на заготовке дров для школы. Время было суровое, послевоенное, поэтому директор обратился за помощью к родителям.

Артель подобралась пестрая и разноголосая. Но мне сразу же приметился один старик, ладный, крепенький и удивительно добродушный. В школе у него никто не учился, но он настоял, чтобы его взяли. Потом я узнал, что зовут его деревенские мальчишки Курягой. Так у нас в деревне называли подсушенные на противне в печке сморщившиеся ломтики тыквы. Особое удовольствие было нам, ребятишкам, есть эти ломтики в тепле, в зимнее время, стосковавшись по овощам и фруктам. Отчего присохло это прозвище к нему, не сразу скажешь.

Мальчишка, я старался работать быстрее и лучше всех. Уже то, что я трудился вместе со взрослыми мужиками, не давало, по моим понятиям, права работать вполсилы. И мне сразу же не понравилась в Куряге какая-то особая медлительность и в то же время суетливость.

«Старик уже, — думал я, — а работать так и не научился или вовсе не хотел».

Разгадка пришла позже, когда все отправились на ночлег в ближайшую деревеньку. Мы шли рядом, до ближайших изб оставалось метров двести, он вдруг спросил:

— Что, до деревни-то далеко?

Я оторопел, мне показалось, что он меня разыгрывает, ведь дровня лежала перед нами как на ладони. И вдруг я понял — он полуслепой, этот старик, работавший бок о бок со мной весь день.

— Да, зрение меня подвело, — словно отвечая на мои мысли, проговорил он.

Меня поразило то, что старик угадал, о чем я думаю.

— Но слышу я очень хорошо.

И он как-то по-особому посмотрел на меня.

Я вздрогнул, мне показалось, что Куряга слышал мои мысли о нем там, в лесу...

...Сегодня, возвращаясь сонной июльской улицей домой, вновь встретился с Курягой. Вел он себя как-то странно. Подойдя к стоявшему трактору, припал к работающему на малых оборотах двигателю, прислушался. Дрожащий «Беларусь» затих. Я догнал старика, когда он бодрым шажком направлялся к совхозному грузовику. Старик молча погрозил кому-то в пространство кулаком:

— Один к девкам побежал, а другой за пивом стоит. Работнички. Вот и приходится сторожить.

Дрожащей рукой, дотянувшись, выключил зажигание. Дремавший в кабине парень, равнодушно зевнув, опустил фуражку ещё ниже, на самый подбородок.

— Добро на ветер летит. Хватит, на правлении ставлю вопрос ребром. Я так думаю, что судить таких надо. Ведь все горячее из неё, из землицы, добыто! Так что же? Для того буровые день и ночь вокруг села гудят, чтобы такие вот (махнул в сторону дремавшего парня) небо зазря коптили. Вон он и не ворохнулся, а я ему прошлый раз чуть не цельную лекцию прочитал. А сколько таких по стране? А? Не по-государственному это...

Скворцы

Самые дорогие мои воспоминания связаны с друзьями детства. Были среди них Мишка да Колька. С Колькой мы подружились не сразу. Если мы с Мишкой заводили голубей, то Колька их самым наглым образом крал. Если мы в самой непролазной чаще лесной делали землянку, Колька её находил. Он появлялся и исчезал всегда неожиданно. И не было преде-

ла его хитрости. Но особенно нас возмутила одна его выходка. На наших глазах он с одного выстрела из рогатки сбил с Мишкиной скворечницы восторженного певца...

А сдружили нас те же скворцы. Умерла Колькина мать. За неимоверную худобу её, за большой рост, а может, за вечно тяжёлую, однообразную, обременённую нуждой и невзгодами жизнь прозвали её с чьей-то легкой руки Неделей. Мы боялись её. Было в ней что-то трагически мрачное. Стала ли она такой после того, как узнала, что война сделала её вдовой, или уже потом, когда с поля старшего сына привезли мертвого, изрезанного лемехами на пахоте, — неизвестно. Только и сама она после этого случая протянула недолго. Умерла быстро и безболезненно весной, перезимовав суровую зиму.

В этой истории нас с Мишкой, отец которого делал гроб Неделе, может быть, больше поразила не сама смерть и не покойница, которая лежала в передней, а глухая зияющая яма в полу, чуть поодаль от гроба. Едва переступив порог, я сразу заметил, как затравленно отвернулся от этой пропасти Мишка, почувствовал, как самому нечем стало дышать. Казалось, смерть пришла к хозяйке именно из этого мрака.

Неделя, Неделя, она не рассчитывала на свою смерть, не думала, где соседи будут брать доски на гроб, да ещё такой огромный. А их нашли быстро. И теперь прямо около гроба торчали сопревшие перерубы, так что и постоять-то желающим было негде.

Не знаю, по какому-то наитию или с твердой и ясной мыслью действовал Мишка, только на другой день после похорон повел он меня на Неделин двор. Вернулись мы с обрезками досок, тех самых, что пошли на гроб. Ещё через день над вечно угрюмым и пустым двором Недели на старой ветле появилась скворечница.

А наутро я, Мишка и Колька уже сидели на пороге сеней и сосредоточенно смотрели вверх. Мы ждали скворцов. Они обязательно должны были прилететь...

...Недавно я побывал на том месте, где стояла изба Недели. Места совсем не узнать. Избы нет. Только ветла цела. Умерла Неделя, остался в морфлоте после четырехлетней службы крепко заряженный на жизнь Колька, а ветла как стояла, так и стоит. Трудно определить, сколько ей лет, этой ветле. Все такая же.

С грустной и, в общем-то, не новой мыслью — вот, мол, все не вечно, все проходит — бродил я около земляной кучи с соломой, сдвинутой в сторону бульдозером — саманной избы Недели, когда вдруг услышал сначала робкий, но через минуту уверенный в своём праве на песню голос скворца. Несмело (не ослышался ли?) подошёл поближе и увидел в самой гуще листвы скворечницу, а под ногами — свежие обрезки пахучих сосновых досок.

Глядя на работающих молодых строителей, гадал: кто из них приютил певца? Тут же подумал: а не все ли равно, кто? Главное, что жива песня, что продолжается чье-то детство.

Совсем уже было собрался уходить, когда к самой ветле лихо подкатил бульдозер. «Неужели и ветлу?» — метнулась мысль. Но дверца кабины широко распахнулась, и оттуда вывалился широкоплечий парень в тельняшке.

— Колька! Ты ли это?

Через несколько минут мы уже сидели рядышком на бревнах. Я указал вопросительно на сдвинутую в сторону кучу самана.

— Я! И это — я, — Колька показал на скворечницу. — И это — я, — он ткнул себя в грудь. — Как с Морфлотом? — переспросил он. — А никак, потянуло домой — и все. А что потянуло — сразу не сказать. Спроси вон у них, — он опять кивнул в сторону скворечницы, — они не в первый раз вернулись...

Дедова хитрость

У поросшей лебедой завалинки деда Андрейки последнее время вечерами стали собираться старики. Сидят, не спеша о чем-то своём беседуют.

Раза два намеревался подойти, не получалось — опаздывал. Вот и сейчас, пока убирал удочки и умывался, разошлись старики. Один дед Андрейка сидит около своей баньки, бодро светится его беломорина. Подошёл к нему.

— Скучноватые, все о смерти калякают, а я о ней лет в сорок свои как передумал, так и точка. Теперь замечаю, если человек правильно свою жизнь прожил, то к старости спокойней говорит о смерти. Вон Коршунов Матвей злобствует, матерится на современную молодежь, а причина вся в том, что ему пора в мир иной, а молодежи — веселиться. Пропил все своё времеч-

ко, опохмелился — поздно. А то, что беззаботная эта молодежь не видит того, что не хочется Матвею уходить, так ведь и мы такими были в молодости. Думали — молодым вечно жить, а старикам на покой. А оказалось, молодость не вечна. Я как представляю, что каждый день тыщи стариков уходят, уступая место под солнышком таким вот горластым пузанам, как Варькин, так собственная моя смерть становится понятной и законной. В природе все справедливо на этот счет. Делай своё дело хорошо — и в этом весь смысл. Вот к этому я пришел тогда, лет сорок назад. Ну, хватит об этом. Хотя ещё скажу: власть надо взять — и над собой, и над ней, безгубой, пусть знает, что не она хозяйин жизни, а ты. Вот так-то. Взять все в свои руки...

— Как же это взять в свои руки?

— А хотя бы вот так! Пойдем покажу.

Идем. Я теряюсь в догадках.

Открыв ворота в сарай, дед Андрейка пропускает меня вперед. Сарай пуст, лишь дальний его угол за реденькой перегородкой занят предметом неопределенной формы, укрытым брезентом.

— Только ты никому ни гу-гу.

— Ну, разумеется.

Дед Андрейка торжественно, как на сцене фокусник, чуть замедленным движением руки берет за край брезента и враз срывает его.

Перед нами — добротный дубовый крест, окрашенный в бодрый зеленый цвет. Как и положено, на нижней крестовине металлическая пластина с чьим-то уверенным почерком:

ВЕТЛУГИН АНДРЕЙ АРХИПОВИЧ

1915 — 19...

— Ловко, а?

— Что? — не сразу понимаю я.

— Костлявую обезоружил, осталась не у дел. Думала: придет, страху напустит, ан нет! С той поры, как памятник этот себе сделал, ни одна хворь не берет. Нет ли у тебя какого-нибудь подходящего научного объяснения этому, а?

И он засмеялся. Засмеялся совсем по-детски.

Когда я уходил, он собирался на ночное дежурство в контору вместо своего подгулявшего, вечно угрюмого зятя Василия.

Дорога на сенокос

Почти у каждого из нас есть своё дерево, озеро или речка, с которыми связаны воспоминания о родном крае. А у меня есть ещё степная дорога. И теперь, перебирая в памяти все дороги, по которым мне пришлось шагать, я чаще других припоминаю её.

Сколько помню, мой дед всегда работал конюхом. Каждое лето с двумя-тремя лошадьми, но обязательно с Карим, здоровенным больничным мерином, дед отправлялся на сенокос.

На этот раз было решено косить в степи. После долгих и тщательных сборов во второй половине дня наконец тронулись. Жить в степи приходилось неделями, поэтому ехали с постелью, с бочкой для воды, с дровами. Со стороны это было похоже, наверно, на передвижение цыганского табора.

Выехали за околицу. Я пристраиваюсь поудобнее в рыдване, поддерживая рукой дребезжащую бочку. Слушаю дедову песню. Песня про липу вековую. Сколько бы я ни слушал эту песню, всегда стараюсь представить: какая она — липа вековая. Наверное, огромная. Я ни разу не видел вековых лип. Но мне кажется сейчас, что я чувствую её медовый запах, такой же, как у молоденьких стройных лип, которые стоят у речки за селом.

Голос деда подрагивает на ухабах, и, когда лошади замедляют бег, он так же протяжно и напевно трогает их:

— Но-о, калеки!

Это у него ласкательное — «но, калеки».

И мы едем дальше, наматывая серое полотно дороги на колеса рыдвана, как наша бабка наматывает свою пряжу на монотонно повизгивающую прялку.

Я много ездил с мужиками по полям, но очень редко слышал, чтобы кто-то так пел. Дедушка же, едва взяв вожжи в руки, запевал песню. Видно, однообразный бег лошадей, стелющаяся дорога, покойная равнина действовали на него, как вечная старинная мелодия, и он, словно камертон, отзывался на звуки её. Он не пел, он подпевал. И, когда слова песни кончались, дедушка пребывал в каком-то упоительном забытии...

Время от времени я поддерживаю бочку, чтобы она на ухабах не перевернулась. Отглядываюсь на едущего следом в телеге Василича и шепчу в бочку:

— Порядок, ещё чуточку.

А из бочки:

— Папаня далеко?

— Тише ты, едет рядом!

— С кем это ты калякаешь один, садись ближе, чего поодаль причечился, — дедушка подозрительно смотрит в мою сторону.

— Не-е, я тут.

И снова, немного помолчав, в бочку:

— Говорил: замри!

В бочке — Генка. Замысел прост и дерзок: заехать как можно дальше, оставаясь незамеченным, а там не высадят, не погонят домой.

Генку, несмотря на все уговоры, Василич — его отец — с собой не взял — велел оставаться дома пасти гусей. Гусей на Генкином дворе, по словам Генки, прорва. И всю эту прорву надо исправно каждое утро гонять на озеро за село, а вечером встречать.

— Нюрка справится сама, а не справится — братаны помогут, — решил одним махом Генка. У него уже три взрослых брата. Все они когда-то гоняли гусей на озеро. Но ни одного из них скорая на прозвища наша улица не отметила, а Генку, он уже и не помнит с каких пор, все зовут Гусиным богом.

...Обнаруживают Генку в бочке внезапно. У последнего по пути колодца (а не на дальнем полевом стане, как предполагалось) делается остановка для того, чтобы набрать воды.

Понимая всю остроту момента, но не находя выхода из него, я стою в стороне, смотрю на скрипучий журавль и старательно готовлюсь сделать изумленное лицо при появлении Генки. Так условлено — я ничего не знаю.

Руки деда принимают бадью из колодца со студеной водой, подносят к бочке. Мгновение — и вода в бочке.

Отвернувшийся дедушка не видит происходящего за его спиной. А там перед ошеломленными Серёгой и Василичем выскакивает, как суслик из норы, мокрый мой приятель. Он чикает, крутит по сторонам головой и неловко прыгает на землю.

Размеренной походкой, прихрамывая, прямо на него идёт его отец. Подходит. И не успевает Генка втянуть голову в плечи, как получает оплеуху. Но не больно. Оплеуха звонкая и не обидная. И глаза Василича не злые, а весёлые.

— Хныкать будешь, с первой же подводой снаряжу домой. Тоже мне партизан.

Он уже откровенно смеется. Смеется и Серёга:

— Хоттабыч из бочки, курам на смех!

Серёга и Василич стоят рядом, оба сильные, загорелые. Серёга на голову выше кряжистого отца Генки. Серёгу мы оба любим и знаем его силу. Прошлым летом, когда ездили косить сено в Моховое — болотистую и травянистую низину, Серёга шутя взял здоровенными руками своими рыдван за задок и потянул. Кобылёнка встала как вкопанная...

Бочка наполнена, мы трогаемся с места.

— Ну, отошёл?

— Почему не предупредил, когда воду начали лить?

— Не успел. А ты зачем так долго сидел в бочке?

— Думал, сперва будут лошадей поить.

Генка молча чешет ушибленную голову, ладошкой пытается вытряхнуть воду из левого надорванного, неровно сросшегося уха.

Обезображенное ухо — результат падения в самый глубокий наш двенадцатиметровый колодец.

Темнеет. Не стало видно сусликов по обочинам дороги. Лишь в небе все чаще шелестят утки. Провожая их взглядом, Серёга говорит шёпотом:

— Теперь бы на зорьке посидеть.

И опять тишина. Только степь вокруг да дедова песня.

В сумерках кажется, что дорога стала ровней и податливей. Стук копыт приглушенной. Кажется, что не только мы с Генкой, а и сама дорога прислушивается к дедушкиной песне, песне про липу вековую..

Степной чай

Так уж повелось, что мой дед отродясь не брал с собой на сенокос «чай» — засушенные с прошлого лета ягоды шиповника. В лесу непременно заваривал чай из листьев вишни или смородины, и он нравился мне несказанно своим неожиданным ароматом. Только как же на этот раз? Кругом степь, ни единого кустика. Но знаю: чай обязательно будет.

Ещё задолго до ужина начинаю теревить деда. А тот, видя моё нетерпение, только заговорщически подмигивает: «Мол, знаем, сделаем».

Я жду с нетерпением. И вот он — чай! Желтовато-зеленый, он так пахуч и ароматен, что просто не верится, что заварен вот из этих темно-желтых, невзрачных курчавеньких стебельков. Они растут всюду, даже около нашего стана, прямо в моём изголовье под рыдваном.

— Как он называется?

— Не знаю, чай, как же ещё...

— Но ведь должен он как-то называться, — я хочу знать и смотрю на деда, не отрываясь. Но он молчит.

— А давай наберем целую охапку и привезем домой, на всю зиму хватит.

— Нет, Шур, этот чай только там пахуч, где родился, на воле. Значит, и пить его надо на воле. — Глаза деда весело щурятся: — Вот привезем домой сено, из омета наберешь сколько душе угодно и пей.

...Вскоре, намаевшись за трудовой день, все засыпают. Только мне не спится. Тишина. Лишь храп лошадей чуть поодаль да запах скошенной луговой травы в изголовье.

Перед глазами бездонное августовское небо с бесчисленным скопищем звезд. Прохладно. Нырять с головой под одеяло, становится душно, ворочаюсь и нахожу в одеяле дырки... одна, две. Приподнимаю одеяло на руках. Через крохотные отверстия виднеется небо. На темном поле одеяла эти кусочки неба кажутся звездами. Само одеяло уже представляется небом.

Одеяло похоже на небо, а небо на одеяло!

...Утром просыпаюсь рано. Необычно рыжее солнце показывается из-за горизонта. Словно раскаленное дедушкино точильное колесо, оно краем своим, врезаюсь в прохладную синь неба, высекает звонкие и колкие лучи.

Необъяснимое чувство восторга охватывает все моё мальчишеское существо. Я выскальзываю из-под одеяла и по прохладной траве босиком бегу навстречу солнцу, оставляя за собой изумрудную тропинку в сонной, разнеженной траве. Хочется петь, кричать, падать на траву, вскакивать и опять бежать по зеленой равнине без конца и края. Так вот она какая — степь!

Набегавшись, иду, притихший, к стану, уже дымящему

утренним костром. Возвращаюсь, не сознавая наивным умом своим неповторимость всего происходящего. Не предполагая, что через два десятка лет в уютно обставленной городской квартире будут не давать мне спать по ночам эти воспомина-ния. И об этой поездке в степь, и о чае, вкуснее которого не было и не будет...

Мишкина песня

Выбраться за голавлями к дальнему мосту через Самарку было давнишней нашей мечтой. В тот раз мы всё-таки достиг-ли своей цели. Мы -это Колька, Мишка и я.

Солнце уже спряталось за гору. Духота спала. Над плесом легкий слоистый туман. Тишина. Лишь у Колькиных ног, у старой почерневшей сваи, бьется и ходит на длинном кука-не красавец голавль. В тишине нет-нет да и ухнет у самого бе-рега, словно обвалится круча, прижившийся в омуте сом. И вновь тишина. Но что это? На бугре, над самым спуском к мо-сту взметнулась песня. И через какую-то минуту по шаткому мосту уже двигалась колонна молодых, веселых, в запылен-ных гимнастерках солдат.

*Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли домой с войны советские солдаты...*

На нас нашло оцепенение. Поразила песня. Все в ней было верно. И то, что солнце скрылось за горою, и то, что туман над рекой, и что дорогой, пусть не степной, но шли солдаты, не с войны, но шли... Такую песню мы ещё ни разу не слышали. Солдаты уже были на другом берегу реки. Первым опомнил-ся Колька. Вскочив на середину моста, вспорол смыкающуюся после песни на речке тишину:

— Э-ге-гей!

И долго потом махал кепкой вслед затихающей песне. Уса-живаясь на толстое бревно, сказал восхищенно:

— Мировецкая песня! Чур будет моя!

— Мировецкая, — как эхо повторил Мишка, — только недо-писанная.

— Что? — ошарашено посмотрел на него Колька.

— Недописанная, говорю. Про то, как шли с войны есть, а как домой пришли — нет.

— Тоже критик, это же песня. Может быть, народная.

— Все равно, народная — это когда просто забывают, кто написал песню.

Но, видно, в Колькиной голове никак не может уложиться то, что такую песню кто-то взял и сочинил. Недовольно повозившись, он демонстративно пересаживается от Мишки, громко шлепнув удочкой по воде. Но, немного помолчав, не выдерживает и примирительно тянет:

— Миш, а кем твой отец был на войне?

Мишка отзывается не сразу. Глядит в одну точку на воде, потом кратко отвечает:

— В пехоте.

Мы с Мишкой соседи, и я знаю, что он никогда не донимает отца вопросами о войне. Не любит рассказывать дядька Степан о себе. Известно, что он около трех лет пробыл в плену, воевать довелось мало, и что освобожден он был вместе с другими в тот момент, когда немцы подожгли при отступлении соседний барак с пленными. После войны проболел около пяти лет — сказались лагерные побои, намаялся по госпиталям...

Сильнее всего врезалось в память последнее возвращение дядьки Степана из госпиталя. После двух операций вернулся он с укороченной ногой и негнущейся спиной в корсете. Сейчас этот кожаный со стальным каркасом корсет, отслужив свою службу, пылится на погребнице весь изрезанный вдоль и поперек — мы часто с Мишкой вырезали из него кожу для рогаток, хорошая была кожа, блестящая...

На конце каждого костыля дядьки Степана было вбито по гвоздю для надежной опоры. От прикосновения костыля на полу оставалась свежая ямка. За год, который проходил Мишкин отец на костылях, весь пол в избе стал как наперсток. Прошлым летом, когда дядька Степан стал ходить без костылей, доски заменили, но несколько штук в кухне да в Мишкиной спальне осталось. В спальне их перенесли на потолок. И теперь, когда Мишка ложится в кровать, они — перед глазами.

— Тебя отец часто бьет? — донимает Колька.

— Не, не бьет совсем. Он добрый, даже, когда скотину режут или там голову курице надо оттяпать, уходит, чтобы не видеть.

— Мели больше?!

— Точно, мамка говорит, что он после плена таким стал.

Помолчали.

Нас с Мишкой соединяет тайна.

В прошлое воскресенье, когда мы ночевали с ним в их приземистой мазанке, роясь в книжках на самодельной полке, я вдруг наткнулся на общую тетрадь с темно-синими плотными корками. Прежде, чем Мишка успел вырвать её из моих рук, я прочел надпись в середине первого листа. «Бои после победы» — было написано Мишкиным пляшущим почерком, а в самом верху листа стояло: «Михаил Вдовин».

То, что Мишка уже полгода пишет повесть о своём отце, меня ошеломило. Я перешел в шестой класс, много перечитал в нашей школьной библиотеке из того, что дают только старшекласникам, знаю, что книги пишут люди. Но эти люди для меня как боги. Живут они где-то далеко-далеко.

Прошлый год моя бабка, возвращаясь из леса, нашла оброненный кем-то на проселочной дороге сверток. Когда мы развернули его, то были очень удивлены. В свертке оказалось десять портретов русских писателей. Единственный, кого узнала моя бабка сразу, был Горький. Остальных она долго разглядывала, читая вслух фамилии по нескольку раз.

В тот же день, сварив клейстер, мы наклеили портреты на саманные беленые стены под самым потолком. Все на одной стене не умещались, пришлось клеить по пять штук с разных сторон от переднего угла с иконой.

Левый ряд от иконы начинался со Льва Толстого, правый — с Пушкина. Только с Достоевским у бабки вышла заминка. Если Пушкину и Толстому она сразу отвела место во главе каждого ряда, а остальных по-местила по известному только ей закону, то около портрета Достоевского бабка долго сидела задумавшись, неотрывно глядя на нервные сухие руки писателя. Она потом и приклеила его чуть поодаль ото всех...

Но как быть с Мишкой? Мне и верится, и не верится, что он пишет повесть. Я подолгу стою посреди избы, прицеливаясь в конец портретного ряда, представляю, как все будет выгля-

деть, если поместить туда и Мишку. Но ничего не получается. До обидного своим и понятным выглядит наш Мишка. Вот если бы борода была или хотя бы пенсне, тогда, может быть, другое дело, да и то его наши все сразу бы узнали.

С той самой ночи Мишка взял с меня клятву молчать.

Неразговорчивость дядьки Степана вошла давно в поговорку на нашей улице, поэтому каждый раз, когда дядька Степан выпьет, Мишка старается быть поближе к нему. Дядька Степан болеет «тракторной болезнью». Так говорит Мишкина тетка. Под хмельком дядька Степан, сразу начинает со всеми заводить разговоры про тракторы. У него не гнется спина и правая нога, оттого-то как раньше, до войны, работать на тракторе он не может. Поэтому и говорит так много про них. Мишка утверждает, что, будь его отец здоровым, они давно бы махнули поднимать «матушку-целину». И махнули бы.

Мишка уже кое-что знает про солдатскую жизнь отца. Записи в его тетрадке увеличиваются.

— Надо до сентября обязательно дописать, — говорит он. — И в первый же день покажем Виктору Петровичу.

Мишка говорит не «покажу», а «покажем», и я благодарен ему за это.

Теперь каждый вечер, когда все заснут, я выхожу потихоньку на улицу и смотрю через дорогу на Мишкину мазанку. Там в занавешенном оконце тускло, но настойчиво пробивается в настойчивой на летних запахах тишине, свет. Мишка спешит. Скоро наступит срок.

— Ты пиши. Мишка, все опиши, — шепчу я в тишине, — пусть все знают, какой дядька Степан, как он вынес Миньку Сухова раненого из первого боя. Миня про это из госпиталя писал, а то бы мы никогда и не узнали. И, если можно, напиши немножко о моём отце. Только ты не напишешь. Я знаю — никому неизвестно, где мой отец. Но ты хоть напиши, что был такой человек — без вести пропавший — мой отец.

Я наверняка знаю, какую первую фразу скажет наш учитель русского языка Виктор Петрович.

Взяв в руки Мишкину синюю тетрадь. Он скажет:

— Опять ты Вдовин меня озадачил. — У него любимое слово: «озадачил». — Ведь я же давал тему для домашнего сочинения «Мои летние каникулы».

И долго будет потом задумчиво ходить меж рядов, подергивая обтянутыми гимнастеркой плечами, пока не заговорит горячо и торопливо, краснея лицом и размахивая в такт словам единственной уцелевшей на войне рукой.

Школьная уборщица тетя Даша говорит, что Виктор Петрович и мой отец очень похожи. Не знаю, я своего отца не видел никогда живым. Я родился после того, как он ушёл воевать. А на маленькой единственной школьной фотографии, которая висит в передней, он моложе меня, так что и сравнивать нельзя.

Память и... совесть

Дмитрий Трофимов, вопреки своему обычаю, в воскресенье на базар не пошёл, а проплотничал все утро на пустыре около Юрьевой горы. Правил ограду у памятника на месте расстрела первых организаторов Советской власти на селе.

Я подошёл, когда Федор Петрович, председатель сельсовета, мужчина небольшого роста, степенный и властный, принес десятку за труды. Трофимову загорелось выпить. Федор Петрович, несмотря на выходной день, был при исполнении обязанностей и Трофимов потянул меня пойти с ним:

— Можешь не пить, но из уважения посиди.

И мы пошли в столовую. «Заодно позвоню в райцентр старому знакомому», — подумал я.

За столиком в углу сидел Степан Коньков.

— Ну вот, есть с кем и помянуть, — угрюмовато произнёс мой спутник.

Мы, как у нас говорят, поздоровкались. Когда Трофимов поднял стакан и расправив широким жестом усы, провозгласил тост за советскую власть и его, Дмитрия Трофимова, солидный вклад в строительство нового «общества», Степан поставил стакан на стол и наотрез отказался пить:

— Я хоть, Митрич, и был мальцом, а помню, какие ты вклады делал. Вот тебе вложить горячих тогда некому было, это точно. Все у тебя кумовья да сваты. За что нашего Серого на третий день, как свели со двора, ухандокал?

Трофимов молчал.

Потом из отрывочных фраз я понял, что ему, очевидно, не трудно было вспомнить тот далекий первый год коллективизации, когда в весеннюю ростепель, остаканившись с приятелями сивухой, вздумалось ему, новоиспеченному колхозному конюху, по синему ломкому льду Самарки перебраться на правый берег к своей зазнобе. Дмитрия вытащили из воды, а Серого не смогли — со всей упряжью пошёл под лед.

Глядя на седеющего грузного Степана, я видел его заплаканным лобастеньким мальчишкой в отцовской кубанке — таким, каким тот был, по его рассказам, в ту далекую пору. И уже не в первый сегодня раз удивился, а потом и ужаснулся быстротечности жизни. Опорожнив свой стакан, Трофимов встал из-за стола. Я попрощался со Степаном, и мы вышли. По пути домой Трофимов вслух зло рассуждал:

— Вот, бестия, помнит все. Не их уже меренок был — колхозный, а все равно зуб имеет. А оно хоть и верно, зазря меренок погиб, — запоздало покаялся он.

Что-то похожее, видимо, на угрызения совести проклюнулось в нем, но он тут же одернул себя:

— Степка — подкулачник проклятый! Как таких только земля держит...

Трофимов не привык быть виноватым.

Бабка Мариша

Я знаю её только старухой. Ей уже давно за восемьдесят. Живет она одна, все сыновья погибли на войнах. Муж в давние лихие годы уехал в чужую дальнюю сторону на заработки, да так и не вернулся. Возвратившиеся мужики рассказывали, что одолела его в пути какая-то страшная хвороба. Его и зарыли там, в чужой земле. Я его знаю только по желтенькой фотографии, которая висит неизменно на одном и том же месте. А рядом иконы. Много она перенесла горя и ни разу, как ей кажется, Всевышний не вмешался.

— Прогневила чем-то... Или не до нас ему?.. — тихо говорит она старушкам, которые навещают её и притворно серчают на неё во время таких разговоров. И сама она качает головой, осуждая себя за такие слова.

Она часто думает о прошлом. Время неудержимо рвется вперед, а она чаще там — в прошлом, со своими заботами, их так много было у неё.

Маленькая, светящаяся изнутри необъяснимым, мудрым светом, она смотрит на мир своими добрыми глазами, выдавшими голод, смерть, и улыбается этому вечному миру, в котором по чьей-то забывчивости все ещё живет. И думается мне, когда я смотрю на неё, что к старости в человеке все мрачное и угрюмое пропадает и остается только то светлое, что было заложено при рождении и что встретилось ему в его долгой и такой мгновенной жизни.

Иногда мне хочется представить её молодой. Какая она была тогда, у истоков своей жизни? От природы ли чистая и ласковая она, или это жизненные невзгоды и неудачи сделали её такой светлой, желающей всем добра и счастья?

...Каким я приду к своей старости?

Выпь

Возвращался ночью с охоты. На болоте кричала выпь. От свинцово-тяжелой воды, от осеннего задумчивого леса веяло таинственной и недоброй силой.

Но что поразительно, голос выпи, от которого в детстве сжималось сердце и хотелось бежать как можно дальше, теперь был вовсе не страшен, а наоборот, заставлял остановиться и прислушаться. И не только к себе, но и к другим звукам живущего своей жизнью болота, доставляя удовольствие маленькими неожиданными открытиями.

— Удивительно! — говорил мне на следующее утро мой дядя, давний охотник и рыболов, приехавший на два-три дня к старикам в деревню. С тех пор как я не живу здесь, где родился и вырос, а лишь изредка наезжаю, все тутошные вороны, мне кажется, начали кричать по-журавлиному.

Балагур и острослов, он сейчас не смеялся. Мы давно научились понимать друг друга, может быть, даже раньше того самого дня, когда вслед за ним и я покинул край моего детства...

Любка

У Горюшиных мяли глину. Стайка ребятишек сидела на бревнах рядом. Тут же Петька Сонюшкин, по-уличному — Карась. Поблескивая звонкими медалями на выцветшей и чистенькой гимнастерке, а ещё больше своими весёлыми темными глазами, поглядывал на оголивших крепкие загорелые ноги горюшиных рослых девчат.

— Эх, кабы не мои болячки, станцевал бы я с тобой цыганочку, Варюха, в глиняном твоём кругу! — Петька осторожно, как маленького ребенка, обеими руками переложил забинтованную негнувшуюся правую ногу с подпиравшего её костыля на бревно, — вот отнянчаю её, и первый вальс с тобой.

Затекли ноги, и мы с Любкой спрыгнули с низенького плетня на землю, подошли к высокому окошку с играющим патефоном. В тот самый момент в распахнутые ворота вбежал десятилетний брат Варьки, Вовка:

— Ты тут, Любаха, прохлаждаешься, а твой отец с войны пришел, из госпиталя.

Уже на бегу, не поспевая за шумной стаей ребятни, я подумал, что отец Любки должен быть непременно красивее задаваки Карасы и медалей у него должно быть никак не меньше.

Чтобы увидеть происходившее в избе, нам с Любкой понадобилось пробираться через столпившихся у порога ребятишек и взрослых. Когда же протиснулись к столу, она досадливо потупилась. За столом на коленях у огромного с бородой в военной форме человека сидела Танька, в руке у неё был кусок сахара.

— И сеструха меня обогнала, кругом не успела, — горько прошептала Любка.

— Любушка, что же ты, подойди к отцу, — мать легонько подтолкнула её в спину.

Любка сделала два шага вперед и тут же, подхваченная крепкой рукой, оказалась на коленях у отца.

— Ну вот, теперь весь мой женский батальон в сборе.

Я видел, Любке было неудобно сидеть на коленях отца, болела ещё, наверное, ушибленная о калитку нога, и она запросилась на лавку.

— Дичок ещё, Коля, привыкнет. Ведь она тебя и не помнит,

было-то ей до войны всего три годочка, — улыбчиво говорила Любкина мать.

— Ну, ладно, Алексеич, значит, повидались, и хорошо. О делах поговорим потом. Денька через два-три приходи в правление. — Председатель колхоза Шульга мелкими шажками устремился к выходу.

— И чего он такой бородатый и пребольшущий, мой отец? Вон Карась какой, красивый, хоть и нога не ходит, — зашептала мне Любка, — а может, это и не мой отец, а так только все говорят?

— Тань, Тань, правда, что это наш отец? — Любка потянула сестренку за рукав, когда мы оказались за воротами на улице.

— Вот чудная какая, а кто же?

— А почему он с бородой?

— Ну почему, почему? Разве нельзя? Вон дед наш тоже с бородой был.

— А на фотографиях отец без бороды, — не сдаётся Любка.

— Ну тебя с твоими придумками. Мамка и отцу сказала, что ты у нас чудная.

— А почему он вам с мамкой платки привез, а мне нет? — вздохнув, спросила Любка. Но сестра ничего не ответила.

Прошла неделя, а Любка так и не решила свой главный вопрос.

— Ты почему не зовешь его папой, — больно щипнула Любку сестра, — вон мамка вчера Горюшиным жаловалась на тебя, какая ты непонятливая.

— Ах, так! Не буду и не буду. Вы все против меня! Ты зачем так щиплешься?

... — Люба, Любашка, иди-ка сюда!

Любка соскакивает с бревна и идёт к матери.

— Сбегай-ка за отцом на общий двор, позови обедать. Опять опаздывает.

Любка нехотя выходит на улицу.

...Отца её мы нашли на ферме. Поснимав рубахи, трое мужчин (два коренастых и загорелых и один худой и белый) ставили новый сруб в колодец. Чуть поодаль дядя Коля тесал подушку для телеги.

— Алексеич, подмога пришла.

Один из мужиков, ловко вонзив топор в бревно, скомандовал:

— Шабаш, чувствую, на обед пора, раз гонцы появились.

Подойдя ближе и глядя куда-то в пустоту, а не на отца, Любка скороговоркой выпалила:

— Мамка послала звать обедать, все уже на столе.

— Обедать, говоришь, ну-ка, дочка, подойди, нам поговорить надо.

Глянув в лицо отцу, Любка вдруг чего-то испугалась.

— Не-е, мне надо ещё к бабке заскочить, мать велела.

Насчет бабки Любка придумала на ходу.

— Что, солдат, не ладятся отношения с дочерью? — поинтересовался один из плотников, тот, который высокий и белый.

— Да, хвастаться нечем.

— А на что ж ремень солдатский? Аль не знаешь, как применить?

Николай Алексеевич вместо ответа только досадливо морщится, и, молча потянув из-под говорившего свою гимнастерку, встает, и идёт со двора.

... — А, а, внученька, дорогая, иди-ка сюда. Как ты поживаешь? — Бабка Степанида из-под руки смотрит на Любку, другой кормит кур.

— Хорошо, бабуля.

— А скажи-ка, зовешь своего отца-то как следует аль нет?

— Зову, — соврала Любка.

— А...а, какая умница стала. На-ка тебе за это конфетку.

Бабка Степанида долго шарит в подолах своих длинных юбок, находит наконец какой-то потайной карман и извлекает оттуда две карамельки. О подол вытирает их.

— Натe, нате, золотые мои.

Любка быстро отправляет конфету в рот и уже, приоткрыв калитку, на ходу сознается, сверкнув озорно глазами:

— Бабуля, а я никак его не зову.

И выбегает на улицу.

... — Ты бы хоть бороду сбрил, Коля, — говорит Любкина мать вечером после ужина, — а то так ребенок дикарем и растет.

— Сейчас дочь отцом не называет, а сбрею — жена смотреть не будет.

— Глупый ты у меня ещё, Коленька, — мать Любки подходит и обнимает дядю Колю, — у других ног нет, без рук возвращаются — так они без ума радешеньки, а ты целехонек весь. Ты свои шрамы на войне получил, а не в пьяной драке, по-

нял, горюшко моё? Ты же у нас герой. Эти шрамы на теле. По-страшнее те, которые в душе. Ты думаешь, она маленькая? Не переживает? Переживает. А за что ребенку такое?

— Война никого не щадит.

— Не щадит, Коля. Мама говорит, что мне надо уехать в Со-сновку на недельку, а вам остаться. Пусть привыкает. Уехать, Коленька?

— Не надо, ничего не надо. Не надо возню вокруг этого развод-ить. Всему своё время. Она умная девчонка, сама говоришь.

Мы с Любкой всё слышим. Дверь в избу открыта, и мы сто-им в сенцах, затаившись за старым шкафом.

— Завтра буду звать его отцом, — говорит Любка, мне ведь совсем не трудно.

...Через несколько минут мы уже бежим ловить бабочек на поляну за Бесперстовой баней. Там в буйных зарослях коноп-ли и лебеды мы храним в банках целую коллекцию засушен-ных жуков, бабочек, растений всяких.

И никто об этом не знает.

Яблоко победы

Мой дядя Алексей вернулся с войны значительно позднее мая 1945 года. Потому-то его возвращение и смогло задержаться в моей памяти — к тому времени мне было около четырех лет.

Дядя был с товарищем.

Отчетливо помню, как разом стало тесно от серых шине-лей в нашей избе, как потом мы сидели все за столом в перед-ней. Помню себя, державшего в руках гостинец дяди — боль-шое красное яблоко.

Не знаю, когда я впервые услышал слово «победа». Может, когда во все глаза глядел, держа обеими руками яблоко, на этих людей, пришедших с войны, или позднее...

Но так уж получилось, что теперь слово «победа» я не могу представить без непрерывающего волновать душу серого цвета военных шинелей и того огромного красного яблока.

«Яблоко победы», — произнёс я однажды уже взрослым и осекся. Каким же должно было быть дерево, которое вырасти-ло его! С каким трудом досталось это яблоко! И какое же оно красное...

Пронькин осокорь

Утром, пока я ладил новое вязовое окосиво, он ходил молча вдоль покосившегося плетня, исподволь наблюдая за мной. Когда же нехитрая моя работа была закончена, сказал, будто мы с ним говорили все утро:

— А что, не к Лушкиной ли поляне собрался?

— К ней, — отвечаю.

— А не возьмешь ли меня с собой?

— Могу, — торопливо соглашаюсь я, почему-то боясь обидеть старика отказом, а сам пытаюсь сообразить, для какой такой цели надо деду Проняю в его восемьдесят быть на Лушкиной поляне. Чудит, думаю, дед.

Уже садясь на мотоцикл, кричу ему на ухо, стараясь не столько пересилить тарахтенье мотора, сколько дедову глухоту:

— А что за забота в лесу?

— Забота у меня давнишняя.

Дорогой я пытался вспомнить, все, что знал о старике. И оказалось, что знаю-то совсем мало. Даже отчество не помню. Прон Репков — вот и все. И имя и фамилия для наших мест редкие. Вроде был женат.

Когда приехали, дед засуетившись, молча направился к речному обрыву, оставляя за собой глубокую тропинку в буйном разнотравье. Немного помедлив, последовал за ним и я.

Лушкина поляна метров двести длиной. Одним своим концом выходит из лесной чащи на речной обрывистый берег.

Проняй остановился около великана осокоря, стоявшего метрах в четырех от речного обрыва, и надолго замер, не обращая на меня никакого внимания.

...После того, как четверть поляны покрылась рядами скошенной травы, я подошёл к осокорю. Дед сидел, прислонив спину к могучему стволу дерева. Спал или делал вид, что спит.

Уже возвращаясь на поляну, я через плечо посмотрел на обрыв. Осокорь стоял молчаливо и раздумчиво. И тут меня поразила какая-то неуловимая связь между деревом и человеком. Это нельзя было передать словами, об этом нельзя было спросить. Надо было, очевидно, догадаться, что-то понять самому. Путаясь в догадках, но уже не сердясь на старика за его молчаливость, вернулся к своей работе.

Домой по-прежнему ехали молча.

Все это сразу бы и забылось, если б не случайный разговор, осветивший иным светом и сделавший понятным поведение Прона Репкова.

Единственный оставшийся в живых свидетель давней истории, одногодок Репкова Матвей Качимов рассказывал:

— Не скрою, завидовал я Прону, счастливей меня оказался. Его Улька полюбила, а не меня. Я и петь, и танцевать всегда первый был, а Прон — молчун молчуном, а заговорит, то все про лес да птиц и зверье разное. Вот обида меня и мучила.

Но не суждено им было свадьбу сыграть. В восемнадцатом году, когда пришли белочехи, попалась Уля на глаза трем солдатам — подкараулили они её в леске... Ну, и ясное дело. Утопилась Ульяна в тот же вечер, не пережив позора.

— А Прон что?

— На том месте, где утопилась Ульяна, посадил Прон осокорь, в память о ней.

Словно бы затмение нашло на Прона. Едешь ли, идешь ли мимо — он сидит около своего деревца, лицом к воде, неподвижно, словно статуя какая. Так и прозвали люди осокорь Пронькиным.

Так вот жизнь и потекла. Войны Прона не тронули, вернулся невредимым. Когда за сорок перевалило, уже после Отечественной, женился он тут на одной, но через год она умерла. Доживает один. А осокорь растёт себе на здоровье. В сороковых годах, когда здесь была сельсоветская делянка, чуть было не спилили его. Прон отбил. Поставил леснику Митрию Жучкову литр самогону, и делу конец. А теперь осокорь никакой пилой не возьмешь. Но и ему недолго осталось жить. Один год, лет эдак десять назад, смыло в половодье громадную кручу. После этого каждый год речной обрыв приближается к дереву метров на пять. С того года на Прона нашло опять навроде затмения. Придет на кручу, сядет — да так и просидит до сумерек. Каждую весну первым делом спешит к осокорю — узнать сколько до него осталось. Помяни моё слово: они и умрут в одно время...

Старик Репков умер в конце апреля...

...Не дожидаясь, когда спадет полая вода на плоскодонке добрался я по пустынной широкой водной глади до Лушкиной поляны. Рискуя быть перевернутым взерошенным, свинцово-темным потоком потерявшей русло реки, направился к тому месту, где должен быть осокорь. Подгоняемый желанием узнать, увидеть, что старик Качимов ошибся — бросил своё утлое суденышко в пасть потоку, рвущемуся с Лушкиной поляны к реке. Осокоря на месте не было. Там, где когда-то он стоял, утробно картавили водяные воронки. Везде, куда доставал глаз, куда несло течением потерявшую управление мою лодку, было одно лишь седое кипение воды...

Старик Репков и дерево умерли в одну и ту же пору, весной, когда щедрая от весенних талых вод река Самара далеко окрест несла, как бы впрок, животворную влагу высыхающим к середине лета старицам и бесчисленным, зацветающим в иной безводный год, безымянным озерам.

Журавли

Сумрачно и тихо. Лишь у крайней избы грудной ласкающий голос мерно разрезает податливый вечерний воздух. Зовут чью-то запропавшую Звездочку. Но и этот голос смолк.

Проскрипели неподалеку на ферме выдавшие виды ворота, и все на некоторое время смолкло.

В селе, до которого от степного ильменька всего каких-то метров триста, текла своя вечерняя жизнь.

Заря кончалась, а уток не было.

И вдруг с вышины, где безраздельно властвовал один только звездный, холодный свет, донесся тревожный, тоскливый и удивительный звук. Казалось, кто-то на незнакомом языке кого-то звал за собой и в то же время прощался навсегда. И этот кто-то приближался ко мне. Завораживающий голос был уже, кажется, совсем рядом. Вот он, почти над головой! Там, где только что была одна Большая Медведица, распластался трепещущий клин.

Журавли! Конечно же, журавли! — упивался я своим открытием, забыв о ружье и махая им, как палкой.

Журавли сделали плавный полукруг над болотом, выровнялись и величаво потянулись в сторону угрюмо темнеющего леса.

Какая-то сила сорвала меня с болотной кочки. Они улетали! Я побежал за ними, замороженный сказочной, не перестающей литься с неба, мелодией. Потом, будто устыдившись чего-то, остановился. Вернулся к ружью, забытому на болотной кочке, и долго стоял, потрясенный. Я что-то потерял. Минуту назад я был богаче. С журавлями от меня оторвалось и улетело что-то большое и светлое, но что именно, мне мальчишке, понять было трудно.

С болота я ушёл поздно. Дома никому ничего не сказал и в саду под старой скрипучей яблоней долго пытался уснуть...

Много после этого провел я утренних и вечерних зорь на воде, но журавли не прилетали.

Позднее, став взрослым, я где-то прочитал, что журавли — это символ неуловимости человеческого счастья. Как верно!

Вот она, разгадка! Значит, с тем, кто так сказал, было, может, то же самое, что и со мной в моём далеком детстве. Только он сумел выразить это словами.

1985 г.

ФИЛОСОФ

Рассказы

По одной тропинке ходить

Виктор Ключев начал работать в ремонтно-механическом цехе восемь месяцев назад после службы в армии. Благодаря природной расторопности он быстро освоил необходимые навыки и получил четвертый разряд. После чего решил твердо: в деревню его палкой не загнать. Лишь изредка вспоминался ему неполучившийся разговор с отцом перед самым отъездом. Убедившись, что сын твердо решил дома не жить, отец сдался:

— Ну смотри, Виктор, я тебе не враг, задерживать не стану, не пожалел бы потом.

Так и разошлись — холодно и неопределенно.

* * *

В обеденные перерывы теперь забегал Виктор к плотнику Фадеичу. В его столярке пахло теплым деревом. От свежих стружек, взгляда на ножовки, стамески веселило душу.

— А что, Фадеич, — говорил он, заглянув накануне в столярку, — возьмешь к себе в напарники? Лях с ним, с железом, мертвое оно. Иное дело дерево — живое и теплое. Зов предков, а?

Сначала и самому Виктору казалось, что он заходит в столярку просто так, потреться с Фадеичем. Потом стал замечать, что тянет его туда нечто иное. И однажды он понял: Фадеич похож на отца галки — Ивана Макаровича, или просто Макарыча — как звал его Виктор. Такой же малоразговорчивый, но приветливый, пахнувший сосновыми стружками и махоркой. Там, в далекой Вязовке, их дома стояли друг против друга на одной улице, и Виктор привык бывать в его мастерской.

Повзрослев, он стал стесняться приходить просто так к Макарычу, и виной тому была Галка. Уже перед самым призывом в армию, когда их семьи открыто как бы породнились и отцы стали называть друг друга сватами, они с Галкой не раз посмеивались над неловкостью Виктора.

Каждый раз теперь, когда ему вспоминались те далекие звонкие дни, связывающие его, как тогда казалось, с Галкой навсегда, он гнал воспоминания прочь.

...Это случилось в один из рабочих дней. Возвращаясь из столовой, Виктор увидел золотой копошащийся комок на нижней полке цеховой эстакады с трубопроводами.

Подойдя ближе, он замер от удивления: это был пчелиный рой.

Через минуту он уже знал, что делать. С Фадеичем они вместе сбили ящик и накрыли его белой тряпкой.

Играючи, зная, что за ним следит добрый десяток глаз, радуясь своей сноровке, Виктор по лестнице поднялся на эстакаду. Надеть маску от противогаса — минутное дело. Приблизившись к гудящей массе почти вплотную, стал легонько щёткой сгребать пчел в ящик.

— Чё так долго возишься? — Мишка Кривов, электросварщик, осмелев, подошёл прямо к стойке. — Давай я те всю полку газом вмиг срежу в ящик, а?

— Иди ты!.. — Виктор, стягивая с лица влажную резиновую маску, посмотрел сверху вниз.

Михаил был на пять лет старше его и вообще виртуоз в работе, и Виктор относился к нему с уважением, но сейчас он был хозяином положения. И мог позволить, как ему казалось, грубость. Он даже в сердцах хотел сверху вниз ругнуться покрепче для порядка, но постеснялся. Рядом почти, внизу стояла цеховая табельщица Любка

От шевелящегося слитка пахло медом и летом. Среди железа и бетона сказочно пахло родной Вязовкой. Когда Виктор поставил в столярке ящик на верстак, облегченно вздохнул:

— Ну, Фадеич, бери рой себе, подарок. Конечно, не прочь буду обмыть это дело.

Ножовка в руках Фадеича споткнулась:

— Ишь ты, на кой он мне? На балконе пасеку разводить? Пчела — насекомое деликатное, с ней обращаться надо умючи.

— Деликатное, — со вздохом подтвердил Виктор и тут же, как бы для порядка, возразил: — Но ведь сейчас горожане курей, свиней и даже коз держат на балконах. Перестройка.

— Голь на выдумку хитра.

Тут-то Виктор и пожалел, что мало, да что там мало, совсем не вникал в отцовские ремесла. Ни сети вязать не научился, ни с пчелами, как надо, не умеет действовать. Так, по догадке все, почти так же, как и цеховые ребята, не имевшие никогда близкого отношения к пчелам. Но он-то сын колхозного пчеловода Петра Ключева. «Дилетант деревенский, вот ты кто», — в сердцах ругнул он себя.

— Постой, а ведь ты про пасеку у вас в колхозе мне рассказывал, это же в самый раз.

— Идея, Фадеич! — Виктор вскочил с топчана.

«Идея!» — ликовало все в нем. Он обрадовался тому, что явится к отцу, наконец-то увидит его, и не просто так, как вроде бы соскучившись и сдавшись в их затянувшейся молчанке, а по-деловому — привезет целый рой пчел...

* * *

С попуткой Виктору повезло. Едва он сошел в пригороде с рейсового автобуса и добежал до единственного стоявшего у обочины, газика, как все устроилось. ГАЗ-69 шёл через Вязовку. И этот факт сам по себе не удивил Виктора. «Так и должно быть, когда человек едет домой», — рассуждал он про себя, вспоминая и ту легкость, с которой мастер отпустил его на два дня в отгулы.

Газик по асфальту шёл ходко, кроме Виктора пассажиров не было, и, устав вытягивать из шофера слова, словно клещами гвозди из дубовых досок («Сундук с глазами», — беззлобно про себя ругнулся Виктор старенькой присказкой своего армейского старшины), он ткнулся в окошко лбом и стал смотреть на бесконечные стройные ряды ометов, убегающих за горизонт. «Как слоны», — невольно вспомнилось Галкино сравнение.

Вокруг лежал необъятный простор. Глаза, соскучившиеся по родному, искали приметы детства. Вспомнились проводы в армию, Галкины жадные горячие губы, когда она, требовательно взяв его за руку перед самым отъездом (на людях нельзя будет проститься как надо), увела в дальний угол сада. «Галка, Галка! Что ты, как ты сейчас?..»

Из задумчивости его вывел визг тормозов. По проселку, метрах в двадцати, к машине бежала бывшая одноклассница

Варька, а чуть дальше стоял его, Виктора, «газон» До армии на этом самом «газоне» он начинал работать в колхозе. Машина засела крепко. Около заднего колеса лопатой орудовал узкоплечий высокий парень.

— Кто это? — на ходу спросил Виктор.

— Студент, прислали на картошку к нам. Их у нас двадцать штук, веселые, черти.

— А ты что же делаешь?

— Я-то? Я эту самую картошку и вожу.

— Кто же тебе машину доверил?

— А тут и доверять нечего, то есть некому больше. Мужики все вышли.

Втроем они притазили по охапке соломы. Виктор сел за руль, и вскоре они ехали по проселку к Вязовке. Прощаясь с Варюхой, слегка хлопнул по плечу:

— Молодец, жми на педаль!

* * *

Отца дома не было. Привычно заложил палец за наличник и достал ключ. В избе было все по-старому. Скрипнув половицей в горнице, подошёл к столу, сел. Во всем был, как и прежде, образцовый порядок. Одно сразу бросилось Виктору в глаза — фотография матери 9x12, сделанная за год до её смерти, не висела в простенке, как прежде, а стояла на тумбочке у кровати отца.

Становилось не по себе от гулкой тишины.

Встал.

Выйдя на крыльцо, закурил.

«Все: и рой, и старенький «газон», и одиночество отца, все как укор за слишком долгое отсутствие. Все — даже этот клен у Галкиных ворот».

Знакомые до боли, доверчиво распахнутые окна Галкиного дома в густой темноте, сияли огнем. В передней заскользили за занавесками еле уловимые тени. И вдруг в окне, в левой половине дома, появился знакомый силуэт, а через минуту другой — мужской. Окно раскрыли ещё шире, и родной смеющийся голос Галки возбужденно произнёс:

— Геночка, смотри, луна сегодня рыжее тебя! И теперь она каждый вечер только наша, навсегда!

В глубине комнаты низкий голос что-то ответил, но что, слышно не было. Легкая фигурка скользнула от подоконника в глубь комнаты, и тут же погас свет. В доме напротив готовились ко сну.

Широкая ладонь легла на плечо Виктора:

— Ничего, сын, все обойдется. Я тебя теперь понимаю. Вижу: горько. Пройдет, поверь. Погорячился с городом, и хватит.

Виктор молчал.

— Я как-то с председателем нашим разговаривал у сельпо. Вот-вот придут две новые машины, кому как не тебе одна, а?

— Они что, решили вернуться из Тольятти назад, к себе в село? — думая о своем, произнес Виктор.

— Решили. Сейчас многие к земле возвращаются. Пока они на автозаводе на конвейере работали, я был уверен: пройдет время, ты повзрослеешь и когда-нибудь, вот как сегодня, приедешь и останешься. Теперь не знаю, что думать.

Отец присел с краю на крыльцо.

— Если они останутся, как же ты будешь жить тут, по одной тропинке за водой ходить? Ведь не смог же, как с армии вернулся?

— Не надо, папа, — Виктор запнулся, поймав себя на том, что от волнения назвал отца, как в детстве, — это все моё. Прости, но моё.

— Я понимаю.

Выйдя за ворота, Виктор постоял у палисадника. В дальнем конце села кому-то помогал страдать баян, через два двора, у Никитиных, хрипло прокричал, пробуя голос, молоденький петух. Все было как прежде. Словно и не уезжал.

Становилось прохладно и звездно. Дойдя до Варькиных ворот, лицом к лицу оказался со своим «газоном». Тот, поймав лунный свет в лобовое стекло, прицелившись, не мигая глядел на Виктора. Как будто ждал ответа на свой давнишний вопрос.

1987 г.

Философ

— Ты, философ, на все вопросы отвечаешь теоретически правильно, потому что проверить твою говорильню на практике невозможно. А вот ты мне скажи, скажи, только конкретно, как другу, что мне всё-таки делать с ваучером? Кто он такой и зачем? А?

Я сижу в зале ожидания Казанского вокзала в Москве, приутившись в покосившемся кресле, и невольно, отряхнувшись от дремоты, слышу разговор двух собеседников. Они появились внезапно и устроились сзади меня на скрипучих сиденьях.

Очевидно, диалог их начат где-то там ещё в пути, а тут он уже затихает, но тем не менее, тот, что постарше и под хмельком, говорит с напором:

— Ты знаешь, на этот ваучер, курс установился сам по себе, и не сезонный, а по времени суток.

— Как так?

— А вот так. Вчера в одиннадцать вечера я продал свой чек не за пять или восемь тысяч, а за бутылочку водки, где её, ма-тушку, в такую позднину найдешь, а так — пожалуйста.

— И не жалко?

— Нет. Я скомпенсирую. Вот сейчас, днем, я продам чек уже за две бутылки, поскольку магазины работают, тут свой резон.

Ты должен понимать — коммерция, она штука гибкая. У меня ещё три ваучера, а вот четвертый Зинка-сноха продала, блин, в троллейбусе.

— Почему в троллейбусе?

— Да, тут целая история вышла. Она, видишь ли, у нас стеснительная. Никогда ничего не продавала и заявила, что продавать не будет. Первая-то сноха, с которой мой Колюнчик развелся, торгашка была. Баба — гром, а эта — ни то ни се. Так вот, слушай, Зинаида всем подружкам в палате своей, она работает медицинской сестрой в роддоме, рассказала, какая она застенчивая, но денег нет и что-то надо делать с этими квитанциями... А те, со скуки, ради смеха, слышь-ка, когда она уходила домой, нацепили ей сзади на пальто листок с объявлением: «Продаю ваучер, недорого!» Она и не знала, что с этим транспарантом шагала по улице до остановки. А в троллейбусе к ней подошёл мужчина и предложил пять тысяч за ваучер. Она удивилась

вслух: «Что, у меня на лице написано, что я хотела бы продать чек?» — «Нет, — невозмутимо ответил покупатель, — у вас об этом написано на спине».

Так и наша Зинаида стала коммерсанткой.

Наступило недолгое молчание. Я посмотрел на собеседников. Обоим лет по сорок пять — пятьдесят. Очевидно, они из одного небольшого городка, либо поселка.

«Коммерсант» — это, видно сразу, мужик не простой, а из тех, кто любит подурочить людей, зная наперед свой ответ на свою же загадку, а другой — из тех степенных рассудительных крепких русских мужиков из глубинки, которых не сразу собьешь с толку, у них свой стержень.

— Однако ж, молчишь. Я тебе наводящие вопросы всякие и истории, ты же молчок! А ещё три газеты выписываешь, как профессор какой, слабо?

— Федор, у тебя сколько детей, я уж забыл?

— Трое, а что? — недоуменно и выжидательно ответил «коммерсант» Федор.

— Горластые были? По ночам кричали?

— Ха, не горластые, а жуть с ружьем какая-то. И не по ночам, а круглые сутки Колюнчик нам жару подавал, я таких потом ни у кого не видел.

— А резиновую соску, пустышку, ты ему давал, чтобы замолчал?

— Эх ма, дак только этой соской и спасался. Суну ему, верзиле, это я так его звал, он родился на пять килограммов весу, суну её, он и замолчит враз. Ненадолго, но замолчит, а потом по новой реветь, когда она выпадет. Я ему опять резинку в рот — так и забавлялись.

— Так, вот ты и ответил, что такое ваучер.

— А что такое — ваучер? — дурашливо переспросил Федор.

— Так вот, та соска резиновая.

— Да... — притворно-восхищенно и радостно выдохнул Федор. — Вот это ответ! Уважил. Знать теперь буду. Помолчал, затем подытожил:

— Как просто все, когда философия в голове! — И, выдержав паузу, всё-таки оставил и за собой право на истину:

— Обманом пахнет в этих фокусах, чувствую...

1992 г.

Что делать?

— «...и в такое время, когда каждый член коллектива завода, забыв о личных заботах, трудится как один в едином порыве на благо общества, наш секретарь парткома завода Баринов Геннадий Алексеевич со своей развратной любвеобильной секретаршей-машинисткой Лидией Андреевной Голубцовой предается любовным утехам на берегах красавицы Волги, причем в рабочее время и допоздна.

Если Вы, товарищ Первый секретарь, не уберете его с завода, то мы напишем дальше и вся эта история и Ваша, такая вот, работа с кадрами станет известна всей области.

Требуем принять меры в течение месяца.

Копию мы послали в обком профсоюза.

Группа товарищей».

Первый, закончив читать, очень бережно, как тонкое хрустальное стекло, положил анонимку перед Геннадием Алексеевичем. Наступила пауза. И закончилась она фразой, которую не трудно было угадать.

— Что будем делать? — почти торжественно и как бы дружелюбно произнёс Первый.

«Все кончено, — подумал Геннадий Алексеевич. — Съели. Разыграно как по нотам». И текст, который, может быть, даже написан с ведома Первого, и его интонации не оставляли надежд.

Время было, конечно, уже не то. На анонимку можно было Первому резко не реагировать, но секретарь партбюро знал: с ним давно готовятся свести счеты, но не было случая. А теперь сам бог велел.

— Молчим? — почти по-свойски обронил его собеседник, — да, брат, вляпался ты крепко. Ну, с кем не бывает. Молодость берет своё. Но не паникуй, покажешь себя на другой работе, восстановим.

— А если я чист?

— А где доказательства? У тебя же их нет! И не будет!

— А если будут? — безотчетно и не понимая, откуда могут быть какие-то доказательства, погорячился с ответом Геннадий Алексеевич. — Ведь это клевета!

— Ну, вот видишь, ты всегда необдуманно лез напролом, и

сейчас тоже. Молод, горяч, себя сильно любишь... Ты поезжай на завод, поработай пока. Но в долгий ящик это откладывать нельзя, сам понимаешь. Да и народ требует.

Лучше, если сам напишешь заявление. Найди убедительную причину.

...Прошло три дня, а Геннадий Алексеевич, не видя выхода, маялся со своим глупым положением. Все более и более тоскиливо думал о «свинцовых мерзостях» жизни. Работы он не боялся никакой, за должность не держался — не хотелось уходить, уступив наглому натиску. В нем действительно было ещё много молодого спортивного задора.

Кто-то уже позаботился об утечке информации, и теперь чувствовалось, что многие знают о письме в горком партии. Некоторые откровенно криво усмехались, другие старались не глядеть ему в лицо. Сценарий был известен, действие происходило для него знакомое.

Неожиданное случилось чуть позже.

Вечером в кабинет к Геннадию Алексеевичу с пунцово-красным лицом вошла машинистка Лидочка и, не глядя на хозяина кабинета, обрывками-фразами проговорила:

— Геннадий Алексеевич, перестаньте убиваться... Не надо так... Так можно дойти бог знает.. Да, что я говорю!.. Вот Вы молчите, а я все знаю и понимаю. Я приняла решение, ведь это касается и меня... Я...

— Какое ещё решение?

Он поднялся из-за стола и в упор посмотрел на Лидочку.

Она ему нравилась давно, он от себя этого уже и не скрывал. В его холостяцкой жизни произошел перелом, когда впервые её увидел в парткоме в качестве машинистки. Но от того, что это прошло через сердце и было серьезно для него, он её стеснялся по-ребячески и чувствовал в её присутствии себя всегда неуклюже.

Очевидно, она догадывалась об этом. И потому-то терялась часто, старалась быть подчеркнуто официальной и деловитой...

Они ещё оба не знали, что делать со своими чувствами, едва проклюнувшись, и таили их друг от друга. Но жизнь не ждала.

— Завтра узнаете, что я решила.

Не дав ему времени на следующий вопрос, она выскользнула из кабинета.

Наутро сухо, сказав как обычно: «Утро доброе», подошла к столу и положила перед Геннадием Алексеевичем две бумаги.

— Вот, подлинник для вашего высокого начальника, а эта ксерокопия для нашего любимого обкома профсоюза.

— Что это? — не торопясь прочитать, спросил Геннадий Алексеевич.

— Это... это... — Лидочка на минуту запнулась. Но затем выговорила четко и как-то даже звонко: — Это медицинская справка о том, что я девственница, вот и все!

— Лидия Петровна, как это?.. — он не находил слов.

— Что, не верите? В мои двадцать пять такого не может быть? Может, — утвердительно повторила она.

— Ради бога, прости. Из-за меня такое вершить... Не стоит ведь и потом... — он не успел договорить.

Так же быстро и бесшумно, как и вчера, она выскользнула из кабинета.

1987 г.

Предприниматели

Перестройка заставила шевелиться многих. Вот и мы втроем: я, Дмитрий Петрович и Анатолий завели двух поросят в деревне. Нам удобно: с Анатолием работаем вместе, он мой коллега — учитель физкультуры, а Петрович — сосед, пенсионер, постоянный партнер по шахматам.

Сговорились с бабой Настей — дальней родственницей Анатолия, что она выращивает двух поросят. Одного нам, другого — себе. Дробленку достает для корма она, мы же для этого поставляем ей водку. Договор дороже денег. Так многие делают. И вот ситуация: под Октябрьские праздники привет от бабки Насти, письменный: «Приезжайте, с дробленкой худо, председатель навел порядок. Хорошо, что на дворе холода уже, оттого можно резать скотину и забирать свою долю».

Собрались мы на летучку вечером у нашего подъезда.

— Ехать надо в субботу, — говорит Анатолий, — чего тянуть. Закономерный финиш.

— А как резать будем? — спрашиваю.

Оказалось, что с этим делом никто не знаком, так, пона-
слышке кое-что знаем. Я предлагаю:

— Берем ружье, жикан и стреляем в ухо или чуть левее —
это наверняка, также берем с собой баллон с пропаном и резак.
Пропаном мы быстро опалим тушу.

— Не суетитесь, ружье, баллон. Миномет с собой возьмите —
может, надежней будет. Венька Яшунин — академик в этом
деле, я сбегая к нему и все дела. Прошлый раз я ему бутылку
дал — он обещал все сделать, — уверенно заявил Анатолий.

У него подход к сельскому труженику проверенный. На том
и решили.

Субботнее утро. Красота кругом. Ночью подморозило, но
с утра дорогу уже подразвезло, поэтому едем на «Москвиче»
Анатолия осторожно. Разговариваем о том, о сем, обо всем по-
маленьку.

— Дмитрий Петрович, — Анатолий с веселым прищуром
глядит на собеседника, — расскажи хоть, а то скучновато, как
воевал, ну как вообще на войне... мне твоя старуха говорит, что
ты крови видеть не можешь? На прошлые Октябрьские празд-
ники был весь в орденах, а в этот раз наденешь, а?

Петрович тусклым взглядом посмотрел на говорившего и не
спеша отреагировал:

— Тебе сразу на все вопросы отвечать или по порядку, как от
микрофона на съезде?

— Давай, Петрович, без регламента, на все сразу.

— Если на все сразу, то скажу: война — это не человеческое
дело, а дьявольское. Я когда на фронт попал — мне было всего
семнадцать лет... Так вот, идёт уже бой, мой первый. А я все не
верю, что буду в другого человека стрелять. Не верю и все тут!
И книги читал про войну, и в нормальной жизни я, вроде, все
понимаю, а представить не могу.

— Ну и как, стрелял?

— Стрелял, несколько раз бесприцельно, а в человека — не
довелось. И не знаю, смог бы я или нет. Я действительно кровь
не выношу.

Он помолчал и виновато сказал:

— Вы уж тут, ребята, как-нибудь без меня... того, с поросен-
ком. Я потом, когда палить, помогу...

— Ну, ты, Петрович, даешь, а с виду молоток. Откуда медали тогда?

Петрович, несколько не обидевшись, ответил не спеша:

— Так сколько потом праздников было, вот набралось.

Я впервые слышал от Петровича слова о войне, да ещё такие. Мы уже года два знали друг друга, когда-то съехались в один подъезд нового дома. Общались так: то в картишки перебросимся, то в шахматы. Никогда серьезно ни о чем и не говорили. Не знаю, как кому, а мне всегда казалось, что так легче общаться с соседями. Зачем в душу лезть?

Но Анатолий не может так. Он о самом сложном и больном готов напропалую, в упор, спросить и ждать ответа. Гвоздодер — это его в 5-а как назвали, так теперь вся школа и зовет.

— Ну, а кто же воевал? Не все же такие? — продолжал «дергать гвозди» физрук.

— Не все, были люди геройские.

— Были, — подхватил Анатолий, — были, но их давно нет. Они и погибали потому, что геройские.

— Может, так, но мой дружок Николай Манохин — герой и жив-здоров.

— Расскажи о нем.

— Нет, Анатолий, о нем долгий разговор, человек прошел на войне все, а после войны ещё и лагеря. Ворошить походя не хочется, вон уже и поворот на грунтовку.

Действительно, мы подъезжали к селу. Тут уже мне захотелось продолжить разговор:

— Дмитрий Петрович, если можно, о Манохине, коротко?

— Коротко? — переспросил наш собеседник. — Если коротко, то Николай — мой земляк, из Кинеля, вот он ничего не боялся. В начале 44-го года получил Героя Советского Союза, а через неделю гвардии рядовой Николай Манохин снял звезду Героя и положил на стол командиру полка.

— Добровольно?

— Нет, конечно. Наделал он шуму, будь здоров. Прошил автоматной очередью в упор в окопе своего старшину.

— Как так? — удивился Анатолий.

— А вот так, сволочь этот старшина был хорошая, измывался над ребятами. Те молчали до времени. Нарвался старши-

на на Николая. А на передовой свои законы. Ну, донесли сразу, нашелся такой среди нас. Манохин и не собирался оправдываться, хотя знал, что за это грозит вышка — командира своего застрелил. Но спасло то, что он Герой. Поснимали все награды — и на передовую. А ему, как черту, это и надо будто. Ничего не боялся.

— Сейчас где?

— После войны вновь набедокурил в своём тресте с начальством. Припомнили сразу все. Теперь после гулаговской жизни чахнет потихоньку. О войне всего не скажешь. В душе многое поменялось.

Приехали.

И началась проза сельской жизни. Все наши надежды на Веньку Яшунина лопнули, едва мы ступили на порог. У Веньки оказался очередной запой-загул, и он третий день «лежал в лежку».

— Да что вы, в самделе, здоровенные мужики, — дивилась баба Настя, — и не сможете одолеть хряка, диво эко... ей-бо, — и она, укоризненно оглядывая нас, добавила: — Как вас жены ваши терпят, нагольная интеллигенция... связалась с вами... К жизни неспособные оказались...

Нам не хотелось выглядеть «неспособными к жизни» в глазах бабы Насти, и мы деловито перебирали уже в который раз все варианты наших действий. Но баба Настя нас осчастливила:

— Т-п-ру, блудница, потерпи маленько, ишо напужаешь моих городских.

Мы застыли в недоумении: она въехала во двор, сидя в фургоне, запряженном старой, очевидно, чуть моложе бабки Насти, буланой флегматичной кобылой, к которой бабкино обращение «блудница» явно показалось нам преувеличением. Мы почувствовали себя ещё более неудобно и не к месту в районе разворачивающихся событий.

Настасья Ильинична пояснила:

— Венька маленько очухался и сказал, что за поллитровку все спроворит, но токмо у себя во дворе. Никуда он не пойдет, если надо, везите порося к нему.

— Ну конечно, какой академик будет ходить по дворам с ножичком? Извольте подсуетиться, господа, — съязвил Анатолий.

Петрович флегматично посапывал над разобранным сепаратором на верандочке. Мне показалось, что он тем самым увиливает от наших хлопот.

Наш главнокомандующий уже действовала.

— Тебе на вот, Анатолий, веревку, готовься.

— К чему? — дурашливо спросил тот и накинул веревку себе на шею.

— Ребята, репортаж с петлей на шее. Вас устраивает?

— Как только я выманю из клетки Борьку чашкой с дробленкой, не плошайте, мужики, вяжите его — и в фургон. — Баба Настя, казалось, начала сердиться на нас всерьёз.

Не буду говорить, что мы оправдали доверие бабы Насти своей сноровкой, но как-никак операцию «захват» исполнили. Правда, она стоила Анатолию заграничных брюк фирмы «Лемонти» — одна штанина снизу доверху была по шву разодрана, и теперь, когда Анатолий широко и воинственно шагал рядом с фургоном, эта штанина, как красно-зеленый флаг, развевалась за ним на осеннем ветру. Но Анатолия это не смущало, ведь мы все были приобщены к совершенно конкретному, хотя и непривычному делу. Это подтягивало нас. Из фургона доносилось похрюкивание Борьки, и нельзя было точно установить — было оно умиротворенное или угрожающее. Все — непривычно, и можно было ожидать всякой внезапности, поэтому мы не расслаблялись.

Ворота, которые, очевидно, не открывали с времён Второй мировой, когда мы вынули железный мощный засов, осели и, оказавшись непомерно тяжелыми, оставляя жирный след в сырой земле, как циркуль, выписывали полукруг под нажимом двух довольно дюжих умельцев. Въехали во двор. Он был пустым. Цепь на двери в избу была заброшена на большое ржавое кольцо без замка, но весьма убедительно.

«Академик» появился из подвала. На Веньке была телогрейка, надетая прямо на синюю майку. Из кармана военных галифе торчала бутылка водки, заткнутая бумажной самодельной пробкой.

Во всем облике Веньки не было ничего необычного. Разве ж глаза — светло-голубые, ясные и как бы невидящие, обращенные в никуда. Странные глаза. Но к ним, наверное, здешние все привыкли уже.

— Давайте, ребята, вон туда, на ровненькое место сгружайте, я сейчас.

Мы, откинув задний борт, начали двигать вальжного Борьку к краю. И тут произошло то, чего никак все мы, очевидно, и баба Настя, не ожидали.

Борька вдруг взвизгнул и стал судорожно биться в наших руках. Зафонтанировала кровь. Это тихонький и светленький наш Венька, невесть как оказавшийся в сутолоке у задка фургона, среди нас, неожиданно проворно, ловким коротким движением вогнал поросенку огромный нож под левую переднюю ногу и вращал его слева направо. Упавшая туша крепко придавила мне ногу, и я не сразу отозвался на вскрик бабки Насти, когда же оглянулся вправо, увидел обмякшего Петровича, лежащего на голой земле с совершенно отрешенным лицом, обращенным в небо; левая рука его была вся в крови.

— Боже, его-то за что? — мелькнула несуразная мысль в тот момент событий, слипшихся в сознании воедино, когда захрипела кобыла и рванула упряжь на себя, когда Анатолий с перекосенным лицом бросился хватать её под уздцы, чтобы вывести на улицу.

— Нюра, Нюра, нашатырь давай, быстрее, обморок у мужика, — бабка Настя кричала соседке, смотревшей через низкий забор это бесплатное кино, а сама уже брызгала проворно большой и темной ладонью воду из ведра Петровичу в лицо.

— Я же говорил, ребята, что не могу видеть кровь, — это были первые слова, которые произнёс виновато Петрович, чуть позже пришедший в себя.

Его повели к соседке Нюре отлеживаться, и на одно действующее лицо во дворе стало меньше.

— Ты что же не предупредил всех, начал резать без подготовки, спяну, что ли? — Анатолий вцепился взглядом в Веньку.

— Дык ты что? Вы же сами просили, бабка Настя приходила раза два, — он деловито обтер травой нож и бросил его тут же на скамейку, достал поллитровку, зубами вынул пробку и сделал два глотка.

— Не предупредил, без подготовки? — странные вопросы. Мне что, артподготовку надо было организовать, что ли? Мужики, это же поросенок, а не боевая точка противника.

— Венька, ты хулиган! — твердо и внятно произнёс Гвоздо-дер, распрямившись и встав во весь рост на своих пружини-стых ногах.

Я понял, что в воздухе запахло горячим, и поторопился остудить атмосферу:

— Мужики, где же солому брать?

— Да вон у фермы она. Идите и берите, сколько надо. Когда опалите поросенка, позовите меня, — великодушно простил нас Венька. Махнув вяло рукой, растворилось в акациях на улице.

До фермы было километра полтора, и это обстоятельство меня всерьез удручало.

Но вернулась баба Настя, сказав, что Петрович пьет чай у соседки. Потихоньку разговаривает. На душе полегчало.

А, когда она скомандовала Анатолию садиться в фургон и ехать за соломой, чтоб враз привезти, сколько надо, все как-то встало на свои места.

От её зычного, крепкого голоса флегматичная кобылка по-шла ходко, повинувшись волевой хозяйке, и вскоре они скрылись в дальнем переулке.

Я сидел на бревне около большой белой туши и, то ли в оправдание своё, то ли — всей нашей безалаберно устроен-ной жизни, думал о том времени, когда каждый человек будет делать своё дело, и это каждое дело будет, может быть, ор-ганизовано как-то лучше, умнее, грамотнее, просто цивили-зованнее, а не так глупо и бездарно, как сейчас. Может, мы все же перестроимся хоть когда-нибудь, чтобы делать все по-человечески, а?

1988 г.

Дальнобойщик

— Что, блин, рассусоливать? Любовь— любовь!.. Если она есть, то есть! А нету — ищи ветра в поле.

Я — дальнобойщик. Вернулся домой, а она мне подарочек приготовила:

— Все, Коля, не нужны мне никакие твои денежки. Не жена я тебе больше. Ушла от тебя, с другим живу. Мне муж нужен,

а не эти твои: приехал-уехал. Как морячка. На фига мне твои подарки, квартира?

Сгоряча разговоры разговаривать начал, а потом думаю: «А мне на фига это, если она уже полгода с другим живет?» Половину вещичек своих к нему перетащила, а я и не заметил.

Ушёл сам, без скандала. Квартиру оставил — с ней же наш сын Ванька. У меня вторая однокомнатная есть. Небольшая, правда, но... перетрусь.

Запил, было, сначала. Один же! Что делать?

Скоро в рейс снова, как быть? Задача! Думал, думал — ничего путного в голову не идёт. Мне что? В сорок лет по диско-текам подругу искать? Или в клуб «Кому за 30», в нафталине копаться? Не для меня. Один мой приятель по Интернету себе нашел подружку — приехала такая горилла, еле через месяц выпроводил.

Ничего не придумал я. А тут из магазина с продуктами выхожу, смотрю: очередь на троллейбус. Ага, приличная такая очередь на остановке. Жмутся все, холодно. Одни женщины — как будто кто нарочно так сделал для меня.

Мысль у меня высеклась. Подошёл к середине очереди и бабахнул прямой наводкой, открытым текстом:

— Женщины, дорогуши! Посмотрите на меня: ну я ж нормальный! Руки, ноги — все при мне, не дефектный какой! Зарабатываю неплохо. Выпиваю так себе: от случая к случаю. Есть недостаток: рейсы длинные, надолго уезжаю. Но это же профессия! Мужикику работать надо!

— Че тебе надо-то, сердешный? — спрашивают из толпы.

— Жена нужна, — отвечаю, — искать некогда мне, через два дня в рейс. Кто смелая — соглашайтесь!

— А прежняя где? — спрашивают.

— Нету, не выдержала моей профессии! Ушла. А квартира есть, — отвечаю. — Бить женщин не умею. Не гуляю.

Какая-то пухленькая дамочка объявила то ли в насмешку, то ли всерьез:

— Бабоньки, так это ж почти идеальный жених!

В толпе засмеялись, так, по-доброму. И тут вышла одна, невысокого роста, черноглазая:

— Я согласна.

И мы пошли ко мне. Как пришла — так два года уже живем. Маша разведенная была. Расписались, обвенчались. Судьба.

Сыну Егору полтора уже. За вторым пошла, УЗИ подтвердило. Все по науке. Решили Ванькой назвать. Так Маша хочет. Не могу возражать. У меня два сына Ваньки будут. А!

Такая она любовь-морковь.

2005 г.

Грушенька

Так хотелось, чтобы в моём саду росли груши. И вот наконец-то я посадил две красавицы. Трехлетки. Крепенькие и стройные такие. Одна из них — Куйбышевская золотистая. Сорт другой до сих пор не знаю. Её подарил приятель, которого сорт мало интересовал. Хотелось сделать подарок, он и сделал. Мы стали звать второе деревце Грушенькой.

Было это лет десять тому назад. Теперь та, которую приобрел я, стала большим раскидистым деревом, со свисающими ветвями. Она плодovита. Её удлиненных, бутылочной формы, желтых с небольшим румянцем плодов так много, что кажется, их больше, чем листья. Ветви её свисают над головой, образуя зеленый навес. Под этим навесом мы поставили круглый столик и шесть стульев. Моим домашним нравится собираться здесь. На свежем воздухе да в надежном тенечке — что может быть лучше?

А у Грушеньки судьба сложилась по-иному. Уже через два года она была выше меня. И немудрено. Близость Волги, обилие света, благодатная почва и своевременный полив вершили своё. Обрезая ветки, я старался, чтобы она, в отличие от своей соседки, была стройной, не развесистой. Так мне захотелось. И деревце тянулось, отзываясь на такое моё желание.

Все ждал, когда деревца зацветут. Я в то время напряженно работал на заводе и вечерами, вырываясь на свою дачку, оттаивал в кругу своих зеленых подружек, в числе которых, кроме груши, были и яблоньки, и сливы.

Сильно начало тянуть к земле!

А вскоре случилась беда.

Однажды я обнаружил у Грушеньки, на совсем небольшом расстоянии от земли, врезавшуюся в ствол синтетическую тонкую бечевку. Когда-то, сажая маленькое деревце, я привязал его к кольшку. Кольшек я потом убрал, а колечко из бечевки осталось. Груша продолжала расти, бечевка, окольцевав ствол, оказалась в её теле. Чуть припухшая в этом месте кора скрыла её от глаз. Петля, как острая пила, по окружности подрезала молодое тело.

Грушенька с самого начала её жизни в моём саду была обречена. И виновным в этой беде оказался я. Выдернуть бечевку я не смог, она глубоко сидела в древесном теле. Будь петля не из синтетического материала, она бы просто сгнила. Эта же оказалась смертоносной для дерева. Чем ствол становился толще и ветвистей выше петли, тем острее была опасность того, что деревце будет перерезано и та часть его, которая выше петли, рухнет.

Я будто оказался около пораженного неизлечимой смертельной болезнью больного, готовый перенять у него боль и страдания. И не способный сделать это. Я не заметил, как стал, сидя рядом на скамейке, разговаривать с Грушенькой. Кого я утешал больше в такие минуты: себя или её? Сразу и не скажешь.

Страшное различие в диаметрах ствола деревца ниже удавки и выше неё за лето сильно усилилось. Сужение в месте перехвата становилось препятствием для роста Грушеньки. Ей не доставало соков земли. Я взял стамеску и в двух местах, углубившись в кору, перерезал бечеву, но результата это не дало.

В августе она начала желтеть и вскоре надломилась ровно по кольцевой канавке, очерченной бечевой. Все случилось так, как я в тихом отчаянии и предполагал.

Не трогая веток, не обрубая их, я целиком отнес деревце на кучу валежника в недалёком леске. Там Грушенька пролежала на виду до самого снега. Проходя мимо, я не мог спокойно смотреть на неё. Её стройное тело было видно издали. На темной куче валежника она странно мерцала матово-желтым неживым светом. Потом её занесло снегом.

Зимой я часто вспоминал Грушеньку, винил себя за досадную промашку.

А весной случилось чудо.

Из единственной почки на оставшемся невзрачном пеньке развился побег.

Я возрадовался! Появление побега было как бы моим неким оправданием и надеждой, что деревце все же вырастет, что я не загубил хрупкую жизнь. Не пресекалась веточка жизни...

За счет крепких родительских корней побег развивался бурно. Я усердно следил за кроной, едва успевая делать обрезку. Даже летом обрезал ветки, настолько Грушенька торопилась в росте.

Сильно меня беспокоило место сочленения старого ствола и нового. Была некая, по моему разумению, опасность в этом разветвлении. Ветром могло расщепить его.

Все образовалось само собой. Новый ствол так быстро рос, что на четвертый год пенечек пропал в крепком теле молодой груши. Оно его вобрало в себя. И в этом мне увиделся особый смысл.

В мае Грушенька зацвела.

Впереди было лето, и я задумал поменять трубу у баньки. Один из помогавших мне приятелей оступился на крыше и не удержал скользнувшую вниз металлическую лестницу. Она со всего маху обрушилась на Грушеньку.

Приятель тоже упал. Ему повезло: получил ушиб колена и легкий испуг. Грушеньку тяжелая лестница расщепила пополам. Половинки дерева повалились в разные стороны.

Когда я пришел в себя, ничего не оставалось делать, как спилить её, чуть ниже того места, где она раздвоилась. Место спила, большой такой белый пятак, замазал, как положено, садовым варом.

Я все надеялся, что будут побеги. Лето ещё впереди! Подходил к пеньку, на метр торчавшему из земли, и все высматривал: не появились ли? Мне так хотелось, чтобы именно Грушенька возродилась на этом месте. Другое дерево посадить? Я об этом не думал.

Но побегов так и не было.

Потом приехал мой внук. Осенью мы сделали из сосновых желтеньких досочек в виде домика веселую кормушку для птиц. Поставили её на оставшийся от груши пенёк и прибили гвоздем. Получилось замечательно.

Прилетали в наш трактирчик подкрепиться и воробьи, и си-

ницы, и даже прикочевавшие издалека, гонимые холодом, красивые свиристели. Радоваться бы! Внук и радовался! И не догадывался спросить: что это за пень, на котором так ладненько расположился птичий трактирчик?..

Не знал, что это груша. Он её никогда не видел. А я и на следующую весну все надеялся, что появятся побегов. Но этого не случилось.

Теперь, став с годами суеверным, я думаю: может зря мы приспособили кормушку на Грушеньке? Не поверили ей. В её возрождении усомнились. Лишив своей поддержки и веры — лишили её жизни. Все как у людей?!..

Или это у меня старческое?

2005 г.

Беглец

Те, кто ездил лет пятнадцать назад на поездах, знают, как порой доверительны бывали в разговорах попутчики. Дорога длинная, собеседник во второй раз вряд ли встретится — это облегчает сближение, можно выговориться. Иногда такое откроется в разговорах!..

Теперь особенно в пути не разговоришься. Скукожился народ. Но исключения бывают. Я уже три дня как вернулся домой, а встреча с моим необычным попутчиком продолжает волновать.

* * *

Из Москвы в четырехместном купе я ехал один. В Рязани вошел старик. Провожала его шустрая розовощекая женщина лет сорока. Она как-то быстренько ушла. Видно было, как проводная обрадовалась своему облегчению. Старик, я понял, плохо видел и был такой ветхий, что забот, очевидно, с ним предостаточно. Намаялась.

Мой попутчик начал потихоньку располагаться.

Был уже вечер. Все шло своим чередом. Я вышел из купе. Когда вернулся, он лежал в заметно поношенном синем спортивном костюме, отложив в ноги аккуратно свернутое серое одеяло.

Лицо его, обращенное к потолку, показалось мне сильно бледным... Я, ещё когда он только появился, заметил, что правый висок его и резко обозначенная скула в больших пятнах запекшейся крови. Сейчас эти пятна были обращены ко мне.

Мне стало не по себе. Стараясь не смотреть на старика, развернул газету. Захотелось пить. Я попросил проводницу принести нам чаю. Когда он приподнялся и сел за столик, его лицо оживила улыбка:

— Всё-таки получилось! Едем!

Я выжидательно посмотрел на него.

— Ото всего разом убежал! А они говорят, что я старик!

Я не торопился с вопросами, почувствовав, что попутчик сам разговорится. Так оно и получилось...

Мы напились чаю. Улеглись в постель. А беседа все текла.

Разговаривали мы с Иваном Ивановичем до двенадцати ночи, пока я не объявил отбой.

Говорил он раздумчиво, тихо. Чаще всего конкретно, без обобщений.

— Невмоготу стало, жил как в колодце. Перед окнами пятиэтажка с облезлыми желтыми стенами. Весь белый свет закрывала. Слева между домами одна только береза стоит. И у той верхушка обломана. Вот и все радости.

А я простор люблю. Всю жизнь меж людей по степи колесил с бригадами. Прикипел к делу.

— А теперь?

— Телевизор смотреть не могу, читать газеты — тоже. Внуков в Рязани нет.

— А что с глазами? — спрашиваю.

— Глаукома, — последовал ответ, — сделали операцию на левом глазу. Поздно. Не спасли. Остался годный один. И на него перешла болезнь. Теперь и правый еле-еле видит. Читать даже с лупой не могу. А тут, — он потрогал наросты запекшейся крови у глаза, — упал, когда ходил к глазнику. Ноги уже не те. Лед кругом. Только с третьей попытки попал в больницу. Сто рублей леваку дал, он подвез.

Врач порадовать ничем не смог: и второй глаз становится совсем не годным. Ещё этот ушиб...

— И куда едете с таким зрением?

— Лечиться, в Самару!

— Зачем же в Самару? Ближе — в Москве, там известный глазной центр Святослава Федорова.

— Не-е, — протянул он, поправляя одеяло, — я, если точнее, не в Самару. У меня другое...

Я ведь был уже слепым, в детстве. В четыре года ослеп.

— Как такое могло случиться? — недоверчиво спросил я.

— Так и получилось. Сильно простудился. Вылечили, но пошло осложнение — стал непорядок с глазами. Мама возила на санках в больницу. Каждый раз мне там закапывали в глаза лекарство, ещё что-то делали.

И вот однажды, когда врач провожал сына в армию, (был уже второй год войны), новенькая медсестра перепутала и закапала мне в глаза совсем не те капли. Не глазные. Они, врачи-то, сами спохватились. Положили меня в больницу, но бесполезно. Через какое-то время выписали из неё совсем слепым.

Он замолчал. Не сразу продолжил:

— И что делать матери? Я до сих пор не могу понять, как она, бедная, выдержала: идёт война, муж не знай где. Теперь я ещё слепой.

...Кто-то ей подсказал из мудрых людей: она пошла за семь километров в село, где был действующий храм, и окрестила меня.

— Помогло?

— А вот слушайте дальше, если хотите...

Стала мама по бабкам да знахаркам мыкаться.

Зима миновала. Чем только она меня ни лечила! Бесполезно! И заговоры разные, и настой голубинового помета — не помогало.

Один старик в дальнем посёлке посоветовал ей сделать настой из дождевых червей.

Накопал в огороде мой дядька Сергей стакан червей (дело было в мае), промыли их хорошенько. Не помню: мать добавила, по-моему, она говорила, одну чайную ложку сахара, поставила на солнышко. Когда содержимое расслоилось, процедила через марлю. Капала по несколько капель три раза в день.

— Неужто вылечились?

— Как видите. Зрение вернулось. Глоукома-то привязалась на седьмом десятке уже.

Спас меня тот старик. И имени его не знаю, всю жизнь жалею. Правда зрение всегда было неустойчивое. То снижается, то к норме идёт.

Мы ведь какие тогда, сельские, были: нам либо море, либо небо подавай!

Рвались в неведомое. Мечтал и я. Но куда мне такому?

Время пришло, закончил Сызранский нефтяной техникум. И проработал около тридцати лет мастером по бурению разведочных взрывных скважин.

Он на некоторое время замолчал. Я впервые слышал о таком бурении, поэтому тут же заинтересовался услышанным. Он охотно пояснил:

— Топографы намечали нам место бурения, профиль. Мы бурили. Закладывали в скважины взрывчатку, заполняли водой. Импульсы ударных взрывных волн фиксировали сейсмостанцией и потом обрабатывались геофизиками.

Семьдесят процентов — таков результат попадания на нефть или газ. И не надо было для разведки бурить глубинные скважины.

— А на сколько вы бурили?

— На десять-двадцать метров глубины. Но были такие установки УРБ-2а — можно было и до ста метров. Данные затем передавались для глубинного бурения.

Работал на земле, а желание летать так и не прошло. И сейчас помню летную школу, которая у нас в селе была...

...Тогда всю Самарскую область я с бригадой исколесил вдоль и поперек. А теперь все, что разведали: и добычу, и переработку в стране — к рукам прибрали те, для кого это как трофей. И отношение к этому трофейное.

Упрямо глядя в стол, спросил:

— И мы не боимся, что они профукают, либо продадут, все за бесценок за границу! С чем останемся? Им что? Горбачились другие...

«Сейчас начнет олигархов чистить. Это будет надолго», — подумалось мне, и я спросил:

— А что же та медсестра? Вы так с ней и не поговорили потом? Ведь она, сделав ошибку, как бы определила всю вашу дальнейшую жизнь. По крайней мере, профессию.

— Вышла замуж и куда-то из села уехала. Я всю жизнь

ждал встречи с ней. Но где она, кто ведает? Мне всегда хотелось узнать, как это она умудрилась перепутать капли? И что закапала?

И вот свершилось! Как в кино, через столько-то лет. К дядьке Сергею пришел, года три назад, его приятель, прибывший из Самары, и сказал, что у него есть друг, теща которого и есть та самая медсестра. Живет она в Сызрани, ей уже девяносто лет. Она как-то обо всем рассказала своим.

Сергей прислал мне в Рязань письмо с адресом её места жительства.

— Съездили?

— Нет, — вяло ответил старик.

— Почему?

— Неинтересно стало. Ничего уж не поправишь. Зачем? И потом она сама, наверное, напереживалась, а тут я ещё. Явлюсь к ней, у неё сердечко не выдержит, брыкнется...

Он приподнялся, и я вновь увидел его оживившееся лицо.

— Тут вот какой поворот! Я часто врачам-глазникам рассказывал про лекарство из червей, про народное это средство. Все слушали, пожимали плечами...

И вот один разок попался мне врач. Фамилию запомнил, известная — Ворошилов. Толковый такой. «Народный-то народный, но этот рецепт описан ещё древним ученым Авиценна Ибн Сина», — сказал он мне. Меня это удивило. Представляете? Сколько лет в народе лечили таким лекарством! Забыли, кто придумал. А оно есть и лечит. Вот это ученый!

— Ну а сейчас-то какая цель вашей поездки?

— Не цель — у меня программа! — уточнил мой попутчик, — Первую часть я, кажется, выполнил.

— И в чем она? — спросил я.

— Побег совершил — вот в чем!

Сын и сноха не отпускали. Я знаю, они меня любят. Ну, уважают крепко. Но у меня-то своё...

— Так та, розовоцекая? Она не ваша сноха? Которая провозжала.

Он рассмеялся тихим смехом:

— Нет, конечно. Она — сообщница. Почтальониха. Я ей заплатил немножко за страх. Она слепого меня и посадила в поезд. Билет она же купила. Долго не соглашалась на провока-

цию. Донял — сдалась. Ключ от квартиры в почтовый ящик положили.

- А вторая часть программы? — спросил я.
- Хочу попробовать вылечиться от слепоты.
- Где? В своём селе?
- Да, именно в нем.

Мне врач Ворошилов говорил, что тот рецепт, по которому меня вылечили в родной сторонушке, как раз помогает при глаукоме. Я запомнил. И потом — неспроста мне в детстве повезло. Теперь только открылось: силы твои там, где родился, где мать-земля родная. Все в ней! И в божьей помощи! В нашем селе, куда еду, храм восстановили...

Я невольно посмотрел на собеседника. Иван Иванович повернул ко мне лицо с прикрытыми веками. Оно было похоже сейчас на античное. На те, что у древних скульптур. И эти его такие слова...

Старик мне показался современником Авиценны. Мы нынешние, суетливые и неуспевающие, мелковатыми теперь смотрелись...

Я не удержался:

— Тогда в детстве была война, от села до города — сто километров. Безысходность. Вот и хваталась ваша родительница за любую соломинку. Может всё-таки лучше в столице лечиться? Либо в Самаре?

Он не сразу ответил. Нашарив кнопку, выключил ночник. Слова его прозвучали тихо, но внятно:

— Останусь у внучки. Дом окнами в степь смотрит. Море света. В юности о небе мечтал! И теперь душа простора просит...

Мне показалось, что, замолчав, он начал засыпать. А он спокойно сказал:

— И потом... когда случится то, что всем нам уготовано, похоронят там, где зачиналась жизнь, на родной сторонушке. А так, останься я в Рязани, мороки будет с перевозом... Решил успеть... своим ходом, пока могу...

На утро мы проснулись поздно. Объявили Сызрань. Я начал собираться.

Старик сидел, глядя в окошко. Мне показалось, что между нами ни с чего возникло некое отчуждение. Но потом, когда он заговорил, все стало ясно.

— Так хочу увидеть Волгу, соскучился.

Когда женился, жил сначала в Ширяево, потом в Рождествено. Какие села! В Ширяево бывали Репин, Левитан. Вы знаете?

— Да, — подтвердил я. И не удержался, — это ещё и родина поэта Александра Ширяевца, друга Есенина.

— Скажите мне, — он оторвался от окна, — почему сейчас таких людей нет, не стало?

Я не знал, что сказать. А он и не ждал ответа.

— Не прозевать бы, — произнёс старик.

Я видел: он волновался, ожидая встречи с Волгой.

— Будет остановка, мне сходить. Потом — мост через реку, увидите её, — мои слова, кажется, его успокоили чуть-чуть.

— Хорошо бы, — отозвался старик.

Я спохватился:

— Может, адрес свой дадите? Помочь чем-то... Мало ли чего бывает.

— А что может быть? — услышал я в ответ, — меня внучка Варька встретит. Все по плану идёт. Живите счастливо, у каждого своё...

— Я положил в карман вашего пиджака свою визитку.

Он промолчал. Очевидно, не понял, о чем речь.

Когда я уже оказался на перроне, помахал ему рукой. Он не ответил. Не узнал меня через оконное стекло, хотя я стоял всего метрах в пяти от вагона.

...Промчался последний вагон поезда, уносившего ещё вчера совсем не известную мне жизнь.

Я все стоял.

Меня никто не встречал, и мне некуда было торопиться.

2006 г.

Сомятник

Едва я отошел от костра к воде, чтобы умыться, увидел рыбачка. Сидит себе на бревне у самого края завала посреди речки маленький круглолицый мужичок лет сорока. В соломенной шляпе, аккуратный такой. У ног его две удочки. А ниже — большой омут, который мы ночью не видели. Сидит тихо. Место уж

больно привлекательное. Только приглушенно урчат большие воронки, выдавая глубину.

Взяв спиннинг, стараясь не шуметь и не оступить на скользких бревнах, подошёл к нему.

Не успел я заговорить, как довольно толстый конец одной из его удочек ушёл под воду.

Не торопясь, рыбачок подсек. Не опасаясь обрыва, дотянулся до лесы и стал, как на мотовило, наматывать её на руку. Руки его были в кожаных потрепанных перчатках.

— Леска у меня один миллиметр толщиной, Ему не оборвать, — пояснил деловито.

Он подвел под рыбину большой самодельный черпак.

— Ловко вы его, — не удержался я. — Кэгэ на три будет.

— Будет, — прозвучал ответ.

Оказалось, что таких сомят у него в мешке, прижатом бревном, уже два.

— На вот, — он протянул несколько дождевых червей. — Насаживай прямо на тройник у блесны и бросай.

Я соорудил насадку и попробовал укрепить удилица меж бревен.

— Надежнее воткни, утацит, — вполголоса посоветовал рыбачок.

Я послушался его.

Мы поймали по одному соменку. Он — такого же, как и предыдущий. Я — чуть меньше и рад был беспредельно.

Глубина ямы здесь, по его словам, до девяти метров. Приехал сюда на рыбалку Андрей на велосипеде из Сорочинска, где гостит у матери. Живет и работает в Оренбурге. По профессии — сварщик.

— Не могу летом без Самарки, к матери и к Самарке каждый выходной почти приезжаю. Эти места мои, с детства.

Вскоре он стал собираться.

— Хватит. Клева больше не будет, я с пяти часов здесь.

Подошёл Юрий, с которым мы сплавляемся по реке в резиновых лодках.

— Рыбка-то есть? — спросил он, поигрывая красивым и, по моему, не опробованным ещё спиннингом.

Лицо его, заросшее густой рыжей щетиной, сейчас было самым примечательным в нем. Походил он на какого-то сказоч-

ного персонажа. Будто специально придумано неким художником и собранно воедино: тельняшка, ладненькая куртка, брюки защитного цвета и большие, явно великоватые кроссовки. Глаза — синие, большие, широко открытые. Они поражают своим детским светом.

Рыбачок, видимо, уже освоился, понял, что мы не опасны. Повернув голову от полиэтиленового шевелящегося мешка с рыбой, который он собирался завязывать, поинтересовался, будто не слышал вопроса

— Лицо... того... красное какое... ошпарил, что ли?

— Да видишь, — доверительно признался Юрий, — не было со мной такого раньше: комары и занозы полюбили меня. Пухнет лицо от укусов. Не бреюсь, все равно жалят. Голова от укусов страшно болеть начала.

— А мазь? — спросил Андрей.

— А что — мазь? Они к ней привыкли, зверюги!

— Попы поют над мертвыми, а комары — над живыми, — утешил Андрей.

Увидев мою добычу, которую я, держа на кукане, прятал за спиной, Юрий сделал круглые глаза:

— Ты поймал соменка?

— Да, вот сейчас.

Он уперся взглядом в шевелящийся мешок с рыбой.

— Ну, вы, мужики, даете!

Отложив в сторону спиннинг, он левой рукой поддерживал край мешка, правой тронул за ус одну из рыбин.

— На червя? — деловито спросил он.

Андрей не спеша ответил:

— На пучок дождевых, штуки три-четыре на двойник сажаю и — хорош! Первый раз, что ли, видишь сома так близко?

— Э-э-э, ошибаешься, молодой человек, — сказал Юрий и выпрямился, передав край мешка Андрею. — Я на Волге вырос! Обижает!

— Ну и что? Видел я некоторых. На Волге живут, а червяка на крючок не могут насадить. Один разок у моей мамы такой квартировал, только молоко козье пил да книжки читал. Шкет такой...

— На квок сома можешь ловить? — небрежно спросил Юрий.

— Слышал, но не довелось.

— А на воде живешь ещё. Деревня.

Парень не обиделся.

— Посмотреть бы, тогда оно, конечно...

— А зачем тебе, — вступил я. — У тебя и так все отработано. Без добычи, как я понял, не бываешь?

— Не-не, — возразил рыбачок, — сам процесс тоже очень важен.

— Процесс вот какой, слушай... — Юрий, нащупав в разговоре особое своё место, преобразился с полуоборота: — Квок — это такая штука, которой лупят по воде для привлечения сома. Он думает, что его так зовут к завтраку его сородичи. А возможно, кумекает что-то другое — наукой не установлено. Но факт: идёт он на этот звук! Лодка должна быть деревянная, другие, резонируя, издают непривычные звуки, и сом пугается. Лупить надо так, чтобы лодка тряслась.

— А как квок сделать? — поинтересовался Андрей, закуривая и присаживаясь на лесину.

— Квок? — переспросил Юрий и молча потянула руку за сигаретой к Андрею.

Тот с готовностью подал курево. Потом ловко кинул коробку спичек, и Юрий так же ловко её поймал.

— Квок лучше купить, их сейчас продают. Конечно, «сомовку» можно сделать из чего угодно, хотя бы из надвое разрезанной пластиковой бутылки или стакана. Но самому сложно попасть на удачную конструкцию. Это что-то наподобие «ноу-хау».

— Сам-то рыбачил? — поинтересовался я осторожно.

— Мои деды так рыбачили. Отец рассказывал, и я рыбачил.

Рыбалки лучше, чем в дельте Волги, нет. Там водится до шестидесяти видов рыб. Некоторым везет. Я видел: на квок ловят сомов до десяти пудов весом.

Мы слушали. Он продолжал смаковать:

— Звук образуется при выходе квока из воды. Длина ножа квока должна быть не менее двухсот двадцати миллиметров, ширина — от двух до шести миллиметров, смотря из какого материала: дюраль или дерево.

— Ловить-то на наживку? — уточнил Андрей.

— Конечно, — подтвердил Юрий неторопливо. — Он же хватает все: от утят до червей, ты знаешь.

— И лягушек, — подсказал я.

— Во! Лягушка для него — лучше всего.

— Я попробую обязательно в этой яме на квок, — загорелся наш новый знакомый. — Нож у квочка делать деревянный или металлический? — уточнял он, обращаясь к Юрию.

Основательность ответов Юрия меня изумляла.

— Если металлический, то лучше брать титан, а деревянный — березу.

— Юрий, — не утерпел я, — ты так много наговорил, а я не понял, как устроен квок.

— У костра за чаем растолкую, малограмотным, — пообещал новоявленный сомятник.

«Странно, — думал я, когда мы, расставшись с Андреем, возвращались к костру. — Юрий так много знает, но порой обнаруживает удивительную непрактичность».

Вчера, вручая мне вентерь, который купил года два назад, он прочел мне целую лекцию о том, как его ставить.

Я спросил тогда:

— Юра, ты когда-нибудь сам это делал?

— Ты знаешь, — нисколько не смутившись, ответил он, — ни разу в жизни. Руки не доходили, но так попробовать хочется.

2007 г.

Косуля на красном снегу

Оказался я в этой рыбацкой компании, можно сказать, случайно. И, скорее всего, эта история не была бы рассказана, но мой приятель Алексей, пригласивший меня порыбачить, пустил среди своих друзей по кругу с месяц назад мою тоненькую книжку рассказов. И теперь я чувствовал интерес ко мне. Не каждый день с писателем на рыбалку ходят.

Высоченный, со спокойными манерами, пенсионер Андрей Павлович пару раз терпеливо помогал распутывать мне «бороду». И каждый раз жалел, что не взял второй свой спиннинг с безынерционной катушкой. Стодился бы для меня. Мою приерженность к старой инерционной он раскритиковал, но дели-

катно так, когда мы были одни. При этом называл меня только по отчеству, без имени. Он-то и начал, когда мы уселись вокруг котелка с наваристой ухой, свой рассказ.

— Владимир, мой сосед по даче, давно приглашал меня поохотиться на кабана. Я все отнекивался.

— Правильно! — подал голос самый молодой из нашей компании, Геннадий, и добавил смешливо, — мово другана, одно-ва чуть не поддел хряк за одно место. Увернулся. Откажешься, пожалуй.

Все промолчали.

Умолк и Геннадий.

Андрей Павлович продолжил:

— Не очень-то мне нравилась его компании. У них какие-то свои дела с районными властями. Там бывшие заводские охотугодья огромнейшие. Теперь все распалось, но дичь и зверье есть. Друзья его молодые, азартные, а охотники никудышные. Никогда не занимались охотой. А теперь это как поветрие.

Накупили новые ружья. Владимир купил пятизарядную «вертикалку».

А я лет двадцать уже на охоту не хожу. Но ружье держу. Старенькая тулка двенадцатого калибра. Когда-то был страстный охотник. От запаха паленого пыжа и сейчас шалею.

Когда после сорока зрение стало садиться, уже не то стало. Какой стрелок, если мушки не видишь? В очках не привык никак. То потеют, то слетают.

Кое-что рассказывал Владимиру про охоту, он и привязался: поехали да поехали. А я, наверное, постарел изрядно. Не только из-за плохого зрения забросил охоту. Стыдно стало. Противоестественно выходить на живое с ружьем, да ещё многозарядным.

Ладно бы в голодный год, есть нечего, а то просто для забавы убивать...

— Зачем же, спрашивает, ружье держишь, если не ходишь на охоту?

— Так, чтобы было, — отвечаю, — я и оформил его без права ношения, только — хранения. Охотиться с ним не могу.

— Ладно, — смеется. — Кто нас проверять-то будет? Там в районе у нас все схвачено. Поехали, а то можно подумать, что кабана боишься.

Ну и загорелось во мне прежнее. Никогда на кабана не охотился. Зуд нашел.

Рассказчик встал, степенно прошелся к общей куче с рюкзаками. Начал рыться в своём. Вернулся с сигаретами.

Все выжидательно молчали.

Андрей Павлович уселся, не спеша, на прежнее место. Разговор продолжать не торопился. Было видно, что рассказывает не из желания удивить слушателей. Заново переживал случившееся.

— Ну, поехали с ними? — не выдержав, спросил Геннадий.

— Поехал, — отозвался рассказчик. — Добрались до домика егеря. Рядом два вагончика стоят. Из одного дым коромыслом. Рядом — снегоходы, сани. Лошади фыркают. Все основательно так.

Сразу у них не заладилось. Отложили охоту на следующий день. Выяснилось, что лицензии на кабанов нет, завтра привезут на косуль. Мне стало не по себе. В косулю я стрелять не хотел. Ладно, думаю, как-нибудь от выстрела уклонюсь.

— Андрей Павлович, зачем же вообще ехали на охоту?

— Я же говорю: кабан не косуля. Сильный противник. Азарт возникает! Сила на силу!

— Да ладно вам! Какая сила? Вы с ружьем, а у него одни клыки... Не на равных...

— Оно, конечно, — стушевался рассказчик.

— Генка, не мешай, — урезонил его розовощекий Василий, — что ты как осенняя муха.

Андрей Павлович продолжил:

— Значит, отложили охоту на завтра, а что делать сегодня? Решено было посидеть, хорошенько поужинать. А до того пострелять. Говорят, у всех ружья новые, надо привыкать к ним.

Для меня было дико, когда начали палить по бутылкам. Видно стало окончательно, что за охотнички собрались. Тут-то я и пожалел, что согласился на поездку.

Влет ни в одну бутылку из них никто не попал. Привязались ко мне, что есть сил. Суют ружья. Сходил в вагончик за тулкой своей. Нельзя, думаю, опростоволоситься. Буду стрелять на вскидку, как в чирков.

Ну, сшиб я подкинутые вверх одну за другой две поллитровки. Всеобщее ликование. Пошли в тепло пить за моё здоровье. Как ребятишки. Вырвались на волю...

На следующий день кто на снегоходах, кто с загонщиками на санях двинули в дальний березняк. Развели по номерам.

Слева от меня, метрах в двадцати, совсем молоденький, но шустрый сынишка егеря, справа — Владимир. Меня поставили меж ними явно в надежде, что, если зверь выйдет здесь, я-то уж не подведу.

Начали гнать. Я снял предохранитель. Шум, гам, треск веток — загонщики приближались. Смотрю внимательно на отрывающуюся передо мной небольшую прогалину.

— Андрей Павлович, вы здесь? — послышался голос Владимира.

— А где же я должен быть? — отвечаю приглушенно.

— Что-то ничего нет.

— Жди, — отозвался. Чувствую, волнуется охотничек.

Загонщики, забирая левее, пошли мимо нас. Скоро их голоса стали еле слышны. Правая моя рука без перчатки замерзла. Я сунул её в карман куртки, оставив ружье в левой. Это заняло у меня доли минуты.

Только я это проделал, как хрустнула ветка. Мгновенно поднял лицо. Взрослая, прогонистая, удивительно грациозная самка легко, как при замедленной съемке, вальяжно в плавном прыжке появилась на самом краю поляны. Косуля от меня была метрах в пятнадцати. Даже не верилось. Она двигалась слева направо. Недоуменно, повернув голову, приостановилась и взглянула на меня. Я увидел её взгляд: доверчивый и невинный.

Не знаю, как все произошло. Охотничий инстинкт сработал: я прицелился чуть правее лопатки и нажал спусковой крючок. Как я потом благодарил судьбу! Моё ружье дало осечку. О втором выстреле я и не подумал.

Услышав щелчок, косуля так же, как и до того, словно это было домашнее существо, безбоязненно плавно скользнуло вправо.

Я опомнился от азарта и радостно смотрел на лесное чудо.

И тут прогремели один за другим два выстрела. Стрелял Владимир. Косуля рухнула на снег. Из разорванного горла била кровь. Голова её оказалась в красном снегу.

Я стоял, не двигаясь.

И к Владимиру пошёл не сразу. Дождался, когда у меня перестанут идти слезы.

Что-то уж очень долго стрелок не выходил к своей добыче. Когда я подошёл, он стоял, обняв обеими руками березу. Его сильно рвало. Ружье, ткнувшись дулом в рыхлый снег, лежало поодаль.

Я не успел с ним заговорить. На выстрел явились с большими санками помощники. Косулю погрузили. Повезли её, волоча головой по дороге к нашему стану. Кровавая дорожка на белом снегу вначале резала глаза, потом пропала.

Владимир, не заходя в будку егеря, не поужинав, отправился один в село. Оттуда с оказией уехал домой.

Я потом узнал: охоту он забросил. Ружье продал.

— А вы, Андрей Павлович? — не удержался я.

— Что я? Отвез своё с дачи в городскую квартиру, закрыл в металлический ящик, как это положено по условиям хранения, и... все. — Он махнул рукой.

— Завязал — так завязал, чего жалеть-то? Я вот ни разу не стрелял ни в кого, — сказал Геннадий. И замолчал.

Нарушил тишину все тот же Андрей Павлович. Задумчиво обхватив обеими руками алюминиевую кружку с чаем, произнёс:

— У моего рассказа есть продолжение: после того случая я не мог забыть косулю. И тот красный снег на поляне... По ночам она мне начала сниться, сердешная. Взгляд её не мог забыть. Будто в кого из близких стрелял. Один раз проснулся в поту весь. Приснилось, что в себя ружье наставил. Будто не в неё стрелял: в себя. Мы в себя стреляем, понимаете? И косуля, и я, и вы — часть одной природы. Мы все имеем право на жизнь.

Геннадий внимательно, как школьник, смотрел на говорившего.

Опередил Геннадия все больше молчавший Василий:

— Ну ты, брат, даешь! Придумал. Надо же: «в себя стреляем»! Философия! Для писателя, — он мотнул чубатой головой в мою сторону, — что ли, стараешься? Сочиняешь! Если так начнет думать каждый, что будет? С голоду помрем!

— Да ну вас, я доверился, а вы... — Андрей Павлович встал, глухо обронил: — Дровишек пойду посмотрю...

И он пошёл к реке. Там замер у воды. Его высокая сутулая фигура показалась похожей мне на большое дерево с сухой вершиной, которое стоит в затоне, недалеко от моего дачно-

го домика. Это дерево одно на всю округу подпирает гнездо чуткой серой цапли. Я часто в бинокль наблюдаю, что и как там.

— Как начнет русский человек философствовать, — произнёс Василий, так хоть помирай... — А надо жить! — Он посмотрел сразу на всех, заранее уверенный в правоте своих слов, в нашей поддержке, — верно ведь?

Мы молчали.

2007 г.

Случай в супермаркете

Алексей Марковников проснулся рано. Был будний день, а у него — выходной. Он давно мечтал о таком графике работы, ещё до перестройки, когда был молодым инженером. Теперь он уже не молодой, но тогда...

* * *

Морковников долго не знал, для чего живет. В чем смысл жизни? Удивлялся, как могут многие жить, не думая о самом главном. И однажды, усиленно размышляя, решил: раз при рождении, кроме даты, имени и фамилии не вписывают в документы, для чего родился, значит надо решить самому этот вопрос. Надо ставить себе цели. И выполнять одну за другой! Потом это все суммируется, вот и получится смысл жизни. А искать всю жизнь смысл жизни и считать это смыслом и быть от этого счастливым? Извините, это... этому не найдешь и точного названия.

Не сразу он пришел к такой своей главной цели. Но, перепробовав многое, он наконец-то наткнулся на неё. Он был не только увлекающийся, но и упорный. Мог не только идти, но и карабкаться, если надо. Он знал про себя такое и действовал.

Ему страсть как захотелось стать писателем. Он и не женился из-за этой своей страсти. А скоро и работать расхотелось. Некогда стало.

«Хоть бы руку чем поранило крепко или другое что, но так, чтобы с головой было нормально. Получил бы инвалидность и на законном основании не ходил на работу — писал. Глядишь, к тридцати первую книжку выпустил бы. А так попробуй не

работать! Быстро объявят тунеядцем. Это хуже, чем диссидент. И отправят куда положено», — такие унылые мысли приходили ему тогда в голову часто.

Потом не стало матери с отцом. Двухкомнатная квартира осталась за ним. В разгар перестройки завод рухнул, как огромный колосс на глиняных ногах. Он ушёл в охранники. Самое что надо! Раньше о таком можно было только мечтать. Отбарабанил сутки и трое гуляй. Теперь таких бездельников тысячи. «Но у меня-то цель», — бодрил себя Алексей.

Наконец-то у него вышла первая книга. Но одну, первую, о своей жизни, может написать едва ли не каждый. Это известно.

А вот вторая книга? Она не давалась. Пока, как он считал... Надо было наткнуться на стоящий сюжет, на тему, которая бы вывела на цикл рассказов или на повесть.

Он начал писать роман, но что-то не давало двигаться свободно. Отложил. Ждал своего часа.

Кругом бурлила перестройка. Народ шумел на митингах, а ему этого было не надо. Хотелось затронуть не суетное, вечное...

* * *

Сегодня с утра он сел было за стол. Положил перед собой чистый лист бумаги. И задумался.

Ему не давал покоя сон, который приснился прошедшей ночью. Снилось что-то непонятное. Будто его несправедливо осудили за какое-то преступление. Он невиновен, но это не доказуемо. В каком-то большом вагоне, похожем на те, из которых он когда-то ещё студентом выгружал картошку, его вместе с кучей осужденных везут к месту отбывания наказания. И тут вагон летит под откос. Визг, грохот. Охрана мертва. Большая часть преступников — по кустам. Вот она: свобода! Появляются незнакомые люди с решительными лицами, вооруженные автоматами. Он отказывается от помощи.

У него установка: раз осужден, должен прибыть до места назначения. Там начать просить, доказывать, что осужден невиновно. «Иначе черт-те что получается. Мы же в цивилизованном мире живем!»

Иначались мьгтарства: он стал сам добираться туда, куда сослан. Но кругом степь, одна железка под ногами, и ни одного человека рядом. Один-одинешенек. Такой законопослушный и честный.

«Из этого что-то может получиться! Может, наконец, я вывусь из мелкотемья. Дотянусь, дотронусь до чего-то... стоящего. Вот Островский Николай, например. Хотя все низвергнуто, но судьба человеческая? Или Ярослав Гашек. Другое? Да! Но как все заразительно. Надо додумать ночной этот кошмар, в нем что-то есть. Конфликт есть! Это самое главное. Два полюса: свобода и тюрьма! Нет: закон и личность. Надо будить воображение. Надо быть изобретательным. Придумывать интригу. Жизнь скупа на это».

Он встал из-за стола. Лист бумаги остался нетронутым.

«Надо сварить супчик. Четвертинка курочки у нас есть! — рассуждал он. — Нет чего? Морковки и капусты. Придется идти в магазин. Можно ещё булку хлеба взять. Чтоб эти дни больше не бегать».

* * *

В супермаркет, который был совсем рядом от дома, он шёл в бодром состоянии духа. Чувствовал, что сегодня может что-то написать.

Ему нравился этот магазин. Просторный, но уютный. Не то, что в доперестроечное время.

И обслуживание нравилось.

Трудно было в советское время и представить такое. Все вежливы. Благодарят за покупку. Вот что значит личный интерес.

Он взял в отдельном киосчке внутри магазина хлеба и пошёл за морковью и капустой.

Чернявая, лет двадцати, кассир подняла карие диковатые глаза, когда он подал ей пятисотрублевую купюру.

— Мы же всего как пять минут открылись. Чем сдавать?

— А я только вчера получил получку. Больше, извините, меньше ничего нет, — смешался Марковников.

— Идите, попробуйте разменять. Я пробила уже.

— Куда?

Она слегка улыбнулась:

— Ну, куда? Магазин в четыре этажа...

«Новенькая, раньше её тут не было», — отметил Марковников, шагая по ступенькам.

Он обежал два этажа, ткнулся и там, и там. Бесполезно. Вернулся к кассе.

— Дайте мне ваши деньги! — миндалевидные глаза её были красивы. Он почувствовал, что волнуется.

«Не нужна мне морковь, я пошёл», — хотел было он сказать. Но она быстро дернула из его рук купюру и легко выскользнула из отдела. Он невольно проводил её взглядом.

Она вернулась ни с чем, явно сочувствующая ему. Морковникову стало ещё более неловко. Но втянувшись в некий круговорот, сказал вполне механически. И как показалось ему, негромко:

— Но что-нибудь можно сделать?

— Все вы командовать только! Понимаете: нет ещё денег! Нет! — громко из дальнего угла громыхнула полнотелая, с лицом, полным собственного достоинства, женщина. Она была постарше всех. И, очевидно, их начальница.

— Почему вы издали так кричите? — миролюбиво, но чтобы не терять и собственного лица, — отреагировал Алексей.

Женщина встала и подчеркнуто плавно направилась к выходу. Она словно освобождала себя от него. Молча, как от налипших водорослей.

«За деньгами или убывает, чтобы разрядить обстановку?» — соображал Марковников.

Чернявая с карими глазами убежала вновь. Вернулась с сотенными.

— Понимаете, утро! Вечером все деньги сдают, — вежливо начала она, — человеческий фактор.

Она начала ему явно нравиться. Полнотелая молча вернулась, величаво, заняв своё место.

— Тут не человеческий фактор, а отсутствие управленческого решения. Такое, наверное, не в первый раз. Не я один... Надо руководству вашему...

Он не договорил. Вернее, ему не дали договорить.

Рыжая дамочка с соседней кассы не выдержала:

— Вера! Ну что ты этому зануде объясняешь. Он же ничего не понимает! Нудист какой-то, каменный...

«Вера, — эхом отозвалось в нём. — Имя ей подходит».

— Ну, во-первых, я не нудист. Тем более — каменный. Я даже не морж, — отозвался Алексей. И пожалел, что так сказал.

— Послушайте, что он несет! Про каких-то моржей. Пурга

какая! Нас тут пятеро, и он всем морочит бóшку, — возмутилась рыжая.

— Вам что, надоело здесь работать? — не выдержал Марковников.

— Ну да! Попугайте! А я не из пугливых. Что вы сделаете со мной?

— Я знаю, какие кнопки нажимать.

— Вот ещё один нажимальщик нашелся. Сексуально озабоченный, что ли? Не мешайте работать, народ задерживаете!

Кроме Алексея из покупателей в просторном помещении была всего одна старушка, внимательно разглядывающая ценник под апельсинами.

Он открыто улыбнулся при этих её словах.

— Вот, теперь лыбится! Делать нечего!

Марковников забрал протянутые маленькой изящной ручкой с крохотным перстенечком деньги и вышел из отдела.

«Хамство вечно! Вот где материал-то. Неисчерпаемый! Зоценко или Чехова бы на них. Не меня. Мне скучно об этом писать, потому не сумею».

Он прибавил шагу, ему хотелось скорее быть в своём кабинете. Хотелось вновь попасть на ту волну, которая вот-вот должна была вынести его куда ему надо. Но не прошел он и полпути, мысли его опять вернулись к магазину, и он, не доверяя ещё самому себе, с давно позабытой истомой подумал:

«Интересно, если Вера узнает, кто я, что пишу и иным, понятным для других делом не занимаюсь, как отнесется ко мне... Перстенечек есть, а колечка нет! Она не замужем?»

Почему она оказалась за кассой? Там ли ей быть?!

«Извините», — она сказала это так, будто знала, что я писатель. Настоящий. С будущим.

Ему вспомнились необычные её, удлинённые глаза и легкая походка. Как у балерины!

«Как это у Сергея? — вспоминал он:

Твой иконный старинный лик

По часовням висел в рязанях».

— Как так можно сказать! — теперь он уже думал о поэте. — В самую точку! Неужто я бездарь? Я никогда так не смогу. Я не поэт. Я нудный прозаик. Написал Есенин это о Миклашевской,

артистке! А что артистка? Посмотреть бы, какая она была?.. Такая ли, как сказал? Или ему показалось?..»

Он продолжал чувствовать, что с ним что-то произойдет, пусть не сегодня, завтра...

«А может, уже происходит? — спохватился он. — У Есенина была Рязань, простор в душе и синь в глазах. А у меня? Офис, который охраняю, и холостяцкая конура... Нет, не об этом я... Не так думаю...»

Мысли его путались:

— Нет, всё-таки вечно не хамство, нечто другое... — произнёс он вслух. — Об этом и писать надо.

Однако чувство объективности и справедливости, которые он в себе культивировал и ценил, не позволяли ему быть категоричным:

«Но и хамство! Оно живуче...»

Подумал так, но эту мысль и все остальные, теснившиеся беспорядочно в голове, заслонила другая, у которой, видимо, было больше права на него:

«Как они работают? Когда у Веры выходной? Надо узнать».

Когда, наконец, он сел за письменный стол и придвинул к себе чистый лист бумаги, вывел вверху:

«Встреча в супермаркете».

* * *

А Вера?

Поздно вечером того же дня в одной беленькой ночной со-рочке сидела она в кровати, подтянув колени под подбородок.

Пока, как обычно, добралась с работы из центра города на окраину пригорода, где у неё в старом одноэтажном доме была комнатка, она сильно устала.

Не спалось.

Жёлтый фонарь, торчавший над потемневшим забором из горбылей, тупо освещал комнату.

Напротив Веры посапывала на диванчике во сне двухлетняя дочка. Рядом у её ног в уютной кровати, положив на две шаткие табуретки, как не свою, парализованную правую ногу, всхрапывала мать Веры, чудаковатая Варвара Ильинична.

«Ах, Володечка, Володечка, муженёк мой родненький, если б не твоё внеплановое дежурство в ту ночь... Тот, который стре-

лял, ходит по земле где-то, наверное, и сейчас. Разве это справедливо?» — так вела Вера свой, обессиливающий её монолог, тускло глядя сухими глазами то перед собой, то туда, где у двери на серой стене сиротливо висела совсем новенькая милицмейская фуражка мужа.

— Прости меня, — произнесла она еле слышно, — у меня, кажется, нет другого выхода.

Её глаза блеснули. Рот некрасиво покривила, будто не её, полуулыбка. Они решилась в этот вечер начать подрабатывать проституткой, как бывшая её одноклассница Надька.

«Ну как тебе набрать денег, как ты задумала, на хотя бы однокомнатную нормальную городскую квартиру? Матери скоро не будет. Помощи от неё — кот наплакал, но без неё в этом нужнике ты пропадёшь совсем. Действовать надо!»

Надька, кажется, и сама верила, что хочет помочь подруге от чистого сердца.

За стеной что-то тяжело грохнуло. Заскрипели половицы и последовал плач.

«Опять Колян напился. Сам гонит, сам пьёт. Надегустировался видно, как два дня назад, — вяло отметила Вера. — Нет уж, сегодня разбирайтесь сами».

Она продолжала неподвижно сидеть.

Вновь для неё зазвучал голос Надьки:

— Подкину своих тысяч триста, — говорила та сегодня, встретившись по дороге домой, — если послушаешься. Решайся на годик. Везде есть шанс. Вон одна наша новенькая даже муженька себе среди клиентов нашла сходу.

Не убудет тебя. Доверься мне...

Доверять-то Надьке Вера, кажется, доверяла. Только вот ухмылка, проскальзывающая на лице подруги, плутоватая такая, настораживала...

* * *

Рассказ у Алексея не получался.

Весь день прошёл кувырком.

Два раза садился за рукопись, полгода назад начатого романа. Но каждый раз, поморщившись, откладывал её на край стола. Снова возвращался к встрече с Верой.

Уже за полночь, когда она спала, он перестал мучить листок

с планом недававшегося ему рассказа. Мимолётные ощущения и волнение, возникшие в магазине, куда-то, как лёгкие пары, улетучились и писать, казалось, было уже не о чем.

«Как жаль, что я ничего не знаю о Вере. Подробностей нет. Скорее всего, у неё благополучная однообразная жизнь при родителях. Такая она ухоженная. Дом — работа, работа — дом. Ни шагу влево, вправо. Полная уравновешенность. Могло ли быть у неё в жизни что-либо исключительное. Скорее всего, тепличное растение» — уныло думал он.

«Ты же писатель! — спохватился он. — Придумай конфликт. Ведь сказано давно: соври, но чтоб красиво было! Где твоё воображение? Иначе ничего так и не напишешь, если будешь цепляться только за голую правду».

— Интересно, какие были глаза у Миклашевской? — встряхнулся он.

Как будто в ответе на этот вопрос заключалось что-то для него очень важное сейчас.

Он вновь потянулся к листочку с планом рассказа, но вскоре, взлохматив шевелюру, махнул рукой и лёг спать, не веря, что может что-нибудь придумать стоящее. И, вообще, написать.

* * *

Откуда Алексею было знать, что уже через несколько дней начнётся у него главный в его жизни роман, который отодвинет всё остальное на второй план.

Возникнет роман с Верой, который им обоим предстоит мучительно и радостно прожить, кажется, по чьему-то невообразимому до того сценарию. И набело.

Безо всяких собственных предварительных планов.

А ему потом и написать его.

2008 г.

СЕРГЕИЧ И СИМА

Повесть

Глава 1. С НЕБА НА ГОЛОВУ

Её подвело любопытство. Она бегала со своими подружками — бездомными кошками на крыше девятиэтажного дома около небольшого серого сооружения и, заглянув внутрь его, упала в вентиляционный канал, проходящий в стене кирпичного дома. Подружки убежали.

Известно, что кошки, падая с большой высоты, часто остаются живыми.

Она несколько раз ударилась о кирпичи, но ушиблась не сильно.

Пролетела до шестого этажа и застряла в стене на кухне Сергея Сергеевича.

Он в это время был дома. День только начинался, а хозяин был уже на ногах.

Сергей Сергеевич около сорока лет проработал на заводе, привык рано вставать. Немногие меняют привычки в свои семьдесят лет.

Он услышал жалобное мяуканье и пошёл на кухню.

«Что за наваждение? — думал Сергей Сергеевич. — Ночью снился завод, звучали голоса ребят, с которыми когда-то начинал работать, теперь вот это?»

Кошки на кухне не было, но мяуканье продолжалось.

Он приблизился к окну, на карнизе — никого. Повернулся в недоумении, рассеяно скользя взглядом по стене. И догадался.

Звуки доносились из вентиляционного отверстия, обрамленного пластиковой узорчатой решёткой.

Хозяин всегда подозрительно относился к этому окошечку. Из него могли заползти в квартиру тараканы. Этих тварей он терпеть не мог. Но закрыть чем-либо отверстие не решался: вентиляция на кухне как-никак нужна. Зимой он заменил решётку, а заодно поставил мелкоячеистую синтетическую сеточку, и был этим доволен.

...Жалобное мяуканье продолжалось.

Сергей Сергеевич достал из шкафа в коридоре внушитель-

ных размеров отвёртку и, придвинув кухонный табурет к стене, встал на него. Побаливала поясница, и он невольно морщился.

Его приличного роста вполне хватило, чтобы дотянуться и поддеть решётку...

Со второго раза решётка вместе с сеткой повисла на отвёртке.

Едва это случилось, как из отверстия сначала на плечо хозяина квартиры, потом на пол соскочило чумазое существо. И тут же оказалось около входной двери. Кошачьи глаза горели желто-зеленым огнем. Хозяин едва не свалился с табуретки. Придя в себя, медленно спустился на пол, щадя свою поясницу, и пошёл в коридор открывать дверь.

Кошка шустро выскочила из квартиры.

— Вот, холера! Как тебя туда занесло, — негодовал хозяин, направляясь ставить на место решётку, которая белела на полу, посредине кухни.

* * *

Вечером мяуканье повторилось. Теперь оно сопровождалось настойчивым поскребыванием когтями.

Хозяин открыл дверь.

У порога сидела все та же кошка.

С широко открытыми глазами она шагнула через порог и начала «бодаться» головой в ноги Сергея Сергеевича. На её языке это означало благодарность и проявление признаков доверия.

Хозяин не знал кошачьего языка, но кое-что понял.

Невольно отступил в квартиру, кошка последовала за ним.

— Жить тебе, видать, негде? Не обольщайся. В любовь с первого взгляда уже не верю. Могла бы и в коридоре ночевать... Не гонят.

Он расправил свернувшийся половичок у двери.

— Вот, попробуй здесь обосноваться до завтра, а потом что-нибудь придумаем. Сейчас принесу поесть. Ты от голода поди такая решительная.

Он с удивлением наблюдал, как кошка не сразу стала есть колбасу, а сначала неторопливо обнюхала её и лишь потом начала кусать.

Поразмыслив, Сергей Сергеевич на завтра не стал ничего откладывать.

Он вышел на лестничную площадку. Постучался к соседям напротив. Появилась грузная хозяйка квартиры.

— Лидия Ивановна, тут вот такие дела: кошка прибилась, упала, — сбивчиво начал он, — так-то симпатичная. Не возьмете к себе. Можете посмотреть.

— Сергей Сергеич, у меня же аллергия. Я кошек на дух не переношу. И смотреть не буду.

— Ах, да, конечно, — спохватился запоздало сосед. — Вам нельзя.

— А сам-то чего? — спросила соседка.

— Да я никогда не держал их.

— Зачем взял?

Сергей Сергеич не успел сообразить, что ответить...

— У нас, слава Богу, на площадке никто не держит. Спуститесь на пятый этаж к Тершуковым, я видела, Николай дома, поддатенький слегка.

Сказала так и уверенно закрыла дверь.

— Тебе ни к чему, а мне нужна? — держа дымящуюся сигарету меж подрагивающих пальцев, удивился Тершуков на неожиданное предложение.

Он стоял в дверном проеме в одних трусах и вытянутой серой майке. Пройти в квартиру не предложил и сам не вышел навстречу.

Сергей Сергеевич почувствовал неловкость. А сосед хрипло вразумлял:

— Я — весь день на работе, жена — тоже. Дети в техникуме оба, куда мне её?.. Раньше у моих родителей в деревне хоть пятерых на воле-то держать можно было. А здесь?.. Морока. Вон, восемь часов вечера, а жены нет.

Надолго натужно закашлялся. Потом произнёс:

— Сам займись, у тебя времени свободного хоть отбавляй... Ты же говорил, что совсем в деревню хочешь перебраться жить. Вот! В самый кон...

Больше кошку Сергей Сергеевич предлагать никому не стал. Хотел было позвонить давнему приятелю. Но передумал. Вспомнил, что у того сильно заболела жена? У всех заботы...

* * *

— Как же ты оказалась сиротой-то? — задумчиво говорил он, вернувшись в свою квартиру, — выгнали или сама ушла?

По голосу кошка чувствовала, что человек ей попался добрый и не оставит в беде.

Её бывший шумный хозяин переехал жить со своим большим семейством в другой город и оставил её одну совсем котенком. Она прибежала домой, но было поздно: машина, груженная вещами, скрылась за большим домом.

Кошка помнила, как маленькая девочка называла её Лизой. Помнила легкую ладошку, когда она гладила её по голове.

Потом её уже никто не гладил.

Сергей Сергеич не помнил, когда он последний раз гладил кошку. В детстве... Подумал об этом и покачал головой.

Он молча решал важный для обоих вопрос.

И решил.

* * *

— Как тебя зовут, чумазая? — чуть позже, шурша над её головой газетой, спрашивал хозяин. — Глаша, Анфиса, Клара, Мурка, Лиза?

При слове «Лиза» она насторожилась. Это не ускользнуло от Сергея Сергеевича.

Он поспешил:

— Нет, нет, Лизаветы с меня хватит! Такое имя было у моей женушки... Может, Муркой назвать? Нет, старо. Давай я буду тебя звать Сима, а? У меня сестра старшая была Сима. Доброе имя! Сестра отзывчивая была. Меня любила. Ты, разумеешь, что я говорю? Мне хочется, чтобы ты была доброй.

Кошка, внимательно слушая, сидела рядом.

— Начнем нашу жизнь сначала, — говорил он, — имя в жизни многое значит!

Хозяин знал, что говорил. У него была фамилия Мамин. Уже в третьем классе его стали звать Мамин-Сибиряк. А потом и вовсе приклеилось прозвище «Серая шейка». Учился в школе, жил с этим несерьезным утиным именем. Комплексовал, протестовал, а что толку?

— Ну что? Симой будем называться? — облегченно спросил хозяин. — Новое имя, как новая жизнь!

* * *

Так и начали жить в одной квартире неработающий пенсионер Сергей Сергеевич Мамин и кошка Сима. Был у Мамина сын Эдуард, неродной. Вернее, так и не ставший родным. Он обитал отдельно, на другом конце города.

Если Сима почти ничего не помнила из своего прошлого, то Сергей Сергеевич-то помнил.

В семейной жизни ему не повезло. Разные оказались характеры у супругов. Он спокойный и деликатный. Она — взрывная, брызжущая энергией.

— Тебе постоянно нужны овации, — говорил он. — Но мы же не на сцене, не на манеже?

Когда она случайно узнала, что его в школе звали Серой шейкой, то даже обрадовалась:

— Видишь, я не зря тебя зову Серый квадрат (она имела в виду это сочетание: Сергей Сергеевич). Каким ты был — таким ты и остался на всю последующую свою жизнь.

Он сердился на неё, но ничего поделать не мог. А с манежем будто накаркал. У неё были неудачные роды. Сын умер, не прожив и сутки. Через год она ушла от Сергея Сергеевича. Точнее, уехала с гастролировавшим в их городе цирковым гимнастом. Цирковая её жизнь через три года оборвалась. Гимнаст бросил её. Она с сыном вернулась к Серому квадрату.

Он принял и её, и чужого ребенка.

* * *

— Знаем мы вас, — говорил хозяин, наблюдая, как Сима потягивается на половичке, — вы, кошки, любите только самих себя. Из меня, если зазеваюсь, попытаешься сделать прислугу. Но, видишь ли, я какой-то неподдающийся...

Сергей Сергеевич ещё что-то говорил. Потом выключил свет на кухне, в коридоре и стал укладываться спать.

— Однако твоё падение мне на голову — весьма знаковое событие... — Это было последнее, что он произнёс, уже лежа в кровати.

Глава 2. НЕОБЫЧНЫЕ ЗАБОТЫ

На другой день, осматривая Симу, Сергей Сергеевич обнаружил у неё блох. И вначале пришёл в смятение:

«Эдакое грациозное, изящное создание — и эти мерзкие твари?».

Но, поразмыслив, успокоился. Решил выкупать кошку. Он не знал, что Сима терпеть не может такую процедуру. Она не любила быть мокрой.

Сергей Сергеевич почувствовал её настороженность и начал уговаривать:

— Симочка, это вынужденная мера. Избавимся от этих паразитов, тебе же легче станет. Иначе как? Тараканы, блохи — это ужасно! Иначе прогоню на улицу!

Кошка не реагировала на его слова. Но и не убежала от него. Сидела посередине коридора. Смотрела, как он вначале налил воду в ванну, потом принёс с кухни большую тряпку и расстелил на дно.

— Видишь ли, у нас людей, новобранцев в армии всегда прогоняют через санпропускник. В обязательно порядке! Я бы и без блох твоих должен был догадаться помыть тебя. Чуешь, о чем толкую?

Хозяин, продолжая говорить, потихоньку посадил Симу по брюхо в воду, придерживая её за передние лапы.

Она уперлась задними лапами в тряпку на дне и, кажется, держалась устойчиво. Это понравилось Сергею Сергеевичу.

— Какая молодчина! — радовался он за неё, а может, заодно и за себя, за свою неожиданную сноровку.

«Если попадёт вода в уши, её тогда сроду не заманишь в ванну», — забеспокоился он. Сам же потихоньку правой рукой начал пытаться намывать ей спину.

Он видел, как несколько шустрых тварей засуетились у кошки на шее. Морщился, но купать продолжал.

Сергей Сергеевич сменил в ванне три раза воду. Надеялся, что таким образом избавится от паразитов. Вычёсывал их гребешком и собирал с мокрой шерстки. Старался, чтобы на теле кошки не осталось мыла.

Сима терпела. Не сопротивлялась. Ей очень хотелось остаться жить около этого худого высокого, с тихим голосом челове-

ка. На то была ещё одна веская и тайная причина. Ей было уже почти десять месяцев от роду. В жизни Симы эта весна была первой. Она бурно её провела и теперь впереди у неё назревали особые события...

Но об этом деликатном обстоятельстве чуть позже...

Наконец-то Сергей Сергеевич, отжав Симе окончательно шерстку, завернул её в огромное зеленое полотенце. Начал вытирать, присев вместе с ней на диване.

...И вот она уже сидит на коврике у отопительной батареи в гостиной.

Отопление уже отключено. Но хозяин посчитал, что около батареи ей будет уютнее.

Кошка вылизывала себя с лап до головы, а хозяин, с безразличной гримасой держа в руках мокрую свёрнутую тряпку с блохами, пошёл в коридор к мусоропроводу.

* * *

...Кошка, оказывается, очень любила спать.

Большую половину дня она продремала. Он несколько раз укрывал её своей жилеткой, оставляя снаружи одну голову.

Проснувшись, Сима вновь начала умываться.

— Кажется, это занятие у тебя самое любимое, — удивлялся хозяин, наблюдая, какие она принимает при этом причудливые позы. Те места, которые нельзя достать языком, она чистила лапками. Увлажняла их слюной поочерёдно и терла ими уши, подбородок, голову.

— Как же ты в подвале-то жила? Есть будешь? Чистюля!

Сергей Сергеевич поманил кошку на кухню. Там он мимоходом несколько раз повторил её новое имя: «Сима» и погладил по золотистой, мягкой шерстке. Ей было радостно от его голоса.

Теперь кошка выглядела ласковой и тихой, не похожей на ту, какой была ещё несколько дней назад на улице.

Хозяин щурился, когда говорил или смотрел на неё. Ей это нравилось. В такие моменты она особо доверяла ему. А он и не замечал этой её слабости. Думал, что хорошее настроение Симы зависит только от её собственных причуд.

Рыжий окрас обещал быть кошке от природы спокойной, любящей домашний уют, флегматичной.

Но куда деть её бездомное детство? Оно-то часто и определяло её поведение. Новое имя и новый хозяин могли что-то изменить. Но на это необходимо время.

Хотя Сима и доверилась хозяину, многое для неё было просто. В первую ночь, окружённая странными непривычными запахами и звуками, она попыталась забраться к нему в постель. Но он потихоньку взял её и отнёс к порогу. Она поскучала немного, потом уснула.

На вторую ночь кошка уже не делала подобной попытки. Приняла его права.

Права-то приняла, но хозяином в полном смысле Сергея Сергеевича она не торопилась признавать.

* * *

Каждый день теперь приносил новое открытие. И хозяину, и кошке.

Оказалось, что Сима терпеть не может лифт. Сергею Сергеевичу приходилось, выгуливая её, спускаться и подниматься на шестой этаж по лестнице. Это для него было непривычно.

В первый день, когда они шли вниз, кошка обнюхала чуть ли не каждую дверь на их пути. Хозяин, набравшись терпения, ждал, сообразив, что это, очевидно, для неё важно.

На удивление Сергея Сергеевича дверь квартиры, в которой Сима теперь жила, она определяла, когда они возвращались, безошибочно. Он порадовался этому, не мешая ей скрести когтями по старенькому коврику у порога.

Чтобы она не рвала когтями обивку мебели в квартире, он достал с балкона корзину, которую когда-то сплел, на удивление жены и сына, сам. Сергей Сергеевич был заядлый грибник. Корзина оказалась кстати. Емкостью ведра на полтора, крепенькая, с каркасом из алюминиевой проволоки, она прослужила более трех десятков лет.

Он любил эту вещь. Корзина-то из того времени, когда Сергей Сергеевич был ещё молод. Тогда он, жена и сын были, казалось, единое целое. Ему в те годы так хотелось, чтобы их объединяла общая идея, заряженность на походы, на путешествия. На жизнь! И верилось, что так и будет...

Но... как-то все не складывалось... а что и было, прошло...

Осталась холодная созерцательность и этот вяло текущий образ жизни в четырех стенах.

После смерти Лизы отношения с сыном у Сергея Сергеевича теплее не стали...

Теперь раз в месяц сын бывал у него. Но так, по-дежурному...

Когда Сергей Сергеевич доставал корзину с балкона и ставил её в прихожей, Сима, склонив голову набок, наблюдала за хозяином. Указав пальцем на корзину, он, усмехнувшись, сказал:

— Дери на здоровье, чего уж там...

Говорил, а сам ещё был под впечатлением еле уловимого запаха ивняка, из которого была сплетена корзина. Этот запах он почувствовал, как только стал мыть корзину в ванной теплой водой. Запах исходил тонкий, едва уловимый. И неповторимый, как все, что было связано с прежней жизнью.

Он похмыкал, бодрясь, и попробовал переключиться в мыслях на другое.

* * *

Ему было непонятно, почему Сима жует вначале листья цветов на подоконнике, а потом у неё начинается рвота, и ему приходится за ней убирать. Сердился на неё. Называл любопытной дикаркой. Он не знал, что это не любопытство. Поступала она так для того, чтобы удалить из желудка шерсть, которая туда попадает при вылизывании.

Неизвестно ещё, кто больше делал для себя открытий с момента возникновения этого их союза — он или она?

Сима, например, деловито изучая новое своё жилище, проявляла себя порой совсем неожиданно. Ей зачем-то понадобилось погулять по полкам шкафа с фарфоровой и хрустальной посудой. Грациозно вышагивая, она не задела ни одной вещицы. Ей это понравилось.

То вдруг забралась на верх платяного шкафа и долго оттуда наблюдала за хозяином. Ему было неудобно себя чувствовать под прицелом её зеленых, изучающих сверху глаз, но он терпел. Когда она ловко и безбоязненно спрыгнула оттуда на подоконник, он невольно оценил это:

— Вот тарзанка!

И погладил её. А она будто этого и ждала. Самозабвенно замурлыкала.

...А как он был удивлен, когда выяснилось, что Сима любит слушать классическую музыку, особенно Моцарта!

— Откуда у тебя такое воспитание? Ты же с улицы, — недоумевал Сергей Сергеевич. — Или вы, кошки, все такие? Не знал...

Записи классической музыки он собирал давно. Теперь был рад, обнаружив родственную душу.

Глава 3. НЕ ЛЕГКО БЫТЬ ПОСЛУШНОЙ

Сима оказалась заядлым охотником. Она гонялась за каждой мухой и комаром, которые залетали в квартиру. Бывало, что настигала добычу. При этом делала головокружительные прыжки по комнате.

Если добычка от неё ускользала, она заглядывала в лицо хозяину, будто говорила: «Извини, не получается навести полный порядок. У меня же нет крыльев».

Порой ему казалось, что, отлавливая насекомых, она избавляется от посторонних, ревнует его к ним.

«Чудеса, — ворчал он, — не схожу ли я с ума?». Мягко улыбался и не бранил её. А она терлась около него. Поднявшись на задних лапах, обнимала ногу хозяина лапами и мелодично мурлыкала.

Когда Сергей Сергеевич садился за стол с газетой, она устраивалась на кресле рядом с ним. В такие минуты молчание продолжалось недолго. Сейчас, глядя на Симу близорукими грустными глазами, хозяин рассуждал:

— Я вот люблю тигровый окрас. Можно было бы сказать, Симочка, что ты тигрового окраса. Но этот оранжевый оттенок, и совсем нет темных полос... Одним словом, ты — рыжая! Но как тебе идёт эта роскошная белая манишка! И белые чулочки на передних лапках! Ясно, что ты беспорядная, но так элегантно сложена!

Он был прав. Передним сидело создание с изящным, мускулистым телом, плотной короткой шерстью и стройными длинными ногами. А подушечки лап у неё цвета молочного шоколада!

Сима и во сне красива. Когда она спит, у неё подрагивают глаза, уши, лапы. То ли такой чуткий сон, то ли снится удачная охота...

А Сима смотрела на него прищуренными, светящимися миндалевидными глазами, мурлыкала доверчиво, и ленивый взгляд её, казалось, говорил, что она согласна с любыми его определениями. Они её как бы не касаются. Сама знает, какая она! И ей этого достаточно.

А то вдруг смотрела на него округлившимися глазами в упор.

Будто говорила: «Неизвестно ещё, какой породы ты сам... Поживём — увидим...»

Или сворачивалась в клубок и выглядела расстроенной и озабоченной.

— Что ты грустная такая? Тебе стыдно за твоих блох? За то, что ты — беспородная? — спрашивал он вполне серьёзно, — выбрось из головы! Как ты такая уцелела? Где твои хитрость, коварство? Без них на улице нельзя! Все ластишься да мурлычишь...

...Он отложил на левый край стола шуршащую, пахнущую свежей краской газету. Снова взглянул на Симу. Кошка смешно подёргала носом, ей непривычен был запах краски.

— Я скажу тебе по секрету одну вещь, только никому не говори, — Сергей Сергеевич слегка улыбнулся, — не смотри, что я такой важный. Это внешне. Родители — сельские. Всю жизнь учился да работал. А что толку? Щенок у жизни. Много не могу, не понимаю. Много упущено с детства. Семья и та не сложилась. Тебе одной только и можно пожаловаться... Вроде положительный весь, а что-то не так...

Он гладил её своими длинными, чуткими пальцами, проводил ладонью по шее, спине.

— Сима, Сима... В моём детстве у родителей была кошка. У нас с женой не водились. Ей все ни до кого было. Сама у себя на первом плане. Я — вечно на работе. Когда? Пятнадцать лет был начальником большущего цеха. Только после шестидесяти перешел в мастера. Вот и выходит, что попала ты к человеку, которому всегда было некогда ...

Однажды, ближе к вечеру, в квартире появился уверенный, весь в черном, широкоплечий и розовощекий человек. Сергей Сергеевич называл его сыном.

Когда они разговаривали, сын несколько раз беспокойно выглянул в окно.

— Да никто не тронет твой «воронок», — усмехнулся хозяин.

Сима запрыгнула на подоконник и посмотрела во двор. Там стояла большая черная машина с затенёнными окнами. Утром её не было.

Этот человек, с большими блестящими часами на руке сразу не понравился Симе. Он брал бесцеремонно её в кольцо больших рук и пытался заставить прыгнуть через этот барьер. Громко выкрикивал тонким лающим голосом:

— Оп, оп! Оп-она!

На третий раз она не выдержала. Нетерпеливо напряглась и начала крутить ушами. Затем быстро бросилась через барьер с выпущенными когтями, оцарапав ему кисть левой руки. Тут же выступила кровь.

Сима удалилась на кухню. Там она прохаживалась одна. Хвост её застыл в нижнем положении, что явно выдавало разочарование.

— А, черт! Она не бешеная? — суетился сын, рассматривая царапину.

— Ну, что ты говоришь? Сейчас я дам тебе йод, — успокаивал Сергей Сергеевич.

Самоуверенный «дрессировщик», обрабатывая ранку, возмущался:

— Ну, и к чему тебе эта дикарка? Её же многому надо обучать, она с улицы!. Придётся её выгуливать. Запахи пойдут. Домашней кошке нужна особая пища. Когда и где тебе её брать?

— Ты знаешь, я поражён, — говорил Сергей Сергеевич. — Она пользуется унитазом. Фантастика! Я раньше от приятелей слышал о таком, но не ожидал... Видимо, её обучали в детстве.

Сын на слова отца не отвечал. Ему важнее, что он сам говорил. И, конечно, во многом был прав, утверждая, что «кошка — это не собака», от неё нельзя ожидать «собачьего» поведения. В

отличие от собак, кошек бесполезно заставлять полностью повиноваться. Они иначе устроены... Не выгонишь сразу — привыкнешь поневоле. Это как зараза.

И так далее, так далее...

— Шестой этаж! Не закроешь балкон — она вывалится, — убеждал Эдуард, — у моего друга так было. Забылась и бросилась за воробьём. Упала на асфальт. Лечил полгода. Сетку теперь на балконе соорудили. Зачем тебе эти хлопоты? — Он говорил громким голосом, будто извещал о надвигающейся катастрофе, — и потом с твоим-то сердцем гулять по этажам?..

— Мы скоро с ней уедем в деревню. Там все проще, — отвечал Сергей Сергеевич. — Там начнётся у нас с ней новая жизнь. Глядишь, насовсем останемся.

Сима не выходила из кухни, ждала, когда шумный гость исчезнет. А тот напоследок, нарочно топоча тяжело ногами, объёвился в проёме кухонной двери, не на шутку напугав Симу.

— Попалась! — словно пролаял он, — зачем на базаре кушалась?

Не видя возможности к отступлению, Сима выгнула дугой спину и прижала уши к голове. Послышалось её негодующее шипение

— Смотри, она приготовилась нападать!

Гость притворно закрыл лицо руками и попятился назад.

— Вот это дикообраз! — Он неожиданно громко свистнул.

— Эдуард! Ну когда ты повзрослеешь? Нельзя же так, — подал голос Сергей Сергеевич. — Так кого хочешь можно разозлить. У тебя закоренелая нелюбовь к животным. Это ненормально.

Когда сын Сергея Сергеевича ушёл, Сима преобразилась. Она вернулась в комнату к хозяйну. Движения её стали мягкими, хвост поднят вверх, что означало явную радость. Вполне возможно, обрадовалась предстоящему отъезду в деревню. Но как она могла это почувствовать?..

...На следующее утро Сергей Сергеевич помогал Симе умываться. Поглаживая её, пробежал своими чуткими пальцами по её меху. Кошка сидела у него на коленях сияющая. Расчёсывал он её пальцами, потом легкими движениями деревянно-гребешка.

Сима выгибала спину, показывая, что ей приятно, а он потихоньку старался достать гребешком до самой кожи. Проверял

пальцами: нет ли после прогулки во дворе комочков грязи, соринки.

Оба так быстро привыкли к этой процедуре, что проделывали теперь её ежедневно.

Глава 4. ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

В деревню они приехали в середине июня.

Он любил это время года. Нравилось первое цветение шиповника, калины. Июнь — румянец года. Как не любить! В это время все летние птицы в сборе. Слушай и радуйся!

Луг и опушка леса в цветах. Белое, красное, васильковое! Родное раздолье дышит в полную грудь!

Сергей Сергеевич тихо радовался своей, как он говорил, отчине.

Радовалась и Сима.

Мир, в котором она оказалась, удивлял её на каждом шагу. Такого в городе она не видала. Здесь люди жили в небольших деревянных домах. На крышах домов были сооружения, похожие на те, в одну из которых она свалилась на кухню к Сергею Сергеевичу. Из них часто по утрам шёл дым.

Повсюду пахло съедобным, особенно молоком. Мычали коровы.

Людей было меньше. Не как в городе, но много кошек и собак. Коровы и лошади поразили её. Она впервые видела таких добрых и больших существ. Их любили. Это было заметно по всему.

Ей любопытно было стоять вечером у ворот, в то время, когда стадо коров возвращалось с выпаса. Коровы сильно пылили, но она не уходила до тех пор, пока не появлялся за стадом пастух. Этот человек был особенный: загорелый, усатый и в шляпе. За ним всегда с тихим шелестом тянулся длинный кнут, кнутовище висело на плече. Когда он пошевеливал кнутовищем, кнут извивался, как уж. Это Симу завораживало. Иногда пастух взмахивал кнутом и получался резкий неожиданный звук. Как выстрел! Такого она раньше не знала. При стаде всегда была большая лохматая дворняга. Пастух звал её просто: Собака!

Наверное, она была не очень злая, но когда приближалась, Сима предусмотрительно уходила через штакетник в палисадник. И вела свои наблюдения оттуда.

Порой лохматый пес подбегал к изгороди. И кошке делалось страшно. Хотелось быть невидимой. Она прижималась плотно к земле, уши загибала назад, притягивая их к голове. Вот-вот готова была задать стрекоча, всегда зная, что в одном месте, если даже калитка во дворе закрыта, есть спасительное отверстие. Через него беспрепятственно можно удрать.

...Каждый раз одну и ту же пеструю корову соседка впускала к себе во двор. Чуть позже садилась около неё, и упругие струйки молока начинали бить в большое светлое ведро.

Сима с интересом наблюдала.

— Ладно, ладно, — заметив кошку, говорила нараспев соседка, — достанется и тебе, раз любишь молочко-то. Вот придёт твой хозяин, налью литру.

Сима гуляла, как водится у кошек, всегда сама по себе, даже теперь, в новой обстановке. Дом хозяина и его сад она с первого дня посчитала личной территорией и потихоньку её обживала. Периодически обходила «свои» владения. И отмечала царапинами или мочой.

Дом с потемневшими наличниками, в котором она жила, Сима обследовала в первые дни после приезда. Обнюхала все, что находилось на «её» территории: сарай, баньку, навес в дальнем углу двора.

В первый же день Сергей Сергеевич определил ей место. Небольшую темную овчинку он положил на закрытой верандочке, которую называл сенями.

— И света тут много, и пол неплохой. Холодно не будет. На улице-то лето! Не понравится, переберешься в дом, не возражаю.

Симе понравилось. В стене веранды, внизу, у самого пола, было небольшое отверстие. Для неё в самый раз, а собаке не пролезть! Это она сразу отметила. Можно в любое время суток выходить на улицу и возвращаться обратно. Здорово!

...Сергей Сергеевич — человек вдумчивый. Он принес от соседей прошлогоднего сена, поместил его в старую наволочку. Помял в руках, пробуя: не туго ли, не жестко? Решил, что в самый раз, и положил подушечку на овчинку со стороны стены.

Она сидела и смотрела на его действия. Что-то соображала своим кошачьим умом.

Резкая смена обстановки не беспокоила её. Сима молода и любопытна. А вокруг столько интересного.

Неожиданно она обнаружила на «своём» пространстве в глухом уголке в конце озера щеголя удода. Расписные перья и задорный хохолок незнакомой птицы так её удивили, что она остановилась как вкопанная. Уши её торчали вертикально, кончик хвоста произвольно шевелился. Опомнилась только, когда красавчик, не спеша, скрылся.

Возвращаясь в дом, она обошла стороной шиповный куст, около которого песчаные осы устроили своё гнездо. Сима накануне наблюдала, как они ловят мух. Она видела, как в свою норку осы затащили большого паука. Потом следила за быстрыми щурками, которые гонялись за осаами. Поймав, они уносили их в свои норки в обрывистом дальнем берегу озера.

Каждый тут промышлял по-своему. Там, где жила раньше, такого она не видела.

...Соседний дом справа был дряхлый. Окна заколочены крест-на-крест досками. Там никто не жил. Кроме мышей в подполье.

А слева жили соседка с коровой, собака Цыган и самое главное: хозяин, похожий, как определила Сима вначале, на Эдуарда. Он в первый же день несколько раз назвал её Серафимой. Это было для неё непривычно. Сергей Сергеевич её так не называл. А когда сосед потрепал её за шею, а потом игриво слегка сжал там пальцы, послышалось рычанье.

— Сергеич, ты кошку или собаку привёз? Гордячка! — Голос у него был такой же тонкий, как у Эдуарда, неприятный, — рычит, как мой Цыган!

Он весь был сейчас похож на Эдуарда. Только не было у него на руке больших блестящих часов. И машина его была светлая и маленькая.

Сима вывернулась из цепких рук и выскочила во двор. Хвост у неё подрагивал. Сосед её рассердил.

...Утром Сергей Сергеевич вышел в сени. Сима просьшалась. Вальяжно потянулась, попеременно оттягивая то одну, то другую ногу. Зевнула, искоса посмотрев на хозяина. Лицо Сер-

гея Сергеевича купалось в улыбке. Грациозно развернувшись, Сима начала умываться.

— Ну, видишь, как хорошо! Новый день — новые радости! Что нам ещё надо? — рассуждал вслух Сергей Сергеевич. — А на соседа не обижайся. Он грубоват, но настоящий. Не подведет. У нас с тобой на доньшке где-то завелась интеллигентность. А он — попроще.

Сергей Сергеевич старался как мог говорить мягко и ласково. Понял уже, что Сима ничего не делает просто так. Всему есть причины. Только вот не всегда они ему ясны...

Кошка умывалась и искоса поглядывала на него.

— Уйду, уйду сейчас. Не буду мешать! — И добавил, будто себе: — Помнится, мы договаривались, что ты должна быть доброй. Сима — значит добрая! Не забывай!

День начинался с приятного голоса хозяина. Симе от этого было уютно и спокойно.

* * *

Часто кошки и собаки не могут жить дружно.

Сима была совсем маленькой, когда оказалась в подвале, где ей пришлось обитать. Там она и познакомилась с таким же рыжим, как она, щенком. У него не было имени. Они росли вместе. Вместе добывали пищу. Охотились на мышей. Он, правда, больше мешал. Ловила она, иногда отдавала добычу ему. Щенок был немного шалопай, часто упускал мышь. Сима в таких случаях сердилась на него, но недолго. Нет, с собаками дружить можно! Смотря какая собака, конечно.

Поэтому Сима не испугалась, когда Сергей Сергеевич позвал её с собой к соседям, у которых жил Цыган. Цыган так Цыган!

* * *

Они вошли во двор соседей. Под навесом машины не было. Она стояла почему-то в сарайчике.

Сима прошла под навес, буйно укрытый и с боков, и сверху диким виноградом. Её влекло к себе темное пятно на бетонированном полу. Пока Сергей Сергеевич, остановившись на дорожке, разглядывал что-то на клумбе, она хотела было лизнуть приятно пахнущую жидкость.

Появившийся около сеней хозяин опередил:

— Не смей, Серафима! Это антифриз!

Его голос насторожил Симу. Она подняла голову. А сосед продолжал шуметь:

— Моя дуреха нализалась и померла. Это же химия! Сами делаем — сами мрем.

...Нельзя заставить кошку полюбить собаку. Это Сергей Сергеевич понимал. Но ему так хотелось, чтобы Цыган и Сима жили дружно.

Кошки и собаки говорят на разных языках. И это знал Сергей Сергеевич.

...Цыган был на цепи. Увидев это, Сима несколько успокоилась. И потом, посередине двора росло большое дерево, есть куда сигануть, если что...

Цыган с любопытством посматривал на Симу. Пес не чувствовал к ней вражды. Он мог возбудиться, если бы Сима сама начала нервничать. Собаки часто становятся агрессивными, когда кошки удирают от них. Но Сима не суетилась. Спокойно шла за хозяином.

Вскоре все вчетвером: Сергей Сергеевич, сосед Дмитрий, Цыган и Сима стояли около сеней. Цыган вилял хвостом, он готов был дружить. А у Симы были вертикально поставлены уши. Ей хотя и было страшновато, но тоже любопытно... Сергей Сергеевич заметил это и, довольный, улыбнулся.

Два хозяина немного о чем-то поговорили меж собой, потом, позвав Симу, пошли в дом.

Цыган покорно остался у сеней сторожить...

Глава 5. НОВОСТЬ — ТАК НОВОСТЬ

Наступило время, когда Сергей Сергеевич уже не мог представить своё житье-бытьё без Симы, без постоянного обмена с ней взглядами. Ему нравилось смотреть, как она, блаженно свернувшись в клубочек, дремлет на стареньком кресле. Он привык не сердиться на неё, когда кошка, играя, пряталась от него куда-нибудь под кровать и не появлялась оттуда, если даже, налив молока в металлическую миску, он звал её.

Иногда она внезапно прыгала ему на плечо, когда он про-

ходил мимо старенькой беленой печки. Так она развлекалась. Он прощал ей эту шалость. Как прощают шалости своим внукам.

Внука у него не было. Сыну с ним было не интересно, это он знал. Много ли оставалось у стареющего человека привязанностей...

Оказавшись в свои шестьдесят пять лет на пенсии, он вначале маялся без серьёзного дела. Потом за три с половиной года привык и к безденежью, и к одинокой жизни, и к болезням.

Не жаловался...

Самостоятельность Симиной природы он уважал. Сима легко отзывалась на игру. А Сергей Сергеевич заметил, что взаимопонимание между ними быстрее возникает во время игры. Это стало для него очевидным.

«Они не говорят лишь от того, — размышлял он, — что, если бы начали это делать, им бы пришлось сказать, какие мы, люди, бываем глупыми. А им этого не хочется делать, к чему портить отношения?»

У Сергея Сергеевича в его семейной жизни, задолго до того, как не стало жены, а Эдуард захотел жить отдельно, не было того, что называют семейным очагом. Ему теперь приходила в голову мысль, что, если бы у них была кошка, то не случилось развала семьи: не ушла жена, не наступило бы такого отчуждения с сыном. Ведь не одна же его постоянная занятость все это разрушила? Чего-то не хватало такого в его семье, о чем сразу не скажешь. Какого-то цементирующего вещества, может быть. Того, что придаёт и крепость, и прелесть отношениям. «Не хватало душевности, — определил он запоздало. — Слишком я был деловит во всем и однозначен, ценил только масштабное».

Рассуждая так, он то соглашался с собой, то невольно качал головой: «Ты просто стареешь, вот и все дела».

А у Симы свои заботы.

Сергей Сергеевич, как и большинство людей, заблуждался по поводу того, что все кошки очень любят молоко. Ничего подобного, Сима молоко не любила. А хозяин старался. Через каждые два дня обязательно ходил к соседям за молоком.

У Симы часто после того, как поест молока, было расстройство желудка, особенно, если ела тут же и мясо. Она отыскивала зеленую травку и щипала её, чтобы вызвать рвоту. Лечилась так.

Хозяин не мог понять, в чем дело.

Что-то её подталкивало, чтобы не отказываться от молока, но ела она его без охоты.

Помогал Симе справляться с молоком ежик. Он проник однажды ночью со двора через то самое отверстие, которое служило Симе. Как потом оказалось, ежик жил в подполье сеней. В том самом дальнем углу, куда Сима ещё не успела добраться и обследовать его.

Ёжик вел себя на удивление уверенно. Он считал, очевидно, что сени или верандочка эта — его территория.

Пока она отвоёвывала, контролировала, метила свою территорию то мочой, то трением головы или хвоста, то царапаньем когтями, чтобы соседские кошки знали, где чье владение, этот деловитый колючий комок с остренькой мордочкой, нарушая все кошачьи правила, разгуливал ночью, где хотел.

Сначала Сима вознегодовала. Но ежик оказался добродушным, и они быстро подружились. И даже было не обидно, когда он начал есть её молоко. Ёжик бегал ночью по полу, сильно топая, фыркал. Она просыпалась, но не серчала. Ей даже иногда становилось скучно, когда он не приходил. А однажды утром хозяин вышел, и ежик не испугался, не убежал.

— Ну вот, давно мы не виделись! — обрадовался Сергей Сергеевич. — Где пропадал-то, господин Шварценеггер?

Ёжик трогал своим чутким носом тапочки хозяина и издавал непривычные для Симы звуки. Оказывается, хозяин и ежик были друзьями.

* * *

Днем, играя с Симой, Сергей Сергеевич обнаружил, что она беременна.

— Ничего себе, время действительно имеет свойство сжиматься. Так стремительно вершатся события. Не успеваю! Вприпрыжку бегу... — бормотал он, по-детски улыбаясь.

— Вот он, результат кошачьих концертов, которые вы в городе устраивали на крыше, — говорил он, — более месяца уже прошло, как ты свалилась в трубу. Верно... был конец мая, все сходится...

Так открылось то, что сильно волновало Симу. Тайное стало явным.

— А я смотрю, ты стала какой-то другой, уж не заболела ли, думал, — он слегка нажал пальцами Симе на живот ещё раз. — Ну да, легко прощупывается. У тебя соски стали розового цвета, а я в голову не взял... И есть ты стала побольше, я думал, от свежего деревенского воздуха.

Хозяин обрадовался новости. Сима это видела. И успокоилась. А Сергей Сергеевич все удивлялся:

— Вот почему ты прибилась ко мне в городе, а потом в деревню поехала — тебе рожать надо! Помощник необходим. Обязательная какая! Умница! Ценю... ценю... Этот наш союз не по расчёту, а по великому инстинкту...

И он многозначительно поднял на уровень лица руку с прямым указательным пальцем:

— Великому инстинкту!..

Глава 6. СТАРЫЙ ДА МАЛЫЙ

Несмотря на теперешнее Симино положение, она была активна. Так много вокруг того, что она видела впервые.

...Совсем рядом с домом, за огородом раскинулось круглое с песчаными берегами озеро. По берегам стоят высокие дубы. В дубраве всегда особый воздух. Свежий и острый.

Шуршание дубовой листвы под ногами и дробные постукивания дятла в кронах старых деревьев завораживают Симу. Она считает эту территорию своей и особо ревностно следит за теми, кто нарушает определённые ею границы.

* * *

На ежей, постоянно попадающих тут, она не сердилась. Они такие забавные и деловитые! Впервые она увидела здесь насекомых с двумя парами сильных перепончатых крыльев, при помощи которых они летали. Да так быстро! Она видела, как они ловко ловили на лету добычу. Ей было интересно и завидно. У стрекоз большие глаза. Это её тоже удивило.

Не могла она равнодушно смотреть на бабочек. Её завора-

живали и дневные, и ночные красавицы. Эти легкие создания почти одинаковые, только у ночных, в отличие от дневных, тела более толстые. Она гонялась за ними. Но безуспешно.

Более всего ей нравилась рыбалка на озере. Едва Сергей Сергеевич вечером начинал собираться удить рыбу, она с широко открытыми глазами и вертикально поставленными ушами начинала ходить за ним. Хвост её в это время был непременно поднят вверх. Радовалась тому, что предстояло.

Сергей Сергеевич и сам любил рыбалку. Он каждый раз садился на одно и то же место, там, где камыш примят и в песчаный берег воткнута ивовая рогулька, обросшая зелеными веточками. Карасики, сорожка, краснопёрка здесь прикормлены заранее, поэтому рыбалка почти всегда удачная.

Но ей вскоре оказалось мало быть просто наблюдающей. Там, где не было камыша, на небольшой песчаной косе, она стала охотиться на рыбок сама. И весьма успешно. Её терпеливое ожидание заканчивалось молниеносным броском. Сима ловко прижимала на мелководье зазевавшегося карасика или краснопёрку.

Урча, притаскивала добычу к хозяину, и он, растроганный тем, что она отдаёт ему пойманную рыбу, гладил её по спине. Показывал свою добычу в ведерке с водой, приговаривая:

— Выбери, какая на тебя глядит, кормись сама...

Она не торопилась выбирать, знала, что хозяин о ней никогда не забудет.

Часто можно было видеть весёлую картину: объединённые общей удачей на рыбалке, они дружно выпшагивали от озера к дому. Оба довольные! В такие моменты над головой Сергея Сергеевича торчали бамбуковые удочки, над головой Симы — её весёлый рыжий хвост.

— Кажется, вас водой не разольёшь, — смеялся сосед Дмитрий, попавшийся им в дубняке со свежесрезанным баннным венником. — Старый да малый.

— Такие вот мы! — за обоих отвечал Сергей Сергеевич. И его голубые, совсем не старые глаза за толстыми линзами очков, светились ясно, под стать июньскому небу.

Чуть правее колодца, над изгородью на длинной жердине возвышалась потемневшая старая скворечница с сучковатой рогулькой над крышей. Сима заметила, как хлопочут там скворцы со своим семейством. Вскоре наблюдать за скворцами ей стало скучно. Они летали, как заводные, в дальний конец огорода, добывали червей. Их трудно подкараулить, они порывистые.

Воробьи — другое дело. Они сидят обычно рядышком на земле, на ветках, на ограде.

...Всё-таки в этот день Сима настигла добычу.

Стоя у окна, Сергей Сергеевич хорошо видел, как это произошло. Утром он наблюдал, как она потешно охотилась за кузнечиками, а потом...

Он увидел Симу около амбара. Она скользнула вдоль стены, прижимаясь животом к земле. Мелкими перебежками кошка добралась до ближайшего от цели укрытия — старой кошелки. Цели её он не видел, но догадывался, что она, скорее всего, у корневища разросшегося винограда.

За своим укрытием Сима готовилась к атаке. Перебирая задними лапами и, шевеля нетерпеливо кончиком хвоста, она ждала момента. Затем, прижав тело к земле, заскользила ближе к винограду. Когда расстояние сократилось до одного прыжка, поджав передние лапы, она прыгнула. В её лапах оказалась мышь.

То ли так случайно получилось или таков кошкин прием, но мышь оказалась вновь на свободе. Серой тенью бедняжка метнулась в сторону, Сима в броске успела, играючи, легко схватить её. Почти тигровая окраска Симы, уверенность движений — все напоминало грозного хищника, на какой-то момент оказавшимся миниатюрной кошечкой.

Сергей Сергеевич был изумлен. Оказывается, у Симы двойной образ жизни. В доме она внимательная, ласковая и отзывчивая, а на воле — опытный независимый хищник. Осторожный и уверенный. И ведет себя, будто у неё нет никакого хозяина...

Чуть позже с удовлетворением подумал: «Вот так, если оставить её одну, когда необходимо будет куда-то уехать — не пропадет! Молодчина!»

Глава 7. РАЗГОВОРЫ О ЖИЗНИ

Разговоры с Симой стали для Сергея Сергеевича ежедневной потребностью.

— Что, Сима, так смотришь на меня? Много сижу за столом? Не могу без чтения.

Он начинал поглаживать Симу по спине. Она мурлыкала под его чуткими пальцами. В такие минуты между ними возникала особая связь, для которой слов не подобрать.

Сима сидела на левом краю письменного стола и внимательно слушала. Она испытывала состояние полного душевного комфорта, о чем свидетельствовал её послушный хвост, обернутый вокруг тела.

— Знаешь ли ты, моя дорогая, отчего у нас, у людей, беды? — хозяин покрутил в руках очки и в упор посмотрел на Симу.

Глаза её тут же округлились. Она внимательно слушала.

Он не выдержал её взгляда. Ему показалось, что вся живая и неживая природа смотрит на него золотисто-зеленоватыми Симиными глазами и ждет.

— От того, что нет у нас порядка в общем доме. Мы вышли из чьего-то повиновения и как малые дети многое натворили своим незрелым умом. Это я теперь начинаю понимать.

Сима грациозно зевнула.

Он положил ладонь на газету.

— Наш чрезвычайный министр Сергей Шойгу — молодец. В своём докладе на год заранее сказал, что с нами будет. Какие аварии ждут. Хотя бы так нас образумить. Все то, что может случиться, дело наших рук.

Он потянул из-под Симы газету, кошка передвинулась. Потом и вовсе спрыгнула на пол, нехотя пошла к креслу. Ей нравилось сидеть на газетах. Эта её привязанность была непонятна Сергею Сергеевичу. Он все полагал, что когда-нибудь дознается, в чем причина.

Сима будто чувствовала важность того, что говорил хозяин. Она не ушла, а улеглась на кресло и стала смотреть на Сергея Сергеевича. Не зевала.

Он продолжал:

— Мы все больше и больше отрываемся от природы. Но мы же часть её?!

Сергей Сергеевич в последнее время много думал о том, что сейчас говорил, поэтому повторялся. Он и без Симы разговаривал вслух. Сам с собой. Это помогало думать.

Теперь, монотонно говоря с Симой, споткнулся о мысль: «Как Рубцов пронзительно чувствовал, откуда мы все вышли!»

Он дотянулся рукой до книжной полки. Достал небольшой красный томик стихов, который приобрел перед отъездом из города. Быстро нашел запомнившиеся строки. Негромко задумчиво прочитал:

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую кровную связь.*

— Поэт не просто так сказал. Он, как и Есенин, — Божья дудка!

Кошка молча наблюдала за хозяином. Сергей Сергеевич уже привык к её изучающему взгляду.

— Странно тебе, почему я раньше об этом не думал? Не знаю. Дела вершил! Как белка в колесе... стихи читал только в юности... Да вот теперь — на пенсии.

Он поднял вверх над головой очки. Взгляд Симы последовал за рукой с очками. Сергей Сергеевич встал. Кошка спрыгнула с кресла и потянулась.

— Пора спать, — сказал он и пошёл открывать ей дверь.

Видно было, что Сергей Сергеевич хотел сказать что-то другое, но передумал.

Сима последовала за ним.

Не в первый раз ему показалось, будто общается он не с животным, а с человеком.

Глава 8. ОБИДА

Не всегда между Симой и Сергей Сергеевичем устанавливалось единодушие.

Утром, когда он готовил себе завтрак, она появилась на пороге с мертвой синицей. Такого он не ожидал.

— Ах, ты проказница. Что же ты делаешь? Тебе не хватает еды?

Он не знал, что ещё говорить.

Сима положила синицу на пол и выжидательно смотрела на хозяина. Ей непонятно, почему он недоволен.

— Чтобы это было в последний раз! Ты же мышиный лев! Вот и громи серых!

Сергей Сергеевич ладошкой слегка пошлепал кошку по мордочке, так, для порядка. И строго посмотрел ей в глаза. Сима не понимала его и не чувствовала за собой никакой вины.

Она так любила подолгу подкрадываться, наблюдать за добычей. В ней жил охотничий инстинкт. Была она совсем ещё молодая, ей нравилось играть. И охота для неё — часть игры.

Симе было не понятно, почему её хозяин, Сергей Сергеевич, сам не ловит синиц? Она принесла пойманную птицу, чтобы он оценил её подарок.

— Если не прекратишь ловить птиц, — говорил между тем Сергей Сергеевич, — то повешу тебе на шею колокольчик. Не сможешь тогда охотиться даже на мышей, поняла?

Ничего Сима не поняла. Потопталась на месте, села и, как ему показалось, высокомерно отвернулась.

— А вот этого делать не надо бы. Ты же не глупая, я знаю, — говорил с легкой насмешкой хозяин.

Голос Сергея Сергеевича стал ещё строже:

— Больно ранимая. Так нельзя!

Сима, ощущая уже угрозу, насторожилась. Её пугал пристальный взгляд Сергея Сергеевича. Возникло желание укрыться от этого взгляда, не видеть его. Она потому и отвернулась, что не могла смотреть в недружелюбное сейчас лицо. А он воспринял это по-своему. Кошка вышла в сени. Мертвая синица осталась лежать у порога.

Сима легла на свою подстилку. Широко раскрытыми глазами смотрела прямо перед собой. Ударив пару раз лапой с выпущенными когтями о пол, наконец, успокоилась. Закрыла глаза.

«Что же мне с тобой делать? — раздумывал тем временем Сергей Сергеевич, доедая яичницу. — Охотилась бы только на мышей, и все дела...»

Дверь в сени оставалась открытой, и он говорил, зная, что она его слышит:

— Вы, сударыня, существо независимое, конечно... Что вам мои замечания?..

Он ещё что-то говорил. Но она уже не слушала его. Не понимала его иронии. Она не умела возражать, устраивать сцены. Сима — кошка. Если ей не по нутру что-то, то она просто отворачивалась, как сейчас. Лгать не в её характере.

...Ворчать-то Сергей Сергеевич ворчал, но помнил: с того момента, как появилась Сима в его жизни, ему стало легче жить. Его сердце, не раз основательно дававшее о себе знать, теперь болело реже.

...Если бы он ведал, как непросто было Симе.

...Оказавшись совсем маленькой на улице и начав жить самостоятельно по подвалам, Сима многого лишилась из того, что могло быть в её характере изначально, что устанавливается в общении между людьми и котенком.

Но она была теперь взрослая. И постигала многое заново, вдогонку. Словно училась в вечерней школе, как это бывает у людей.

Глава 9. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ

Симе нравился этот человек. Когда он приходил к Сергею Сергеевичу, ей становилось веселее.

Хозяина он звал, как все местные, коротко, Сергеичем. Будем и мы его так называть.

Ожидая от гостя ласки, Сима опрокидывалась на спину, откидывала передние лапы, оставляя их повисшими в воздухе. Это — приглашение погладить её брюшко. Очаровательные глазки, так чаще всего звали гостя, безоговорочно отзывался на это.

Своё прозвище он получил давным-давно. Наградили его им, похоже, с усмешкой. Каким он был в молодости, теперь уже мало кто помнил. Сейчас он старик. Брови у него косматые, а глаза усталые и серые. Но какие песни за ним тянутся...

Между гостем и кошкой быстро возникало радостное взаимопонимание. В эти моменты глаза её обычно полуприкрыты. Такими они становились и у гостя.

В первый же свой приход он галантно рассыпался перед Симой в комплиментах и спел для неё свою любимую песенку. Подобного в Симиной жизни ещё не было.

*Очаровательные глазки,
Очаровали вы меня...*

Голос у него, когда он пел, становился совсем молодым. Негромкий, выразительный, обволакивающий...

Теперь, при появлении в их доме такого гостя, она ждала, когда он снимет со стены старенькую гитару и запоёт. Гитара, когда не было гостя, висела на стене около голландки и тоже скучала. Очаровательные глазки в отличие от хозяина курили. Особенно неприятно пахли его пальцы, но Сима прощала ему это.

Хозяин дома и гость — одноклассники. Их родители жили раньше в этой деревушке по соседству. Это иногда так много для людей значит. К тому же Фадеич долгое время преподавал, учил ребят истории в школе. Было о чём этим двум хорошим людям поговорить, Сима им не мешала. Притом ещё давным-давно, в молодости, Фадеич был ветеринаром. Он любил животных.

Она всегда перед его приходом теперь умывалась и приглаживалась.

Но вот беда: старинные приятели часто говорили о чем-то серьезном, и тогда Симе становилось скучновато.

— Нет, Серая шейка, — держа чашку чая в ладони, говорил гость, — ничего уже не вернешь. Никакой слитности с природой у человека теперь быть не может. Жили мы в младенчестве язычниками, теперь выросли.

— Но не поумнели, — вставил тихо, но внятно Сергеич.

— Это, скорее всего, верно.

Его большие и черные брови шевелились. Сима стала за ними наблюдать. Ей было забавно. Брови полезли вверх, на лоб. И их хозяин почти выкрикнул.

— Человека надо ниспровергнуть с пьедестала, на который он забрался, возомнив себя царем природы.

Сима даже вздрогнула при последних звуках. Так они были произнесены, жестко и громко.

Сергеич молчал. Сима смотрела на него, будто спрашивала: что же ты не отвечаешь, не можешь?..

— Приглашают в школу вновь начать преподавать, — говорил тем временем Фадеич. — Я должен детям нести разумное и доброе. А я этого уже не могу. Мне хочется кричать! — брови у Фадеича легли туда, где им положено быть.

Он замолчал, но ненадолго. Сказал, как пожаловался:

— А разумно ли кричать детям? И такое? Ведь им жить надо! Как и мне! После моего инсульта года не прошло...

Похоже, в его окружении мало кто мог слушать старика долго, и он приходил выговориться к своему приятелю Мамину.

Не дождавшись ответа, вновь спросил:

— А если детишки не будут знать с ранних лет об этом, какими они вырастут?

Сима вышла в сени.

— Поостынь, — спокойно сказал Сергеич, провожая взглядом Симу. — В тебе большое нетерпение. Не зря мы тебя в школе Утюгом звали.

— Меня за другое так звали, — по-мальчишески запальчиво проговорил Фадеич.

— Ну... Николай, не сердись, — улыбнулся Мамин. И продолжил: — Все человечество копило то, о чем ты говоришь. А ты хочешь в одночасье, один все разом решить, всех образумить? Я думаю, человек повернется лицом к природе, настанет такое время.

— Настанет ли? — Покачал головой Фадеич.

Вошла Сима и села на пороге.

Гитара по-прежнему висела на стене. Сима зевнула. Она спокойно смотрела, как гость, задев на столе локтем чашку, опрокинул её и намочил рукав фланелевой рубашки.

Очевидно, он вспомнил свою первую профессию. Спросил неожиданно:

— Ведомо ли тебе, умная твоя голова, как крепко можно приручить кошку к себе?

— Я и так о ней забочусь.

— А она? — переспросил гость.

— То целыми днями около меня, в глаза заглядывает. А то вдруг надолго пропадает. Где носит её?

— А ты попробуй одно средство.

— Что за средство такое?

— Испытанное. Возьми кусочек мяса, поддержи его у себя под мышкой, и пусть потом она его съест. Все! Кошка как приохнет к тебе.

— Ну вот, буду я ещё ворожить. На старости лет-то, — буркнул Сергеич, ставя Симину миску на порог.

Наблюдая за Симой, его приятель удивился:

- Послушай, в первый раз вижу, чтобы кошка ела чеснок!
- Она ещё и горчицу ест.
- Что?
- А вот то! Мы такие, да, Сима?

— А знаешь ли ты, дружище, ученые установили, что на подушечках лап твоя кошка, как и все, имеет потовые железы. Есть они у неё ещё на щеках, губах, вокруг сосков. И через лапы кошки получают нужную им информацию. Грязь и вода на лапах воспринимаются ими как помеха. Кошка очищает постоянно свои лапки, отряхивает их или облизывает..

Николай Фадевич говорил так, а Сима в это время, оставив миску, терлась о ногу гостя и старалась заглянуть в лицо.

— Ну, достаточно пометила? — довольно спросил он.

— Что ты у неё спрашиваешь?

— Так она же нанесла на меня свои метки. У неё специальные железы расположены по обе стороны лба, между ушами и глазами. Есть такие же вокруг губ, на хвосте. Я ей понравился. Она потёрлась и отметила меня. Не в первый раз. Это знак привязанности. Теперь я — часть её территории!

Он одобрительно смотрел на Симу:

— Вот ведь, практической пользы от кошек никакой. Но правы англичане, считая, что Бог создал кошку, чтобы человек мог наблюдать красоту в чистом виде. И заметь: кошки не обманывают. Дурных примеров с людей не берут!

Он так говорил, а Сима все терлась около его ног и ждала, когда же он снимет со стены гитару и запоёт. Ей так нравилась песня про очаровательные глазки...

Глава 10. ПОПОЛНЕНИЕ СЕМЕЙСТВА

Наступила середина июля. Многие птицы в хлопотах, надо поднимать на крыло своих птенцов. У Симы свои заботы. Последние три дня она отказывалась от еды. Живот её за неделю заметно увеличился.

Очаровательные глазки легко прощупал у неё три головки котят.

Сима, не обращая никакого внимания на своих помощников, искала место, где можно устроить гнездо.

— Это обычные все дела, — успокаивал Очаровательные глазки и Симу, и приятеля. — Не надо волноваться. И гнездо мы определим, не суетитесь.

Сергеич отыскал деревянный ящичек на чердаке и, довольный, водрузил его в сених под широкую лавку. На дно его положил подстилку.

Бывший ветеринар одобрил его действия.

— Некоторые кошки «стесняются» присутствия человека, — пояснял он, — а некоторые наоборот, в таких случаях рады тому, чтобы кто-то был рядом. Посмотрим, как Сима поведет себя.

Гнездо получилось уютное и безопасное. Ящик отгораживал Симу своими прочными деревянными боковинами со всех сторон. Сверху — широченная лавка. На неё Сергеич набросил старенькую ватную куртку. Свисая, она скрывала от посторонних глаз и Симу, и ящик.

Симе понравилось гнездо.

Она перестала бегать по комнате в поисках нового места.

* * *

Через неделю Сима сделалась отрешённой и притихла... Забралась в ящик и будто пропала, забыла про всех.

...Утром Сергеич обнаружил около Симы в ящичке трех котят. Все прошло пока, как авторитетно заверил пришедший Николай Фадеевич, без каких либо осложнений.

Спокойное поведение Симы подтверждало это. Она деловито заканчивала вылизывать последнего серого, с белыми мордочкой и лапами котёнка. У появившихся ранее и отчаянно рыжих, шерстка была уже сухой.

* * *

И начался у Симы и её хозяйина новый, особый порядок отсчета времени, который связан был теперь с ростом котят.

...Уже через две недели у них раскрылись уши. Открылись и глаза, но пока незрячие. Прошла ещё неделя, и котята стали видеть. У всех новорожденных глаза были до своего срока одинакового цвета — голубые. Когда наступила третья неделя, котята начали пробовать коровье молоко.

Теперь Сергеич называл свои неказистые сени «рыжим общежитием». Примерно через месяц после рождения у котят прорезались зубки. Ему нравились все котята, но особенно последний, тот, который был не похож на всех, не рыжий. Трогательная белоснежная окраска мордочки ниже глаз, передней части туловища и всех четырех лап сильно выделала его из остальных.

И сама Сима, как заметил он, чаще всего занималась именно им. Он был менее, чем остальные, подвижен. Но его манера поведения была особенно трогательна и забавна... С первого же утра он получил от Сергеича имя Мальш.

Остальным хозяин пока имена не придумал. Звал временно Рыжиками.

У Мальша он отметил своеобразные черточки характера: тот каждый раз припадал только к одному материнскому соску. Он реже нападал в общих играх на собрата с укусами. Чаще набрасывался на хвост своей матери, которым она, слегка подёргивая, возбуждала любопытство своих детенышей. Сима заботилась о закреплении охотничьего инстинкта любимых чад... Все трое оказались большими любителями приключений. Просыпаясь по утрам полными сил и веселья, они готовы были потрогать все, что окружало их.

* * *

Вскоре они уже затевали игры, вовлекая в них и мать. Сима охотно откликалась на шумные затеи. Как маленькие дети, котята не могли оставаться без активного внимания Сергеича. Наблюдая, порой, при игре с ними за непрерывной сменой выражений их мордашек, он радовался, как ребенок.

«Мудрость жизни состоит в наблюдении того, как растут дети», — вспомнил теперь Сергеич когда-то услышанную фразу.

Раньше он не очень задумывался над ней. Воспитание его приёмного сына проходило с такими зигзагами, что он мало что из этого вынес. Теперь же в кошачьем окружении он видел все будто другими глазами.

Радостно было не только от факта владения этим шумным жизнелюбивым сообществом. Тихая радость теперь исходила

от ощущения непобедимости и нескончаемости жизни, невзирая на все болячки, старость, неверие, заумные рассуждения и прорицания...

...Отныне у него в специальном ящичке образовался целый арсенал приспособлений для игры с котятами. Появились там клубок пряжи и теннисный мяч, и привязанная на длинную нитку варезка ...

Едва он входил в сени, сразу оказывался в окружении своих питомцев с высоко поднятыми хвостами.

Он баловал котят. Вносил разлад в педагогический процесс Симы. Если котята позволяли себе излишнюю назойливость, Сима могла запросто дать им оплеуху. Надо знать своё место! У Сергеича на подобное рука не поднималась. Он оставлял за ней такое право. Она — мать!

Когда он видел, как Сима убегает на озеро и приносит для котят добытую крохотную плотичку или сорожку, он восхищался её материнской самоотверженностью. Поражался тому, сколько у неё забот, а она ищет себе новые.

* * *

Было одно обстоятельство, которое вначале сильно беспокоило Симу. В широкой половой доске, прямо около ящика, темнело небольшое, с мышиную головку, отверстие.

...В первый раз, когда из этого отверстия послышался легкий шелест, она подумала, что это ежик, который куда-то пропал и давно не появлялся.

...Сима не поняла, как это случилось. Не видела, как он оказался рядом. Не почувствовала, как вместе с её котятами, приложившись к соску, начал сосать молоко. Это был большой, уверенный и спокойный в движениях уж. Ужей она никогда не видела. Сима оцепенела от страха. А гость спокойно продолжал своё дело. Когда насытился, не спеша удалился. Так повторилось несколько раз. В последующие появления ночного гостя её уже так не трясло.

Потихоньку она, кажется, начала привыкать к его посещениям...

Глава 11. БЕДА

Раньше, когда появлялся сын хозяина Эдуард, Сима уходила из дома и, пока он не уезжал, не возвращалась. С тех пор, как родились котята, при его появлении забивалась в свой ящик. Не выходила сама и старалась не отпускать детеньшей. Чувствовала опасность.

На этот раз он приехал, когда Сергеич ушёл в магазин за продуктами. И Сима была в отлучке. Эдуард решил сделать то, что давно задумал...

Обнаружив со двора дверь в сени закрытой, Сима сразу почувствовала недоброе. Она метнулась к лазу, которым всегда пользовалась. Он был закрыт изнутри курткой. Она заметалась вдоль стены дома и, заметив не закрытой на шпингалет створку окна, передними лапами надавила на стекло. Молнией сверкнула через кухню в сени. В ящике был один Малыш. Рыжиков не оказалось. Она выскочила через окно во двор.

...Эдуард шёл с шевелящимся мешком к пруду. Дико зарывчав, она бросилась к нему. Он мотнул ногой, Сима отскочила в сторону. Потом вновь приблизилась. Она хотела вцепиться в толстый, пахнущий машиной его ботинок. Он схватил подвернувшуюся увесистую железку и замахнулся. Сима отстала. Шла за ним мелким кустарником, не чувствуя, как выдирается с боков шерсть.

У воды он завязал мешок узлом, сделав перед этим два отверстия для выхода воздуха. Потом мешок прицепил к железке. Размахнулся обеими руками деловито, не спеша... После, глядя, как расходятся широкие круги на воде, молвил с кривой усмешкой:

— Всем облегчение теперь! А то зверинец развел. Сам за собой уж не в силах... а тут... Ракам хороший подарочек...

Когда она приплелась в дом, отец и сын разговаривали на кухне. Дверь была открыта.

— Хватит тебе и одного, куда? Сам же говорил, не знаешь, что с ними делать.

— Да, но не так же? — необычно глухим голосом отвечал Сергеич. — Благодетель...

— А как, если у всех тут по две-три кошки? Никому они не нужны. Я сделал обычное дело, на которое ты, конечно, не ре-

шился бы. Ты у нас тонкая натура... Но в деревнях всегда котят топят.

— Мне на тебя тошно смотреть!.. Не понимаешь, в какое время живешь, не ведаешь, что творишь. И по ней, и по мне хлестанул, — голос Сергеича стал ещё глуше.

— Опять двадцать пять. Мне что? В город, что ли, их везти усыплять. А разница? Все равно каюк!

Сима, пошатываясь, ходила вдоль стены. Слушала такие разные голоса. Потом забилась под лавку около ящика. Легла там, устремив взгляд на дверь, откуда должен был появиться этот редкий и страшный гость. Гнев и раздражение распирали её. Порой из-под лавки доносилось прерывистое завывание.

Отныне неприязнь к Эдуарду в ней закрепилась во сто крат сильнее, чем прежде. Как все кошки, Сима не умела забывать обиды...

* * *

Тихий и настойчивый уж продолжал по ночам навещать Симу. Темной, еле слышной лентой шелестел около неё. Она привыкла к нему. С тех пор, как не стало её огненно-рыжих котят, когда он прикладывался к её соскам, ей становилось даже легче. Но и ужа вскоре не стало.

...Деловитый ежик появился после своей долгой отлучки. И подкараулил ужа. Он был опытным охотником.

* * *

Иногда навещался Очаровательные глазки. Бодрился, пробовал шутить. Надолго его на такое не хватало. Он в последнее время начал быстро терять зрение. Это его печалило.

— Послушай, твоя Сима и ты становитесь похожи друг на друга, — говорил он. — У неё походка твоя стала, нетвёрдая. И даже взгляд твой. Не веришь? Подобное с животными бывает..

— Фантазируешь? — отвечал негромко Сергеич. — Тогда почему твой бык-полуторник не похож на тебя? Хвост пистолетом, а ты?

— Наверное, потому, что он не Сима, — гнул своё Фадеич.

Сергеич теперь частенько ложился на старенький диван. Побаливало сердце.

А Сима каждый день бегала к озеру. Часто можно было её видеть за огородами между могучих дубов. Казалась она там, среди деревьев, теперь маленькой и беззащитной. Как её сгнувшие Рыжики. Теперь, после исчезновения котят она часто подходила к хозяину, глядела ему в лицо, искала его взгляд. Будто хотела что-то сказать. О себе ли? О нем ли?

А Сергеич все реже поднимался с постели. Часто клал в рот под язык круглую белую таблетку.

Она вяло смотрела на синиц, порхающих за окном. В былые времена Сима садилась на подоконник и наблюдала за добычей. Уголки губ у неё тогда оттягивались назад. Челюсти смыкались, получались ритмичные звуки — так выражалась её разочарованность по поводу недостижимости птиц.

Теперь ей было не до них. Он заметил, что она старается своего единственного Мальшана надолго одного не оставлять. Берет беднягу за шкурку и перетаскивает с места на место за собой. А тот меланхолично повинуется.

— Что ты так привередлива? — говорил он будто сам себе. — Боишься и последнего потерять? Бедная.

Сегодня повторилось обычное. Сергеич включил старенький телевизор «Горизонт» и прилёг на диван.

Сима с Мальшаном пристроились рядом под столом. Дружная поредевшая семейка коротала летний долгий вечер.

Через некоторое время Симу стало что-то беспокоить. Она как бы очнулась от спячки, вышла из-под стола. Прислушиваясь, стала разглядывать черно-белый экран. Потом, схватив за шиворот Мальшана, подтащила его к закрытой двери. Стала тревожно мяукать. Вначале Сергеич не обратил на это серьёзного внимания. Слишком уж часто теперь Сима перемещала своего дитяню с одного места на другое.

Просьба выпустить повторилась. Он нехотя, с трудом встал и толкнул дверь. В это-то время у старенького телевизора и взорвался кинескоп. Хозяин в первый момент подумал, что кто-то разбил оконное стекло. А вскоре уже собирал осколки экрана телевизора. И не только с пола. На диване, с которого только что встал, их оказалась большая часть. Выходит, Сима спасала от неприятностей не только себя и своё чадо, но и своего хозяина.

Глава 12. ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

— А хотите, я вам анекдотец расскажу? Про вас! — обнимая правой рукой лаковую статью гитары, произнёс Очаровательные глазки.

— Валяй, — согласился Сергеич.

— Это вместо таблеток, — успокоил гость. — Веселее будет. Он древний, но забавный.

Однажды решил Лев съесть Кошку. А она опередила. Пригласила его к себе домой в гости. Придя к ней и увидев человека, Лев спросил: «А это кто такой?» «Это человек — мой слуга. Он мне пить приносит, еду...» «Если у неё такой сильный слуга, то какова она?» — удивился Лев. И потихоньку удалился с глаз долой.

...Так что, Сергеич, дорогой, ты ей не хозяин. В слугах у неё ходишь, — нажимал гость.

— Верно, в слугах, — согласился Сергеич. — Но только я ей помощник никудышный. Беду в своём доме допустил. Она вся испереживалась после страшной утраты. Похудела. Ну, дай Бог, отойдёт, может. Я так болею за неё.

Веселости анекдот не добавил, Сергеич размышлял вслух:

— Я вот гляжу теперь на Симу и готов почти согласиться с тобой. Человек может добить природу. Как жить тогда?

— Придется переселяться на другие планеты. Одну загадили... Не нам, конечно. Мы с тобой не долетим, рассыплемся. Одна космическая пыль от нас останется, — отозвался его приятель.

Однако Сергеич настроен на серьёзный разговор:

— Бегство в Космос? Бред! — внятно проговорил он. — Ни одна планета во Вселенной не заменит человеку Землю. Где ещё есть такая дубрава, как здесь, у нас? Где найдёшь такое озерцо, как наше Дубовое. Там, где-то в космосе будем уже не мы, наши слепки!

Очаровательные глазки не перебивал своего приятеля, слушал.

— «И на Марсе будут яблони цвести», — пели? Ведь так?! Заблуждение! Не будут!. Надо сохранить цветущими сады на Земле. Но как сделать, чтобы молодые все это сейчас поняли, а не когда окажутся в моём возрасте, через пятьдесят лет? Тебе в школу надо всё-таки вернуться. Ты здесь единственный, кто может хоть что-то сделать.

— Моя благоверная, Клавдия все говорит о каре, которая нас всех постигнет. — Сказав так, Очаровательные глазки подошёл к окну. Задумчиво посмотрел во двор. И негромко произнёс: — Я не ведаю, как погибнет мир. Как меня не станет — знаю. Мой инсульт всегда со мной...

Сергеич слегка взмахнул рукой:

— Николай, будет тебе... Поскрипишь ещё...

— Попробуем, — отозвался приятель.

И продолжил свои рассуждения вслух:

— Я где-то читал: «Смерть человека — это как выход из трамвая. Сойдёшь на своей остановке и заметят это только те, кого толкнул, либо кому уступил место...» Торопиться надо в добрых делах.

— Что это у тебя торчит блестящее из кармана, все не спроси? — спросил Сергеич.

— Перехожу, как теперь модно говорить, на оргтехнику. — Он вынул и показал внушительную лупу в полиэтиленовой светлой оправе. — Зачастил в райцентр. Оформляю инвалидность по зрению. Решился. Льготные лекарства буду получать. Один глаз совсем почти вышел из строя, другой на тридцать процентов всего видит...

...Но поживу... Другие-то живут. Такова задачка на текущий момент. Помнишь, как говорилось в одном неплохом советском романе: «Надо было жить и исполнять свои обязанности».

На моём языке это звучит теперь так: «Надо отрабатывать свою пенсию»... Хотя и с гулькин нос она...

Глава 13. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Сегодня опять возник в доме Сергеича Эдуард. И объявил новость:

— Отец, я перебираюсь за границу, в Чехию. Хотя ты всегда был против.

— Совсем? — не удивившись, спросил Сергеич.

Эдуард стоял лицом к окну, делая вид, что ему гораздо интереснее происходящее во дворе, а не в этой низенькой с потемневшими обоями комнатке.

— У меня договоренность с фирмой на год. Потом видно будет. Хочу остаться.

— Не пропасть бы тебе там, чужая сторона...

— Это тут бояться надо. У нас бедлам. В этой стране долго порядка не будет.

— В этой? — как эхо повторил отец.

— Не будем придирааться к словам. Спорить не хочу. Наговорились с тобой об этом. Нахлебался... Дождаться старости такой, как твоя здесь, не хочу.

— Так, значит?..

— Да, приехал проститься. Квартиру я оставляю знакомому, машину — тоже.

— Что ж, вольному воля, — только и сказал Сергеич.

Они ещё потом говорили. Но не долго.

— Значит, я теперь совсем один, — не удержался Сергеич. Голос его дрогнул.

— Ладно, отец! Ты всегда был независимым. Не приbedняй-ся. Вон, Сима с тобой. Затаилась в сенях, только и ждет, чтобы я слинял.

Заслышав своё имя, Сима ещё больше забеспокоилась. Хвост её застыл внизу у пола.

— Когда уезжаешь?

— Намеренно не говорю, чтоб не волновать. Через два дня самолет из Шереметьева, завтра отчалию в белокаменную.

Эдуард с напускной веселостью подал руку. Сергеич медленно протянул свою. Когда гость выходил из дома в сени, видел, как Сима припала к полу. Голова её опущена, глаза расширились. Издав горловой звук, похожий на вой, она готова была к нападению.

— Чертово отродье, — визгливо выкрикнул розовощекий и поторопился на улицу.

* * *

Ночью Сима спала беспокойно. Слышала, как ворочался в кровати хозяин.

Утром Сергеич не встал с постели. Поднялся только в полдень. Вышел потихоньку во двор. Сосед оказался дома. Сергеич подошёл к забору, тихо позвал... Сима терлась около его ног.

Пока шёл сосед, хозяина пронзила резкая боль за грудиной. Он побледнел ещё больше, слабеющими руками стал хвататься за узкий штакетник...

* * *

На своей дребезжащей машине сосед увез Сергеича в город. Вернувшись уже совсем вечером, один зашёл, гремя ключами, в сени, положил рядом с ящиком кусок докторской колбасы:

— Теперь недели на две я ваш и кормилец, и поилец, — тихо, не как всегда, сказал он.

Такой его голос ещё больше насторожил Симу.

Глава 14. ТОСКА

Прошла неделя с той поры, как не стало в доме хозяина. Сосед каждый день приносил еду. Но не еда волновала Симу. Она тосковала. Отсутствие хозяина не давало ей покоя.

Сима перестала по утрам умываться, хотя так любила это делать. Перестала охотиться, даже на рыбок. Она теперь не ходила на озеро. Она привыкла, что хозяин с удовольствием помогал ей наводить порядок. Помогал избавляться от выпавших волос. Всегда начинал с поглаживания, пробегал пальцами по её меху, пригласив к себе на колени.

Теперь ничего этого не было.

«Надо ждать», — слышала она, когда забежала к соседу во двор и старалась оказаться у него на пути.

Сосед Дмитрий куда-то всегда торопился. То что-то привозил, то увозил на своей машине. Хозяйка звала его «мой челночок». Сима недоумевала, почему он уезжает утром и вечером возвращается, а Сергеич — нет.

Приходил днем Очаровательные глазки. Но притихший и не веселый как прежде.

— Потерпи, Сима, — говорил он тусклым голосом. — Вот утихомирю болячки, поеду к нему. Вернусь, расскажу.

Потом спохватился:

— А может, тебя взять с собой, а? Возьму, пожалуй, изболе-лась...

Он ушёл, и опять наступила тоска. Время шло, а ничего не менялось.

Сегодня рано утром у колодца Сима наткнулась на крупную жабу. Она сидела под широким листом мокрого лопуха. Возникший азарт встряхнул было кошку. Она оживилась. Но медлительность и неуклюжесть жабы показали ей подозрительными. И она вспомнила, что в городе была у неё подобная встреча. Тогда Сима вцепилась зубами в шею похожей жабы, обнаружив её неожиданно на газоне. Получив рану, жаба выпустила яд из бугорков, расположенных по обе стороны её толстой шеи. Сима тогда тут же отбросила добычу от себя, настолько мерзко стало во рту.

Жаба плюхнулась на землю и спокойно спряталась в траве. У Симы после таких воспоминаний сейчас не было желания связываться с этой неповоротливой, коварной тварью.

* * *

Кошки не любят резких перемен в жизни.

Сима начала чувствовать неполадки в своём здоровье.

Очень хотелось видеть доброе лицо хозяина.

Одна отрада: оставшийся её единственный котёнок. Хотя ему чуть больше месяца, заботливая мать уже пыталась его кое-чему научить. Он оказался смышлёным. Обычно только к возрасту в десять-двенадцать недель взрослые кошки успевают обучить своих чад, как умываться, как правильно есть.

Сима эти уроки уже начала давать единственному теперь котёнку.

Мальш нравился соседу. И она, похоже, чувствовала, что, если даже на время покинет его, он не пропадёт..

Мальш ел уже самостоятельно. И был на удивление послушным. Ей ни разу не пришлось его наказывать. Он не боялся отлучаться от матери и часто выбегал из сеней во двор.

* * *

Сима понимала, что начинать искать своего хозяина надо с его квартиры в городе. С той, в которую однажды упала. Эту квартиру она хорошо запомнила.

В ней следы, запахи... Они могут помочь.

Надо действовать! Её окружают хорошие люди, но они заняты своими делами.

Она перестала бывать у соседей.

Приехавший их внук любил шумные развлечения. Часто звучала теперь веселая громкая музыка, не так, как в их доме при хозяйине. Такая музыка была для неё невыносима.

...Но ноги сами привели её к соседям. Дмитрий возился в сених.

— Не волнуйся ты, беспокойная душа. Здесь он загнулся бы, не успеи мы вовремя добраться до врачей...

Она смотрела на него большими, округлившимися глазами, слушала.

— Там, где сейчас Сергеич, миллион людей. Не дадут пропасть! Город всё-таки! Иди и жди дома, — уже строго произнёс сосед.

Сима слушала его, смотрела ему в лицо...

Она не видела, чтобы он улыбался и прищуривался, когда глядел на неё, как это делал хозяин. Его широкие брови, глаза и рот были суровы. Все это не давало успокоиться.

Когда шла обратно, услышала в дубраве дробный стук дятла. Но не помчалась, как раньше, на этот звук. Наблюдать за дятлом ей теперь было не интересно.

Она возвратилась в свои сени. Села у окна и стала смотреть на дорогу. Дорога уходила далеко-далеко туда, где деревья становились маленькими и земля смыкалась с небом.

Там где-то был её хозяин.

Туда его увезла машина.

Эта машина теперь стояла под навесом. Её хозяин был дома, хозяин Симы отсутствовал?

Ей трудно понять, почему это так...

* * *

Не стало в доме хозяина, и на кухню повадилась забегать большая проворная крыса.

Если бы нам и очень хотелось, все равно, о крысах ничего сказать хорошего не смогли бы. Такой уж это зверь.

И вот теперь эта крыса своими твердыми зубами прогрызла с улицы нору, а потом отверстие в полу и хозяйничала там, где лежало продовольствие.

До этого она успела загрызть у соседей кролика и двух цыплят. Сима терпеть не могла эту тварь с наглыми прищуренными глазками. И крыса избегала встречи с кошкой.

Так получилось, что они не разминулись. Сима была не только ловкой, но и смелой. К тому же защищала дом своего хозяина.

...Она с отвращением, но все же вытащила убитую ею в изнурительной схватке жирную крысу из кухни во двор и оставила в углу около изгороди.

Не могла есть эту мерзость.

Пошатываясь, обессиленная, пошла к колодцу, где стояло корыто с водой. Её мучила жажда. Саднило в правой, крепко оцарапанной ноге, чуть выше колена.

* * *

Утром, едва рожок смуглого пастуха в выцветшей за лето шляпе заиграл в конце улицы, собирая, как обычно, буренок в стадо, умер Очаровательные глазки.

Сима почувствовала его смерть раньше всех. Ещё родня его спала, жена поднялась выгонять корову, а он лежал на верандочке в односпальной кровати с панцирной сеткой и спокойно смотрел неживыми глазами в дощатый, с большими трещинами потолок (сколько раз собирался перестелить доски, не успел). Настиг всё-таки Николая Фадеича инсульт.

Сима сначала металась в сенях, не в силах успокоиться. Потом выскочила во двор и побежала к дому умершего...

Глава 15. УСПЕТЬ!

Прошло ещё три дня. Наконец-то рана у неё на ноге затянулась.

Сима вышла из дома на рассвете.

...В первый день, пока Сима бежала проселком, ей удалось, почти не задерживаясь, поймать двух кузнечиков.

С жадностью, не позволив себе поиграть с ними, она съела их.

На другой день повезло больше. Около маленького стожка сена она поймала мышь. В сене попискивали её сородичи. Стожок, очевидно, был облюбован полевыми для зимовки. Можно было пожить ещё. Но ей было не до того. Она пошла бы-

стрее. Усы её были напряжены и растопырены во все стороны, помогая ориентироваться в пространстве.

...Стоял уже конец августа, и лес заметно стал другим. Смолкли в листве птичьи голоса. Летние певцы теперь сбивались на опушках в стаи. Им предстояло лететь в дальние края.

Два следующих дня она ничего не ела.

Иногда порхали разноцветные бабочки над её головой, но она не радовалась им, как раньше, во дворе Сергеича.

В глазах её была тоска. И в то же время — решимость. Ей надо было торопиться!

Она не приближалась к людям, чтобы с их помощью подкрепиться. Надеялась только на себя. Но голод брал своё...

В пригороде, перед окнами приземистого бревенчатого дома в кустах сирени чирикали воробьи. Их оказалось много!

Сима стремглав метнулась от сложенного из железнодорожных шпал сооружения к опрокинутому ведру под кустом и затаилась. Она вся задрожала от предвкушения так необходимой ей сейчас удачи.

Сима выбрала своей целью добродушного воробья, сидевшего на самой нижней ветке. Напряженно ждала, когда лист сирени повернется так, чтобы их взгляды не встретились. Только в такие моменты она нападала на жертву.

Вдруг за спиной Симы раздался громкий лай. Лохматый и противный дворняга, лежавший до этого с закрытыми глазами у крыльца дома, опомнился. Подскочив к Симе, он зарычал. Застигнутая врасплох, она, не видя путей к отступлению, отпрыгнув от ведра, изогнула спину и зарычала, сделавшись необычно устрашающей. Пес опешил и отпрянул к крыльцу. Сима воспользовалась его замешательством и юркнула в пролом низенького зеленого заборчика.

Она не сильно испугалась нечесаной дворняги. И не упала духом. Домов с палисадниками было много. Значит есть, где поохотиться. И верно, у крайнего от железной дороги дома ей повезло.

Там, под акацией, тоже была туча воробьев. И не было дворняг. Шумливая птичья ватажка вскоре уменьшилась на одного своего нерасторопного собрата.

Но дождь воробьи всё-таки «нашумели».

Сима переждала ливень в завалившейся набок пустой темной мазанке и вновь продолжила свой путь.

И в сумраке, когда человеческий глаз теряется, она шла. Кошки лучше, чем люди, видят в темноте...

...У железнодорожной платформы с ней случилась беда.

Она оказалась между двумя грохочущими встречными составами. Сима никогда не видела поезда. Эти два длинных чудовища были похожи для неё на огромных отвратительных гусениц, пахнувших железом и чем-то ещё более отталкивающим и непривычным... Заметавшись между ними с горящими круглыми глазами, она порезала битым бутылочным стеклом левую переднюю лапу.

Долго заниматься собой, зализывать рану она не стала. Поковыляла на трех лапах в город. Кровь сочиться перестала, но Сима не решалась наступать раненой лапой. Держала её навесу.

У неё были свои ориентиры. Они ей указывали путь. Множество запахов, от которых она уже начала отвыкать, окружали её теперь.

Одни — помогали, другие — мешали.

К городу она подошла в начале второй недели своего пути. Позади была дорога длиной почти в тридцать километров. Сима сильно похудела и постарела.

Её, бывшая раньше великолепной, рыжая шерстка висела по бокам грязными клочьями. На спине, куда она не могла достать лапами, вцепились в свалывающуюся шерсть жесткие репы. Взгляд её стал блуждающим.

* * *

Получалось так, что ей предстояло преодолеть автомобильный мост через реку.

Этот мост она никогда не видела. Когда ехала в машине в деревню, могла бы обратить внимание. Но Сергеич заботливо укладывал её в корзину на заднем сиденье, вот и проглядела.

Направляясь по берегу вдоль воды к мосту, сообразила, что в реке могут быть рыбки.

Река оказалась странной: столько много воды, а рыбок нет. Не так, как в деревне.

Напрасно она вглядывалась, семена по мокрому песку. Добыча не просматривалась. Впереди, метрах в трех от себя, она приметила маленького лягушонка. Тут же, ступив в сторону от

воды на сухой песок, притаилась, решив, что наконец-то ей повезло...

Но в следующий момент сильная боль обожгла левую пораненную ногу.

— Попал! — беспечно воскликнул кто-то.

Сима повернула голову. Мимо шли мальчишки с удочками.

— Ну и балда, что попал, — отозвался длинный в белой майке.

— Да ладно. Она бродячая, — сказал тот, который был в куртке и намного ниже ростом. — Болтается без дела.

Глядя на него, Сима издала звуки, похожие на рычание.

— Видишь, какая злюка! — как-то даже с радостью сказал мальчишка в курточке.

Рыбачки прошли мимо. Сима поплелась своей дорогой к мосту. В тени железобетонной сваи ей попались два дождевых червя. Она с жадностью их проглотила.

На мосту было много машин. Сбоку оказалась дорожка, по которой спешили люди. Их было мало. Все они торопились, поэтому не обращали на неё внимания.

В самом конце моста две женщины красили ограждение. Одна из них, круглолицая, увидела Симу и стала искать что-то в кармане куртки, но кошка шмыгнула у них между ног и быстренько, как могла, удалилась. Не верилось Симе в случайную доброту. Слишком дорого это может стоить.

* * *

После моста, на перекрестке, она чуть было не попала под колеса автомобиля.

Все решили секунды. Она удачно проскочила меж колес. Симе явно не хватало опыта городской жизни. Откуда ей было знать людские правила, да и не воспринимала она красный цвет. Различала только зеленый и голубой.

Уже начинало смеркаться. В городе зажглись фонари. И в этом сонме огней светились теперь особым светом глаза Симы. Они излучали необычный свет. Кажется, очень важный для неё. Будто в городском шуме глаза её, свет её глаз дополнительно к её кошачьему слуху и нюху помогали отбирать необходимые ей звуки и запахи.

Эти светящиеся и ночью, и днем живые источники света служили ей отменно.

Симе необходимы были звуки, присущие её прежнему, городскому дому. Они связаны были с её хозяином.

Теперь, когда она пересекла реку, ей стало ясно, что хозяин дома. Эта уверенность не давала ей задерживаться на городских мусорках, благодаря которым она могла бы утолить голод.

Долгий путь Симе непривычен, поэтому она сильно устала. От волнений и от того, что не умывалась, у неё завелись блохи. Они беспокоили её.

* * *

Она едва держалась на ногах, когда подошла к знакомому дому. Он был все такой же!

Но дверь оказалась другой, новой. И она выглядела неприступной. Сима обнюхала её. Кругом было железо. Щели маленькие. Надо спешить! У неё сильно забилося сердце.

Вспомнилась труба на крыше, через которую она попала впервые в квартиру Сергеича.

Люди отгородились друг от друга железными дверями. Что теперь делать?.. Дверь неожиданно открылась. Сима ринулась в проем. Но крепкая нога отбросила её в сторону. Выходивший грузный человек недоумевал:

— Вот ведь развелось кошар!

Её здесь не все знали. Она оказалась чужой. Грузный и громкий человек ушёл. Сима залегла за урной для мусора, стала выжидать.

...Наконец дверь открылась. Вышли он и она. Молодые. Трогая друг друга, они приостановились. Сима ползком шмыгнула в дверь. Едва оказалась по другую сторону порога, забыв о боли, обо всем, молнией метнулась на шестой этаж.

Она увидела знакомую дверь! Старую, не прочную. Выкрашенную светлой краской.

Сима стала неистово царапать дверь и мяукать. Сергеич услышал её царапание и голос, но из-за слабости встать не мог. Он терял сознание.

...Соседке надоели кошачьи вопли, и она вышла на площадку.

Сима устала на неё свои светящиеся желто-зеленые глаза. Обе какое-то мгновение молчали.

— Ты чего балуешь? — начала было зло полная женщина, но широко раскрытые зрачки кошки заставили её замолчать.

В кошачьих глазах был страх и безмерная мольба. Схватившись за грудь, соседка выдохнула свою догадку:

— А, батюшки, неужто помер?..

Бросила своё рыхлое тело назад в квартиру. Вернулась на площадку с незнакомым Симе мужчиной, высоким и худым.

Трясущимися руками пыталась открыть дверь, приговаривая:

— Хорошо, что сын-то его, уезжая, оставил мне ключи эти. А я никак не передала их Сергеичу, не успела... И в больницу не успела. Скоро так выпишались... Приступ стенокардии, мыслимо ль торопиться?..

Кому она говорила эти слова? Утромому худому мужчине или Симе? Непонятно. И зачем говорила?

Когда открыли дверь, хозяин лежал без движений. Боль приутихла. Одолевала резкая слабость. Он не в силах был подняться. Его влажные руки и лицо поражали белизною.

Он понял, что умирает и смирился.

Сима прыгнула к нему в кровать.

Скосив глаза, не двигаясь, Сергеич, не удивившись, сказал с усилием:

— А, Сима! — глаза его потеплели. — Извини, я тебя не бросил. Так получилось...

Сима придвинулась совсем близко. Её язычок нежно прикоснулся к его пальцам, потом последовало обтирание головой о плечо больного. Поглаживая лапкой бледную кисть левой его руки, Сима уже знала, что её хозяин будет жить...

— Там на полу таблетки, упали, — тихо сказал он. — Не смог...

— Что же это мы? — спохватилась женщина.

Наклонилась и подняла из кучки рассыпавшихся мелких таблеток две, положила ему в рот.

Он слабо улыбнулся непослушными губами.

— Знаю, Сима, ты благодарная, но чтобы вот так?!

Сильное мурлыканье подействовало на соседку:

— Эх, ты!

Она протиснулась на кухню к телефону и стала набирать номер «скорой помощи».

— Вот ведь как бывает! — говорила она, ожидая голос в трубке. — Она его нашла. И как вовремя!

Сима, поджав под себя лапы и обернув вокруг тела хвост, сидела, излучая счастье и покой.

Хмурый и молчаливый знакомый соседки пошёл на улицу встречать врача «скорой».

— Ты, Сима, от пыли стала серой. Вот поправлюсь, искупаю тебя, — сказал хозяин. — Как тогда, в первый раз. И Мальшпа твоего одного не бросим.

— Воды третий день горячей нет, а он — «искупаю», — подала голос соседка.

— А мы для чего? Не нагреем, что ли? — слабо ответил Сергеич. И, взглянув искоса в окно, молча ещё раз улыбнулся.

На улице, оказывается, был светлый, солнечный день.

Жизнь продолжалась...

2006 г.

Январь-март

ОКОШКО С ГЕРАНЬЮ

Стихи

Верность

* * *

Под открытым синим небом
Ем арбуз я с чёрным хлебом.

Конь буланый у меня —
Не могу я без коня,

Как без этого вот неба,
Без арбуза с чёрным хлебом...

Мне отчизна — даль без края.
Для чего же мне другая?..

* * *

В шорохе шагов лосиных,
Вдалеке от суеты,
Меж трепещущих осинок
Всюду виделась мне
Ты.

Шёл к твоей
Лесной сторожке,
К говорливому ручью.
Шёл, тебя боясь немножко,
Не мою,
Но и ничью.

* * *

Ветер шумный, шальной, непогожий
Стайку листьев несёт над водой...
Потемнело как быстро. Похоже,
Дождь пройдёт проливной.

...Громяхают раскаты над кровлей,
Соберу свои снасти рыбацьи.
Хороша после дождика ловля,
Пожелайте мне, люди, удачи.

* * *

Я тебя ревную даже к солнцу.
Я таким ещё ни разу не был.
Распахнув весёлое оконце,
Ловишь нежность, льющуюся с неба.

Что бы там друзья ни говорили,
Как бы ни лукавила родня,
Нежно улыбаешься светилу,
А украдкой смотришь на меня.

* * *

Хоть ты со мной и весела
И даришь мне цветы,
Но знает, знает полсела:
Другого любишь ты.

Хоть сердце болью поросло
И часто я грублю,
Но знает, знает всё село:
Тебя одну люблю.

Весеннее настроение

Под грачиные овации
По субботам навигацию
Бани открывают.

Печи разом затопились.
Кучкой яблони столпились —
Провожают.

По воде весенней, талой
Мчатся клёны запоздало —
Догоняют.

У колодца вёдра — склянки,
Две соседки — две смуглянки —
Отбивают.

Я б и сам уплыл далёко
На корыте однобоком.
Но родные смотрят строго —
Не пускают.
Всё!

* * *

Я был рабом в любви своей,
И был царём, и был гонцом.
Был мудрецом и был юнцом —
Татарником среди полей.

Я так любил, что землю с небом
Благодарил за дар любить.
Каким я был, тебе судить,
Но я тобой любимым не был.

Сторона родная

Сторона родная,
Болен я тобой.
Справа — степь без края,
Слева — лес с рекой.

Церковь посредине
И зари костёр.
Край ты мой низинный,
Радостный простор.

Не был здесь полгода —
Мчал на поездах.
На Самарке в воду
Падает звезда.

Загадать успею
Светлое желанье:
Мне б с землёй моею
Жить без расставанья.

При любой погоде
Твой я навсегда...
На Самарке в воду
Падает звезда...

А путь далёк

Уж близится рассвет...
В пыли дорожной
Шагать босому мне не привыкать.
Ещё вокруг темным-темно,
Но можно
Вдали полоску леса угадать.

А путь далёк.
И лес уж за спиною.
И робости в открытом сердце нет.
Пусть жизнь меня одарит новизною
И утренний мне улыбнётся свет.

Затворник

Затворником прожил я две недели.
Писал стихи. Но дни летели.
И одиночества прекрасные плоды
Уж стали ни к чему. Мне ты,
Лишь ты нужна была. И мне
В моей весенней стороне
Наскучило сидеть под крышей,
Я отложил стихи и в рощу вышел.
В шумевших зеленью лесах,
В необозримых небесах,
В былинке серой у дороги,
В осинке тонкой — недотроге —
Всё пело о тебе одной —
Всё было песней молодой.

* * *

Суров мой быт. В нём горечи немало.
Но разве ж в горечи вся суть?
Досталось сердцу средь любви обвала,
Но ты внимательнее будь.

И ты увидишь будто внове,
Сквозь недосказ и суету,
Во вздохе каждом, в каждом слове
И боль, и дерзкую мечту!

Ветла

У реки, на бугре, где тропинка кончается,
Там седая ветла и скрипит, и качается.

И в холодной ночи, опустившая ветви,
Что-то шепчет своё под метели и ветры.

Но не холодно ей, не от холода стынет,
Будто горе сечёт, будто плачет о сыне.

Ей бы, матери, весть — пусть совсем небольшую.
Вот и вышла она на тропинку лесную.

Вот и плачет, и шепчет, и смотрит вокруг —
Нет ни старых друзей, ни недавних подруг.

Есть лишь тёмная ночь, одинокая старость.
Тихо плачет она. Долго ль плакать осталось?

* * *

Отколобродил дождь. И враз отмылись,
Почистились окрестные дворы.
И в светлых лужах выси отразились.
И огласились смехом детворы.

И так на солнце лица засияли.
Так были дети в выдумках щедры!
Что я забыл про все свои печали
И все стихи забросил...

До поры.

Кузьмич

Ладил на Самарке он плотину,
Ставил первый на селе движок.
И впервóй артель свою покинул,
Лишь когда серьёзно занемог.

Обласкал хозяйским взглядом сени,
Тяжело присел у верстака,
А к полудню на простор весенний
Вышел со скворечником в руках.

Окружённный ребятнёй весёлой,
Молотком по крыше постучал.
И пернатых первых новосёлов
Для себя — последними назвал...

* * *

Какие это радостные дни —
Кругом столпотворенье, мы — одни.

Под окнами, на площади, где смех,
Искрится новогодний первый снег.

Как в заговоре мы соединились —
В обители твоей уединились.

Ты, смелая, сама сожгла мосты.
Весь мир огромный мой сегодня — ты.

Всю ночь на площади цветут огни —
Кругом столпотворенье, мы — одни.

* * *

Мысли мои все о нашем свидании.
Выйду ли в поле, лесами иду ли,
Ветры какие б в лицо мне ни дули —
Мысли мои все о нашем свидании.

Мысли мои все о нашем свидании.
Видится мне оно в летнюю пору.
Знаю: не быть ему лёгким и скорым,
Мысли мои все о нашем свидании.

Мысли мои все о нашем свидании.
Помнишь ли так вот и ты обо мне?..
...День отгорел — и угас в тишине,
Мысли мои — все о нашем свидании.

Песенка

Ночью выпавший зазимок
Изменил всё на пруду.
Что же: жизнь неумолима,
Срок придёт — и я уйду.

Как следы мои в порошу,
Я исчезну, не вернуть.
Дорогой моей, хорошей
Кто облегчит трудный путь?

Дорогой моей, хорошей
Кто расскажет о весне?
Что в пути согреет? Может,
Может, память обо мне?

* * *

Когда замёрзшая дубрава
Стряхнула лист последний свой,
Стоял ноябрь, и берег правый
Покрыт был коркой ледяной.

А левый берег речки нашей
Распахан был, и у села —
На краешке темневшей пашни —
Стояла старая ветла.

И лист, на тонкий лёд упавший,
Скользнул к задумчивой ветле.
И стих, припав к замёрзшей пашне,
Как странник ко Святой Земле...

Гармонист

...Салазки снарядили за Серёжкой —
По улице везут под вой метели...
Опять его певучую гармошку
Послушать наши бабы захотели!

(В село за похоронкой похоронка
С большой войны издалека летит.
И почтальонка — рыжая девчонка —
Давно в глаза соседям не глядит).

...Тепло в избе от бабьей пляски нервной.
(Без пляски ведь замёрзли бы совсем!)
Гармошке той — уже лет сто, наверно.
А гармонисту скоро будет семь.

Играй, гармонь!.. Не детскими глазами
Глядит мальчишка вдаль. И не речист
Сидит отец с пустыми рукавами.
В округе — бывший лучший гармонист.

* * *

Я по характеру, как пьяница:
Строку лишь только пригублю,
Рука к перу с бумагой тянется,
Я вновь тоскую и люблю.

И вновь я мыслю, как о чуде,
Всю ночь под крики петухов,
Что скоро мы с тобою будем
Вдвоем!
...И никаких стихов!

* * *

Всё о деревне,
 о деревне,
В лучах закатных
 меж деревьев:
Всё о раздумье
 дальних плёсов,
О новом дне,
 зачатом в росах,
О боли в сердце —
 о России
Шепчу слова,
 слова простые.

* * *

Твердят с усердием: «Не кайся
В грехах чужих, ведь их не счесть!
Спокойней быть во всём старайся,
Мир принимай таким, как есть!»

Но этот стон берёзки тонкой,
Которую гроза сломила...
Как мне помочь ей, такой ломкой,
Вновь обрести былую силу?..

А слёзы матери о сыне,
Забывшем мать в чужом селенье?..
Кто право у меня отнимет
Сказать ей слово в утешенье?..

Так пусть же радость в сердце льётся
И вдаль летит, за зеленыя!
И пусть счастливее живётся
Живущим около меня!

* * *

Что ж ты, красивая, голову клонишь,
Что же ломаешь упрямую бровь?
Сердцу так хочется вымолвить: «Помнишь,
Помнишь ли нашу с тобою любовь?»

...Только молчу я теперь, понимая,
Как неуместен подобный вопрос:
Вон как рука твоя крепко сжимает
Пачку, забытую мной, папирос.

Всё без обиды, как есть принимая.
Снова сегодня я мучим одним —
Больно за нас мне, моя дорогая:
Любим друг друга, и оба молчим...

* * *

Вокруг все ринулись в коммерцию,
Презрев все тяжкие грехи.
А я, наверно, по инерции
Пишу негромкие стихи.

А мне закат над ближней рощицей
Теперь дороже, и милей.
Россия! Русь! Как сердце просится
В просторы милые полей!

Чтоб не видать там инородца,
Готового продать полмира.
И там, у дальнего колодца,
Вдруг выдохнуть: «О, Русь, ты сира!»

Осеннее

Осенью, почти ещё не тронутый,
Дуб притихший загрустил над омутом,

А на дубе том, на его макушке,
Примостилась молча поздняя кукушка.

Куковать не смея, смотрит в тишине
На листву холодную, на речной волне.

Но ещё минута, и под звук дуплета
Улетит кукушка — дар роскошный лета.

* * *

Мне и раньше часто приходилось
Горестно поплакать наяву,
А сегодня ночью мне приснилось,
Что на небе синем я живу.

Что меня к себе позвали боги,
И кругом такая благодать...
...Не могу я без степной дороги,
Без тебя, моя седая мать!

Пусть светло на небе и привольно,
Но душа моя сейчас кричит:
Без земного здесь ей очень больно,
Без земного маюсь я в ночи.

Рад

Вот и дом мой саманный —
Шесть окон и все в сад.
Я всегда здесь желанный,
Я здесь каждому рад.

Рад тесовой завалинке,
Рад сестрёнке беспечной.
Сброшу мокрые валенки,
Посижу возле печки.

В этой горнице чистой,
В древних ликах икон
Тихим светом лучится
Доброта испокон.

Жизнь

Какая синева над Волгой!
И как спокойны облака!
Мне б жизнь прожить
хотелось долгую,
Как эта древняя река.

Чтоб встречи были бы
сердечные,
Чтоб песнь была в душе
проста,
Как эти дали бесконечные,
Как наши русские места.

* * *

Пёс пролаял в саду,
На уснувшем пруду
Отозвалось гулкое эхо.

Тронув дверь наугад,
Я вошёл в тёмный сад
И услышал: «Мой милый приехал!..»

Григорий Журавлёв

Душу безверьем свою выжигая,
Мы в одиночку скорбя, выживаем.

Круговоротом забот своих мучимы,
Мы обезножили, мы обезручили.

Он же с рожденья без рук и без ног,
Крылья расправив, недут превозмог.

Лики святых рисовал он во храме,
Кисть он держал не руками — зубами.

Сколько приходит теперь помолиться,
У алтаря тем святым поклониться!

И я поспешу. В осияньи икон:
В Троицком храме мой низкий

поклон.

Город Самара

Хормейстеру Владимиру Ощепкову

Святы́й старец Алексий недаром
Напророчил в лихие года,
Что быть городу в устье Самары
И стоять ему здесь навсегда.

Много дней и воды убежало,
Плыли барки по Волге, челны...
Зарождалась, росла и мужала
Запасная столица страны.

Молодецки судьба развернулась,
Есть откуда нам силушку брать.
Эта сила недаром проснулась,
Силе этой любое под стать.

Как светлы здесь весенние зори,
Как улыбчиво смотрят вослед.
Может, кто-то со мной и поспорит,
Но приветливей города нет.

Не челны, а ракета речная
На просторе на волжском летит.
Ах, столица Самарского края,
У тебя ещё всё впереди!

Дорога

В мире много дорог,
В мире много путей.
Есть дороги полегче,
Есть пути потрудней.

А вот эта одна —
Всех трудней потому,
Что дороженька эта —
К себе самому.

* * *

Зимой прошлою здесь дуб спилили.
В лесу большуццем — экая беда.
Едва спилили — позабыли,
Но мне он помнится всегда.

...Бреду заросшею тропинкой.
И вижу, подойдя к бугру,
Дубочек тонкой паутинкой
Звенит, качаясь на ветру.

И так светло в душе вдруг стало,
Как если бы зажглась звезда.
И сердце так затрепетало,
Как никогда, как никогда!

Благодать

А мне — от городского шума
Ударившемуся в бега —
Мила родительская шуба
И деревенские снега.

Мила старинная двухстволка,
Хоть поржавевшая она.
И над осиновыми кóлками
Мила линиялая луна.

Мне здесь, наивному, поверить
Легко в земную благодать:
Что люди — братья все! А звери?
...В них, как в людей, нельзя стрелять.

На родине

В синеющие дали песня
Над равниной степной летит.
Умри сто раз, сто раз воскресни —
От светлой грусти не уйти.

Как не уйти от чувства родины...
На большаке, где пыль клубится,
В кустах разросшейся смородины
Мелькнул платок твой синей птицей.

Мелькнул. Пропал. Вновь появился.
У леса дальнего исчез.
И там — на горизонте — слился
С трепещущим платком небес...

Озеро Песчаное

Брату Петру

На Песчаном теперь уж завалы,
И на кручах — снега до небес...
Как с тобой нас тянуло бывало
В наш редяющий старенький лес!

Но с какою тоской мы смотрели
(Погорельцами в куче золы),
Как из ближних лесничеств артели
Деловито валили стволы.

И до ночи кричали сороки
Над рыжеющим голым бугром.
И казался лесничий нестрогий
С этих пор нашим личным врагом...

...Приезжай! Здесь у светлой водицы
Нынче снова шумит молодняк.
Посидим, похлебаем ущицы...
Жаль лесничего. Умер на днях.

Вечность

Мы шли к селу. Далёкий скрип тележный
Мне душу бередил. А на границе
Большого леса и небес — неспешно
Садилось солнце огненной птицей.

Смеркалося, когда дороги млечной
Над нами засветилась полоса.
И показалось мне, что мы с тобою вечны,
Как эта даль и эти небеса...

* * *

...Поговори со мной чуть слышно.
Я рад врачующей печали.
Мы уж довольно покричали.
Поговори, коль с болью вышла
Из нас дурная глухота...

Пусть не пугает простота.
Ведь вместе с ней — уменье слушать
Вновь обретают наши души...

Поговори со мной чуть слышно,
Мне голос твой сейчас так мил.
...Я рад: услышал нас Всевышний
И потихоньку вразумил.

* * *

Ах, вот он, комочек Отчизны —
Поющая в зелени птаха!
Я знаю: умру не на плахе,
Умру — от любви к этой жизни!

С рожденья дано нам так много!
Я чувствую сердцем такое,
Что нету мне в жизни покоя,
Во мне постоянно — тревога.

За всё, что живёт и ликует,
За всё, что страдает и плачет.
Не знаю, как жить мне иначе,
Как выдержу ношу такую!..

Школа

Юле

Ты была деревянная, серая,
Белокаменной стала теперь.
Ничего тут, видать, не поделаешь,
Никому не уйти от потерь.

Как светились резные наличники
И сияло крылечко во мгле!
Где ж теперь вы, бывлые отличники?
Разметало вас всех по земле.

Стали все вы почти знаменитыми
И в далёком живёте краю.
Никакими на свете магнитами
Не затынешь вас в школу свою

Отзовитесь и вы, неотличники,
Дорогие мои пацаны.
Никакими рублями наличными
Не искупишь давнишней вины.

Снова в новую школу наведуясь
И пойму, что чужая она.
Почему же я ей исповедуюсь?
И зачем же она мне нужна?

Знаю, преданность — дело негромкое.
Потому помолчу до поры.
Что ж мы, глупые, делаем, комкая
Невозвратного детства дары...

Одиночество

Осенний лес и холоден, и пуст.
Ноябрь настал.
Какая тишь кругом!
И только гулко раздаётся хруст
Валежника под мокрым сапогом.

Один лишь дуб хранит свою листву,
Как лета дар
И как о нём печаль.
Глаза мои всё ищут синеву,
Но нет её, есть лишь седая даль.

Я не могу не думать о тебе.
И что мне делать с таким собой?
...В моей такой изменчивой судьбе
Ты словно летний лучик золотой.

Берёза

Г-ну Меддоку

Мы сюда приехали по делу
И проделали путь не близкий.
В России зовут берёзу белой,
В ваших штатах — серебристой.

Я характером нетерпеливый,
Вы, очевидно, достаточно истовы.
Ваше название красивое,
Пусть будет берёза и серебристою!

США, Бломфельд, 1987 г.

* * *

Любил девчонку в юности:
— Тамарка, —
Твердили губы, но тайком
К речушке с именем
Самарка
Ночами бегал
Босиком.
И песни там,
Ещё не спетые,
Шептал,
И тихая листва
Дарила мне
Печали светлые
И задушевные слова.
С тех пор прошло
Ночей так много...
И мне ручей
Шумит вослед:
— Ты к речке
Вытоптал дорогу,
А вот тропинку
К милой —
Нет.

* * *

Чуть истину затронуть. Слегка обжечь любовью —
Не в омут тёмный головой, а так — лишь для игры.
Не жечь себя на людях, не обливаться кровью,
Коль надо — отступить. И молча ждать своей поры.

Жизнь не торопить. Ум оставлять свободным,
И тайный смысл во взгляде больше не искать.
Что это? Трусость или инстинкт природный,
Чтоб выжить? Я не знаю, я боюсь солгать.

* * *

У меня такое чувство,
Будто я не жил.
И не я — другой когда-то
Песнь мою сложил.

Будто ни одну из женщин
Я не целовал.
На пути своём нелёгком
Горечи не знал.

И на праздниках весёлых
Наших юных дней
Для тебя другие пели
О любви моей.

Всё смотрел в твоё лицо бы,
Глаз не отрывал.
Ни о чём и никогда бы
Я не горевал.

Я былое раньше вспоминать любил,
А теперь такое чувство, будто и не жил.

Утёвка

«Кишели утки.
Было море», —
Так нам в преданиях
дошло
Исчезло море —
на просторе
Моё раскинулось
село.

Обилье света
и отрада
Отметили в нём
жизнь мою.
Где лучше может
быть награда,
В каком лазоревом
краю!..

СНЫ МОИ

Валерию Ерицеву

Знаешь, мой друг, мне часто так снятся
Наши поля, перелески, жнивья.
Надо бы, что ли, почаще встречаться,
Как-то не так мы, наверно, живём.

То нас потоком несёт на стремнину
Мимо отеческих тёмных ворот,
То попадаем в богемную тину,
То суета нас берёт в оборот.

Я ведь о чём загрустил ненароком,
Тихо травинку в зубах теребя:
Наше ли это и будет ли впрок нам,
Что забываем порой про себя?

Спой мне про степь да про Волгу про нашу,
Много ль осталось нам радостных дней!
Я ж — помолчу, я послушаю, ставший
С песней твоей и мудрей, и светлей.

Знаю, мой друг, нам с тобою не часто
Тихо попеть удаётся вдвоём.
Надо бы, надо почаще встречаться,
Как-то не так мы, не так мы живём...

Америка

Как хлебную корку,
В далёком Нью-Йорке
Я память о нашей Утёвке храню.
И, наши просёлки
Припомнив в Нью-Йорке,
На импортный лад я зову «авеню».

Как будто сугробы,
Стоят небоскрёбы —
За ними увидеть рассвет тяжело.
Но душную ночью
Во сне, как воочию,
Я вижу далёкое наше село...

...Я гостем желанным
В домишко саманный
Приеду и будет, о чём рассказать.
А нынче — не скрою,
Я через чужое
Намного стал больше своё понимать.

Нью-Йорк, 1987 г.

Мой Дунай

«Дунай, Дунай, Дунай — такой голубой» —
Наверно, так было бы, будь ты со мной.

Горы, вода — всё зелёного цвета.
Где же ты, с кем же ты? Нет мне ответа.

Как тяжела мне зелёная скука —
Невыносима с тобою разлука.

Вена, 1990г.

Свобода

...Бывший лётчик торгует конфетами,
Рядом бывший танкист — сигаретами,

Чуть поодаль, с «бычком» на губе,
Некто — «корочками» КГБ...

И вот это — итог обещаний?
Бесконечна шкала обнищаний.

Лишь мечта о нездешней свободе
Всё никак не угаснет в народе...

«Мы ещё поживём! Только б — выжить
Средь воря да финансовых выжиг...»

...Затонувшей страны ветераны —
Совести нашей рваные раны.

1989 г.

Маме

Я оттого, наверное, счастливый,
Что нет тебя на свете терпеливей.
Что, где б ни шёл и где бы я ни ехал,
Ты мне откликнешься далёким эхом.

Я оттого, наверное, счастливый,
Что не была ты слишком говорливой.
Когда беда грозила хваткой волчьей —
Переносить её могла ты молча.

Я оттого, наверное, счастливый,
Что нет тебя на свете бережливей.
Что собираешь сердцем понемногу
Все радости мои. И все тревоги.

* * *

Звонят колокола в соборе Троицком,
Птичий грай на краю моего села.
Жизнь наладится, наша жизнь устроится,
Только б с рельсов она совсем не сошла.

Только б она с металлическим лязгом
Не прошла колесом по больной груди.
Что дадут нам политические дрызги?
Там ли ищем спасительные пути?

На магистралях чужих не устроиться,
Своих не имея. Напрасно пенять.
Звонят колокола в соборе Троицком,
Впереди бессонная ночь у меня.

Письмо

Занедужил белый свет —
И виновных будто нет.

Исподлобья люд глядит —
Мир бездушием смердит.

С простодушием былым
Я теперь кажусь чудным.

Засвети моё лицо —
Напиши мне письмецо!

Пусть хоть в маленьком письме
Лучик светится во тьме.

Я отвечу не спеша —
Ещё теплится душа.

Колодец

Знаешь, мама, наш колодец обвалился —
Я пошёл воды попить и не напился.

Сруб ветловый, что с тобою мы срубили,
Утащили и давно уже пропили...

Что же делают у нас-то на селе?
Каждый третий тут с утра навеселе.

И никто венец поправить не поможет.
Невиновному, вина мне сердце гложет.

Страна Гефион¹

Виктор Гюго был прав в утвержденьи своём
без сомненья:
Величие нации не в количестве населения.

Об этом я думал, покидая Данию.
Увидел здесь много я, сверх ожидания.

Чуть больше Самарской губернии, Дания
Являет отрадный пример созидания.

Цвети, Кёбенхавн, — в тебя я влюблён —
Столица великой в труде Гефион.

«Обрывки жемчужных нитей» —
вот ведь какая ты, Дания.
До свидания, до желанного скорого свидания!

Копенгаген, 1991 г.

¹ Гефион — дочь великих скандинавских богов Асов, богиня плодородия, получившая от шведского короля Гюльфи земли Дании

Самарский политехнический

Есть у каждого свой и удел, и предел,
Но ни разу я в жизни своей не жалел —
Будь то горечь обид или бурный успех —
Не жалел, что окончил я наш политех.

Жизнь одна, как любовь,
Ах, я помню всех тех,
Кто со мною закончили наш политех.
Потрепала нас жизнь и испортила кровь,
Он, как мудрый отец, собирает нас вновь...

Да, ему, как и нам, кое-что удалось.
Но ему, видно, тоже не сладко жилось.
Он о нас свою память упорно хранит
И не зря высоко так над Волгой стоит.

Я не громок и славой своей не горжусь,
Может, чем-то ему помогу, пригожусь.
Как у Пушкина был Царскосельский лицей,
Так и мой институт для меня и друзей.

* * *

Движение — всему начало,
Земля уменьшена до глобуса.
О, как Утёвка заскучала
Без ежедневного автобуса.

Без этих грустных провожаний
И добродушно-строгих глаз.
Мои сельчане-горожане,
Я часто думаю о нас.

О том, что в город наше бегство
Нельзя предательством назвать.
Чем дальше светлый берег детства,
Тем всё труднее уезжать.

Всё верится, что по-иному
Жизнь зашумит. И, может статься,
Вернуть престиж родному дому
Всем миром всё-таки удастся.

Молитва

Я смотреть не могу без боли
На раздраз в моей стороне.
Послушайте, отец Анатолий,
Сотворите молитву мне.

Так случилось: давно я покинул
Отчий край с ветлой на юру.
Но — без вашей молитвы я сгину,
Без любви моей я умру.

Я в стихах своих не умею
Всё сказать о любви своей.
Мне с любовью такой моею
Места нету среди друзей.

Я и сам ироничен довольно:
Архаичен в своей я любви.
Но мне видеть сегодня так больно
Сирой Русь! Что молитвы мои?

Может, ваши теперь что-то стоят?
Помолитесь за нас в этот час.
Не могу сейчас видеть такую
Нашу Родину. Да и всех нас.

3 октября 1993 г.

Признание

Я в круизах бывал, много рек повидал,
Но в плену я у них был не долго.
И скажу, мужики, лучше нету реки,
Чем красавица матушка-Волга.

Вы простите признание в любви ей моё,
О любви столько песен уж спето!
Но глаза отдыхают и сердце поёт
Только здесь, на бескрайности этой.

Я — волжанин душой, ну, и кто мы с тобой
Вот без этой могучей равнины?
Где в ночи костерки, где дыханье реки
И куда я вернулся с повинной.

Чтоб покаяться снова. И, сбросив оковы
Восхищенья пред миром не нашим,
На пороге у дома понять по-другому
Всё, что видел и знал я — вчерашний.

Вы простите признание в любви ей моё,
О любви столько песен уж спето!
Но глаза отдыхают и сердце поёт
Только здесь, на бескрайности этой...

Берёзовые колки

Актёру Ивану Морозову

Взять бы рюкзак иль какое лукошко,
Хлеба ржаного, бутылку вина,
Да потихоньку отправиться в Кошки —
Манит родная твоя сторона.

Не замечая бензиновой гари,
По большаку, а потом и просёлком
Дальше уйти от галдящей Самары
И затеряться в берёзовых колках.

У родничка бы, глядишь, посидели,
Около пня, в окруженьи опят,
И помолчали б, а может, попели,
В небо взглянули б, а может — в себя:

Много увидели б, много узнали,
Чувствуя рядом друг друга плечо.
Потолковали б и повздыхали.
Спросят, о чём? Враз не скажешь, о чём...

Мой двигатель

И мне бы жизнь осточертела,
Была ненужной, как и вам.
Когда б меня Любовь и Дело
Не поднимали по утрам.

Они — мой двигатель могучий:
Мои Дела, моя Любовь.
Любое зло, любые тучи
Я с ними одолеть готов.

На могиле Бунина

Я давно мечтал об этой встрече
На земле чужой пусть, но не там —
В небесах, где не звучат уж речи,
Где безмолвьем замкнуты уста.

Но боясь неосторожным словом
Невзначай нарушить тишину,
Плачу я. И снова, снова, снова
Стыдно мне и горько за страну.

Окаянным дням уж нету счёта,
Новый вышел яростный виток.
Дьявол правит по своим расчётам,
Рвётся мутный, бешеный поток...

Октябрь 1994г.

Париж, Сент-Женевьев-де-Буа.

Золотистый зной

Как много женственности в лете.
В спокойных летних вечерах.
В туманной дымке на рассвете,
В ржаных разнеженных полях.

Нет в небесах ни облачка, ни тени,
Лишь золотистый зной течёт,
Когда нас лето в плен берёт
Раскованностью мыслей и движений.

Желанная, люблю я лето.
У вас с ним общие черты.
В нём та же нежность, бездна света.
И нет весенней маяты.

Мама

Я стал всё чаще вспоминать,
Как выходила ты встречать,
Когда я шёл тебе навстречу,
На день примчавшись издалече.

Наверно, было б так всегда,
Когда б не старость, не года,
Не сон на час, не боль за нас...
Вот уголёчек и погас.

Я сам — уж в очередь встаю!
(Стою, считай, что — на краю).
Я — старший из детей твоих,
Таких всех разных, четверых...

Увы! Мы были непослушны.
Но наши души, наши души —
И ныне тянутся друг к другу
В любую слякоть, дождь и вьюгу.

Им не дано разъединиться!
...Мне часто сон счастливый снится:
Я прихожу в твоё далёко —
И ты уже не одинока.

И грудь сжимается в надежде,
Что встретишь ты меня, как прежде,
И у ворот, ведущих в вечность,
Поговорим с тобой сердечно...

Но беспокойно просыпаюсь
И наяву тревожно маюсь:
Вдруг — всё не так, вдруг — не замечу,
У тех ворот тебя не встречу?

Пройду вблизи, словно слепой,

Тебя не видя за толпой...
И боль твоя — моей больней —
На сердце ляжет мне сильней.

И как мне быть, и что мне делать?
С моей-то головою белой
Я вновь беспомощный, как в детстве,
И никуда от слёз не деться...

Окошко с геранью

С. Н. Афанасьеву

Матица¹ с крюком над зыбкой скрипела,
Матушка песни сердечные пела.

Детство давно уж моё отзвенело,
Матица в доме своё отскрипела.

Выпорхнул, встал на крыло и умчался,
Шарик земной небольшим оказался.

Всё-то мне кажется раннею ранью,
Матушка смотрит в окошке с геранью:

Где я, какой я и песни какие
Нынче пою, в наши годы лихие?

Матица с крюком над зыбкой скрипела,
Матушка песни сердечные пела...

¹ Матица — перекладина на потолке, в неё вбивали крюк, на него вешали зыбку.

Нефтегорск

Да, я бывал в Нефтегорске не часто,
Много на свете других городов.
Что же теперь меня манит так властно
Город моих дорогих земляков?

Видно, успел я понять запоздало,
Вырвавшись, словно из тягостных пут,
Мчимся туда мы во что бы ни стало,
Где нас улыбчиво, с радостью ждут.

Ах, я готов отовсюду примчаться,
Только б увидеть знакомый мне взгляд.
«Надо встречаться нам, чаще встречаться», —
Губы твои неустанно твердят.

Знаю: придётся нам завтра расстаться,
Будет осеннее небо грустить.
Чтоб не расстаться, мне надо остаться
И о других городах позабыть.

* * *

Она на внешность вроде бы — не очень,
Подростку угловатому сродни.
Но шла тропой меж золотистых сосен —
И вся светилась так же, как они!

Деревья были счастливы не меньше,
Когда она сюда явилась вдруг.
Её — одну! — из всех курортных женщин
Они впустили в свой заветный круг

И волшебство их светлого общенья
Не в силах было словом объяснить.
Знать, что-то сверху ей дано с рожденья,
Чтобы на радость на земле прожить...

Заводские встречи

День осенний светом полнится.
У центральной проходной
Снова мне сейчас припомнился
Первый день мой заводской.

Но грустить теперь нам надо ли?
Возраст многое унёс.
Помню я, как листья падали
С наших заводских берёз.

К проходной походкой скорою
Мы не раз ещё придём.
Нам завод, как дом, не скрою я,
Дом, в котором мы живём.

С первых дней своей громадиной
Покорил завод, позвал:
Пети, Коли, Любы, Нади!
Рад, что вас я повстречал.

И теперь своей громадиной
Мне завод дороже стал.
Пети, Коли, Любы, Нади —
Где вы все, кого я знал?

Много мне вопросов задали,
Я задам один вопрос:
Помнишь ли, как листья падали
С наших тоненьких берёз?

Задача

Я много разных женщин видел,
Красивых, добрых и дурных,
Но ни одну б я не обидел,
Сказав: «Ты — ангел среди них».

И мне теперь иного сорта
Задачку предстоит решить:
Как ты меня, такого чёрта,
Сумела всё же полюбить?

Грачиные свадьбы

Ах, грачиные шумные свадьбы!
Растревожили сердце вы мне.
Сколько я ещё мог рассказать бы
О родимой моей стороне.

О любви моей к старым просёлкам,
О реке, что светла и легка,
О полях, над которыми долго
Кучевые плывут облака.

Я, как облако: был — и растаял,
Запоздало прозренье моё.
Грает в небе грачиная стая,
А мне кажется — то воронья.

И как будто под крик их тревожный
Прямо в небо уходит стезя.
И ничто изменить невозможно,
И позвать никого мне нельзя...

Прощание

Я не знаю, кто из нас в ответе,
Мне ль судить, что сделано тобой...
Наш разрыв так жизнь мою отметил,
Что я долго жил как бы глухой.

Нам теперь дорогою песчаной
Вдоль озёр притихших не бродить...
Кажется мне всё чужим и странным,
Всё хочу быстрее позабыть...

Я теперь, как раньше, тонко слышу,
И по-прежнему мой взгляд остёр.
Болен был я. Разлюбил — и выжил,
И душа стремится на простор.

Тайна

Скажи, кого берёзка молодая
Ждёт, замерев девицей, на юру?
Её листочки, в золоте купая,
Ласкает солнце нежно ввечеру.

А ей, похоже, этого не надо.
А ей куда-то хочется бежать.
Знать, и у ней есть тайная отрада,
И мне её нетрудно угадать....

Ведь я и сам когда-то бегал тайно
К девчонке, самой радостной из всех.
А вот теперь печалюсь не случайно
Я под чужой и беззаботный смех...

* * *

Благостно вам, отец Анатолий,
Перед иконой молитву творить.
Мне бы постричься в монахи, что ли,
Чтоб в ладу свою жизнь прожить.

Чтобы уйти от мирской заботы,
Тихому голосу сверху внимать.
Ведь адова эта же работа:
Жабу с розой в саду повенчать.

Я пропащей жизнь не считаю
Ни свою, ни вашу. Ничуть.
Но я честно скажу, я не знаю,
Не знаю, где — истинный путь.

Желание

Ларисе

Помнит сердце все наши свиданья,
Помнит каждый миг и каждый час.
У меня теперь одно желанье,
Чтоб ничто не разлучало нас.

Я живу с весёлыми глазами,
Отчего же — непонятно мне,
Светлыми июльскими ночами
Ни о чём печалюсь в тишине?

То ли сердце чувствует разлуку,
То ли вижу жизни скорбный край?
Дай твою с изгибом нежным руку,
Наглядеться на тебя мне дай!

Я любить не устану

Я любить не устану,
Много сердцу дано.
На ночном полустанке
Приоткрою окно.

В лунном свете неровном
Слышен с белых полей
За сугробом дородным
Скрип далёких саней.

Сколько жил я, не помню,
И считать не берусь,
Весь тобою заполнен,
Моя матушка-Русь.

...Век настал окаянный
Зло сильней и сильней.
Давит дух чужестранный
Всё большее и злей...

Сколько ж надобно силы,
Чтоб тебя сохранить:
До конца, до могилы
Чтобы вечно любить...

Несмотря на потери,
Негасима стезя.
Я в тебя свято верю —
Мне иначе нельзя.

Горлицы

А. Плаксину

Как пустынно вокруг, только горлицы быстрые
В небе светлом летят, пропадая вдали.
Только облачко вдруг прозвучавшего выстрела
Над колючей стерней поднялось от земли.

И такая сквозная во всём отрешённость,
И такая печаль по окрестным полям,
Будто знают они, что моя в них влюблённость
С дымной горечью давней живёт пополам.

Будто знают они, эти горлицы быстрые,
Пропадая вдали, как по нитке скользя,
Что в години лихие дано нам всё ж выстоять,
Но ценою такой, что смириться нельзя...

Родине

Только тронул веточку смородины —
Словно в детство давнее попал.
Светлая и солнечная родина!
Я тебе не всё ещё сказал.

И навряд ли высказать успею
Всё, что сердце чувствует теперь.
От печали часто я немею —
Слишком много горестных потерь...

Нету песни красивей...

Василию Першину

Говорят, устарели
И гармонь, и баян.
Что все песни уж спели,
Только это обман.

Коль душа молодая
И в ней — русский огонь,
Ей нужна удалая
С бубенцами гармонь.

Под гармонь мы и спляшем,
И споём на ветру:
Вспомним прадедов наших
На честном на миру.

Пой, баян! Ты не в споре
С голосистой сестрой,
Мелодичным узором
Помогай ей, родной!

Чтоб душа, ахнув, разом
Вся зашлась. И без слов
Догадалась бы сразу:
«Про неё, про любовь!».

Утренний свет

Колки мои и моё перелесье,
Лики моих земляков в поднебесье,

Лица живых земляков! И поныне
В сердце моём к вам любовь не остынет.

Зной над равниной и тень чернолесья —
Всё уместилось в сердечную песню.

Русичи, где мы?! Какими мы стали,
Колки мои и равнины устали

Ждать возвращенья бывшего усердя,
Вялость душевная хуже нам смерти.

Дух наш восстанет, я верую свято:
Будут поля и просёлки опрятны.

Будет в душе не раздрай, не смятенье,
Снова придут к нам и лад, и уменье.

Радость придёт. Без неё не бывает
Жизни цветущей. И тьму побеждает

Утренний свет. Над моею равниной
Сумрак уходит. И разум былинный

Крепнет и крепнет. На подвиг великий
Благословляют нас светлые лики.

* * *

Ахматовский царственный профиль
И взгляд, словно лезвие, острый.
Легко ли вам быть нынче «профи»?
Легко ли быть женщиной просто?

Притихну, прислушавшись к сердцу —
Ну, что с ним творится такое?
Как будто открылась вдруг дверца
В несбыточное, неземное...

Открытое небо

Шара земного малая горстка —
Село моё светится под Нефтегорском.

Городу так и не сдавшись на милость,
Утёвка к реке навсегда притулилась.

С детства судьба одарила улыбкой —
Стала мне сельщина мягкой зыбкой.

...Шарик земной мне навстречу вращался,
Путь мой не скорым домой оказался.

Закончу его, со слезой не спешите,
Степь в изголовье моё положите,

Пару озёр, да берёзовый колок,
Да золотистый песчаный просёлок.

...Не надо вина уже будет и хлеба,
Отрада навеки — открытое небо!

Зиночка

Иду деревенькою
Почти заброшенной,
Люблю давненько я
Баян с гармошкой.

А тут мальчоночке
Да на завалинке
Поёт девчоночка
Про стары валенки.

«Валенки, да валенки,
Эх, не подшиты, стареньки».

Теперь я городской,
Уж позабыл, что мог,
Но кто я есть такой
Без этих валенок?!

«Валенки, да валенки,
Эх, не подшиты, стареньки».

Я не жалеть готов
Свои ботиночки,
Мне дорога любовь
Весёлой Зиночки.

«Валенки, да валенки,
Эх, не подшиты, стареньки».

* * *

Евгению Семичеву

Времена наступили не лучшие,
Помнишь, как мы с тобой начинали?
Моих ранних стихов простодушие
Меня лечит теперь от печали.

Почитай мою книжечку первую,
Что когда-то дарил я тебе.
Как надеюсь сейчас и как верую,
Что останусь я верен себе.

Что не сдамся я веку циничному,
Хотя голос звучит мой не звонко.
В золотеющем поле пшеничном
Мне спасение — песнь жаворонка.

Его голос простой и негромкий,
Но мертво это поле без птахи.
Ты на небушке меж жаворонков
Стал своим в ярко-красной рубахе.

Твои песни светлы. Непривычно:
Ведь мои-то теперь, как стерня.
Ах, ты, поле моё, пшеничное —
Ты отрада всегда для меня.

Новогоднее

Я не смею грустить в Новый год,
Вместе с вами весёлым я буду.
В вихре праздничных добрых забот
Растворюсь. И про возраст забуду.

Веселитесь. Пришёл ваш черёд.
Жизнь, как миг — этот миг не прервётся.
Не грустите вы в ней наперёд:
Всё придёт, всё пройдёт, всё вернётся...

Как причудлив снежинок полёт,
Как прекрасен ваш смех у рояля...
...Свой свершает обряд Новый год —
Словно звуки снежинки роняя...

...Всё плохое быльём поросло.
Новым светом нас утро встречает.
И не зря в небесах так светло,
И не зря наши лица сияют!

* * *

Много ли проку в этакой жизни,
Из сил последних держась на плаву,
В дарованной судьбою Отчизне
Я, верный сын, в унынии живу.

А тем, кому неведома сыновья
Обида за страну, губителен успех.
Не видя будто доли её вдовьей,
Они резвятся на глазах у всех.

Дальний огонёк

Юнцом я верил: истина мне по плечу.
Всегда себе твердил: «Я ясно знать хочу,

Что движет мной, что движет всеми нами,
Всей жизнью нашей: во дворцах, в вигваме.

На чём всё держится, весь белый свет?
Отгадка есть иль вовсе её нет?».

Мой ангел закрывал меня крылами
От горьких бед, баюкая в тиши словами:

«Живи пока! Какие твои сроки,
Зачем тебе людские знать пороки?»

Создателя усмешку знать или его промашку,
Кем числят наверху тебя: гигантом иль букашкой».

А я, как путник вечный, рвусь на дальний огонёк,
Где обожгусь и, может быть, сгорю, как мотылёк.

* * *

Теперь уж больше не услышать
Весёлый смех в высокой ржи.
Так не хотели, но так вышло —
Теперь вокруг нас море лжи.

Умом понять едва ли можно,
Всё, что свершилось, сердцу не принять.
Что было правдой — стало ложью,
Что ложью — нынче правдой стали звать.

* * *

С берёзами в лесу всегда светлей,
Как мне светлей с тобою рядом.
Как много женских лиц. Но взгляда
Мне твоего не повстречать милей.

Как будто бы от мамы ты пришла,
Заветы добрые усвоив.
И жизнь моя, светлея, потекла
На радость и любовь обоих.

Теперь, когда бываю я вдали
От глаз твоих и от родной земли,
Я рвусь скорее возвратиться.
И свет берёзовый мне снится...

* * *

Выйду в поле: вокруг нет ни колоса
И ни голоса. Тишина и покой.
Паутины, как мамины волосы,
Тихо рядом плывут надо мной.

Неприкаянность стала нормою,
Чья здесь больше и горше вина?
Это всё называют реформою?
Вот зверюга — страшней, чем война.

Русские

Не будет нас, но речь останется.
Кому служить будет она?
Кто прочитает наши письма?
Кем заселена будет страна?
...Кому бесценный дар достанется?

На Бариновой горе

Есть в моём крае клочочек землицы,
Где я всегда себя чувствую птицей.

Дождь моросит ли, солнце ли сушит,
Всё на горе этой радует душу:

Слева Покровская церковь, а справа —
Красной Самарки внизу переправа.

И за рекой, в необъятной низине —
Отчина. С церковью посередине.

Греет избёнки под куполом неба.
...Как же давно я здесь всё-таки не был...

Многое видел, и лет уж немало,
А удивляться душа не устала...

* * *

Двадцатый лицемерный век
Народ мой бросил меж двух веж.

Калинычей тургеневских не стало. Хори —
Мы все теперь среди российской хвори.

От выживания до жизни путь не прост,
И россиянину подняться во весь рост

Едва ль удастся скоро. Но надежда —
Она источник силы. И как прежде

Он из неё, измученный, энергию берёт,
Мой бедный, мой оболганный —

великий мой народ!

Мои отцы

Два светлых имени, два моих отца —
Войною соединённых два кольца.

Отечеству по-своему служили
И мне в безвременье оплотом были.

А матушка в любви своей святая,
Неугомонная и молодая,

С руками лёгкими, как два крыла,
Она мне родину мою дала.

До боли в сердце и до песни звонкой
Люблю тебя, родимая сторонка!

Люблю и мучаюсь порой при этом:
Боюсь казаться странною кометой —

Мелькнувшим лишь на миг во тьме
кромешной,
С фамилией красивой
и нездешней...

* * *

Чем ближе к итогу земному,
Тем чаще гляжу в небеса.
...Я к берегу будто иному
Пльву. И вдали голоса

Отчётливо слышу. И машут,
Мне машут зазывно рукой...
Как будто бы знают: не страшно
Мне берег покинуть земной...

* * *

Любовь в душе сменилась болью,
Таков итог моих потерь.
Ни труд до пота, ни застолье
Не радуют меня теперь.

Итог быть может ещё хуже,
Я сам его не тороплю.
Кому теперь такой я нужен,
Коль никого уж не люблю.

Мы и к дурному привыкаем,
Таков уж дьявольский закон.
И в одиночку вымираем
Со скоростью — в год миллион.

И всё ж так хочется, порою,
Под куполами голубыми,
Чтоб вспоминали нас с любовью,
И мы когда-то ведь любили...

* * *

Я знаю, сколько мне осталось жить:
Сколько и тебе. Не больше и не меньше.
Тебя одну из всех на свете женщин
Мне небом суждено было любить.

И там, где свет иной, иная вязь,
Хотел бы я, согласья не нарушив,
Чтоб наши вдруг не разлучились души
И в вечность бы ушли, соединясь...

А на Земле, у горестной черты,
Пусть нас с тобой не сильно и жалеют...
Любовь прекрасна! И порой пред нею
Земные меркнут навсегда цветы...

Отчий дом

Николаю Дорошенко

Как давно я дома не был,
В бывшем радостном краю...
...Крыша дома — купол неба,
Я тебя не узнаю.

Посерела, почернела —
Незавидная судьба.
А когда-то так звенела
Наша ладная изба...

— Предал, предал. Всех нас предал... —
Слышу голос изнутри, —
И отца, и мать, и деда
Предал, что ни говори...

Как отвечу перед небом,
Да и что мне говорить?
Бог простит меня. А мне бы
Самого себя простить!

* * *

Пригорюнилась моя страна,
Если только бы она одна.

Страны — бывшие её сестрицы —
Многие успели прослезиться.

Шанс для русских невелик...
Но остался наш язык!

...Да и он ведь занедужит:
Он кому без русских нужен?..

Полёт во сне

Над мерцанием родимых холмов и озёр
Я широкие крылья в полёте простёр.

И летел я, не чувствуя тела,
И душа моя пела и пела.

И всё выше летел я, всё мимо,
Неудержимо, неповторимо...

Вдали оставались озёра и колки,
И речка Самара — как нитка в иголке.

Покровка, Утёвка и Баринов дом¹ —
...Всё угасало под резвым крылом.

...Но вдруг я хватился: в высоком зените
Рвутся все нити, рвутся все нити...

...Какая-то сила, сильнее моей
Меня повернула от дальних морей.

К озёрам родимым, к лазоревым плёсам,
К самарским песчаным откосам...

...И сердцем я милую Отчину слушал,
И песней она пролилась в мою душу.

И жадно искал я клочочек землицы,
Где суждено навсегда притулиться...

¹ Покровка, Утёвка, Баринов дом — сёла и местность в Нефтегорском районе.

* * *

В. Н. Крутину

Как мне порою тяжело,
Себе признаться не решусь.
Вот ночь опять прошла. Светло
За окнами. Я не ложусь...

В душе светает. Грусти не тая,
Живу в предчувствии итога.
...Жизнь, на земле прошедшая моя,
Была моей дорогой к Богу.

А я такое бы сказал...

* * *

Осколком зеркала а азартно внук играет,
Как я играл в своём полузабытом детстве.
И светлый лучик на моём лице сияет,
И никуда от этого сейчас не деться!

* * *

Всё выше стремится под солнышко
Цветок золотистый подсолнушка.
А корни в холодной земле
Всё глубже блуждают во мгле.

* * *

Ты мне на улице могла бы повстречаться...
Один иду. Вокруг светло и людно.
Как любящим легко казаться
И как любимым притвориться трудно.

Колодец

Он не берёт в глубинных жилах
Воды прохладной. И однажды
Отдал последнее, что было.
И высох сам от лютой жажды.

* * *

Коль мог бы я сто раз на свет родиться —
Сто раз хотел бы я не повториться.
Учёным стать, пожарником, певицей...
И жизни новой снова удивиться!

* * *

На мужике всё держится, на мужике.
И роль его нисколько не уменьшим мы.
Силён он — и когда висит на волоске.
...Коли его поддерживает женщина!

* * *

Успех в карьере!
Звёздный, долгожданный час!
А поглядел:
друзей старинных нет вокруг.
Пока раздумывал, кто виноват из нас,
И новые мои друзья пропали вдруг.

Современнику

В тебе достоинств в избытке.
Есть и терпение, и сила.
Но главное в твоём двужилии —
Демагогическая жила.

* * *

Мой внук,
мы все на этом коромысле:
И ты, и я, и шумные друзья,
Где с двух концов
над бездною повисли
«Я так хочу!» и твёрдое «Нельзя!»

* * *

Да! Да! Колосс на глиняных ногах
Улыбку вызывает на устах.
Но что творят порою с нами
Колоссы с глиняными головами?!

* * *

Пока тебе трудно со мной
согласиться.
И всё же придёт этот миг:
Поймёшь для себя
неизбежность учиться
У жизни самой, не у книг.

* * *

Я вас ни в чём не обвиняю,
Моя же в том, должно, вина,
Что больше чувствую, чем знаю.
И в этом вся штука-
ко-
ви-
на.

* * *

Ты обиды в себе не копи.
И насмешки в словах не лови.
Быть любимым желаешь — люби!
Только так преуспеешь в любви.

* * *

Течёт ручей. Течёт, почти не слышный.
Полметра вширь, и только-то всего.
Но этот куст черёмухи душистой
Растёт не где-нибудь, а около него!

* * *

Всегда и всех неистово учил всему.
И так усердно, бедный, лез из кожи,
Что было некогда учиться самому.
Так неучем всю жизнь свою и прожил.

* * *

Зря ты твердишь, что проиграл,
Что с поражением смирился.
Вот, если б ум свой потерял,
Тогда бы ты всего лишился.

* * *

Замаливаю прежние грехи —
Пишу стихи. И, как всегда, опаздываю.
А может, просто жизнь свою оправдываю
И совершаю новые грехи.

* * *

От дня рождения и до последних дней
Всего лишь миг. И радостный, и жуткий.
Попробуй, мудрым стать успеи
Вот в этом кратком промежутке.

* * *

Чтоб я на свете ни делал,
Всё же усвоил отлично:
Мудрость имеет пределы,
Глупость порой безгранична.

* * *

Мой друг! Есть истина одна.
Нам от неё с тобой не отвертеться:
Чтоб дурака понять сполна,
К себе внимательнее
стоит приглядеться.

* * *

«Я это дело понимаю так, —
Отец мне говорил неторопливо, —
Плохое дело, если друг — дурак,
Но хуже, если с инициативой».

* * *

Тут победили и дальше рванулись,
Чтоб покорить, побороть. Оглянулись:
Разум теряем в страстях бесконечных.
...Может, хоть лень
остановит нас, грешных?

* * *

На все вопросы знаешь ты ответы.
Во всех ответах так себе ты люб!
Ну, что ж, люби. Беда-то ведь не в этом:
Скорей всего, увы, ты просто глуп.

* * *

Я всё чаще стою у икон,
С каждым разом всё дольше и дольше.
Жизнь моя уж пошла под уклон,
А желаний не меньше, а больше.

* * *

Добрых всё меньше теперь,
То дельцы всё вокруг, то пройдохи.
Сколько же диких потерь
У моей очумелой эпохи.

* * *

Страсть выведаль у недруга. И червячок
Подкинул с ловкостью под эту страсть.
В себе уверенный, он тут же шасть —
Попался сам на собственный крючок.

* * *

Мне мудрости не надо никакой.
Душе от глупостей твоих вольней —
Вино, налитое твоей рукой,
Пьянит всего желанней и сильней!

* * *

Не печалься, что жизнь пролетела.
Все диагнозы в ней — дребедень.
Может, самое важное дело
Ты исполнишь в последний свой день.

* * *

Я к мысли однажды пришёл неуютной:
Умелостью нашей ежеминутной
Не стоит, быть может, кичиться нам шибко?
И опыт порою бывает ошибкой.

* * *

Он промолчал,
он не спешил с ответом.
Ни словом, ни ударом не грозил при этом.
Ты победил сейчас его, но не ленись,
На всякий случай оглянись и —
берегись!

* * *

— Меж селом и городом стирали грань.
И так в своём усердьи пёрли,
Что, Мань, ты обожди, ты глянь:
С лица земли деревни стёрли.

* * *

Итог наблюдений моих таков,
Прими его в память о наших беседах:
Хочешь нажать себе больше врагов —
Рассказывай чаще друзьям о победах.

* * *

То горделивы, то идём с повинной.
То пьём взахлёб, то струйкой цедим.
Мы не умеем жить, и в том причина,
Что жизнь свою не очень ценим.

* * *

Сверкает солнце ли, грозит ненастье,
Один идёшь, иль строем на параде.
Коль ты с самим собою не в согласье,
То и с друзьями быть тебе в разладе.

* * *

Есть нудный отрезвляющий пассаж:
«Умеренность —
вот верный жизни страж!».
Я много раз противился ему —
И нёс беду себе же самому.

* * *

Не торопись, но помни при том:
Не спеша, ты рискуешь всем.
Жизнь откладывая на потом,
Можешь вовсе остаться ни с чем.

* * *

Неудержимо бурное течение.
Не убегай от собственного мнения.
Какой бы ни давил авторитет,
Над истиной пока начальства нет.

* * *

Уж, коль постиг ты трудное искусство
И можешь мысль по сути оценить,
Не торопись пророком быть,
Учись ценить простые чувства.

* * *

Чтоб гениальное вершить,
Нам надо гениями быть.
Но иногда, чтоб глупость одолеть,
Сверхгениальность надобно иметь.

* * *

Ты далека, так далека, что даже песней
Своей я до тебя теперь не дотянусь.
И я, создать сумевший мир в себе чудесный,
Один с сокровищем ненужным остаюсь.

* * *

Вас собеседники обходят стороной?
Есть выход — он на удивление простой:
Попробуйте в себе вы заронить
Желание поменьше говорить.

* * *

Себе порой в тиши шепчу: не лги,
Ты чувствами своими не обманут.
Умрёшь — и тут же многие враги
Посмертными приятелями станут.

* * *

Клянём свой век нелёгкий, непростой.
Порою в этом не жалеем сил.
Всё верно, друг, но погоди, постой!
А кто своим доволен веком был?

* * *

Порой заявленное дело
Всех без сомненья рассмешит.
Ленивые мечтают смело,
А труженик дела вершит.

* * *

Конечно, ты в танцах многих сильнее!
Свои наблюдения я с грустью итожу:
Ноги твои намного тебя моложе,
К тому же, пожалуй, ещё и умней.

* * *

Страстный от безумств не застрахован.
От чудачеств вовсе не свободен.
Но бесстрастный равнодушьем скован,
И в итоге он, увы, бесплоден.

* * *

Внуку Саше

Ум знаньями, понятно, не заменишь.
И эту истину уж никуда не денешь.
Но ум острее во сто крат,
Коль он познаньями богат.

* * *

Ты хочешь многих удивить!
И победить! И не иначе?
Старайся меньше говорить,
Иначе не видать удачи.

* * *

Пред ней ты чуть ли не злодей?
Хоть в переплавку заново, ей-ей!
Страсть переделывать людей —
Что может в жизни быть глупей?

* * *

Сегодня Вы, шутя, спросили:
Что делать? Стала я седою.
Отвечу: мудрые порою
Бывают с возрастом красивей.

* * *

Каждый проявляет свою прыть!
Порою остаётся только ахать.
Тот стремится истину открыть,
Этот — поскорей её упрятать.

* * *

А было всегда так: век от века
Рыщет по свету зловещий вампир:
Смерть отбирает у человека
Не только жизнь его, но целый мир.

* * *

То тьма вокруг,
 то спелых звёзд ночных свеченье.
То под ногами зыбь, то снова твердь.
Всё человечество захвачено теченьем
Двух вечных рек с названьем
 Жизнь и Смерть.

* * *

— Великие дела вершат чудовища, —
Один мудрец торжественно сказал.
Я эту истину познал тогда ещё,
Когда себя к великим примерял.

* * *

Вам, Ваша милость, Ваша честь,
Могу сказать я лишь одно:
У Вас чернила ещё есть,
Но мысли кончились давно.

* * *

Теперь с тобой — далёкой и желанной
Мне не бродить вдоль наших сонных сёл.
Но образ твой — то светлый, то туманный
В понятие родины моей вошёл.

* * *

...И я грущу, влюблённым сердцем зная,
Что нет мне в мире уголка светлей,
Чем тот, где я бродил, себя сжигая,
На радостном огне строки своей.

* * *

Эта мысль пришла мне на бегу.
Ты её бери, коли берётся:
Не давай советов дураку —
Дорого тебе ж и обойдётся.

* * *

Мысль моя и не моя,
Будет пусть теперь твоя:
Можно ведь и при короне
Протирать штаны на троне.

* * *

В чём жизни смысл?
Он есть или его нет?
Какие б мудрецы ни спорили вовек,
На споры долгие один ответ:
Смысл жизни задаёт сам человек.

* * *

Дверь ворчливо скрежетала:
Мол, имею голос свой.
Смазал петли — перестала.
Был секрет, увы, простой.

* * *

А я такое бы сказал,
Рискуя быть не понятым, ей-ей:
Блажен, кто истину познал,
И трижды — кто не ведаёт о ней.

* * *

Как одиночество гнетёт,
Какую боль оно несёт!
Но лучше одиночества недуг,
Чем лживый и случайный друг.

* * *

Как творчество без вдохновенья,
Так злая верность без любви.
Всё тягостно, одно томленье,
Одно смятение в крови.

* * *

Разговоры с тобой, как игра на бильярде.
Слово каждое, будто кручёный удар.
Но в словесном своём неуёмном азарте
Не теряй понапрасну душевный свой дар.

* * *

Порой иному мудрецу,
Чем мудростью гордиться,
Неплохо бы пойти к глупцу
И делу поучиться.

* * *

Его всерьёз не принимали,
А он тихонько землю рыл.
Прорыл на свет и в небо взмыл,
Покуда вы всю дремали.

* * *

Пусть это не так.
 Да и то не сложилось.
Но вы не спешите
 сдаваться на милость.
Не падайте духом.
 На жизнь не ропщите.
Ищите причину!
 Причину ищите!

* * *

О прошлом можно пожалеть
С годами, между прочим.
Но быть моложе своих лет?
Нет, это глупо очень.

* * *

Мудрец сказал, толпой гоним:
«Твори — и ты непобедим!»
Девиз и прост, и ясен.
Я с ним вполне согласен!

* * *

Увы, сегодня в изобилии
Разнообразные фамилии.
Имён достойных, не секрет,
Давно уж, к сожаленью, нет.

* * *

Вот светлячок.
Он светит, но не греет.
Но ты его не осуждай за это!
Уставшая душа моя теплеет
От этого особенного света.

* * *

Зачем казнишь себя тревогой вечною,
Когда иду я вдоль твоей завалинки?
Ведь опасение твоё быть незамеченной,
Как детская боязнь остаться маленькой.

* * *

Труд отличает мудреца,
Пусть скромненький результат и мал.
Я помню своего отца,
Он раньше всех в семье вставал.

* * *

Вы так гневились на меня,
Меня в презрении виня.
Умерьте пыл, мои друзья:
Всем сразу нравиться нельзя!

Учёному мудрецу

С самую сутью не переча,
Дадите ценный вы совет.
Но теплоты в вас человечьей
Как будто не было и нет.

* * *

Что мне ответить тебе в утешенье?
Зря не терзай ни меня, ни себя.
Истинно тут для меня без сомненья:
Ангел мой, дьявол попутал тебя!

* * *

Умей то светлое хранить,
Что издавна любовью называют.
Умей делами воплотить
Свою любовь к родному краю.

* * *

Любить доступное. Я мудрость эту
Не сразу принял. А сейчас
Иным наполнено всё светом
И всё мне будто в первый раз.

* * *

Немало в голову идёт сравнений,
Но все сравнения напрасны:
В неуловимой смене выражений
Твоё лицо — прекрасно!

* * *

Жизнь семена несут в своём ростке.
А ты стоишь на жиденьком мостке
Иль у гнилого шаткого забора,
Коль высеваешь семена раздора.

* * *

Обид людских занозы
с болью вынимая,
Прощаю всем,
себе всё больше не прощаю.
...О, сколько их вокруг, обидчиков лихих.
Их всех переживёт
мой непокорный стих.

* * *

В глазах огонь давно угас,
За горло неудача ухватила.
Но цель определилась, и тотчас
Она мне крылья подарила.

* * *

Бывает, и пива стакан
Скучнее простой газировки.
Нам жизнь украшает обман.
Всё дело порой — в дозировке!

* * *

Негодуете, что вам соврали?
На это есть приём давнишний,
Его запомнить вам нелишне:
Поменьше бы вопросов задавали.

* * *

Жизнь потребует за всё оплату.
Всяк в свой срок того коснулся:
Только к жизни интерес проснулся,
А она уже пошла к закату.

* * *

Не мной одним замечено однажды
И с этим согласится чуть не каждый:
Насколько в одиночку мы добрее,
Настолько мы в толпе бываем злее.

* * *

Чужие города и веси
Не принесут мне в душу песни.
Лишь там, где отчие края,
Звучит простая песенка моя.

Судьба

Тело досталось непрочное,
Душа оказалась порочною.
Жизнь получилась морочною,
Смерть наступила досрочная.

В разлуке

Я мыслю теперь рационально,
Вина в моём разочарованье.
Любовь твоя и расстоянье
Обратно пропорциональны.

* * *

Увязли в разговоре,
Собачились в сердцах.
Нелепо видеть в споре
Глупца и мудреца.

* * *

Подставилась доверчиво душа,
Как под пудовую кувалду.
Народ почувствовал неправду,
На ощупь к правде путь верша.

Мимолётное

Женевы потрясающий пейзаж
Изыскан, будто макияж.
... Сюда бы жёлтенький песочек
Да неба волжского кусочек.

* * *

Космополиты и замполиты наши
Морочат и морочили мозги.
Безмолвствует народ, вконец уставший,
И в будущем нам не видать ни зги.

* * *

Что наша жизнь? Политики, как на эстраде,
Терпение толпы для них — награда.
... Но это ведь кому-то надо,
Чтоб смахивала жизнь на клоунаду.

Герой гражданской войны

Вся грудь в орденах. Герой на века
И нету границы всеобщей любви.
А руки? Где руки? На свет покажи!
... Должно быть, по локоть в крови.

* * *

Я к выводу весьма архинаучному пришёл:
Какая б ни была эпоха,
Никогда так не бывает с деньгами хорошо,
Как без денег — плохо!

* * *

Привычки наши неодолимы,
Вся жизнь — сплошная маята.
Духовной жаждою томимы,
Мы не проносим мимо рта.

* * *

Умный всегда уступает
В конце-то концов.
Не от того ли бывает
Засилье кругом дураков?

Голос в толпе

Болтливых классиков тома
Нам заменила жизнь сама.
Итог: подобное ученье
Нам сохранило ум и зреньё.

* * *

Устал я вталкивать себя в обычное,
Где кровь стоит и чувства не спешат.
Ах, это горе-горемычное —
Моя неугомная душа.

Новогоднее

Лицо родившегося века
Гримасой страшную свело.
Толкает в ужас человека
Всё прогрессирующее зло.

* * *

Хоть Пушкиным, хоть Лермонтовым стань,
В любой из тысячи берёзовых рязань
Есениным родись с золотокудрой головой...
...Нынче нужен ты кому такой?

* * *

Ошибок в жизни я наделал много,
Прожив её вдали от Бога.
Теперь вот с горечью казню
Себя за мелкую возню.

* * *

В этом простая разгадка:
Если вы долго и строго
Ищете в нём недостатки,
Знать в нём хорошего много.

* * *

Хлопнут вдруг там, в небесах, творилом
И во тьме беспомощному, скопом,
Человечеству противиться не в силах —
Мы живём под чьим-то микроскопом...

* * *

Веками человечество пыталось
Понять, как жить и для чего?
И что ж? В наследство мне досталось
Великое незнание его?!

* * *

От истоков своих приближаюсь я к устью.
Себя не узнать мне. Так изменился:
Ум мой с тревогой давно уж сроднился,
А мудрость и вовсе расплавилась в грусти.

КОЛКИ МОИ И ПЕРЕЛЕСЬЯ

Миражи

В детстве так часто бывало: едешь степной дорогой в телеге или рыдване на сенокосный стан либо с дальнего кордона домой — и одолевает жара. Запас воды в моей баклажке давно иссяк. Сухота и духота вокруг. Дорога высохшая и твердая как камень. Стучат копыта преследуемого слепнями и мухами меринка Карего... Ты один из людей в этом пространстве зноя и июльской истомы. И как же радостно душе, когда вдруг там, вдали, замаячит в ложбинке кусочек леса. Окóлок — так обычно в нашем Заволжье называют такие островки зелени и свежести. Захочется быстрее добраться до желанной прохлады. Подгоняешь меринка, но, увы, вдруг обнаруживается, что нет никакого леска. Все только показалось, сложилось само собой. И напеченная полуденным солнцем голова едва не идёт кругом. Мираж. Так бывало часто.

...В один из долгих зимних вечером, соскучившемуся по лету, помню, захотелось мне прояснить, что же это всё-таки за явление: мираж. Я пошёл в нашу библиотеку, которая тогда располагалась напротив шумной чайной и поражен был основательностью, правдивостью и бережностью, с которой в словаре Даля говорилось о мираже, а вернее о маре. Это было для меня открытие. «Словарь назван толковым потому, что он не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробное значение слов и понятий, им подчиненных...»

Все так и было.

Я несколько раз перечитал текст, звучавший как поэма: «Марить в знойное лето, когда все изнемогает от припека солнца, земля накаляется, нижние слои воздуха пламенеют и струятся, искажая отдаленные предметы, которые мелькают, играют; марить перед грозой, когда воздух душный, пот и слабость одолевают; так же во время лесных палов, когда воздух становится мутным, горкнет, и среди мглы солнце стоит тусклым багровым шаром...»

Я не удержался и стал искать слово «околок», желая, оче-

видно, неосознанно получить наслаждение от толкования и этого слова, но не нашел. У Даля есть слово «кóлок» — «отдельная рощица, лесок или лесной остров». И лишь вскользь упомянуто слово «околок» как кора дерева. Зато нашел я милое сердцу слово «перелесок» — узкая полоска леса, соединяющая два леска, а рядышком и «перелесье» — поляна между лесков, прогалина в лесу. И стало радостно почему-то и спокойней на душе, будто я в чем-то глубже осознал себя. Понял своё место, определил систему координат и нашел ту маленькую точку в них, где я нахожусь, и мне стало более понятным, что со мною происходит и может ещё произойти: за очередным колком ли, перелесьем, или где-то ещё...

...Теперь, много лет спустя, я с радостью возвращаюсь в свои березовые и осиновые колки, чья чуткая листва успокаивает и баюкает меня, возвращая душевное равновесие...

Но чаще всего мчусь по перелесьям, которые порой вмещают в себя заводские коллективы, встречи, рукопожатия, конференции, презентации, города, а порой и далекие чужие страны...

...На моей голове давно уже нет того выцветшего под палящим солнцем льняного вихра, давно я не запрягал лошадь. И смогу ли уже теперь... Но солнце все так же светит, ярко и жарко, и хотя оно уже вряд ли меня застигнет с непокрытой головой одного в степи, но все же душа порой в сегодняшней суете ищет зеленый прохладный островок, где дышится и думается свободнее и отраднее...

Может быть, поэтому и назвал я свои заметки «Колки мои и перелесья».

И вина ли моя, что миражи продолжают преследовать меня...

Обручился с Волгой

В Союз писателей России меня принимали на выездном заседании во время проведения дней поэзии «Жигулевская весна» в 1995 году. Было это километрах в пятнадцати от города Жигулевска, по дороге в село Ширяево в бывшем пионерском лагере «Жигулевский Артек». Этот день мне запомнился навсегда и в подробностях. Было десятое июля. Утро. Проснув-

шись, я вышел на затравевшую полянку с принадлежностями для бритья и маленьким зеркальцем в руках. Группа писателей как-то организованно (это я сразу отметил) гуртовалась под большим серебристым тополем, недалеко от пожарного крана с бочкой воды, где я как раз и собирался побриться. Территория лагеря, ухоженная и подготовленная к заезду ребятни, пока пустовала.

Едва я закончил свои нехитрые дела, подошёл ответственный секретарь Самарского отделения Союза писателей, прозаик Евгений Лазарев. Как-то буднично, по-домашнему спросил:

— Ну, готов?

Я понял вопрос по-своему, связывая его с готовностью идти в столовую, бодро доложил:

— Всегда готов!

И тут он объявил собрание открытым и обозначил единственный пункт повестки дня. Проголосовали за принятие меня в Союз писателей единогласно.

Этот день стал для меня особенным. Казалось, что весь окружающий мир просится в книгу, и все вокруг существует лишь только для того, чтобы быть в книге. Верилось, что я могу написать обо всем. Я — писатель! Это признано присутствующими.

И столетие Есенина, и близость села Ширяево, единодушное, доброе ко мне отношение самарской писательской братии — все казалось мне тогда знаковым. Все обязывало. Ночью, в переполненной душевной комнате, долго не спалось. Едва забрезжил утренний свет, я вышел под открытое небо. Долго бесцельно, подчиняясь каким-то силам, волнами гуляющими во мне, бродил по прохладному лесу. Мысли были беспорядочны, чувства обострены, я понимал, что вхожу в какую-то новую свою часть жизни или жизнь, непохожую на прежнюю. Я вдруг почувствовал, что в свои пятьдесят лет я упустил время, чтобы свершить что-то серьезное и значительное в литературе, что у меня много замыслов, но времени... увы, остается мало. Смогу ли я соответствовать своим замыслам? Сомнения навалились на меня. Такого со мной ещё не было. Когда готовил свою первую книжку, я писал, как дышал, мне было радостно и свободно...

...До Ширяево оставалось километра полтора, захотелось испугаться. Настроение было у всех приподнятое. Вокруг: ширь

небесная и волжская речная синь. Справа невдалеке уже угадывалось Ширяево, колыбель знаменитого и такого своего, понятного волжского поэта.

*В междугорье залегло
В Жигулях моё село.
Супротив Царев курган —
Память сделал царь Иван...*

Я прочитал вслух эти строчки и не хотелось к этому, такому простому, как снег, небо, воздух, стиху ничего добавлять, всего было с избытком. Подошёл Евгений Васильевич и, не говоря ни слова, тоже стал смотреть на междугорье, на водный и небесный простор, на нас всех сразу. Он понимал, что творится с нами со всеми и со мной в этот миг. Так мне казалось.

Вода была холодной.

Первым обрушился в неё грузный Валерий Острый. Александр Громов и бородатый Переяслов вошли в огромный студеный поток не торопясь.

Когда они вышли из реки и поднялись на крутой берег, мне, присевшему у кромки воды и наблюдавшему за ними снизу, все они, обнажённые, непривычно белые после зимы на фоне небесных барашков летнего неба, показались большими невинными детьми, почти ангелами, резвящимися под чьим-то дремлющим добрым всевидящим оком! Я это почувствовал всем существом своим, ибо и на себе ощущал из бездонной синевы небесной тот взгляд. Нас словно кто-то приветствовал и благословлял, таких разных, порой непримиримых, а в общем-то единых по общей человеческой сути.

Когда подходили к автобусу, Николай Переяслов обнаружил что, купаясь, обронил в воду кольцо. Кольцо было обручальное. И обручился-то он со своей суженой всего две недели назад.

Несколько человек вернулись к воде, походили, посмотрели: кольца на берегу не было.

— Тут нет, — уверенно произнёс Переяслов, — я точно знаю, что кольцо обронил в воде. Я это почувствовал, но не понял сразу... Выходит, обручился с Волгой. Радоваться надо!

Он так сказал и мы враз все переглянулись, а он весело заулыбался. В автобусе уже, когда подъезжали к селу, один старейший самарский писатель, наклонившись ко мне, произнёс:

— Вот ведь, а?.. Года два назад местный поэт наш (он назвал фамилию) задергал нас всех, потеряв свои часы в такой же вот поездке. Измотал просьбами искать вместе с ним пропажу, а этот.. улыбается себе. Что жене-то молодой будет говорить? С Волгой обручился?

Я оглянулся на Переяслова, он сидел в окружении молодых, начинающих литераторов и белозубо улыбался. У всех были просветленные лица.

«Боже, они, как и я, приняли этот знак — обручение с Волгой — на себя!..»

Тень от ветлы

Гулял по пустынным осенним тропинкам Переделкино. Моя спутница, московская поэтесса, пятидесятилетняя дама, приехала в Дом творчества писателей на этой неделе, оживив разрозненную стайку литераторов, которых было здесь не более полутора десятка.

Мы познакомились легко и сразу, когда она вселилась в новый корпус, в номер напротив моего.

...Наш разговор под осенним небом, пасмурным и мглистым, идёт неспешно.

— А сейчас что-нибудь пишете? Ведь здесь самое то место, где можно забыться в рукописи.

— Да, — отвечаю, — пишу потихоньку.

— Что?

— «Колки мои и перелесья».

— Что-что?

— Повесть.

— Нет, вот это: колки и там что-то ещё...

Я объяснил, что такое колки и перелесье.

— И зачем это вам? — она приостановилась и, помахивая большим желтым кленовым листом перед вздернутым своим носом, в упор посмотрела на меня.

Я не понял и сказал ей об этом.

Она пояснила наставительно и терпеливо:

— Зачем вам, современному человеку, доктору наук, профессору, это?

— Что это?

— Вы же ученый, генеральный директор завода, вы знаете мир промышленников, ученых, были депутатом высших уровней...

— И что же?

— Пишете об этом... Зачем вам снова в деревню? Вы там были с рождения всего-то восемнадцать лет, пока не уехали в институт учиться. Слава Богу, что вырвались за околицу. А много ваших сверстников живет в селе?

Я стал припоминать ребят, с которыми учился, дружил в детстве в Утёвке, и оказалось, что большинства из тех, кто остался в селе, нет в живых. Некоторые спились, кого-то по пьяни сбили трактором, а кто-то сам от безысходности наложил на себя руки, как мой одноклассник Саша Скудаев, лучший в нашем классе шахматист и математик.

— Вот видите, за что цепляться-то?

Я слушал её. Голос доносился как будто откуда-то издалека, он говорил мне то, о чем я много уже передумал, и у меня не было теперь азарта спорить на эту тему, тем более с этой правильной горожаночкой. Мне было больно за нас, деревенских.

— Вы же интеллигент по складу ума. Я вас не могу даже представить с вашей профессорской внешностью в сельской грязище. Боже мой, я, наверное, нехорошо говорю. Но это же так.

Она остановилась и зорко посмотрела на меня:

— Вы рискуете, знаете ли.

— Гуляя с вами? — фривольно парировал я.

— Вам ведь тут же критики как писателю приклеят ярлык деревенщика, и надолго, — не сбиваясь с серьезного тона, ответила она.

— Ну и что? Вся Россия вышла из деревень, — банально возразил я.

— Ну вот, пошло-поехало. — Она снисходительно рассмеялась.

Я начал теряться: в чем моя вина? В том, что я родился в деревне? Но ведь я не застрял на околице и не забыл родные места?

Моя спутница сделала другой заход:

— Вы неоригинальны. Есенин прикидывался чуть ли не старовером, вначале расхаживая по Москве в валенках. Горький

называл себя — босяком, а сам в то же время знал чуть ли не всего Флобера и Ницше. Я заметила в прошлый раз, когда заходила к вам, что ваша рукопись написана на обратной стороне какого-то делового документа.

— Да, это один из экземпляров моей докторской диссертации.

— Гримасничаете, да?

— Просто не было под рукой другой бумаги.

— Вас с головой выдает ваша фамилия. Вы что, дворянин из усадьбы?

— Нет, конечно, но со стороны отца...

— Ваша фамилия не деревенская, — не дала она мне договорить, — так ведь?

— Не знаю. Откуда можете знать вы?

— Вы прямолинейны в разговоре и неинтересны. Удивительно, ведь повесть ваша «Под открытым небом», хороша! И вы — ну, очень положительный человек. Но запомните: талантливые книги пишут хорошие писатели, а не люди хорошие.

Я молчал.

— Скажите мне, у вас в трех местах повести повторяется слово «рыдван», это что, арба такая или наподобие брички? А в конце повести: «ветла». Что за дерево, не слыхала?

Я, как мог, объяснил, внутренне подивившись вопросам.

— Вы нарочно такие слова подбираете в повести?

— Как нарочно? Без них деревня — не деревня.

— Да будет вам!

Я не стал ничего доказывать. Мне показалось, что она меня просто дурачит.

Когда мы расстались, мои мысли все крутились вокруг моих рыдванов и вётел, а вернее, вокруг того, как же всё-таки понять и сказать, кто я? Моя повесть была о детстве, и без привычных с детства слов, без рыдвана, останки которого и до сих пор лежат на наших задах на гати, без кривой ветлы, у которой мой дед всегда делал стан в сенокосную пору, где мы обедали, пили аряну, спали, разморенные полуденной жарой — кто я? Тень от мощной ветлы нас спасала, она давала надежное укрытие от палящего солнца — без всего этого я просто не представлял себя. Если вообразить, что всего этого не было и нет, тогда я и сам как бы придуманный, меня тоже нет.

Вечером, прочитав её книжечку стихов, я впал в некое недоумение. Мне не хватало понимания, кто написал книгу. Не ясно было, где родился автор, откуда он, где его корни, кто за ним и что стоит? Будто автор инкубаторский, будто из пробирки.

Размышляя так, я достал свою рукопись, ещё раз прочёл милое сердцу название и, взяв карандаш, жирно и твёрдо несколько раз обвёл буквы. От этого они стали устойчивее и выразительней. Когда клал рукопись в стол, поймал себя на мысли, что веду себя, как в детстве, когда, взяв большую кисть, голубой краской на самом большом тесовом заборе у сельского клуба написал назло всем завистникам и дразнилам: «Я все равно тебя люблю!» Я знал, для кого писал. И она, живущая в соседнем переулочке, в крепеньком домике с крашеными наличниками — хрупкая и синеглазая, догадывалась, кому это написано и почему. И никто нам больше был не нужен тогда.

Вот так-то!

Родительские прививки

Родители нас воспитывали на свой лад. Если вообще воспитывали в обычном, расхожем смысле.

Осознанно это было или нет, но напрямую нам никогда не говорили: вот этого делать нельзя, а вот это — можно. Они так себя вели, что часто в вихрастой моей голове возникали неожиданные мысли и сомнения.

Даже и потом, много позже, когда повзрослел, я часто попадал в эти, с простодушной улыбкой расставленные силки. Сейчас вспомнились два таких случая.

На третьем курсе ко мне приехал в общежитие отец и, увидев на столе мою курсовую работу по «Деталям машин», живо заинтересовался чертежами механизмов и тут же начал спрашивать. Но мне эта дисциплина с передаточными числами, червячными передачами была не очень (мягко сказано) интересна, да и то обстоятельство, что отец, не имевший даже среднего образования, начинает рассуждать о вещах, требующих, по-моему мнению, специальных вузовских знаний, несколько забавляло, что ли, и я всерьез никак не мог принять его вопросы. Под предлогом, что мне надо ещё самому разбираться, а уж

потом объяснять ему, я попытался увильнуть от дополнительных занятий с отцом этой скучной наукой.

— А разве сейчас вместе не разберемся? Ты же сам чертил? — не отступал он.

— Ну, зачем тебе это, отец, у тебя в мастерской все, что вращается и крутится, кроме точила, все деревянное, а тут — железо.

Мне просто самому было не интересно. Я уже решил тогда бросить институт и поступить в цирковое училище. Страстно хотел стать силовым эквилибристом.

Я, кажется, переборщил, отец, сверкнув глазами, понурился. Мне стало неловко.

А он отошел от стола с листом ватмана к окну и стал смотреть во двор общежития, на грязный, так не похожий на деревенский, весенний сугроб снега.

Я спохватился: отец всегда всех поражал тем, что мог наладить в деревне очень многое, что ломалось и безнадежно уже приносили к нему сельчане: радиоприемники, утюги, примусы, керогазы, часы и многое-многое другое. Это меня всегда поражало: он окончил когда-то два класса начальной школы и курсы трактористов ещё до войны, но этого ему хватало. Он ещё ремонтировал коляски инвалидов, старую машину своего друга Константина Зуева и вообще все, что приносили и привозили ему во двор, что можно было когда-то назвать — как он говорил — «механизмом».

Припомнив это, я хотел было как-то загладить свою промашку, и, когда уже провожал его из общежития на автовокзал, заговорил о своей вымученной конструкции в курсовой работе. Он никак не отреагировал. Просто промолчал. Умолк и я, чувствуя себя неловко и виновато оттого, что вроде бы я какой-то изменник — перебежал в другой лагерь, где все умные, городские, грамотные и его не пускаю туда, организовал круговую оборону: ты, деревня, сама по себе, а мы, город, и без вас обойдемся, мы — ученые. Так получалось.

«Он ведь и лист ватмана, и чертежи, наверное, впервые в жизни увидел. Это ж ему — самый высший пилотаж, с его-то цепкостью ко всему, что связано с техникой», — доедал я сам себя.

...Сдав не только эту курсовую работу, но и всё, что необходимо было в весеннюю сессию, я приехал домой заряженным

и на отдых от учебы, и на каторжную работу по заготовке сена и дров.

Мы сидели на кухне за столом с мамой и неторопливо беседовали, когда вдруг тишину во дворе и в нашей избе резко нарушил металлический, резвый, тонкий и всепроникающий звук.

— Что это, мам, у нас?

— Да, наверное, отец вернулся из клуба после ночи — он вновь устроился клубным сторожем, и включил свою машину.

— Что за машина такая?

— А иди да посмотри, к нему цельными толпами ходят глядеть.

Я вышел во двор. Отец был в своей мастерской, из двери которой торчала длинная доска.

Заглянув, я увидел то, что меня поразило и несказанно обрадовало: отец стоял у большого грубого стола, над плоскостью которого из прорези на одну треть торчало зубчатое колесо, с невероятной скоростью вращавшееся и жадно вгрызавшееся в доску, которую отец подавал легким нажимом вперед. Доска-сороковка легко и красиво делилась согласно черте, сделанной на ней, на два абсолютно ровных, длинных элегантных бруса.

От вращающейся зубчатки, от оси, на которой она сидела, уходил ремень, который под столом обхватывал шкив, насаженный на вал рычащего мотора. Издавали сильные звуки две детали этой удивительной конструкции; мотор и диск, казалось, как живые, соперничали друг с другом, отстаивая первенство — каждый своё в этом прямо-таки завораживающем действии.

Отец только тогда выключил рубильник, когда кончилась доска. Она, вильнув, развалилась на две половинки, обнажив свежий, рыжеватый смолистый срез и заполнив всю мастерскую крепким здоровым духом.

— Вот, Шурка, и все дела! — сказал приветливо и спокойно отец. — Теперь легче будет заготовки делать для оконных рам, да я уже и дрова пилил. Сухой дубок берет!

Он повернулся, и моя ладонь оказалась сжатой в маленьких, но словно металлических тисках — настолько была крепка отцовская рука.

— Как пилорама, да? — восхищенно выдохнул я.

— И да, и нет, — неопределенно ответил отец, добродушно покачав головой.

— Почему так? — настаивал я.

— Да, это ж твои «Детали машин», наука твоя студенческая. Вот тебе ременная передача, вот шкив. — Он взял напильник и, пользуясь им как указкой, пояснил: — Вот станина, вот привод. Почти все, как на твоём ватмане. А называется — циркулярка.

— Неужели, пап, это ты все сам?..

Мне было удивительно, одно дело чертить мёртвые чертежи, сидеть, защищая их перед лобастыми вузовскими преподавателями, совсем иное — этот запах свежих опилок, отцовская мастерская, он сам — целеустремленный до предела, конкретный в делах и поступках до самоотверженности. Такой живой и умеющий оживить все то, к чему прикасался.

Я вспомнил своё студенческое высокомерие в тот приезд отца, и мне стало вновь не по себе.

А он стоял в дверном проёме мастерской, прилаживая, как ни в чем ни бывало новую доску для очередного прогона на своей бодро повизгивающей циркулярке.

Такая вот прививка от чрезмерного самомнения и от кое-чего ещё.

* * *

Одну из многих прививок получил я и от мамы, но уже в солидном возрасте.

Я уже месяц как защитил диссертацию, а все не мог выбраться в село к родителям. И отдохнуть на пару дней во врачующей тиши, и новости привезти. Как никак я первый в нашем роду получил высшее образование, а теперь вот и ещё доктором наук стал. Наперекор всем обстоятельствам, работая ещё на производстве начальником большого нефтехимического цеха, накопил постепенно материал и защитился в Москве.

...Когда я приехал, отца дома не было, он пришёл чуть позже и устроился напротив меня в горнице за столом, где я с дороги, притомившись, сидел перед большой чашкой кислого молока. Мать знала мою слабость — я любил кислое молоко — и она всегда его держала наготове, часто жалуясь мне, что никак не приновится к моим нерегулярным приездам и мо-

локо скапливается у неё, и она не знает, что с ним делать. Не дождавшись, раздаёт его соседям. Надо сказать, я не говорил родителям, что работаю над докторской диссертацией. Почему? Не очень они восторженно относились к моей работе вообще. Кончил я институт и получил не очень-то понятную для них профессию химика. Ну, что такое химик? Вон Мишка Юнгов, Колька Петряев — они шоферы, мы в школе вместе учились. Подойди, попроси — они за бутылку привезут любому и сено, и дрова. Подмога в жизни. И себе что надо, привезут. Техника в руках. Крепко стоят в жизни на ногах. А я — инженер на заводе, да ещё химик. Куда меня такого сажать в компании, на какое место?

— Я защитился, стал доктором, — сказал я не без торжественности, помешивая деревянной ложкой своё любимое кислое молоко с сахаром.

Отец не успел первым ответить.

Он сидел уставший у стола, далеко откинув от стула негнущуюся ногу и положив руки на цветистую, освещённую мартовским солнцем, клеёнку.

— Доктором стал? — переспросила мама. — Когда ты успел?

— Да вот так, — отвечал я.

— Значит, людей теперь будешь лечить, раз доктор?!

Я не сразу нашёл, что ответить — так неожиданно был поставлен вопрос.

Во-первых, я и сам до конца не понимал, по сути, что это такое «доктор наук». Одно время я даже проповедовал неприятие этого звания. Ученый — есть ученый. И степени учености и полезности вряд ли защита и присвоение звания добавляют. Все очень условно. Во-вторых, мама всегда хотела, чтобы я учился на врача. Это же как и шофер. Видно, чем занимаешься, и видны плоды. Это не химик какой-нибудь...

— Ну, лечить не лечить, а что-то вроде... — начал мямлить я.

Но моей маме, с её одноклассным образованием, хватило быть мудрой и сейчас.

— Ой, Шура, как же это хорошо-то! Хорошо-то как! — воскликнула она, прислонившись к только что протопленной голландке и обхватив её за спиной руками. — Лечить будешь людей, это сейчас так нам надо: у нас столько в селе хворых, беда ведь совсем, вымрет народ.

Посмотрела на меня своими нестареющими глазами прямо, и я смешался. Я сбился: то ли она действительно поверила в осуществление своей давней мечты, что я буду когда-нибудь врачом, то ли лукавит озорно, как она часто это делала, и дает мне возможность ещё поправиться. Верит мне, что я, если не сейчас, то когда-нибудь все же сделаю, как она хочет, но сделаю без нажима. Сам, поняв что-то, то главное, чего пока в моей ученой голове нет.

И тут в установившейся тишине, в чистой и светлой родительской горнице прозвучало то, что они оба потаённо носили в себе:

— А раз лечить будешь, то и жить насовсем в село приедешь, по-другому и нельзя! Наконец-то!

Чтобы не разреветься, я уткнулся в свою чашку с кислым молоком, стараясь деловито работать ложкой.

Такие они, родительские прививки.

Дружба

...Мне тогда казалось, и я думаю небезосновательно, что едва ли не основной задачей принимавших нас в Румынии партийных функционеров было напоить нас так, чтобы ничего как следует не могли увидеть. По крайней мере, трезвыми глазами. Наша партийно-хозяйственная делегация совершала, так сказать, ответный визит. И, наверное, поделом нам, ведь и сами мы, получив совершенно определенное задание в горкоме, не давали просыхать нашим гостям во время их приезда к нам. Встречали по-советски, в 1985 году. Надо сказать, встречали и нас пышно и красиво. Рестораны, застолья, фрукты, вышитые красиво скатерти, красивые одежды, лица — всего было так много, что эта избыточность изматывала сама по себе. Но была ещё цуйка — водка из сливы, она-то нас, бедных, и своими, как нам казалось, немереными градусами и боевым всепроникающим запахом добывала. Долг платежом красен, мы, очевидно, того заслуживали.

И как же мы, бедолаги, обрадовались, когда нам предложили посетить в окрестностях Георге-Георгиу-Деж питомник, где разводили форель. После очередного застолья нас погрузили в автобус, и мы поехали.

...Громкоголосая и песенная артель весело коротала дорогу. Потом нас высадили, и гид пояснил, что метров триста надо идти пешком. Мы пошли. Цуйка делала своё дело, большинство готово было продолжать петь и веселиться. Кто-то уже затянул «Катюшу», румыны пытались подпевать. Группочками мы нестройно, но все ж таки двигались в заданном направлении.

Мой коллега Виктор Иванович приотстал, и я его обнаружил вскоре в обществе рослого молодого румына. Они шли, обнявшись за плечи, и разговаривали, причем без переводчика. Очевидно, разговор начался не только что.

— Дружба, дружба, — восклицал румын, — это отлично!

Ему нравилось пытаться говорить по-русски.

— Конечно, дружба — это замечательно! — вторил Виктор Иванович.

Но румыну этого, видимо, казалось мало, он остановился. Показывая в сторону длинной полосы леса вдоль дороги, по которой мы шли, произнёс:

— Это все хорошо, потому дружба! Дружба!

Он говорил нараспев, повторяя слова, пытаясь донести какой-то очень важный смысл дружбы, конкретный и деятельный.

— Да, да, — повторял его русский собеседник, — конечно, все, что есть, это результат дружбы, без неё ничего не будет.

Они остановились и, покачиваясь, обнялись и расцеловались.

Но странное дело, румыну такого знака проявления дружбы между народами показалось все равно мало, и он снова начал своё:

— Дружба, это...

— Да, да, — вторил, готовый к новым поцелуям мой соотечественник.

Я захотел помочь друзьям-интернационалистам и позвал переводчика-румына.

— Что говорит наш румынский товарищ? — спросил я переводчика.

— Он говорит вашему товарищу, что русская бензопила «Дружба» очень хороший агрегат.

— Что? — изумился я.

— Он говорит, что они в этом году, их фирма, закупила целую партию таких бензопил.

Оторопевший и на миг протрезвевший Виктор Иванович удивился:

— А что же он рукой показывает на лес?

— Он говорит, — пояснил переводчик, — что с помощью этой вашей советской пилы они успешно ведут лесоразработки на всем этом... как это у вас... массиве.

— Ну, вы, друзья, даете! — искренне воскликнул русский товарищ. — Это ж надо: «на таком массиве»!

Оба румына, после небольшого диалога между ними, рассмеялись.

Помню

Мама, увидев на столе мою статью в заводской газете «Большая химия» под названием «Наперекор и вопреки», потянулась её прочитать.

Я вчера, в пятницу вечером, прямо с работы, захватив папку с заводской почтой, приехал в село на выходной. И теперь с утра не спеша просматриваю документы, сидя в светлой маминой горнице, залитой весенним апрельским солнцем. Приглушив голос динамика, стоявшего на подоконнике, она внимательно прочла статью. Свернув вдвое, положила многотиражку в общую кучу бумаг, то ли спросила, то ли подытожила:

— Так и воюешь?!

— Потихоньку, мам, слишком много всего, что мешает работать.

— Тебе, наверное, на веку твоём с рождения так положено, по колдобинам идти всю жизнь.

— Почему? — спрашиваю.

— Я ж тебе рассказывала: я уже беременная тобой была, а нас с твоим отцом не расписывали, он поляк-иностранец, что делать? Его забрали на фронт, а я с животом хожу никому не нужная. Ты родился — пошла я к Наде Чураевой, она в загсе работала, уговорила её помочь в метриках твоих записать тебя на фамилию отца. Подружка моя мне и пособила. Ни в какую

не хотело начальство этого делать, а она как-то ухитрилась потом, не сразу, тайком свершить. Наперекор и вопреки всем. Она ушла была. Отлет, а не девка. Станислав очень хотел, чтобы тебя Сашкой называли. И я была не против, первенький ведь Сашкой назывался, помер.

Эту историю о моём брате, который умер в полтора своих года, я уже слышал, но мне хочется слушать маму. Всякий раз я узнаю неожиданные подробности.

— Жалковала я, когда он умер, очень. Свет белый был не мил, а когда ты родился, радость была недолгая, год тебе было — ты у меня ослеп.

И эту историю я знаю, но раз мама вспоминает заново её, значит, ею что-то движет, носит недосказанное до сих пор на душе...

Она замолчала. Посмотрев на мою папку с бумагами, поговорила:

— Учился, учился, глаза портил, и теперь, куда дело годится? Одна писанина. Зачем тебе это надо? У тебя сколько плюсов-то?

— Четыре, мам, а что?

— Это ж очки в два раза сильнее, чем у меня, — начала она сокрушаться, — ну, как же так можно? Ещё и книжки эти пишешь, сидишь под лампой ночами. Беда бы не случилась опять.

Мне уже за пятьдесят, а маме все кажется, что Шурка её постоянно нуждается в её защите и поддержке. И ничего с этим не поделаешь.

— Вот я и говорю: зачем тебе это надо?

— Что, мам? — я задаю вопрос, хотя знаю, о чём речь. Она никак не привыкнет, что я, приезжая домой, вечерами допозд-на сижу на кухне с рукописями.

Что ей ответить? Я, признаюсь, ещё не нашёл ответ на этот с виду простенький вопрос: для чего пишу? К славе, известности не рвусь, это могу сказать спокойно. К оценке того, что делаю, очень равнодушен, признаюсь. Но так ведь оно, наверное, и должно быть. Я слишком уважаю то, чем я занят. Но — для чего? Это вопрос вопросов, хотя и вышли уже две тоненькие книжицы.

И у мамы моей отношение к моим книжкам ей, наверное, самой непонятное. Она меня поругивает, а сама в прошлый приезд попросила, чтобы я привез своих книжек ещё.

— Шура, люди ходят, просят дать почитать, а у меня всего две. Их они из рук в руки передают. Я устала говорить, что у меня нет. С дальних концов приходят.

...На прошлой неделе, приехав вот так же, я пошёл в свою школу.

Школа — то место, которое притягивает всегда. А дорожка моя к школе лежит мимо дома бывшего одноклассника. При-знаюсь, я не всегда рад бываю встрече с ним. Есть тому причина — он пьёт, да так, что трезвым его трудно уже увидеть. То, что мы вместе учились, росли, даёт ему, очевидно, на меня особые права, чему я и не могу сопротивляться. И чаще всего кончается тем, что он получает своё — за выпивкой мы начинаем разговоры про жизнь.

Я думал, что на этот раз я благополучно проскочил мимо его двора и, слава Богу, могу распоряжаться собой сам, а не — нет:

— Станиславыч, ты ли это?! Обожди, я выйду.

За редким штaketником выросла знакомая, в издавшей виды вылинявшей шапке, фигура. И вот он — нарисовался мой кореш.

— Понимаешь, Виктор, тороплюсь в школу, — начал я, — привет огромный, на обратном пути поговорим.

— Не-е, так нельзя, ускачешь. Ты быстрый, тебя поймай попробуй потом. Мне сейчас надо, — он сделал резкое ударение на «сейчас».

Я остановился, бутылки у него с собой, кажется, не было. «Может, на этот раз повезет, — подумал я, — останемся трезвыми».

Тем временем он подошёл вплотную и как-то необычно ответственным голосом сказал:

— Дай руку, дружище!

Он взял мою руку сначала своими обеими, затем переложил мою ладонь в правую свою и неожиданно довольно крепко пожал.

— Спасибо! — Помолчал и снова: — Спасибо!

Мы встретились глазами. Он был трезв. Я не понимал, что с ним, и о чем он.

— Вот за это! — он вынул из кармана пиджака мою первую книжку «Степной чай», — все нас забыли, деревню забыли, всех и всё забыли, а ты — помнишь, помнишь!.. Да как помнишь — сердцем. Не глазами и умом, а — сердцем!

Во мне что-то перевернулось. Я был ошеломлен. Я никогда не мог и думать, что услышу такое от него.

— Когда к Любе, ну, в магазин, пришли твои книжки, мы ахнули, не ожидали от тебя. Не знали, что книжки пишешь.

Он снял свою затрапезную заячью шапку и вертел её в руках.

— Помнишь, всех нас сразу. Всех! — Он посмотрел на меня пристально и сказал обжигающие слова: — Ну, иди, иди! Не буду держать. У тебя теперь своя дорога, особая.

И он, не глядя ступив своими кирзовыми сапогами в апрельский грязный снег, сошёл на обочину. Повернулся и ещё раз посмотрел на меня там, у своей калитки, неопределённо улыбувшись.

...Не тороплюсь я отвечать, для чего пишу. Может, на это ответят за меня мои тоненькие книжки.

А случай с моим одноклассником, разговор тот меж сухих застарелых карагачей и ветел, увешанных, как большими фонарями, грачиными гнездами, нескончаемый шум крепких крыльев и весенний бодрый грай, помню.

Это во мне навсегда.

Про лошадиную биографию и «ножки Буша»

Сидим в просторной светлой горнице моего друга и земляка Анатолия Плаксина и он не спеша рассказывает о своём житье. Оно у него интересное, житье сельского учителя истории.

Последние два года в течение двух-трех недель у него гостят археологи из Самарского пединститута и с ними американцы Сандра Уолсон и Дэвид Энтони из штата Пенсильвания. Очень хочется американцам поближе узнать историю нашей страны, завидуют они российским археологам, в распоряжении которых богатейшие памятники древности. После первой поездки они опубликовали большую работу в нескольких изданиях, особый интерес для них представляет группа курганов шестого утевского могильника. Дэвид Энтони готовит доклад, который предстоит сделать ему на Вашингтонском Конгрессе антропологической академии. В нем будет и сообщение об открытиях самарских ученых в Утёвке, свидетелем которых стал этот научный сотрудник нового американского универ-

ситета, занимающегося, немного-немало, историей развития коневодства.

Откуда у американцев возник интерес к лошади в наш насквозь механизированный и автомобилизированный (если так можно сказать) век, допытывался мой дотошный земляк в разговоре с Дэвидом.

— О, это не составляет никакой тайны и вполне объяснимо. Американский континент отнюдь не является родиной лошади. К нам её впервые завезли в XVI веке первооткрыватели — испанцы. До этого лошадей в Америке не водилось вовсе. Вы можете спросить: а как же дикие мустанги? Ответ на этот вопрос уже найден и вполне однозначный: мустанги — одичавшие домашние лошади первопоселенцев. Оставленные своими хозяевами, они долго не признавали над собой власти людей.

Истинная родина лошади, по нашим предположениям, — это степные пространства Европы и Азии. Понятно, что немалый интерес в этом вопросе представляет для нас степной регион Поволжья. Что и привело меня сюда.

Кроме чисто археологических аспектов исследуемой проблемы, есть и другие. В частности, последние открытия археологов, антропологов, биологов, географов и других ученых заставляют немного по-иному взглянуть на развитие человеческой цивилизации. Приручение лошади в третьем тысячелетии до нашей эры сыграло не менее революционную роль, чем в своё время огонь и железо, пар и другие научные открытия. Лошадь была основным транспортным средством до конца XIX столетия.

Давайте вспомним роль лошади в военном деле. Боевые конницы, конница, связь — вот далеко не все, что умела и делала лошадь. И древние люди с благодарностью платили ей за это. Прекрасным подтверждением служат открытия, сделанные в Утевских курганах. Здесь мы воочию убедились, что вместе с умершим человеком в могилу клали лошадиные черепа, конечности. Нередко рядом с могилой воина можно найти и останки его лошади. Не исключено, что именно в ваших степях появились первые боевые конницы, а не в древнем Египте, как это принято сейчас считать. Уже есть первые доказательства, что туда лошадь, как и в Америку, попала несколько позже, чем она была распространена в ваших краях.

А то, что в могильнике на реке Сок найдена боевая колесница, разве это не подтверждение сказанному?!

— Такие находки попадают не только на Соке, фрагменты боевой колесницы были найдены и у нас, в шестом Утёвском могильнике, — дополняет рассказанное Дэвидом Энтони Анатолій Васильевич. — Предстоит определить родину этих находок. Это, пожалуй, наиболее сложная задача. Сейчас ученые в основном заняты регистрацией всех без исключения древних памятников археологии, связанных с лошастью. Необходимо найти все географические точки, где и когда впервые была лошадь оседлана. Сопоставив все известные ученому миру факты, резонно сделать некоторые выводы.

Пока, с определённой степенью риска, можно робко предположить, что именно в Волго-Уральском регионе и прилегающих к нему территориях найдены самые древние свидетельства дружбы человека с лошастью. Но окончательное решение этой проблемы видится в будущем и во многом зависит от результата археологических раскопок.

Эта проблема уже обсуждалась на международной конференции в Петропавловске, в работе которого активно участвовали ученые из Америки, Казахстана и России (Самары).

Мой земляк-историк неутомим в своём интересе к родным утёвским местам:

— Меня поражает живой интерес американцев, как к коневодству, так и древнейшей истории нашего края. Нашим бы властям такое. Американцы с огромным вниманием отнеслись к открытому недавно древнейшему поселению славян, когда было в очередной раз зарегистрировано таковое в районе реки Съезжей. Здесь удалось найти не могильник, а целое поселение древних славян со следами жилищ, надворных построек и крепостного вала. Подобных архитектурных построек в Поволжье пока не обнаружено. Но не прониклись всей значимостью открытия местные руководители. В прошлом году, при прокладке трубопровода, была разрушена часть кургана эпохи бронзы. Неужели нам наплевать на своё прошлое?!

Возникла пауза, и я вслух удивился:

— Трудно представить, но факт — ещё 4-5 тысяч лет назад в этих местах жили люди. Куда же они потом подевались?

— Возможно, и в те времена были свои варвары. Одно на-

верняка известно, что перед монгольским нашествием в этих степях почти никого не было. В чем причина, трудно сказать, но предположения есть. Военственные племена кочевников савроматов, сарматов, скифов и другие более сильные народы вытеснили или ассимилировали местное население. Но следы их, живших в эпоху бронзы, находят на Южном Урале (Синташтинский и Новокумаканский могильники), в Иране, на Алтае и других самых неожиданных местах. Народы не исчезают бесследно, они обязательно оставляют свою культуру, язык, трудовые навыки. Смешиваясь с другими племенами, они образуют качественно новую культурно-историческую общность на более высоком уровне развития. Возможно, так и случилось с нашими древними «земляками», в том числе и с теми, кто жил на земле нынешней Утёвки.

Слушая Анатолия, я поймал себя на забавной мысли, что завидую своему старинному другу Карему — незабвенному рослому мерину из моего детства. Такое внимание к его собратьям. Вот бы к нашим биографиям такой интерес, к нашим родословным. Да, где уж нам... Нам некогда, у нас... потрясения, сами обрекаем себя на растрату своих жизней вначале на разрушения, затем на созидание, и каждый раз с энтузиазмом, только нам, россиянам, присущим.

— Курьез у меня получился с «ножками Буша», — жалуется, невесело усмехаясь, Анатолий Васильевич.

— Американцы с собой привезли?

— Нет, я их закупил в утевском магазине. Понимаешь, они никак не могли поверить, что ученики моего класса так хорошо рисуют. Я им показал несколько стеновых газет с этими самыми рисунками. Им захотелось посмотреть на ребят, пообщаться с ними...

— Странные у тебя какие-то американцы, больно любопытные. Я трижды бывал в Соединенных Штатах и был поражен их равнодушием к искусству. Перед первой поездкой добросовестно перечитал многих заокеанских писателей, полагая, что моё знание будет встречено одобрительно. Но, где бы я ни пытался заговорить о писателях, литературе, художниках — в ресторане, дома — нас несколько раз приглашали в гости, — везде наткнулся на полное равнодушие. Им это неинтересно.

— Да, да, может быть, — соглашался Анатолий Васильевич, — но мои-то американцы не банкиры и не бизнесмены, они ученые, им все интересно, они поэтому и приехали, что хотят больше знать о русских.

— Что-то не очень верится, — засомневался я вслух, чувствуя, что говорю больше для того, чтобы растормошить моего собеседника.

— Ты, понимаешь, они были потрясены спокойствием наших людей. Мы, утешцы, по крайней мере, для них такие милые, приветливые. Даже с незнакомыми здороваемся. В городах все куда-то спешат, а наши, сельские, у полисадничков сидят, отдыхают, общаются. По уровню жизни, цивилизации — невероятная отсталость, но зато какое радушие и гостеприимство. Русские берут своей душевностью. Может, в этом и есть русский секрет?

В магазинах ничего нет, а в каждой семье нормально питаются. В этом, наверное, тоже одна из русских тайн. Для них.

В последний приезд Дэвид жаловался, что американцы начали много пить и пьянство переместилось на кухни. Но, не дай бог на работе узнают, что ты засиживаешься по вечерам с бутылкой, могут быть большие неприятности.

— А «ножки Буша» причем всё-таки? — спрашиваю я.

— А? — спохватился рассказчик, — заговорился я, сейчас. Значит, надо было пригласить ребят, но ведь и их, и американцев надо чем-то угостить, так ведь? Ну, я сообразил: надо прикупить в магазине эти самые «ножки». Так и сделал. Всем все понравилось, ребята мои молодцы: и говорили о многом толково, и рисовали, и спели под конец. Когда же на столе оказалось моё угощение, Сандра спросила, что, мол, это за блюдо. Я и говорю, совершенно не задумываясь: «ножки Буша» с молодой картошкой в мундире». У американцев вытянулись лица, оказывается, они никогда вообще ничего не слышали о ввозе в Россию этих самых куриных окорочков. И о том, как мы их у себя назвали.

— Зачем это вы делаете? — все допытывался Дэвид, тряся очками в тонкой оправе, съехавшими на его крупный, нездешний нос. — Зачем завозить?

— Как зачем? — удивился я. — Мы уже с середины девяностых годов ежегодно потребляем до восьмидесяти тысяч тонн

«ножек Буша». Это 7-8 процентов производимых в Соединённых Штатах куриных окорочков.

— Зачем это, кому надо? — ломая язык, недоумевал иностранец. — Это же неправильно для вас.

Оказывается, большинство американцев об этом и не знают. Зачем им знать? Они живут в достатке, думают о другом.

— Ну, нам это, — пытаюсь доказать недоказуемое, отвечаю я, — надо хотя бы потому, что, к примеру, зерновых в России в девяносто восьмом году собрали лишь около пятидесяти миллионов тонн. Это самый низкий показатель за последние полвека, хотя в прошлом году зерна было почти девяносто миллионов тонн. Чем кормить-то? Дефицит мяса, — продолжаю я вразумлять непонятливого американца, — оценивается у нас в России институтом конъюнктуры аграрного рынка в шестьсот тысяч тонн.

— Но ведь это форма косвенного субсидирования наших фермеров, и как же ваши производители?

— «Замораживание» импорта ещё больше опустошит мясные прилавки, — уныло долдоню я в ответ. По газетам знаю: в особых, сложных условиях оказались отдаленные районы — Крайний Север, многие районы Сибири. Намечено, как известно, закупить до 3—4 миллионов тонн продуктов, в том числе, не менее полутора миллионов тонн зерна.

— Идите ко мне, — продолжает с гримасой на лице ломать наш язык Дэвид и тащит во двор.

На крылечке он остановился, обернулся на меня, затем обвёл взглядом, чудно поведя головой слева направо и наоборот, шаря взглядом по просторному двору, увидел одну из моих куриц-хохлаток и радостно вопросительно воскликнул:

— Что это?!

— Моя курица, Дэвид.

— Курица? — переспросил он. — А это? — Он развел руками перед собой, устремив взгляд в открывающийся за селом простор, будто выпустил на моём крыльце из рук стаю голубей. — А это что есть?

— Это наш Ильмень, поле. Луг.

— Ага, вот. Ты должен понять мой вопрос! Это не поле — это должно быть — зерно, а это, — он ткнул пальцем в хохлатку, — «ножки Буша». Почему их мало в России, когда можно мно-

го? Почему так нельзя? Почему нельзя работать, чтобы много было?

— Почему, почему?.. — угрюмо и туповато соображал я, как ответить. — А потому, что это не Америка, — наконец сказал я, не глядя ему в глаза.

Он покачал головой, как учитель в ответ непутёвому ученику, и мне стало совсем не по себе.

— А ты бы, что ответил этому далекому от политики и от реальной жизни ученому, а? — спросил меня учитель истории.

Я не был готов ответить на такой вопрос. Хотя он во мне постоянно. И странное дело: я вроде бы (и я ли один) давно породнился с ним. Есть и есть вопрос, а то, что на него нет ответа, это как бы другое, нечто необязательное. И так вроде легче. Наверное, потому, что уж больно тяжёл предполагаемый ответ. Пока тяжёл или навсегда? На роду написано — и точка?

Соавтор

Мой творческий вечер в Нефтегорске. Ведет его Геннадий Матюхин — артист самарской филармонии. Мы уже несколько раз бывали в моём родном селе Утёвка. Он познакомился со многими моими друзьями-земляками и самостоятельно приезжал, давал в школе концерты. Читал Василия Шукшина, кое-что моё.

В прошлый приезд в Утёвку мы оказались свидетелями того, как мой племянник Сережа Никитин у нас во дворе обрбатывал свиную тушку, ловко орудуя паяльной лампой. Запах паленого, запачканный кровью мартовский снег ударяли в лицо свежо и остро. Мне показалось, что мой спутник, артист, просто убежит со двора. Не будет смотреть на все это. Ведь прочитав мой рассказ о том, как резали поросёнка, один из знакомых — тоже артист — говорил мне: «Ах, зачем это вам? Зачем этот натурализм? В жизни и так много всякого такого...» Я же не понимал, почему это «всякое такое» надо прятать, когда оно частичка нашей жизни.

С Матюхиным по-другому. Он — сельский. Нормальный мужик. Вовсе не эстетствующий, живущий реальной жизнью.

Геннадий Матюхин — человек в Самаре известный. И не только как артист. По его инициативе два года назад был организован Литературный центр Василия Шукшина, который за небольшой срок объединил журналистов, писателей, актеров, просто людей, любящих этого замечательного русского писателя. Геннадий Матюхин за последние годы подготовил несколько литературных концертов и выступил с ними, начиная с областного центра и кончая самой дальней «глубинкой», где они стали даже частью учебных программ.

Это он, Геннадий Матюхин, широко обнарудовал тот факт, что предки писателя Василия Шукшина до переселения на Алтай жили в нашей Самарской губернии. Есть у Матюхина композиция, которая так и называется: «Самарские корни Шукшина».

...Вот выдержки из книги Василия Гришаева «Шукшин и Сростки. Пикет», которую мне подарил Матюхин после поездок в село Сростки. В главе «Откуда родом Шукшины» читаю:

«...Найти в сросткинских анкетах дедушек и бабушек Шукшина не представляет, согласитесь, никакой трудности. Читаем в одной из них: Шукшин Павел Павлович, 60 лет, переселенец из Самарской губернии, год переселения — 1867, у него жена Мавра, сноха Анна, дочери: Лукерья — 26 лет, Авдотья — 19 лет, сын — Леонтий — 35 лет, внуки: Петр — 6 лет и Макар — 4 года (в 1921 году родился третий, Андрей). Макар Леонтьевич Шукшин — это отец Василия Макаровича. А Павел Павлович, выходит, прадед по отцу. В год переселения ему было, как нетрудно подсчитать, 10 лет; стало быть, приехал он в Сростки вместе с родителями, но сведений о них найти не удалось...»

...Читаем другую анкету, из которой узнаем, что Сергей Федорович Попов, 40 лет, тоже переселенец из Самарской губернии, но прибыл оттуда тридцатью годами позже, в 1897 году. У него семь детей (потом стало двенадцать), пятая по старшинству — дочь Мария, восьми лет.

Мария Сергеевна Попова — мать Шукшина, а её отец — дед Василия Макаровича, как видим, тоже из самарских переселенцев...»

Духовная жажда и духовное родство не позволяют человеку забывать свои корни. Заставляют его находить то, что рождает и позволяет накапливать лучшее в нём. Иначе, кто мы без этого?

Так думаю и пишу я. Матюхин об этом не говорит. Он делает своё дело. Делает то, без чего не может. Он несколько раз побывал у нас на заводе с группой артистов. Его чтение в наших цехах рассказов Шукшина всегда проходит с огромным интересом.

...Понял он, из какого прорыва приходится мне выталкивать завод. Работает всего пятая часть производства, десятки цехов стоят. От семитысячного коллектива осталось всего две с половиной.

Но опору под ногами мы уже нащупали. Ещё нет года, как я пришел на этот завод, впереди дел невпроворот, но главное уже есть — появилась вера в завтрашний день. Немало. И артист Геннадий Матюхин помогает в этом.

...В Нефтегорск нас пригласил глава района Анисимов Александр Александрович.

Сценарий накануне мы с Геннадием Матюхиным обсудили заранее, все идёт своим чередом. И вдруг, совсем неожиданно, он читает маленький рассказик-миниатюру, один из тех, которые я когда-то записывал в том виде, в каком они рождались на устах моих подрастающих детей. Был у меня небольшой такой цикл.

Вот он, этот рассказик, под названием «Подъемный кран».

Вечер. Пора ложиться спать. Пятилетний сынишка не отпускает.

— Папа, ну прочти ещё одно стихотворение.

— Нет, Слава. Мне надо сегодня раньше лечь спать, завтра утром на работу. Надо быть в форме.

— В какой, пап, форме, что ли милиционерской?

— Нет, просто крепко себя чувствовать, бодро — значит, быть в форме.

— Бодро?! Это, чтобы было много силы, да?

— Да.

— И чтобы можно было много всего поднять на работе?

— Ну да, и поднять!

— Э-э-э, папочка, ты опять меня обманываешь. Говорил, что инженером работаешь, а сам — подъёмным краном.

Матюхин рассказ «осовременил», ведь он был записан около двадцати лет назад, когда я работал ещё начальником цеха до перестройки. До массового банкротства предприятий было ещё добрый десяток лет.

Он поменял в рассказе, кажется, совсем немного. Моего сынишку Славу — на внука моего, Сашу. Слово «папочка» — на «дедуля», «цех» — на «завод». И все: четверти века как не бывало. Фраза «говорил, что инженером на заводе работаешь, а сам — подъёмным краном» зазвучала ещё пронзительней и актуальней. Я ведь действительно недавно перешёл на завод, который был банкротом и медленно, но верно тонул. И моя задача была спасти его, вытащить из тины, будто краном.

Сынишка Слава пытал меня своим вопросом, когда я восстанавливал свой цех после взрыва. Но ведь и внук, получается, задавал вопрос неспроста: завод, словно после войны, захлестнувшей перестроечной волной огромное производство. И сколько теперь таких заводов!

Я поразился услышанному, осознав вдруг особо остро ту пропасть, в которой мы все оказались...

...А что зрители в зале? Они хлопали в ладоши.

В осокорях

...И в самые трудные моменты своей жизни, я уверен, человек черпает свои силы в родниках своей памяти.

Светлый взгляд из-под руки матери, добрая и усталая улыбка отца. Множество ниточек доброты, связывающих меня со всем, что окружало — вот что не дает озлобиться, не дает разуввериться.

Сколько доброго было в детстве, вспомни! Доброта не уходит бесследно, она обязательно превратится во что-то светлое и непреходящее, отразится хотя бы в детях твоих, а там уж как Бог даст.

...Ручеек от родничка дорожку все равно найдёт, сколько его ни затаптывай. Громадную толщу пробьёт и выйдет наружу, чтобы отразить в лучах своих и свет утреннего солнца, и волшебный лик растущей луны. И ты, начинающий новое своё дело, будешь верить: вещими станут и сны твои, и дела. Верь тому и знай: так думали или так чувствовали многие до тебя, но одним не дано было умение сказать об этом так, чтобы слышали, другим это было так понятно, как запах снега,

что они не догадывались об этом говорить вслух, третьи стеснялись своей веры в доброту, четвертые...

...Четвертые так и остались в моей памяти мятущимися между добром и злом. Не суди их.

Человек бывает слаб, а жизнь расставляет такие хитроумные силки, не каждому по силам вовремя разобраться...

Найди свой родник, испей сам светлой водицы и помоги это сделать другому.

И воздаст тебе за все. И светлее будет в душе твоей, и мир вокруг не одному тебе покажется светлее. Пускай хотя бы покажется, и это благо, — так думал я и по-другому не мог.

...Будь я в другом месте, может, эти слова во мне не родились бы. Но я лежал в тени неохватной толщины ветлы, той самой, которая часто укрывала нас с отцом в сенокос от палящего солнца.

И сейчас я лежу в тени её на свежескошенном разнотравье, и лицо моё, обращённое в открытое небо, не спит солнце, настолько плотная тень идёт от широко раскинувшей свои мощные ветви ветлы. Тени, которую дает это дерево, хватило бы с лихвой на всех, с кем я когда-то работал здесь, в этой лощине. Недалеко от неё за тальником угадывается милая сердцу старица, светлая и теплая водица которой проблёскивает меж листвы. Роднички старицы поили нас своей водой в сенокос. Хватило бы на всех. Но никого уж нет в живых...

Странно, я ещё не старый человек, но столько из нашего сельского быта примет, привычек ушло за последние тридцать-сорок лет, что чувствуешь иногда себя чудом сохранившимся динозавром. Это в пятьдесят-то шесть лет!..

В моей жизни кем я только не был: плёл корзины на колхозном общем дворе, трудился в артелях на сенокосе, на заготовке дров, работал на заводах, из них семнадцать лет директором, преподавал в институте, занимался серьёзно два десятка лет наукой, даже был депутатом разных уровней...

А вот вспомнилось сейчас и сердце забилося чаще... Как же забыл? Ведь я ещё пахал земельку нашу. Тут вот недалеко, около Лопушного озера, в осокорях...

Я поднялся и пошёл туда.

То место, где я в свои четырнадцать лет ходил когда-то за плугом, кажется, нашёл точно. Раньше тут были огороды, и

земля была легче и светлее той, что в селе около дома. Речка Утёвочка подтапливала низинку, и оттого-то почва становилась клёклой и тяжёлой. Вешняя вода делала своё гиблое дело — вишня и яблоки вымирали на глазах. Год от года дед с отцом пытались возобновлять сад, но не тут-то было. Все потихонечку превращалось в сушняк. Крепко держалась лишь одна старая ранетка...

...Место-то я нашел, но оно стало другим. Ровными рядами стояли здесь стройные сосенки, по три-четыре метра высотой. В стороне это местечко. Не с руки сюда сворачивать с большака, идущего к мосту через Самарку — вот и не был давно здесь. Ходил, радовался нездешнему сосновому духу, зачем-то насобиравший полный карман крепких, как речная галька, шишек. А самому все вспоминалось, как улыбался мой дед, когда, обернувшись, смотрел на меня, идущего в борозде за плугом, в потной сиреневой майке. Моменты, когда мы менялись местами — он вел за повод мерина Карего, а я брался за плуг — были редки. И он делал это в то лето как бы полушутя, но я-то видел, он меня потихонечку испытывает. Я проходил его проверку. И меня это не обижало, а наоборот — обязывало соответствовать чему-то такому, что знал тогда, наверное, один мой улыбчивый дед Иван.

Разные были экзамены в детстве. Зимой того же года дядька Сергей меня испытывал в районной чайной. Она была на нашей улице, недалеко от деревянного клуба, который назывался РДК — районный дом культуры.

В этой чайной часто было шумно. У коновязи фыркали лошади, бодро скрипели сани на снегу. В воскресный базарный день кто не заглянет туда, где можно выпить и поговорить. Начиная со ступенек подъезда до стойки у буфета, везде гомонил народ. Многие были из соседних сел. Утевский базар был районный.

Вот в такой зимний морозный денечек и вошел я в чайную. Меня всегда манила сюда многолюдность. Здесь было, как в хорошем кино, и забавно, и интересно.

— А ну, Шура, иди сюда!

Повинуясь призывному голосу и жесту моего разудалого дядьки, я подошёл к столу. Пять крепких ребят пили портейн. Дядька ловко всеми пятью пальцами левой руки взял

граненый стакан за доньшко и налил из початой бутылки половину.

— На, выпей за наше здоровье!

— Сережа, но ведь я никогда ещё... — начал я.

— Вот потому мы и решили: тебе пора!

Я посмотрел на сидящих за столом. Они, клоунски улыбаясь, закивали:

— Мы решили: тебе пора...

Своё смятение от непонимания до конца всей подоплеки происходящего я сумел внешне скрыть. Я не мог подводить своих. Зажмурился и выпил без остановки. Сидевший справа, розовощекий парень в кубанке, едва успел я поставить стакан, протянул мне ватрушку и одобрительно, как лошадь в жаркую погоду, монотонно замотал головой. Другой, напротив, взяв бутылку, начал разливать по кругу.

— За племяша, за племяша обязательно надо...

— Дуй теперь домой, — командирским тоном, сверкнув глазами, сказал дядька Сережа. — Молодец!

Странно. Я тогда не почувствовал опьянения, а когда вышел на улицу, свежий морозный воздух помог мне. Придя домой, я шмыгнул в постель, и никто из домашних даже не узнал о моём экзамене. Но он был. И я его выдержал.

...В тот раз после пахоты в осокорях и обедали, и отдыхали на зеленой изумрудной травке в тени разросшейся крушины. Дед заставил меня снять мокрую майку. Я сменил её на его жестковатую темную куртку. Майку я повесил на солнышко рядышком с телегой.

...Мы уже проехали полпути, возвращаясь домой, когда я вдруг вспомнил про майку, она так и осталась на ветке.

— Беги, — сказал дед деловито, — я подожду.

Когда я вышел на полянку, майка была на месте. Но она не висела на ветке. Очевидно, ветром её сорвало, и теперь она лежала на зеленой траве, расстелившись, словно обняв зеленое или прикрывая его своим сиреневым телом. Я остолбенел. В этом сочетании цветов, а может, света, было что-то необычное, щемящее, понятное, как запах мокрого песка на речке, и необычное. Я не сразу решился поднять майку с земли, нарушить это единение цвета или чего-то более существенного и магического.

Я не знаю почему, но я часто в жизни своей вспоминал то

ощущение бодрости, свежести, добра, уверенности в себе и в окружающем мире, которое исходило тогда от сиреневой майки на зеленой траве. Потом, уже во взрослой жизни, когда вставал многократно этот эпизод перед глазами, я так и называл его: сиреневое на зеленом. И относился к этому бережно. Воспоминания о сиреневом на зеленом приходили ко мне и во сне. Сиреневое на зеленом стало для меня как бы символом моего детства.

Мне иногда кажется, что не будь того случая в осокорях, не увидел бы я сиреневое на зелёном — был бы другим. И жизнь моя сложилась бы по-другому. Ведь ни умение пахать, ни первые полстакана портвейна так сильно не врезались в память, чтобы переживались несколько раз заново. А вот это дивное сочетание двух цветов до сих пор заставляет удивляться.

Чем это объяснить?

Человек из прошлого

Об этом человеке я вскользь упомянул в своей повести «Черный ящик». Рассказал, как однажды в детстве нас с матушкой на полевой дороге он застал собирающими в дорожной пыли зерна пшеницы и запретил нам это делать. Хотя зёрна и высыпались из грузовиков, сновавших при уборке урожая от комбайнов на склады заготзерна и вдавливались в пыль, все равно были государственными. Их нельзя было брать. А нам тогда порой нечего было есть.

Он спокойно, но властно распорядился и уехал на легкой бричке с красивой городской женщиной. Он тоже, как тогда нам показалось, был очень красив. И он — большеголовый, властный, и она — с тонким нездешним лицом и изящной фигуркой, были словно из кинофильма «Кубанские казаки», так похожего на радостную сказку. Все было красиво, но мама моя, отложив в сторону большое решето, через которое мы просеивали набранные кучки дорожной пыли попеременно с зернами, молча плакала, присев тут же на обочине. Она тогда не сказала ни слова. Не знала нужных слов или не хотела говорить...

— А знаешь ли ты продолжение той своей истории с секретарем райкома? — спросил меня при встрече Михаил Семенов

вич Мещереков, утесский врач, лечивший ещё моих дорогих мне и родных стариков.

Я ответил, что нет, никакого продолжения не знаю. Для меня это был эпизод из моего детства, яркая картинка, вспыхнувшая в памяти безо всякой связи с какими-либо последующими событиями.

— Нет, голова, он ведь в тот год чуть было не поплатился за одну промашку на посевной, хотя и не свою.

Я, когда прочитал твою повесть, вспомнил: в тот год запарка была с посевом озимых. Приезжал, помню, уполномоченный из области, подгоняли... Ну и перестарались: в спешке зерно мелко в почву заделали, отрапортовали, а когда дожди пошли, оно все повылазило наружу. Вредительство — не вредительство, а как хочешь, так и думай. По тем временам — под суд за такое дело, самая простая вещь.

Приехал с поля первый секретарь сам не свой: вот-вот опять с области проверяющие нагрянут, да и свои органы под боком — пропала его голова. Что делать?

Выручил Минька Шухов, пастух овечий.

«Дайте, — говорит, — в придачу к моему стаду ещё столько же колхозных овец, я все поправлю».

Быстро все исполнили, как Минька говорил, и он несколько раз прогнал стадо овец по этому проклятому полю. Как-никак, но ушло зерно в землю. И наш первый секретарь был спасен.

Странно было слышать рассказ о том, что красивого крепкого, властного начальника, прогнавшего нас тогда с мамой с дороги, охранявшего права государства на зерно в пыли, самого чуть было не опрокинуло в пыль.

Дальнейший разговор с Михаилом Семеновичем меня ещё более удивил:

— А знаешь, тот первый секретарь живет теперь у тебя в Самаре, в соседях.

Я опешил:

— Не может быть. Это же более сорока лет назад...

— Ну и что? Ему за восемьдесят? Года два назад, я знаю, точно он был жив....

Приехав в Самару, я зашёл к соседке по лестничной площадке и навел справки. Соседка моя — бывший партийный

чиновник, долго работала в обкомовских структурах. Ей семьдесят пять, но она активна и отзывчива.

— Как же, как же! В соседнем доме, на четвёртом этаже, первый подъезд... Мы можем к нему сходить в гости, я позволю сейчас...

Я поторопился отказаться от встречи. Я был не готов к такому стремительному уплотнению времени. Для меня все это было слишком в прошлом, очень далеко. Это была для меня как бы совершенно другая эпоха. И встреча с одним из представителей её как внезапная встреча с мамонтом или динозавром. Так мне показалось.

...Но однажды я его неожиданно встретил в магазине и узнал. Я не мог ошибиться.

Он оказался ниже меня ростом, с оттопыренными стариковскими заросшими белым пухом ушами, с большими карими глазами, спокойными и выразительными. Пожалуй, только эти глаза и выдавали в нем, или сохраняли, того ладного седока, так похожего на красивого председателя колхоза из кинофильма «Кубанские казаки».

Он взял двести грамм самой дешевой колбасы и полбуханки хлеба и пошёл к выходу. Споткнувшись о порог, старик выронил из рук полиэтиленовый сероватый, видимо, стиранный пакет.

Половинка буханки черного хлеба запрыгала по грязному полу. Я поспешил помочь, подхватил хлеб и машинально протянул его хозяину.

— Оставьте собакам, неужто он с пола есть будет? — настойчиво сказала продавщица.

Спохватившись, я положил хлеб на подоконник.

— Вот ведь, больше денег с собой нет, а идти заново с моими ногами проблема, — проговорил старик. — Досадно.

— Да, да. Сейчас, — мне стало неудобно за свои невразумительные движения, я быстро купил буханку хлеба.

Когда протягивал ему, глаза наши встретились. Мне показалось, что в них мелькнула какая-то догадка. Неужели он мог меня вспомнить? Я молчал.

— Знаете, когда придёте следующий раз за хлебом, заберите деньги у продавца, я оставлю свой должок ей. Спасибо вам, — сказал он суровато, с достоинством, и вышел из магазина.

На этот раз благополучно. А я стоял под недоуменным взглядом продавщицы у подоконника и смотрел из окна на старика.

Он уходил медленной семенящей походкой. Помнил ли он тот случай на пыльной полевой дороге?

Больше я его не видел...

Встреча в клубе

Перебирая свой архив, я наткнулся на чистые бланки телеграмм. Лишь на минуту задумался, но потом все вспомнилось...

Перевернул бланки тыльной стороной. Там были напечатаны эпиграммы в мой адрес, написанные известным самарским писателем, обожаемым мной Табачниковым Семёном Михайловичем. Дело было на презентации моих книг в Утёвке.

...Я, конечно же, тогда очень волновался. Вышла уже третья моя книжка. И как-то само собой решилось в областной писательской организации, что надо в моём селе Утёвке организовать вечер поэзии!

Поехали Евгений Лазарев, Иван Никульшин, Семён Табачников, Николай Переяслов, Евгений Семичев, Александр Громов и другие.

Утевский клуб был заполнен моими односельчанами.

Многие, включая главу администрации Нефтегорского района Александра Анисимова и его заместителя Сергея Афанасьева — утёвца, прикатили из города Нефтегорска. Школьные учителя, одноклассники, знакомые и приятели заполнили зрительный зал. Мама моя отказалась быть на сцене и нашла себе местечко в зале с моими сестрами и родными. Я, привыкший не робеть перед любой аудиторией, боялся, что не смогу сказать ни одного слова — ком в горле и слезы на глазах были тому причиной.

Но, к счастью, мне говорить и читать пришлось не сразу. Я как-то успел немного успокоиться, и все обошлось.

Едва я вышел на сцену, новой, более мощной волной, нахлынули воспоминания. Клуб был местом, где около двух десятков лет работали мои родители. Мама — уборщицей, отец — сторожем. Когда отец прихварывал, мне приходилось вместо него

сторожить ночью сельский очаг культуры. Целая ночь впереди. Один на один с собой. Я писал стихи. И уже тогда хотел быть писателем, мечтал писать книги, но я никому об этом не говорил. Стихов своих никогда никому не читал, пока не набралось на первую книжку. Такие я себе поставил условия.

Меня поднимала как на крыльях радость: все в селе спят и не ведают, что я сейчас один-одинешенек пишу стихи. Я — поэт. И пишу о своём родном селе!

В нашей школе много известных выпускников: один дипломат, есть художник, доктора наук, но не было своего писателя... «И не знают, что он будет, а я знаю, один знаю. И это время придёт! Из своей книжки я прочитаю стихи на нашей клубной сцене! Когда-нибудь, но прочитаю!»

Один раз я обмолвился нечаянно о своём тайном желании в школьном сочинении на тему: «Моя любимая песня». Я писал о песне «Я люблю тебя, жизнь» на слова Константина Ваншенкина. Писал так, как чувствовал, о Георге Отсе, о Трошине и закончил сочинение фразой о том, что уверен, придет время и я спою свою песню о жизни и надеюсь, её подхватят многие люди. Я как бы обнародовал свою программу в этом школьном сочинении.

Я тогда не сразу решился сдать свои листочки Леониду Григорьевичу Лобачёву, учителю русского языка и литературы, боясь, что он поймет прямой смысл написанного. Но он, очевидно, принял все за некую аллегория и последствий моей обмолвки не было. А может, для него увидеть во мне будущего писателя было тогда фантастикой.

Надо сказать, вел я себя в последних классах своеобразно. Где-то в конце шестого класса дал себе слово не поднимать руки ни при каких обстоятельствах. Предмет учить — но руки не тянуть. Так дисциплинировал себя: мне казалось, что делаю это на пользу. Об этом я упомянул в повести «Планета любви». И выдержал слово, данное самому себе: два года отвечал только тогда, когда спрашивали. Это не помешало учебе: выпускные экзамены сдал на пятерки, кроме английского языка, получив по нему «хорошо».

Нечто подобное проделал и в первые годы после окончания института: у меня уже были рукописи двух моих первых книг, но я не торопился поднимать руку — хранил их, не показывая

даже домашним, до срока, который определил себе сам — до того, когда окончательно пойму, что не писать не могу...

Милые стихотворные шалости Семена Михайловича Табачникова в клубе, где я писал когда-то по ночам стихи и спал всё-таки иногда на провалившемся диване, который заведующая клубом шутливо объявила теперь, что передаст его в школьный музей, эпиграммами не закончились.

Он прочел большое шутливое стихотворение об Утёвке.

Я после просил у него текст стихотворения, но он затерял листочек, а по памяти воспроизвести не мог.

...И вот однажды на той же клубной сцене в Утёвке, а потом и в Самаре, в Доме актера, я услышал это стихотворение. Его от начала до конца без запинки прочитал Сергей Николаевич Афанасьев — мой замечательный земляк, ставший к тому времени уже главой администрации Нефетегорского района. По должности своей чиновник, сидя в зале на той давней презентации, он сумел полностью с голоса запомнить стих. Я вначале удивился, но когда послушал, как он поет и сколько много знает песен, был рад, что есть у меня такой земляк.

Вот это стихотворение, присланное мне Сергеем Николаевичем по моей просьбе:

Утёвка

*И обидно, и неловко,
Что я не осведомлен:
Говорят, в селе Утёвка
Уток — целый миллион.
Ходят-бродят, елки-палки,
Грациозны и легки,
Ходят шатко, ходят валко,
Как в Одессе моряки.
И гордится, кроме шуток,
Ими древнее село,
Дескать, из-за этих уток
И название пошло...
Утки, селезни, утята...
Что-то я вас не найду,
Знать, село другим богато,
Знать, другое на виду.*

*Может, храм, а может, песня
Иль — учитель-чемпион
И, конечно, всем известный
Журавлев — творец икон.
На земле рожден утевской
И герой последних лет
Александр Малиновский —
Академик и поэт.
Степью, лесом, песнопеньем
Славны здешние места,
И рождают вдохновенье
И пейзаж, и красота.
А про уток, видно, шутка.
Розыгрыша мастерство...
Здесь самим нам где бы утку
Раздобыть на Рождество.*

Теперь эти шуточные строчки читают по памяти многие на нефтегорской земле.

Петряева правда

В третьем номере журнала «Гражданин» за 1999 год Николай Кривомазов напечатал мой очерк о художнике Григории Журавлеве. Уже наступил 2000 год. Я с запозданием получил от него этот номер. Его неумемный темперамент сказался и здесь. Подано все ярко и броско. Он — журналист. Это — профессиональное. Но меня поразили материал, помещенный на первых страницах безо всякого комментария. Белым по черному слова, как клинки, как кинжалы, в самые уязвимые места нашей жизни, нашей души. Как же хорошо, отрадно, что мы одумались. Да, одумались, январь 2000 года — это уже новый, я бы сказал, освещенный трезвым умом наших политиков, взгляд по поводу национальной безопасности.

Вот они эти строки.

«Мы развалим эту страну». Даллес, апрель 1945 г.

«...Пьянство в России расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Окончится война, все кое-как утрясется,

устроится. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную помощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению... Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников... своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдальблывать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... А мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут вводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Хамство, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов — все это расцветет махровым цветом.

Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит.. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни большевизма, опощлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем распахивать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем братья за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем».

И рядом:

«Мы развалили эту страну». Клинтон, октябрь 1995 г.

«Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирався сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Распатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии. Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 млн долларов, а затем ещё такие же суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно — планы наши начали реализовываться. Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, стране, где ещё не достаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько задач: всячески стараться не допускать к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий; особое внимание уделить президентским выборам. Нынешнее

руководство страны нас устраивает во всех отношениях. И потому нельзя скупиться на расходы. Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем. Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное «полевение» нынешнего президента не означает для нас поражения. Это будет лишь ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства. Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии; окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам. Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна — США».

Торопитесь, господа, со своими выводами! Хотели развалить? Не получится!..

Неужто был прав наш Иван Павлов — выпускник духовной семинарии, физико-математического и медицинского факультетов, первый Нобелевский лауреат в области физиологии, когда у него вырвалось: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека, он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексy координированы не с действиями, а со словами» (1932).

Сказано гением. Слишком уж мы оказались доверчивыми. А планы противников были, они и сейчас есть. Так что же мы?..

Может быть, одной из главных черт свалившейся на нас в перестройку демократии, было то, что она не могла быть обеспечена определенной организацией власти. Она должна произрасти всё-таки снизу. Демократия — это стиль и образ мышления. Для этого требуется высокая культура: политическая, правовая, культура общения... И это хорошо знали и понимали те силы, которые «помогали» нам за рубежом, они, в который раз уже, ставили на нас опыты...

Наше будущее зависит от нашей культуры. Это так.

Наши прорабы перестройки в самом начале её, да что в начале, до того — неужели не могли задуматься над свойством русской души, ведь русскому человеку всегда как бы полагалось долго запрягать?..

С самого начала очень многое было и сомнительно, и подозрительно. Одно, быть может, как-то нас ещё оправдывает: мы не грохнулись в широкомасштабную гражданскую братоубийственную войну.

Слава Богу, теперь многие из нас понимают, что сильное государство, сильная государственная власть — основа нашего будущего. Государство, оставаясь демократическим, обязано создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь своих граждан. А иначе для чего все это?

Сверхбурные девяностые годы с крутой ломкой советской административной системы и отчаянным броском в мировой рынок привели к новому застою в стране. Это теперь уже понятно почти каждому из нас, как и понятно стало, что нет у нас новой стратегии экономического развития — то есть нет главного, что могло бы образовать и сформировать общенациональную идею.

В какие колки и перелесья уйти мне сейчас от разрушительного плана Даллеса, явно превзошедшего по своим последствиям действие атомной бомбы Трумэна, от самодовольно-нахального желания Билла Клинтона во чтобы то ни стало расчленить Россию на мелкие государства путем межрегиональных войн?

Курс на умеренный «консервативный» либерализм. Может, это то самое «перелесье», которое надо пройти всем нам по ухабам, под солнцепеком, под маревом и миражами в знойный ярко-солнечный день и, наконец, не потеряв надежду, прийти к манящему спасительному, с возрождающейся изумрудной зеленью русскому колку с родниковой прохладой и свежестью?

...Да, мы во многом прозрели.

Мы теперь зацепились за идею «многополюсного мира», где видим себя одним из региональных центров нового мироздания, представленного Китаем, Индией, арабскими странами.

«...никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии».

Может, прав русский историк Соловьев, сказав так?

Сохранив своё национальное государство, со своего исторического места не сойти! Может, нам так суждено изначально? Принять это и успокоиться. И начать жить государству для всех своих сограждан и для каждого отдельного человека, который будет жить и после нас. Но возможно ли это?

А почему бы и нет?

...Когда я писал эти строки, сидя в маленьком своём домике в мамином огороде, подошёл к окну давний знакомый Василий Петряев. Махнул мне рукой:

— Выйди, покалякаем, надоела моя старуха.

Я вышел. Поздоровались. Потом присели на лавочку около голубенькой стеночки.

— На вот, почитай, — я протянул листочек с планом Далласа и выступлением Клинтона.

— Очки дай, не взял свои.

Я протянул ему очки.

Он долго читал. Текст ли для его неполного среднего образования был тяжеловат или придавила обрушившаяся внезапно правда всего происходящего? Неясно было, пока глухо не заговорил.

— Выходит, весь мир хитрее нас, а мы лаптем щи, да?

— Похоже на это.

— Хреновина какая, а? Выживали, выживали — и на тебе.

— Как это? — не понял я, — «на тебе»?

— Ну как, как? — он вернул мне очки и листок. — Россия, такая огромная, сильная никому не нужна. Так было всегда.

Я согласно кивнул, полагая, что сейчас он, конечно же, будет говорить прописные истины, но своим, местным языком, наполовину, как водится, с ненормативной лексикой.

— Её всегда вгоняли, едренте, в выживание. Россия всегда выживала за сто лет до перестройки, пора бы набраться уму-разуму. Вот гляди, на примере твоих родственников. — Он в упор посмотрел на меня. — Только с германцем развязались, в начале двадцатых у нас в Поволжье — голод. Твой дед снялся в Сибирь. Но голод своё успел сделать: из восьмерых только трое — твоя мать да двое братьев её выжили. Так?

— Так, — соглашаюсь я с грустной арифметикой.

— Теперь смотри дальше: старший брат твоего второго отца, чапаевец Василий, схлопотал пулю в легкое под Белибеем,

привезли его помирать в Утёвку. Вроде уж безнадежный был. А мать его, Прасковья, рожать собралась. Родила. Значит, чтобы для гарантии: умрет старший, младшего Василия назовем. А старший-то возьми и не умри. Выжил. Два, значит, Василия Федоровича Шадриных и было, два брата. Оба по семь десятков годков отмахали. Двойная гарантия.

Эту историю я знаю. Более того, писал об этом. Но слушаю спокойно. Многие теперь говорят об одном.

— А ты вот, — он вдруг глянул на меня в упор своими ясными голубыми, как у ребенка, глазами.

— А что я?

— Ты-то тоже: гарантия.

— Какая?

— Ну, ты же второй Шурка у матери твоей.

— Ну да, — соглашаюсь я, — второй.

— Первый умер в войну, а чтобы восполнить, выжить супротив всего, ты есть теперь, Шурка. Народ давно выживает, не только в перестройку. Какую только на него погибель не гнали. Выживем обязательно. Каждый из нас пример.

— Да, выживаем, — согласился я.

— О, вон, глянь, — встрепенулся мой собеседник, — выживем иль нет? — и показал пальцем на подходившего к забору нетрезвой походкой соседа Миньку Горбачева, ещё до перестройки крепко впадавшего в беспробудное пьянство, бывшего совхозного скотника. Появление знаменитого кремлевского тезки и случившаяся перестройка никак не отразились на авторитете забывшего давно скотный двор скотника. Он уже с десяток лет нигде не работает.

— Минь, а Минь, выживем мы аль нет после перестройки-то? — с каким-то непонятным пафосом спросил Петряев.

От того, как были построены фразы и каков был ответ, мне показалось, что это отрететированный либо не раз повторяемый диалог.

— А куда нам деваться-то, только похмелиться вовремя и все в аккурате, выживем — назло всем!

Минька навалился на забор, не в силах удерживать своё сухонькое тело, кашлял долго.

— Во! Наш местный перестройщик Минька Горбачев грит: «Выживем!» Блин, клин блинтон, — наигранно радовался Пе-

тряев, — никакой ему Даллес не страшен. Правда ведь, натуральная.

Его голубые глаза сейчас слезились, были по-стариковски блеклыми и смотрел он ими не на меня, а себе под ноги.

Как будто было стыдно и досадно за всех нас сразу. Как за неразумных детей, и за своё вот такое поведение.

— Иди, иди, застенчивый, я тебя догоню, — крикнул Петряев, и я не сразу понял, к кому он обращается.

Потом, наблюдая у изгороди Минню Горбачева, который в очередной раз пытался оторваться от неё и зашагать самостоятельно, спросил:

— Ты это ему: «застенчивый»?

— Ага, — сказал Василий, — его так назвал мой зятек Павлушка. И прилипло. Видишь ли, зятек мой делит мужиков по разрядам, ага. К примеру, те, которым сколько ни пей — все мало, прозываются у него — малопьющие. Те, которых после принятия выносят — выносливые. Ну, а те, в аккурат как Минька, которые ходят, держась за стенку — застенчивые.

Он обернулся на послышавшийся треск и, наперед понимая бесполезность своего вмешательства, вяло посоветовал:

— Минь, отвянь от забора, чать, не берлинская стена, стоять забор должен, не след рушить, Климаниха вдоль спины хворостиной оходить может.

Минька от забора мотнулся в сторону, но видно было, что это он не сам так поступил... его так качнуло и он кособоко пошёл к переулку, к Лоптаевой гати.

...Когда я слышу, как наши общественные деятели разного калибра демагогически заявляют, что народ всегда знает Правду, знает Истину, я теперь вспоминаю глаза Василия Петряева. И хочется верить, что истинную Правду знает народ, и сомнение не дает покоя: увы, народ лишен способов знать её, он лишен возможности быть носителем всей Правды.

И — есть ли она, главная Правда? А если есть, доступна ли она?

Русский человек — православный, а православный человек в центр своего мировоззрения ставит Божественные предначертания Создателя.

Ведь сказано в книге Екклесиаста: «...Все сделал Он прекрасным в своё время, и заложил мир в сердца их, хотя чело-

век не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца... Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавить и от того ничего не убавить, — Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его...»

Неужели причина наших общих бед в том, что давно уж в нашей российской жизни нет этого «благоговения»? Слишком себялюбивым и чудовищно заносчивым оказался человек в двадцатом веке. Забыл про Бога. Пошёл против Бога...

«Народ чувствует неправду, и... интуитивно стремится к правде», — так я записал в дневнике, вернувшись в свой домик. И долго ещё потом раздумывал над этой догадкой, пытаюсь понять: если она верна, то несет ли она в себе надежду?..

А если нет, неверна, то какой смысл защищать её? И имеет ли она право на жизнь.

После того, как ушёл Петряев, стало мне с моими мыслями одному тяжело и бездомно. Опоры, что ли, не давал мне мой домик с голубенькими ставнями, поставленный мной прошлой осенью около старенькой почерневшей баньки в огороде. Не было в нем того духа и домовитости, которыми я дорожил. Никогда не были в стенах его мои родители, старшие родственники... Все они давно лежат на местном кладбище.

...Как же соединить со всеми этими разрушительными планами американцев кажущееся деловым сотрудничество с нами? «Ведь вроде бы происходит-то позитивное сотрудничество», — думал я. Хотя бы по нашей области.

Взять вот выдержки из статьи Майлза А. Помпера «Экологическая помощь уходит в регионы», напечатанной в «Еженедельнике конгресса США»:

«Разочарованное безвыходным положением в Москве, правительство США большую часть экономической помощи, предназначенной для России, переадресовало непосредственно 89-ти региональным правительствам и десяткам тысяч негосударственных организаций. (Согласно финансовой отчетности за 1999 год это составило около трех четвертей всех средств, распределением которых управляет Агентство международного развития США (USAID). Такой шаг был поддержан многими американскими законодателями, которые видят в децентрализованном подходе ключ к решению российских экономических и политических вопросов.

«Регионы сами находят решения своих проблем, а мы просто должны помочь этим решениям созреть, — говорит сенатор Чак Хейгел, председатель Международной группы по экономической политике в комитете сената по международным делам. — В этом отношении Российская Федерация не отличается от Соединенных Штатов».

Ключевой элемент в политике США за пределами Москвы — программа «Региональная инвестиционная инициатива», действующая уже два года. В рамках этой программы средства направляются на улучшение делового и политического климата в трех наиболее перспективных регионах: Самаре, Новгороде и на Дальнем Востоке. Американские чиновники в настоящее время рассматривают возможность включения в эксперимент четвертой области или групп областей (возможно это будет Сибирь)».

В конце статьи приводятся слова Джанет Валлантайн, бывшего директора российского отделения Агентства международного развития США. Она говорит: «...регионы-реформаторы могут скоро устать от постоянных политических баталий в Москве и пойти собственным путем». По её мнению, «без серьезного лидера может оказаться невозможным удержать от распада Российскую Федерацию».

Да, плохо, конечно, когда Москва отстает от регионов, но ещё, очевидно, хуже поддаться смуте издали и свалиться в конце концов туда, куда нас толкают уже давно, и ждут, о чем всё-таки проговорила директор, ждут, когда мы разделимся на региональные куски, не совладав с амбициями местных вождей. Помните у Даллеса: «В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище...»

Где она, правда?

Захотелось пойти в дом деда, в котором я родился... Теперешний его хозяин — степенный и работающий мужик, махнул, так же как бывало мой дед, приветливо рукой, едва я поравнялся с калиткой.

И сам дом порадовал чистотой взгляда своих окошек, обрамленных густой резьбой светло-голубых наличников.

— Ну что, стоит дом-то ещё? — спросил я, принимая пожатие сухой и крепкой руки.

— А куда ему деваться-то! Дед твой основательно сработал. Вечно стоять будет.

— Ну, а мы как? — спросил я, увязший в своих, мучивших меня, сомнениях.

— А что мы?

— Выстоим? Все мы, Россия?

Он сразу не ответил, а пригласил в горницу. Я шагнул через порог и теплая волна пошла по мне. Все вспомнилось: дедово, бабушкино, моё.

...Вот здесь висело дедово ружье, там в маленькой спальне справа я спал, там на стене висела репродукция картины Васнецова «Три богатыря».

Вот из этого, открытого тогда окна, с улицы, из палисадника, где звонко щелкали стручки акации, я впервые услышал с непередаваемым восторгом историю о Раде и Лойко Зобаре. Голос чтеца, доносившийся из маленького черного репродуктора, завораживающе тогда звал за собой в степь, к цыганам, в другую жизнь, с другими именами, страстями, заботами.

Я помню тогда влез через окно в дом, лег на пол и лежал так долго, не смея или, вернее, не в состоянии повернуться, пошевелиться, весь находясь во власти звуков обрушившихся на меня.

Тогда впервые я услышал это непостижимо влекущее до сих пор, мерцающее своей бездонностью, глубиной и всеохватностью имя — Горький...

Я присел на порог. Так я в детстве часто делал. Порог был ещё тот, тех времен. А двери в гостиную и в спальню — уже другие. Незнакомые.

— Деваться нам некуда, нам дедами, молча, без слов завещано — выстоять.

Голос хозяина был хриловатый. И нет намека на бодрячество. Все искренне:

— Думать нам надо в своей земле своим умом. Не заглядывать в рот иностранцам. У них всегда был к нам свой интерес. А по-другому и не может быть. Это вон мой знакомец новый, с того конца улицы, из переселенцев, придет, наговорит всего, чего не попадая, все вроде знает где, что на белом свете, а в

конце разговора все равно окажется, что пришел либо гвоздей просить — не хватило в который раз, либо ножовку развести — у самого не получается, либо ещё чего-то... Чем он мне поможет, говорун этот? У меня во дворе кто лучше меня знает что да как, а?

«Как просто», — подумалось мне.

— А ты по-другому кумекаешь? — спросил он, подходя к тому самому «моему» окошку и распахивая в палисадник створки. Я вздрогнул. Створки скрипнули так же, как тогда, в тот знойный, летний день...

«Вот тебе и новый хозяин в моём дедовом доме, — думал я, когда уже выходил с подворья, — откуда у него такая уверенность? От незнания, непонимания до конца происходящего сейчас с нами или от врожденной крепости духа, питающего нас, от тех корней, которые накрепко соединили нас с предками, дающими нам силу, название которой — вера?» Мы молодая нация и генетически мы только набираем силу. И ничего тут не поделаешь. Не зря же он сказал так уверенно мне, закомплексованному, защищенному разными свидетельствами и дипломами, званиями, застрявшему в своих невеселых мыслях земляку: выстоим!

Никто ещё не проник в истинный внутренний мир крестьянина. Крестьянство — не интеллигенция, дневников не писало и не пишет. Все, что думало-передумало унесло с собой, что-то останется в преданиях только. «И сейчас оно не сильно в этом изменилось», — подумалось мне, когда я оглянулся на стоявшего у калитки на своём подворье хозяина.

«Выстоим!» Он так веско сказал, что и я невольно выдохнул: — Выстоим!

Подсказка Виктора Стражникова

Когда я писал повесть «Черный ящик», глядел на мир глазами своего героя Виктора Стражникова — ученого, директора завода, попавшего в бурные и мутные воды перестроечного времени 93-94-х годов.

Прошло около пяти лет, полмесяца осталось до начала 2000 года — последнего во втором тысячелетии. Я за это время на-

писал несколько рассказов, две повести. Взялся было писать следующую повесть, но что-то остановило меня. Мне кажется, остановил Виктор Стражников. И натолкнул на мысль: надо попытаться последний год тысячелетия, как и он свой 94-й — последний год своей работы главным инженером — осмыслить для себя. Чем же, в отличие от него, для меня, ещё и писателя, стал он. И я, как ни странно, повиновался. Произошло странное: мой герой, став в чем-то зорче и мудрее меня, повел в этом направлении. И я послушался... начал писать «Колки мои и перелесья»...

...Это уже не в первый раз, когда персонажи моих книг подсказывают мне.

И читатели повести «Черный ящик» жалели, что Виктор Стражников умер. Они тоже подтолкнули меня.

«Такие люди не должны умирать раньше срока»; «Нам его жалко, с таким характером он должен жить»; «Надо было его оставить среди нас, о нем надо бы писать продолжение», — так говорили многие. Я чувствовал: Стражников молча ждал этого. И я написал продолжение. Только как бы вглубь: пошёл в его детство. Увидел, какой он был там — в начале своей жизни. Какие корни и соки его питали. Так родилась повесть о Шурке Ковальском «Под открытым небом».

Но я чувствую, что Виктор Стражников теперь ещё более настойчивей подталкивает меня в указанном им направлении. Он, как моя мама, — она всегда переводила стрелки от себя к другим. Ей были интереснее окружающие, чем она сама! Посмотрим, что будет на этот раз...

И каким всё-таки будет для меня год 2000-й?

Мамино окошко

Поздним вечером приехал к маме моей в Утёвку с поэтом Евгением Семичевым. Был конец мая. Цвела и благоухала сирень. Где-то, прямо как в юные мои годы, заиграла гармошка и в настоящей на сирени и черемухе тишине томный грудной голос запел:

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт.*

Не раз похожим вечером в юности возвращался вот так же я опьянённый и вечерней песней, и расставанием у калитки с той, которой так и не решился сказать того, что намеревался...

Мама, не дождавшись меня, ложилась спать. Но спала всегда чутко. Едва я появлялся у окна, она мне махала рукой. Я часто не успевал постучаться...

— Кто там? — отозвался на стук в стекло мамин голос. Потом, как и в юности, белое пятно появилось в окне у подоконника.

— Шурка, — по привычке произнёс я негромко, но внятно.

— Шура, — радостно выдохнула она, совсем не удивившись поздним гостям, хотя я не был дома уже полгода.

Мама зажгла в избе свет. Окно вспыхнуло ярким светом, зазывно, как и всегда. Уже в сенях, открывая засов, спросила:

— А кто это с тобой?

— Евгений Николаевич Семичев, — доложил я и добавил основательно: — Поэт!

— Проходите, Евгений Николаевич, — старательно проговорила мама.

За спиной мой спутник хохотнул. Я не понял, почему.

— Вот дела какие! — удивился уже в избе Евгений, — директор завода — в деревне просто Шурка, а поэт — Евгений Николаевич, по имени-отчеству, не просто «Женька». Фигура!

Он потом в городе, при случае, несколько раз рассказывал этот эпизод. Его это забавляло.

А мама моя, позже, каждый раз, когда я приезжал, все спрашивала:

— А где твой Евгений Николаевич-то, отчего не приехал с тобой?

Я привёз потом ей книжку стихов Евгения «От земли до неба». Она попросила почитать. Мы сидели в передней избе за столом, накрытом яркой с цветным узором новой клеенкой, и я читал:

*Ребята, не живите вечно,
Не стройте планы на века.
Живите просто и сердечно,
Как лес, как небо, как река.
В чужое сердце свет пролейте.
Прибьётся к вечности душа.*

*При этой жизни пожалейте
Травинку, пташу, мураша.
Ребята, нам за все воздастся,
Когда шагнем в глухую тьму.
Но в этой жизни не удастся
Навек остаться никому.*

Слушала она внимательно и сказала, вздохнув:

— Какой мудрый ребенок твой товарищ. Ты бы привёз его сюда, пусть поживёт маненько у нас. Можно без тебя. — И, увидев мой удивлённый взгляд, добавила: — Отдохнёт пусть. Он устал, видать, от жизни своей. Ему тяжелей, чем остальным.

Я пытался разыскать Евгения, но где там! Он был в Москве, уехал учиться на Высшие литературные курсы.

До поступления туда он работал на нашем заводе в жилищно-коммунальном отделе. Когда уехал в столицу, мы выделили ему небольшую ежемесячную стипендию на весь срок обучения. В областном отделении Союза писателей знавшие близко поэта качали головами:

— И надо бы, но не слишком, а то будет разгуливать, хуже бы не было...

Но он был наш, заводской. Мы за него болели.

...И доходили слухи, что он слегка дебоширил в общежитии Литинститута, однако была и его московская литературная слава: столичные журналы печатали подборки его стихов...

«Пусть пошумит. Слава — она дуреха, обязательно ушибет. Ушибленного и отвезу в деревню к маме, там отлежится», — думал я.

...Так и глядела мамино окошко за нами обоими.

Пока жива была мама.

Взоры прощальные...

Вечером позвонил мой дядя. Ему в этом году будет шестьдесят. Инженер-строитель. Но институт развалился, и главный инженер проекта вынужден устроиться в городские тепловые сети насосчиком. Такая вот научно-техническая революция нашего времени.

— Ты не спишь?

— Нет, какой сон? Девять вечера, только что с работы приехал.

— Ну, я так спросил, наверно, от волнения. Понимаешь, я тебя никак дома не застану, дело у меня такое. Не сразу скажешь.

— Говори, попробуем разобраться, — самонадеянно подталкиваю я.

— Я вот что, племянш, теперь не только вам всем в городе горячую воду качаю, и вы без меня и без воды, и ни туды, и ни сюды, но и песни пишу. Романсы.

Мне стала понятна причина его длинных фраз — он крепко волновался.

— Не смейся: слова мои, музыка моя — на мандолине... Подожди, насос зашумел не так, пойду посмотрю. Не вешай трубку.

Пару минут в трубке слышался только шум работающих насосов, обычный общий гул машинного зала.

— Саша, тут не поговоришь. Я позвоню тебе вечером, после смены из дома. И по телефону дам послушать. Не ложись, а то опять пропадешь — не дозвонишься.

Около двенадцати ночи зазвонил телефон.

— Вот слушай, включаю магнитофон.

Пошла музыка, знакомая и красивая.

— Нет, нет, постой, это же братья Радченко, «Домик окнами в сад», сейчас перемотаю немного — будет моё. Нет, вот без магнитофона, я сам — живой, ну его. Слушай.

«Ничего себе — романсы на ночь».

И зазвучал голос Сергея и его мандолина. Торжественно и даже строго.

Пока он пел, я посчитал: два раза были «очи», два: «взоры», мелькали слова «томные», «величаво» и так далее.

— Понимаешь, я чувствую: и музыка моя, и стихи мои — они доработки требуют, верно. Но все остальное... прекрасно... Сергей Лобачев был во Владимире у брата Василия. Они сходили на рынок и купили старенький баян. Исполняли мои песни и плакали, ты понимаешь?! Чувства пробуждаются.

— Да, понимаю. Но вот «взоры», «очи» — это уже тысячу раз было, — пытаюсь робко перевести монолог в диалог.

— Ну и что — два мужика поют и плачут. Тебе это ни о чем не говорит? Не по пьяни плачут!

— Да, — соглашаюсь я, — но как-то уж больно архаично, все это было в прошлом веке. Не говорим мы сейчас так: «взоры томные», «очи пугливые».

— Чудак ты, ей-богу! Ну кому это важно будет через пятьдесят-сто лет — говорили или нет? Останется красота.

И он пропел:

*Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса,
И припомнил ваши взоры,
Ваши дивные глаза.*

— Тогда, при Пушкине, на кухне, ну, или даже в гостиной так говорили: «Ваши взоры меня волнуют»? Наверняка, нет. Но в романсе эта красота навечно.

Я не знал что ответить после такого, прямо-таки эпохально-творческого замаха моего родственника. Боялся его обидеть.

— И давно ты пишешь романсы?

— Пятый месяц, как устроился в насосную.

— Сергей, но ведь жизнь наша сейчас, прямо скажем, не романсовая. Насосы, телефоны, тарифы, безработица. Вечная суета и кутерьма. У многих безнадёга. Слушай меня:

*Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное, далекое,
Слушая голос колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.*

Не должно быть суеты, тогда, может, родится что-то серьёзное, а уж — вечное, здесь...

— Граф, ты не прав, — с подчёркнутой патетикой отозвался мой собеседник. — Выходит, наш век не может создать равное тому, что было до нас, допустим: «Средь шумного бала, случайно...», — пропел он и выжидательно замолчал.

— Сергей, — взмолился я, — у нас какой-то дремучий разговор, ну какие балы сейчас? Где тот дух?

— Как? А губернский бал, а новогодний? — он начинал говорить жестким голосом.

«Сейчас начнёт ерничать, я его знаю, — подумалось мне, — и его тогда не прошибёшь ничем».

— Ладно, старик, ты безнадежен, — он помолчал, — не телефонный этот разговор. Я напишу об этом тебе письмо, и перо будет гусиным. Через неделю еду в деревню в отпуск. Там у со-

седки бабы Мани здоровенный есть гусак, важный такой и степенный, как ты. Рвану из хвоста пару перьев.

— Ну, пошло-поехало, — уныло возразил я, но в трубке уже были гудки.

Злободневная тема

— Как ты говоришь? У германцев около шестисот названий пива? Эка хватанули! И в каждом городе, в каждой пивоварне то название, какое ему дал хозяин?

— Точно так.

Парень, к которому обратился с вопросом мой сосед по столу, Алексей, достал из дипломата аккуратный сверток и, развернув его, пододвинул широким жестом нам обоим.

— Петрович, мужики, угощайтесь балыком, я вчера только с теплохода «Константин Коротков», был в Астрахани, у тамошних знакомых купил.

Меня впервые так щедро угощали у пивного ларька балыком. Невольно реагирую:

— Ну, и как там, в Астрахани?

— Хреново, мужики. Я с детства знал, что Астрахань — это избытие рыбы, а на нашем рынке за универмагом «Самара» во сто крат её больше. Зайдите: осетрина, белуга, сом, лещ, стерлядка, раки. Я специально зашёл посмотреть после Астрахани. Дорого? Да, дорого. Но учись деньги зарабатывать. Сейчас деньги — дефицит.

— И все же, что есть в Астрахани из рыбы?

— А ничего. Я зашёл на рынок: а там только вобла и чехонь.

— Больше ничего? Там воды-то сколько! — Петрович довольно глуповато посмотрел на своего знакомца.

— Угу, — ответил тот, — а вот этот балык... Контрабандной икрой торгуют умельцы, а ведь, черт знает, съедобная или...

Петрович прервал парня на полуслове:

— Ну, ты обожди про нашу жизнь. Мы её приблизительно знаем. Давай про ихнюю, германскую, я ведь так до Берлина и не дошёл в войну, контузило. Но про баварское пиво слышал.

— Значит так, — подчёркнуто вдохновенно отозвался Алексей, — пиво тебе принесут не так, как либо, хухры-мухры, а в

красивой кружке и непременно поставят на картонный кружочек, на котором название фирмы.

— Это зачем?

— Сервис, отец, чтобы ты не забыл и название пива, и хозяина. Этим дорожат, там многие ресторанчики и пивные имеют свою родословную, и на видном месте перечислены и вывешены в рамочке все бывшие хозяева. Некоторые заведения с XV века действуют. О пиве говорить — как поэму рассказывать.

Алексей попросил и принесли ещё пива.

— Тема дюже злободневная, давай свою поэму, — подтолкнул разговор дальше Петрович.

Алексей продолжал:

— Но самый апофеоз — это октоубэ фэст!

— Мне это непонятно, — вовсе не обидевшись, выжидательно глянув, обронил Петрович, — скажи, как есть.

— Возьми вот центральный самарский крытый рынок. Вот примерно в таком помещении около десяти тысяч человек пьют пиво. А всего их, помещений — десять, смекаешь? Одним разом сто тысяч человек пьют пиво, сидя за широкими деревянными столами. Это и есть октябрьские праздники пива.

— И давно у них такая красота?

— Как помнят себя. Какой-то там король когда-то женил своего сына, вот и положил начало. Тогда было бесплатно, сейчас бизнес, но все равно красиво. Праздник пива, весь мир знает его, поэтому в Мюнхене в конце октября полно иностранцев.

— Сто тысяч, говоришь, удивительно, где же они воблы столько берут?

— Да не воблой, — возразил всезнающий Алексей, — цыплятами они закусывают.

— Цыплятами? — выдохнул упавшим голосом Петрович. — Дак, цыплят где враз столько взять, а? Ты подумай, садовая твоя голова? Врать горазд больно!

— Понимаешь, отец, индустрия!

— Чего, индустрия? Чугунные что ли цыплята-то?

— Эх ты, едрит-ангидрит. Индустрия обслуживания, понял?

— Понял, только не врешь ли? Сам видел или кто рассказывал?

— Сам, — горделиво подтвердил Алексей, — в прошлом году

ездиле оборудование смотреть в Мюнхен, довелось самому, — и поправил без того аккуратно повязанный галстук.

— И всё-таки чудно как-то! Цельный город людей, как наш Чапаевск, зараз пиво пьют, — Петровича почему-то явно расстроило это обстоятельство. Или просто пожалел, что прошел всю войну, Германию, а увидеть интересного мало что привелось. А этот... вот тебе, съездил на четыре дня и верещит без умолку.

Алексей это заметил. Ему, очевидно, не хотелось обижать Петровича, принижать его авторитет и он сказал фразу, которая враз оживила весь дальнейший разговор. Дала инициативу Петровичу.

— Оно, может, вот так втроем или одному посидеть, пивка попить поспокойнее и впрямь? Каждому своё.

— Вот, не прав ты! — встрепенулся Петрович, — в корень надобно глядеть. Понимаешь, важно не только выпить, но и поговорить, верно? — Он поднял воодушевленно лицо и так же воодушевленно — указательный палец. — Коллектив — огромная сила, во брат! Я тебе историю расскажу, как одному хреново. Был у меня дружок. Виктор. Так вот, стал я замечать, что он о чем-то постоянно думает, понимаешь? Тяготит его что-то. Пойдем выпить. Выпьем, посидим, подакаем, а разговору после выпивки нету, как подменили человека. А у него радость должна быть: полгода как квартиру получил. Не новая, но хорошая, двухкомнатная, недалеко от пивкомбината, где он грузчиком работает. Я ему однажды так прямо и врезал: «Виктор, ты, когда в бараке жил, человеком был. Окопался в изолированной — куркуль какой-то стал, дичишься, к себе не пригласишь, раньше было как, а?...» А раньше мы с ним через перегородку жили, душа в душу. Все открылось, когда он меня чуть не за руку к себе домой приволок. Завел меня на кухню, вручает мне пивную кружку и, показывая пальцем под подоконник, командует: «Наливай сколько хошь и пей, пока не лопнешь, а я не могу больше так!» — «Вить, о чём ты?» Тогда он берет мою руку с кружкой, сует под подоконник, а там — кран. Чик — и готово! Открыл крантик, и оттуда свежее ароматнейшее пиво, понимаешь. Фантастика! Я кружку одну хлопнул, как водится, с ходу. Наливаю вторую — текёт, едрёна вошь! Текёт и опять полна кружка — хлоп вторую! Уж потом спрашиваю, смекнул я в чем дело, чья

это конструкция такая гениальная? Он не знает. Старый хозяин уехал в Мордовию. Может, он и протянул медную трубку через забор с пивкомбинатовского склада, кто знает? «Вот она, эта конструкция, — говорит мой Витёк, — и не дает мне спать спокойно. Месяца три пользовался, красота! А потом не по себе стало. Нет, не боюсь. Стыдно — присосался к чужому вымени, вот! Как враг народа какой». А я его так спрашиваю: «Витёк, а как ты различаешь, какое пиво пьешь? Ведь оно меняется, наверное: «Жигулевское», «Самарское» и тэдэ, а?» Эх, он на меня матюгался тогда! На утро сделал заявление начальству пивкомбината. А оно маленькое расследование сделало, и выяснилось, что три хозяина, меняясь, около десяти лет пользовались этим крантиком, а вот Витек — слабак оказался. Не выдержали нервишки. Коллективист — в одиночку пиво пить не смог, а ты говоришь...

Замолчал. Но не хотелось Петровичу инициативу в разговоре упускать, он и спросил:

— Они, наверное, коллективисты большие, твои германцы. В одиночку тоже не могут. А уж тем более брать чужое.

— Нет, могут, — обрадовано возразил Алексей. — Нам фирмачи рассказывали, что у них очень долго не могли прекратить хищение меди. Но помог случай: старенький вахтер, уходя с работы, как-то замешкался. В проходной позвонил по телефону и, забыв про трость, с которой обычно ходил, направился домой. Один из управленцев, видя это, взял трость, чтобы отдать её хозяину... И вот тут все открылось; трость-то была тяжеленная, из медного прута! Хитроумный старик каждый раз приходил на работу без трости, а уходил с завода с солидным куском меди.

— Ну, видишь ли, этот старик — гений в своём деле. Его нельзя было трогать, — сказал, немного подумав, Петрович. — Специалист. Таких ценить надо!

Инициатива уходила от рассказчика, и он, очевидно, почувствовав это, поспешил подвести черту:

— Значит, и там воруют.

Я было подумал, что в его словах скрыто негодование, но он продолжил умиротворенно:

— Надо же, выходит всё как у людей...

Озорник

— Хочешь, я тебе одну маленькую историю расскажу? Хочешь? Всё равно скучно сидеть в этом министерском предбаннике. Не скоро дождешься своей очереди. Я потихоньку, чтобы секретарь Леночка не очень хмурилась. И так, провожу я приём по личным вопросам. Он у меня по понедельникам два раза в месяц, так легче этот страстный день переносить. И вот, когда я уже плохо начинаю соображать, разбив все своё терпение о бесконечные жалобы, просьбы, неувязки в личной жизни, разбив о собственную неспособность помочь человеку — ведь идут со всем, что наболело, — под конец приема, уже в седьмом часу вечера, заходит мой старый знакомый Михаил Галкин. Да ты его знаешь, помнишь! Он на моё пятидесятилетие огромный астраханский арбуз принес.

— И танцевал лезгинку, да?

— Во, во, он самый! Всю жизнь протанцевал и пропел. У него коронная есть: «Хороши весной в саду цветочки». Мы с ним с одной ремеслухи, только он подзастрял в слесарях. Я ж, закончив институт, черт те дери, выдвинулся, теперь у меня в активе два инфаркта, а он все танцует. Ну ладно, ближе к истории.

Он с удовольствием принял из рук Леночки стакан чая, кивком головы поблагодарив, продолжал:

— Входит, значит, он и: «Вот, — кладет мне на стол заявление. — Прошу материальной помощи, поиздержался», — поясняет. «Что так, — спрашиваю, — не мог запросто зайти, в обычное время?» «Не мог, — говорит, — пользоваться давней дружбой, да и замаялся совсем с женой. Для неё и помощь прошу, Романыч! Уважь, она у меня ноги обморозила. Лежит, сердечная, с волдырями, а местами кожа сошла, жуть...» Ну я замороженный весь, пишу резолюцию: «Бух.: выдать две минимальные заводские зарплаты согласно Положения». Он берет заявление и быстро уходит.

И уже потом, когда секретарь все бумаги забрала и я остался один, вдруг опомнился: «Черт, на дворе июль, разгар лета, где же жена Галкина ноги обморозила?» Метнулся к окну, Михаил ещё только вышел из подъезда и идёт через скверик перед заводоуправлением. Кричу: «Михаил, как же твоя Ираида ноги обморозила? Лето же, июль месяц?» Он остановился, вни-

мательно посмотрел на меня и так вежливо с укоризной говорит: «Романыч, это дело интимное, на площади об этом не кричат» — «Что! — шумлю, — за чертовщина! Иди сюда в кабинет, объясни. Бабу твою жалко!» Заходит, сукин кот, садится и так вежливо говорит: «Вот скажи, Романыч, хотя мы с тобой и друзья, а ведь живем мы по-разному?» — «Как так?» — спрашиваю. «Ну, у тебя что висит в спальне на стенах? Ковры, — сам себе он отвечает, — а у меня географическая карта мира, смекаешь, разница какая?» — «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Верно, ты не сразу и в училище понимал: карта мира на стене над кроватью» — «Ну и что? — реву я. — Что?» — «А то, Романыч, значит, что вверху у меня в спальне над кроватью Ледовитый океан — Арктика! Внизу соответственно — Антарктика. Вечные льды! Смекаешь?» — и он многозначительно поднял вверх правую руку с прямым, как новый гвоздь, указательным пальцем. «Ни черта не смекаю» — «Ну как же? В такой, извини меня, ситуации, где бы ножки моей дрожайшей супруги ни были — они всегда аккурат во льдах. А там, сам понимаешь, до минус пятидесяти градусов! Жуть какая, — он схватился руками за голову и стал её качать сокрушённо. — Жуть какая, а?» — «Что ты городишь? Причём здесь это?» — «Причём, причём! Вот она и обморозилась! И твоя бы не выдержала, извини меня, — сгубила ноженьки свои! Верно ведь?» — сказанул... и выскользнул из кабинета... до следующего своего фокуса.

Между Курнями и Утёвочкой

Было у меня в детстве желание пройти не спеша по каждой улочке, каждому переулку моего села.

Село наше большое, вряд ли хватит и часа для того, чтобы прошагать из одного конца в другой по прямой. Вот это-то меня и манило. Село казалось огромным.

Но я тогда так и не сделал этого. Может, не хватило терпения, а скорее, удержали мальчишеские заботы, мало ли их было у нас.

Теперь, когда я увидел много красивых и больших городов, моё село, конечно, стало казаться мне не таким уж и большим. Оно как-то сжалось и сторбилось. Хотя построены новый клуб, школа...

Мне хочется его расправить, сделать прежним. Я дал себе слово этим летом пройти по всем его закоулочкам и тем самым осуществить свою мальчишескую мечту. Но только ли в давней мечте дело?

Мне это куда важнее сделать для себя сегодняшнего, когда вся наша планета Земля, такая огромная и необозримая в детстве, вдруг стала во взрослой нашей жизни совсем беззащитной и хрупкой, судьбой своей зависимой от человека, от разума его в ядерный и космический век.

Человечество выросло из своего детства, и колыбель его, планета, стала столь зависима от него самого...

Об этом много сказано и написано.

Но сердце болит..

...Я давно, не торопясь, собираю сведения о своей Утёвке. Моя улица, где родился и, где стоит родительский саманный дом, носит название: «Центральная». Я всегда думал, что она и по сути центральная, изначально, с момента зарождения села, ведь она такая широкая и ровная. Легко было предположить: когда-то в степи началась плановая застройка домов, земли хватало. От того-то и позволительно было размахнуться и так все спланировать, что и поныне наши улицы поражают своей прямой и упорядоченностью.

Ан нет, не с моей улицы начиналась Утёвка.

Если верить запискам, сделанным Кузьмой Емельяновичем Даниловым, учителем-историком и бывшим директором Утевской школы, первооткрыватели селились не по плану, а строились там, где им нравилось.

...Богатый крестьянин Селезнев, переехавший из Красно-Самарской крепости, поставил свой хутор между двумя небольшими степными речками, впадающими в нашу реку Самару. Позже эти речки получили свои названия. Одна — Курни, другая — Утевочка. Хутор вроде бы стоял на том месте, где сейчас пролегла Саратовская улица. Так утверждали старожилы.

О Красно-Самарской крепости стоит сказать особо, уж коли основатель нашего села, которое впервые упоминается в архивных документах в 1792 году, переехал оттуда. И не только о ней, думаю, надо сказать...

Прошло всего лишь два года после Куликовской битвы, и

Тохтамыш собирает опять воедино силы Золотой Орды. Он вновь захватывает и грабит Москву, вновь вынуждает русских князей платить дань.

Усиление власти Тохтамыша и интриги ордынской знати делают своё дело: бывшие союзники Тохтамыш и Тамерлан (Тимур) становятся врагами.

Вообще, я думаю, более полутысячи лет назад, когда самарская земля стала ареной одного из грандиознейших сражений средневековья, наша, нефтегорская теперь, земля тоже испытала немало потрясений. Ведь выступивший из Ташкента в январе 1391 года с более чем двухсоттысячным войском среднеазиатский правитель Тимур, тесть золотоордынского хана Тохтамыша, вышел к реке Самаре. Две реки, Самара и Кондурча, связаны воедино грандиозной битвой средневековья между среднеазиатским востоком и полчищами ордынцев. Два великих чужих войска столкнулись на нашей земле... Надеюсь измотать силы неприятеля, Тохтамыш долго отступал. Но отступать дальше ему было уже нельзя. Возникла опасность прижаться к Волге и потерпеть поражение. Тохтамыш решился на сражение у Кондурчи (ныне Красноярский район Самарской области).

18 июня 1391 года здесь столкнулись, как пишут историки, два войска, имевшие каждое примерно по двести тысяч.

Не сбылась надежда Тохтамыша: в длительном походе армия Тамерлана не потеряла своей силы. Властный Тимур сохранил боевой дух своей армии и его тактика ведения сражения семью подвижными карифами — «кулами» — сыграла решающую роль: Золотая Орда была разбита.

Серьёзное ли расстояние от Кондурчи до Самары-реки, до земли, где теперь расположена моя Утёвка? Да, конечно же, нет, даже по тем меркам. Все было втянуто в единый и страшный водоворот, если учесть, что двадцать шесть дней победители опустошали захваченные земли. Расстояния для средневековых завоевателей были не преградой. Разбив Золотую Орду, Тамерлан завоевал Дели, разбил турок, пошёл походом на Китай... во время которого и умер в 1405 году.

На следующий год сибирским ханом был убит Тохтамыш.

Историческая битва на Кондурче ускорила распад Золотой Орды. Московское государство начало укреплять своё влияние на Волге.

...2 октября 1552 года, после ожесточённого штурма русскими войсками, Казань пала. Казанское ханство перестало существовать. А в 1556 году не стало и Астраханского ханства. Волга стала водной магистралью Русского государства.

Но в Заволжье по-прежнему находилась Большая Нагайская Орда. И хотя в 1557 году она признала свою зависимость от Москвы, отдельные орды татар не покорились и враждебно относились к русским. Московское государство для укрепления позиций начинает строить военные наблюдательные посты — по сути укрепительные линии на своих восточных границах. Это сопровождалось большим недовольством ордынцев, требовавших запрета строительства городков. Тем не менее были построены Чебоксары, Лаптев, Тетюши, Самара, Уфа, Царицын, Саратов. Что же было тогда на месте нынешней Утёвки? И что было на месте нынешнего областного центра Самары, ведь начиналось все, как известно, только весной 1586 года с возведения на высоком правом берегу реки Самары деревянной крепости. Городок ставился из сплаваемых с её верховья бревен. (Уж не из района ли нынешнего Борска сплавливали, как это делалось во время войны при строительстве в селе промкомбината, при участии моего деда Ивана Рябцева?).

...Ещё на картах XIV века обозначено поселение Самар. Как знать, может его можно назвать пращуром нашего города?

Выбором места и строительством крепости руководил алатырский воевода Григорий Осипович Засекин.

Удивительна энергия этого человека: с пятнадцати лет князь Засекин находился на службе у государя. Воевал со шведами, с ливонцами, служил воеводой. После Самары он построил в 1589 году Царицын, а в 1590 году — Саратов. Во всех трех построенных им городах князь Засекин служил первым воеводой...

...При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче строится «Закамская черта» (ров и вал со сторожевыми городками), а при Петре I в двадцати шести верстах от Самары возникла Алексеевка и в ста двадцати четырех — Сергиевск.

Но этого оказалось мало. Возведены были Красный Яр, Кондурчинская, Черемшанская, Шешминская, Кичуйская крепо-

сти. Строительство этой новой линии закончилось в 1732 году. Она соединила Алексеевку со старой «Закамской линией» до реки Камы.

Но и после этого — кочевники мешали заселению русскими Заволжья. В 1736 году по распоряжению основателя Оренбурга, статского советника Кириллова, начали строиться крепости по реке Самаре, южнее от прежней линии, в тридцати-сорока верстах друг от друга. В это время появились Красно-Самарская, Борская, Ольшанская, Бузулукская, Тощая, Сорочинская, Новосергиевская крепости. Вот из этой Красно-Самарской крепости и приехал крестьянин Селезнев, которого можно считать одним из основателей Утёвки. Откуда был род Селезнева, чем занимались его предки, остается только гадать...

Одними крестьянами удержать вновь присоединенные земли, конечно же, было нельзя. 4 декабря 1762 года Екатерина II издает манифест, в котором говорится о том, что приглашаются иностранцы для поселения на берегу Волги, по рекам Самара, Большой Иргиз, Еруслану, Тарлыку. Приглашались на поселение и беглые, в том числе и раскольники.

Беглые крестьяне из центральных районов Московского государства проникали в наш край и до этого момента. Селились они среди местного населения, платя за землю дань.

Как известно, самарские крепости заселялись местными казаками и ссыльными, но людей не хватало, поэтому здесь принимали беглых крестьян, отставных, бродяг.

Население Урала и Среднего Поволжья доставляло немало хлопот тогдашнему правительству. В год вступления Екатерины II на престол (1762 г.) в «неповиновении» находилось около двухсот тысяч помещичьих, монастырских и пришлых крестьян.

Предполагалось, что Красно-Самарская крепость должна была стать большим торговым городом с таможенной, перевалочным пунктом для товаров, идущих на Оренбург и в Азию. Но В. Н. Татищев, сменивший Кириллова после его смерти, решил эту роль отвести Самаре. И хотя Красно-Самарская крепость занимала выгодное положение: полноводная река Самара могла быть транспортной артерией, дремучий лес прикрывал крепость с одной стороны и болотистая почва — с другой. С возвышенности, на которой стояла крепость, степь просма-

тривалась на многие версты — мы видим теперь, что Татищев был прав: обмелела река, поредел лес. Все преимущества, которые очень важны были тогда, сошли на нет. А город Самара, расположенный на месте слияния двух рек — Самары и Волги — имеет большую будущность.

...Но вернемся к крестьянину Селезневу. Вблизи его хутора и стали оседать государственные крестьяне, переселившиеся из центральных губерний России: Трегубовы, Пудовкины, Юнговы, Гурьяновы и другие. Теперь это все фамилии утевские.

Так образовался поселок, который назывался «Селезневка». Потом вслед за Селезевым на территории нынешней Утёвки возвели свои постройки Киселев, Утовкин, Клюев. Утовкин поселился на левом берегу одной из речек, в дальнейшем названной по его фамилии «Утёвочка». Поселок стали называть «Утёвкой». Позже около дома Утовкина поселились предки моего деда — Рябцевы, предки моего отчима — Шадрины, потом — Климановы, Малюгины, Сидоровы. Мои соседи справа от дома на улице Центральной носят фамилию Климановы, Малюгины до недавнего прошлого жили на нашей улице, напротив дома моего деда. У моего друга детства Михаила Туманова дед был — Малюгин. Около Клюева поселились Семочкины, Ванюшкины, Ореховы, Сонюшкины, Гарины, Поповы и другие.

По соседству с Киселевым построились Горячкины, Валовы, Кирсановы, Шмиревы. Поселок стал называться «Киселевкой».

Так возникли недалеко друг от друга четыре поселка: Селезневка, Утёвка, Киселевка и посёлок, основанный Клюевым.

Мы, утевцы, должны быть благодарны местному краеведу Кузьме Емельяновичу Данилову, кропотливо собиравшему материал об Утёвке. Благодаря ему, мы сейчас можем знать так подробно об образовании нашего села. Дотошность его в поисках была поразительна. Чтобы уяснить, откуда переселились семьи в село Утёвку, он писал во многие уголки России с целью подтверждения происхождения фамилий. Изучая историю села Утёвки, Кузьма Емельянович установил, что в основном предки коренных жителей села переселились из Пензенской губернии.

«Так, например, — пишет он, — Климановы, Течкины, Поповы, Росляковы — из села Селище Краснослободского района

Мордовской АССР. Киселевы, Утёвкины (Утовкины), Кирсановы, Кузьмины — из села Яхавы (Ефаева) Рыбкинского района Мордовской АССР».

Вот что писал директор Селищенской средней школы Данилову: «Фамилии коренных жителей села Утёвки, которые Вы перечисляете в своём письме (Климановы, Росляковы, Течкины, Панфиловы, Поповы и другие) имеются в нашем селе Селище. Говор жителей села Утёвка, о котором Вы пишете, полностью совпадает с говором жителей нашего села».

Установлено, что в село Утёвку переселялись и из Тамбовской, Смоленской губерний. Вообще в Заволжье большой приток переселенцев был во второй половине XVII века и в первой четверти XVIII века. Переселялись на левобережье реки Самары гонимые тяжелой жизнью и из Симбирской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тверской, Смоленской и других центральных губерний России.

Левобережье Самары, Утёвка, стали пристанищем выходцев из многих губерний России, аккумулируя тем самым вековой опыт и уклад русского крестьянства в одном общем месте на широких просторах будущего Нефтегорского района и, очевидно, способствуя и укреплению достаточно чистого выговора, трудолюбия и основательности, с которыми утёвцы обычно обустроивают свою жизнь.

...Но вернемся к первым поселенцам. Поселок Утёвка располагался на моей родной улице Центральной, об этом говорят многие источники. До сороковых годов XX столетия она называлась «Большая улица».

Посёлок Киселевка — на Уральской улице. А посёлок, который основал Клюев, располагался на нынешней Крестьянской, около озера, оно сейчас называется «Приказное». Очевидно, название «Чернышёвка» посёлок получил от породы уток, чернышей, которых в ту пору было очень много на озере.

В конце XVIII — начале XIX века приток переселенцев усилился и все четыре поселка — Селезневка, Чернышевка, Киселевка и Утёвка — слились в одно село, названное Утёвкой.

В камышовых зарослях речек, пересекающих село, на Черном и Приказном озерах водилось множество уток, поэтому, по одному из преданий, наше село и было названо Утёвкой.

В то, что уток было когда-то много, легко поверить. Даже я помню, как мой дед по весне на огороде бил уток, а зимой — силками ловил зайцев.

Но, скорее всего, село получило название от фамилии Утовкин. В селе и сейчас живут Утовкины, вероятно, потомки первопоселенцев.

Там, где ещё недавно стоял деревянный дом культуры, в начале XIX века, к 1810 году, была построена двухпрестольная церковь, посвященная Михаилу Архангелу (малый престол) и Дмитрию Салунскому (большой престол). Тут же был и рынок, где еженедельно по средам проходили многолюдные базары и три ярмарки в году. На Фролов день, один раз в году, в поселке проходили конные скачки. В поселке Утёвка жили богатые люди: братья Темонтаевы, Кузьмины, Колодины, Ясакины, Собольковы.

Данилов писал: «Жители Селезневки, Киселевки, Чернышевки и окрестных сел обычно говорили: надо съездить на базар, на ярмарку, в церковь, на скачки, в приказ, в Утёвку...»

И далее он пишет: «Старые же названия других поселков со временем стерлись из памяти жителей села, они остались только в архивных документах. Так в списках населенных мест Самарской губернии по состоянию на 1 января 1897 года записано: «Утёвка», а в скобках: Черновка, Селезневка, Киселёвка. Так же записано в списках населенных мест Самарской губернии и в 1897, и 1910 годах».

...Я иду по нашей Центральной улице. Даже за последние пять лет она сильно изменилась. Парк, который мы, школьники, когда-то посадили почти во всю улицу из берез, карагача и тополей — было это в десятом классе — за сорок без малого лет успел вырасти, состариться и почти сойти на нет. Почему-то такое недолговечное дерево — карагач, пережило и березы, и тополя. Но, обвешанные грачиными гнездами, и они засохли. С тяжелыми черными гроздьями грачиных гнезд этой осенью повалились они под бензопилами наземь. Теперь от самого того места, где стояла церковь с двухсотпудовым колоколом, а после — клуб, просматривается в конце улицы бескрайняя степь-матушка, выдавшая так много на своём веку.

...Следующей весной прилетят, как обычно, грачи в родные места. Увы, они уже не найдут своих гнезд.

...Я видел немало людей, когда-то выпорхнувших из этих благодатных мест и вернувшихся лишь для того, чтобы посмотреть хотя бы одним глазом на старое гнездовье своих предков.

Как правило, они мало что находят. Постройки, чаще всего недолговечны. Все с годами уходит в землю.

Бесконечные укрупнения, разукрупнения, перевод села из одного района в другой заставляют перемещать и без того скудные архивы. Часть их теряется.

Так что... ищи ветра в поле...

Весенняя болезнь

Идёт затянувшееся совещание. Добрая сотня людей мается в зале. Мой сосед тихим разговором спасает нас обоих от скуки.

— Разные бывают профессиональные болезни, а знаешь, какая у меня? Моя хворь связана с весной. У одних авитаминоз и другие разные интеллигентские штучки, а у меня страшно болит шея.

— Ну, это возрастное — пошло, очевидно, отложение солей...

— Вот-вот, возрастное, это точно. А не знаешь ли, почему обязательно весной? Нет, не знаешь, а я знаю. Весной все женщины становятся прекрасными. Они благоухают! Прелестное время. В груди так вдруг и забурлит, и нестерпимо захочется влюбиться направо и налево. А тут тебе заботы весенние: капитальный ремонт завода, помощь селу, подготовка соцкультурных объектов к лету — продыху нет! Мечешься, как заяц. Вот и видишь женщин только из окна персонального автомобиля. Таращишь глаза, тянешь шею вслед очередной прекрасной незнакомки, вот она и не выдерживает!

— Кто, незнакомка?

— Да шея, чудак! Ноет без конца, болит.

— Вот это уж точно возрастное. Рано ты директором такого большого завода стал.

— А у тебя не ноет?

— Нет.

— Ну, тебе ещё хуже, брат. Ты совсем уже пропащий человек.

Председательствующий объявил его фамилию. Он, не поворачиваясь, правой рукой пошарив на соседнем сиденье, взял свою папку с бумагами и пружинистой походкой пошёл к трибуне.

Совещание шло своим чередом. Как и жизнь.

Не в этом дело

Племянница Иринка рассказывает:

— Там, на старом кладбище, землю трактором копают, и ребяташки набрали человеческих костей, черепов. Черепа поставят себе на голову и пугают девчонок. Они боятся. И Лёша боится.

Смотрю на семилетнего Алёшку. Он задумчив, лицо сосредоточенное.

— Тебе страшно было?

— Нет, не в этом дело.

— А в чем?

— Я раньше смерти не боялся, думал, когда умирают, то закопают и все. А тут могут раскопать, и всякий может пинать ногами. А ты уже ничего не можешь. Обидно.

— Обидна ещё и другая штукавина, — проговорил, опершись на штакетины, Мишка Скудаев, — неразрешимая для меня пока, я над ней долго думал. Никак не осилю...

— Что ж такое может быть? — удивился только что подошедший Андрей Сарайкин, слышавший рассказ племянницы.

— Есть кое-что, — не спеша продолжал Скудаев, подбирая нужные слова. — Ответа на неё нету, на эту мысль.

— А ты скажи, я попробую, — предложил Сарайкин.

— Вот она, — Скудаев показал на Ирину, — говорит, пацаны бегают и пугают черепами. Как ты мне все это объяснишь, ежели считает, что души переселяются?

— Не понял, — мотнул головой, будто боднул с кем, Сарайкин.

— Ну, вот, — ровным голосом продолжил Скудаев, водя пальцем по косому срезу штакетины, — если душа переселилась от умершего, чьим черепом пугает пацан Петька в самого Петьку, а? Как она позволяет ему такое? Бегать и пугать?

Мы с Сарайкиным враз взглянули друг на друга, оторопев, глаза у Андрея были не на месте. Наверное, мои тоже.

— Ну, вы чевой-то, прижухли? Высоцкий пел же, что души переселяются? Пел! Или он врет, или они переселяются. Одно из двух.

— А сам-то ты как думаешь? — нашелся наконец Сарайкин.

— Неправду пел Высоцкий, быть такого не может. Вот у меня дочка родилась, а в неё раз — душа влетела из Англии. Тогда она ж у меня иностранка! Как мне с ней: воспитывай её, а она — леди. Мне надо её коров учить доить, навоз убирать и все прочее такое делать, обыкновенное для нас дело и ужасное, неумоготу для иностранной породы. Или вот на фронте, как быть? Противник — он и есть противник. Его уничтожить надо. А в какого-нибудь фрица душа моего деда или отца вселилась, как действовать? Заколеблешься?

Мы не знали, что ответить. Я взглянул на Скудаева, у него лоб блестел — в пот ударило от собственных слов.

— И вообще, мы с вами сейчас кто будем? Вот трое? Может, интернационал: немец, русский и поляк, а? Танцевали краковяк...

— Скудаев, у тебя загогулина в башке неправильная, — сказал Андрей Сарайкин убедительно, как мог.

— А у Высоцкого какая? — парировал Скудаев.

— Дурачился твой Высоцкий, не понятно разве?

— Ну, он пускай дурачился. Но сейчас все говорят о переселении душ.

— Сейчас многие спятили, понял? — привёл, порывшись в кудрявой голове пятерней, веский довод Сарайкин и сморщился, как от изжоги.

— Во! — обрадовался Скудаев, — ты молодец, я тоже так думаю — многие спятили. Универсальный довод. Этим доводом я, как вагой, многие неподъемные вопросы переворачиваю. А то ни в какую. Ученый один сказал: дай мне вагу и я переверну мир.

— Не вагу, — возразил Сарайкин значительно.

— А что? — настороженно спросил Скудаев, очевидно, не очень желая оставаться не точным в столь важном вопросе.

— Рычаг.

— Ну, не в этом дело! Не в названии. Пускай будет рычаг.

Сарайкин продолжил:

— Вот если в этого ученого душа из наших мест, из деревенских, вселилась, он мог бы сказать «вагу».

— Если, если! Ты-то веришь в это? Или нет? — Михаил резко оттолкнулся от изгороди и безнадёжно махнул рукой.

Я все ждал, что кто-то из них не выдержит и засмеётся. И обнаружится розыгрыш. Но они оба были сосредоточенно серьёзны. Я, видимо, не до конца понимал важность мучившего Михаила Скудаева вопроса.

Погоня

Набродившись по жару, я расположился под старой ветлой близ маленькой высыхающей старицы. Редкие всплески доносились до меня. Стадо коров, разморенных июльским зноем и погрузившихся в воду, дремало.

Но вдруг вода в озере взбурлила, застоявшиеся буренки, вырывая ноги из тины, ринулись на берег. Струдившись, они взбили пыль на берегу и шарахнулись на бугор.

— Лось! — изумленно вскрикнул один из подпасков, очевидно, сынишка пастуха.

Я посмотрел в направлении, куда показывал мальчик. Степенно неся горбоносую, увенчанную широкой чашей рогов голову, спускался к воде лось. Он был великолепен. Дикое дитя природы! Но всё-таки в этом заповедном звере как-то не доставало величия. Было похоже, что скрывался он от долгой, изнурительной погони. Но от кого мог бежать этот великан? Раздувающиеся его бока были мокрыми.

— Пашка, Генка, чего смотрите? Гони! — шумнул ещё не пришедший в себя от дремы пастух.

И не успел я подойти, как ребяташки вскочили в седла и под залиvistый лай собачонки погнали лося. Тот, не дойдя до воды, метнулся, скинул голову и, ускоряя бег, помчался по равнине к лесу, отгороженному широкой лентой пашни с молоденькими сосенками.

Поругиваясь, пастух начал собирать коров в кучу. С высокого берега старицы было видно, как, обогнув дальний её из-

гиб, лось отрывался от преследователей. А те гнали вовсю га-лопом, охваченные азартом погони.

— Не случилось бы чего с ребятней, — забеспокоился пастух, — заставил — и сам не рад. На-за-а-ад! — сложив рупором ладони, прокричал он. Но голос его тут же увяз в знойном воздухе.

В следующий момент лось резко повернул в сторону. Там, куда он устремился, блеснуло на солнце узенькое болотце. Лось, с разгону войдя в воду, нагнул голову. Не трудно было догадаться, что он жадно пил. Но что это? Выйдя из воды, зверь рухнул на землю...

— Хиляк попался, наверное, сердечник, — встретил нас на полпути радостно возбужденный Генка, старший сын пастуха.

Было странно видеть и знать, что дикая и, казалось, неумемная сила рухнула так вот запросто, никчемно.

— Папань, а рога ножовка возьмет? — Генка не мигая смотрит на отца.

— Да замолчи, — отмахнулся пастух.

Пашка сидит на траве молча, учащенно шмыгает носом. Старается не поднимать головы...

День померк.

Было неловко и стыдно, что никто не сумел, не догадался остановить эту нелепую погоню.

Заводской Эзоп

Он храбрым был. Но притворялся трусом.

Он мудрым был. Но дурака валял.

Кривлялся. Потрафлял жестоким вкусом.

И плоской шуткой с грохотом стрелял.

Юнна Мориц. «Паяц»

Он был иногда назойлив, как осенняя муха. Настигая меня в столовой, у проходной скороговоркой выдавал свои «перлы». Косноязычие мучило его. В сочетании с его жанром — он писал басни, это снижало впечатление в разговоре с ним. Не наблюдалось, как мне казалось, блеска.

Его шутки были, как выкорчёвывание огромного корнеплода, допустим, свеклы, полезного, ёмкого, но грязноватого

ещё, необработанного, содержащего и сахар, и в последующем хмельную брагу — но пока... всего лишь серый комок. Не хватало шарма в его экспромтах.

Когда была хоть какая-то возможность, я приглашал его к себе в кабинет. Но там он становился суетным, начинал ерничать. Его смущала официальная обстановка. Я понимал — это защитная реакция, но все же досадовал: хотелось душевного разговора...

...Он был живой персонаж моей повести «Черный ящик». Я всегда его слушал внимательно. Мне не интересно придумывать жизнь, какая была или будет. Какая она есть, — это всегда влекло. Вот он, живой, в застиранной спецовке, с руками, пропахшими потом, человек.

Он отличный слесарь-инструментальщик. Я его наблюдал и с разводным огромным ключом, и колдующим над сложными чертежами.

Но не хватало ему «художественности», того, что я пытался обрести и сам в своих литературных опытах, что ценил более всего тогда. А у него, казалось мне, и дум об этом особых не было. Несколько раз я просил его дать мне посмотреть его басни, про себя думая: может как-нибудь да издадим?!

Он обещал, но не приносил. Я это понимал по-своему. Ещё не созрел, сам себя готовит. Это, может, и хорошо. Зачем торопить? Пусть сам решает. Его влекла сатира, а был он весельчак и балагур. Его знал весь наш заводской люд — тут он проработал сорок лет. Да что заводской! Он дружил со всеми пишущими в нашем городе — единственный баснописец в Новокуйбышевске! Имя его — Владимир Николаевич Долгинин. Чаще всего он подписывался — «Скорпион». Под этим именем он и попал ко мне в мою повесть «Чёрный ящик».

...Было время, когда нелегко было работать. А когда директору завода легко? Но уж сильно прижало. Разгул псевдодемократии душил заводскую дисциплину. Зачумленные вседозволенностью члены совета трудового коллектива рвали заводскую власть на лоскуты. Каждый примерял с чудовищной безответственностью добытый кусок этой непростой материи на себя. Уже «общественный директор» — председатель СТК — давал интервью, делился планами работы на год. Досадно и больно было наблюдать, как эта дирекция основ-

ными задачами своей «деятельности» ставила «зажать» действующую администрацию, отобрать у неё распределительные функции. И никто не хотел на себя брать организационную часть работы. Все делалось, чтобы развалить то, что есть, а потом на обломках выносить приговоры и окончательно брать власть. Увы, это был уже отработанный на многих заводах сценарий, а вернее, план захвата власти. Многие заводы от этого уже лежали полуживые. Ибо захватившие таким образом власть кроме «захватов» чаще всего ничего не умели делать.

И вдруг среди этой вакханалии Скорпион печатает в нашей газете «Большая химия» свою «Оду директору». Многих эта ода заставила задуматься.

Оказалось, что муха может быть храбрее и смелее льва. Многие «львы» — главные специалисты завода — сникли, пригнули головы, а слесарь-инструментальщик Долгинин ринулся в бой! Он чувствовал истину. Он был по-своему мудрый человек. Обычно он защищал честных ежей, умных бобров, муравьев и клеймил стократно в бесчисленных своих байках львов-плутократов, грачей-рвачей и так далее, а тут такой громогласный поворот. Не каждый, прочитавший оду, поверил, я думаю, в искренность автора, уж больно критиканство «верхов» было сильно. Но тем и замечательней был поступок автора. Он потом долго старался не попадаться мне на глаза, очевидно и ему была непривычна роль защитника «верхов». Он, я это чувствовал, боялся, что приму его оду как подобострастие. Он этого терпеть не мог. Скорпион по гороскопу, он и в жизни был таковым.

*...Ну, погоди! Госдума и Закон
Прижмут хапуг, должно быть, очень скоро,
Отнимут миллиард и миллион
И нищим отдадут. Осталось ждать немного —
Всего сто лет, иль двести...*

Он не был бодрячком. Он пронзительно смотрел на мир, порой и грустно.

— Гендир, знаешь, нельзя надеяться на то, что на земле будет когда-нибудь рай. Вредно так думать. Но человеками надо пытаться оставаться, верно? — И сам ответил, зная моё мнение наперед: — Ежу понятно.

— Коль рая нет и не будет, то не будет и счастья. Есть же формула: «Счастливы тот, кто не родился», — пытаюсь я разговаривать Скорпиона.

— Не так, гендир! Совсем не так! У каждого из нас своё, и каждый может испытать счастье, хотя бы на миг.

Теперь, читая его:

*Я как будто в лесу, в буреломном лесу:
Что ни шаг, то овраг, где ни встал, там провал.
Чертыхаясь, бреду я сквозь дождь и грозу.
Как осина, дрожа, я храбриться устал,
Я дорогу ищу, я кричу, я свищу.
Волчьим воем глушу необузданный страх:
«Отвяжись! Отойти! Не пущу! Не прощу!
О, помилуй, Господь! Не свирепствуй, Аллах!»* —

я понимаю, почему он не говорил гладко, и не было в его речи изящества и косноязычье мучило его. Он думал и о себе, и о нас всех сразу. Он о многом думал, и хотел на все дать только свой ответ, ни у кого незаимствованный. Но ответ не сразу давался.

Однажды у него вырвалось:

*Плохие песни, говорил Крылов,
У соловья в когтях у кошки!..*

Скорпион умер в конце прошлого года.

Владимир Николаевич не успел издать своей книжки. Когда я задумал изготовить крест на могилу художника Григория Журавлева, он с душевным просветлением взялся помогать. Теперь этот металлический памятник, художественно оформленный, стоит там, где ему и положено. Когда я приезжаю после долгой отлучки в своё село и подхожу к этому кресту-памятнику, душа успокаивается.

...Он был одним из нас, поэтому, может быть, мы не могли видеть в нем ничего пророческого.

Он был каплей, капелькой всего человеческого, может быть, так...

...«Если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали, было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?» — этот вопрос когда-то задавали Викентию Вересаеву.

«Вот перед вами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось. Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожаем бы погиб». Так ответил писатель.

Это и о нем, о Владимире Долгинине.

Поговорить бы

Помню, как-то в течение полутора-двух месяцев по телевидению прошли фильмы: «Чапаев», «Мартин Иден», «В людях», «Ленин в Польше». На каждый из них пришлось давать семилетнему моему сыну Славе пояснения на его «почему» и «как». Было это в семьдесят восьмом году.

Незадолго до этого невесть откуда он узнал о царе Петре I, пришлось рассказывать о «хорошем» царе. И вот результат.

Слава пристроился один на скамейке в палисадничке, ноги — калачиком. Задумчив, почти суров (если можно быть суровым в его возрасте).

— Слава, ты чего такой задумчивый?

— Я думаю, пап.

— О чем же ты думаешь?

— Я думаю: хорошо бы нам собраться всем вместе и поговорить.

— Ну, давай соберемся, зови маму.

— Нет, папа, хорошо бы собраться нам всем: Джеку Лондону, Ленину, Чапаеву, Петру I, Горькому и поговорить!

— О чем поговорить?

— Ну, пап, какой ты! О чем?! О жизни!

...Интересно, с кем захочет собраться и поговорить мой внук Саша? Пролетели двадцать два года. Внуку уже шесть. Скоро скажет..

Не собственник

Мой сосед по купе «завелся» с ходу. Видно, заядлый рассказчик.

— Когда в Лондоне, в музее восковых фигур мадам Тюссо, я решил подойти к Наполеону и померяться с ним ростом, по-

казалось, что великий француз мне хитро подмигнул. Это, скажем прямо, странное дело я никак не мог объяснить. Но так было, ей-богу. Не придумал же я. Ростом-то померился, и оказалось, что я выше, вернее, немного длиннее его.

Когда случилось то, о чем сейчас расскажу, вспомнил все это.

...Значит, приехал я в Москву не один — со своим замом по экономике. Поселились, как обычно, в гостинице «Ленинградская» у трех вокзалов. Расселились по разным номерам и надо же — я почувствовал простуду. То ли в поезде кондиционер помог, то ли раньше где, но кости поламывает, в горле першит и нос забит. Можно бы перебиться, но на следующий день мне предстояло в Правительстве у Черномырдина делать сообщение по своему заводу. Все дело в том, что мы тогда затеяли большой проект. Нашли инвесторов, кредит большой — свыше ста миллионов немецких марок, и нужна была для немецкой стороны правительственная гарантия.

Нельзя было гнусавить на докладе.

Дежурная по этажу нашла только аскорутин и то всего две таблетки. Я проглотил их обе и улёгся в постель. Вдруг стучится дежурная и предлагает рецепт:

— Если хотите на завтра быть здоровым, слушайте. Не гарантирую, сама не пробовала, сейчас подружка подсказала. Надо взять стакан хорошего коньяка, нагреть градусов до сорока-пятидесяти и выпить. Не закусывая, лечь в постель.

Коньяк стаканами я ещё не пил, но был готов на все.

Примерно через час ввалился посыльный от моего дружка, которому я позвонил, с бутылкой «Наполеона».

— Вот, Виктор Алексеевич сказал, чтобы коньяк был надежный, не суррогат, а где сейчас гарантия? Все объехал, что мог, решил на Арбате этот взять. «Наполеон» — вроде похож на настоящий.

— А где же Виктор?

— Да у него какое-то сложное дело, обещал позвонить.

Посыльный вышел. Я остался один на один с «Наполеоном».

Подогрел бутылку под краном в ванной. Вернулся, налил полный стакан, поставив его на журнальный столик посередине номера и присел рядом в некотором раздумье. Не совсем ещё верил, что я готов на такие подвиги.

И в это время в номер зашел мой заместитель. Глаза его

округлились. Он попивал. И в дороге, в поезде, в гостиничном номере — везде у него под рукой с собой было. Опыт в этой сфере был у него редкостный. Любил он это дело. Иногда его заносило, и я, зная это, старался компанию с ним не поддерживать, но и не запрещал. Так было и в эту поездку. В поезде я в этот раз непил.

— Гендир, в одиночку употребляем? Не похоже!

Он искренне удивился, воззрившись на коньяк.

— Лекарство. Видите? — и я потянул воздух забитым носом. Налил и ему полстакана.

Он пригубил, поморщился и махнул рукой:

— Мне в город надо, не могу сейчас.

Это было совсем не похоже на него. Странный день какой-то выдался.

Когда он вышел, я, зажмурившись, опорожнил стакан. Потом, махнув рукой, с какой-то даже необычной лихостью налил из бутылки остатки и выпил. По рецепту закусывать не полагалось.

Когда я убирал бутылку и стаканы, меня уже «повело». Быстренько разделся и бухнулся в кровать под одеяло.

...Проснулся в шесть утра, проспав беспробудно десять часов. Сушило страшно во рту, но вчерашней потливости как не бывало. Нос мой функционировал как новенький. Чудо — не лекарство. Очень хотелось пить.

Совещание прошло нормально. Не было Черномырдина, вел его зам — Олег Сосковец. Было с десятков высокопоставленных чиновников, включая заместителей министров смежных ведомств.

Через день я ехал в Самару, домой. В папке у меня лежала правительственная гарантия. Не зря мне Наполеон тогда подмигнул в Лондоне. Ты запомни рецепт-то, простенький он. Дарю — я не собственник.

Он замолчал. Я почувствовал, что настала моя пора что-либо рассказать похожее. Но что-то на ум занятного ничего не шло.

«Рановато он, с ходу начал, Сызрань только что миновали, до Москвы ещё...»

— А вот ещё разок история была забавная, рассказать? — и мой попутчик заразительно расхохотался.

— Давайте, — охотно согласился я.

Под карагачами

Сегодня в закутке нашей парикмахерской, пока дожидался своей очереди, наблюдал, как один из её посетителей долго и нудно втолковывал другому самые, что ни есть, прописные истины.

Бедняга-слушатель мучался от бестолкового разговора, от того, что ему говорят о вещах, в которых он и сам не хуже разбирается, больше: он вполне придерживался того же мнения, что и говоривший, но прервать разговор не решался.

Говоривший (потом я узнал его имя, но запомнил прозвище — Ботало) любил свою мысль и явно считал себя намного умнее других.

Я видел, как облегченно вздохнул терпеливый слушатель, когда подошла его очередь, и он скользнул бочком в дверь.

По пути домой подумалось: «А ведь пишущий тоже чувствует себя в момент написания в некоторой степени талантливее всех остальных смертных, чувствует, что только он один может так сказать о чем-то, и говорит. И он вправе так чувствовать, иначе ничего стоящего никогда не напишет».

Простенький случай в парикмахерской стоил мне, как оказалось потом, бессонной ночи. Вечером перед сном встали частоколом вопросы...

Почему всё-таки я пишу? Для чего? Ведь столько уже написано другим, но стал ли от этого мир лучше? Писать, вопреки всему, никого не слушая?

Творить мелодию, подобно той, которую я слышал в Швейцарии, когда на альпийских лугах паслись стада коров? У каждой на шее было по колокольчику, боталу. По дорогам снова-таки автомобили, шли люди. В небе летали самолеты, а эти колокольчики вели свою особую независимую мелодию. Они были всё-таки частью той жизни, которую я наблюдал в Альпах или они только напоминали о ней?

Жажда ли поиска истины рождает неумное желание писать или стремление свидетельствовать только то, что вокруг нас есть? И то, и другое?

Ещё больше разворошились во мне тлеющие сомнения, когда прочел слова Алексея Алексеевича Ухтомского. Они не раз-

веяли сомнений, они заставляли не соглашаться или соглашаться только частично, и толкали мысли дальше...

В 1928 году он писал: «Я вот часто задумываюсь над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — писательство. Не странно ли, в самом деле, что вместо прямых и практически понятных дел, человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей — писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать! И, видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он прямо болен перед тем, как сесть за своё писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает! В чем дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человеке «с горя», за неудовлетворенной потребностью иметь перед собой собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там, где-то вдали, найдутся души, которые зарезонируют на твои мысли и выводы!...»

И так, и не так. Уж никак по-моему писательство не возникло только «с горя», от отсутствия друга.

Писать иногда удобнее, если представить перед собой друга, к которому ты обращаешься или который ждет от тебя слова. Но ведь это только прием и всего-то. Есть в писательстве то, что невозможно определить однозначно, и я не пытаюсь этого делать.

Меня однажды обожгла фраза: «Человека учат говорить, чтобы он когда-то понял, почему он должен молчать». Но для чего человек пишет? Не своеобразное же диссидентство: одни просто живут, а другие живут да ещё пишут о жизни. Что всё-таки это?

Стремление продлить жизнь? Ведь она так коротка! Но кому? Себе? Своим героям? Вообще продлить жизнь, понимая её уникальность и неповторимость? Просто продлить? Или продлить для того, чтобы понять что-то? Но что понять? Что самое главное в жизни? Но разве одному человеку можно понять, что сейчас самое главное в жизни? У каждого своё главное.

...Ведь если это разговор с собеседником, которого тебе не хватает, то в конце концов всё может вылиться в монолог, а если ещё дальше, думал я, превратиться в лапидарные фра-

зы, в афоризмы. Вот уж спасение будет от телевизионщиков, пусть попробуют экранизировать афоризмы. А что, если писательство — не желание продлить жизнь, а сделать саму жизнь? Сконцентрировать на бумаге — прошлое, настоящее, будущее?

Что самое дорогое у человека? Сама жизнь. И она быстротечна, она чаще всего трагична. Она — такая важная и нужная — для того, кто научился ценить жизнь, вершится, порою, кажется, не людьми вовсе, а Создателем. И хочется попробовать самому делать то, что самое главное на земле — жизнь. Но для чего? — вновь задавал я себе вопрос и вновь вынужден был сказать: для того, чтобы понять, что же главное в ней. Понять истинное. Но это же невозможно, — вновь спохватывался я. А раз невозможно, то все писательство, как намёк истины, как путь к истине — это все впустую, все бесполезно? Ни одному мудрецу не удавалось поймать истину. Можно мыслить оригинально, писать оригинально, идти к истине оригинально, но все равно к ней не придёшь. Я схватился за соломинку: может, смысл, самое главное, — в самом пути, а значит, опять, в самой жизни?

Вспомнились слова Джорджа Сантояна: «Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу — и при этом не менее мудрое».

Но в мудрости ли дело? Ведь сказано уже: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».

И тут всплыл в памяти вопрос моей мамы: «Шура, зачем тебе это надо? Только глаза ночами портишь».

И вспомнил себя в детстве, когда я узнал, что мой друг Мишка украдкой пишет повесть об отце, вернувшемся с войны на костылях.

— Ты пиши, Мишка, все опиши, — шептал я тогда, глядя на Мишкино светящееся окно в ночи, — пусть все знают, какой твой отец, дядька Степан, знают, как он под обстрелом вынес раненого Миньку Сухова.

Как мне хотелось, чтобы Мишка написал и о моем отце.

Писать — единственное средство

Сберечь на свете, что прошло...

Тогда я не знал этих строк. Теперь знаю...

Так сберечь или найти? Или — то и другое? Или — найти и сберечь всё-таки?

Я опять начал путаться. И никакая моя начитанность мне не помогала. Не было для меня ответа на этот вопрос: зачем пишу?

Я открыл дверь и вышел из своего домика в огород. Подошёл к колодцу, который мы с мамой когда-то копали. Я его этим летом обновил: убрал журавец — он совсем стал гнилой — опасно было подходить. Ветловый сруб заменил на четыре железобетонных кольца — этого почему-то при жизни так хотела моя мама. Сделал над ним металлический навес и покрасил его в голубенький весёлый цвет. А все чего-то не хватало. Деревя не стало. И мамы нет. Души не стало у колодца. Той, которая была.

Я подошёл, потрогал цепь. Ночью все немножко другое. Сегодня днем брал воду, деловито и быстро. Сейчас я был иным. Цепь ещё та — родительская, а бадейку, клепанную отцом — крепенькую, из толстой жести с надежной, чуть ли не в сантиметр толщиной, дужкой, — украла.

Я повесил ещё днем вместо бадьи обычное ведро. И стал оттого мой колодец совсем чужим.

...Когда вернулся в дом, бодрый и гулкий будильник показывал три часа.

Мне больше не хотелось думать о том, зачем я пишу. Я чувствовал свою неспособность однозначно ответить на вопрос, которым сам себя периодически мучаю.

«Да что же я? Ведь был же момент, когда понял, что не буду торопиться отвечать, для чего я пишу. Пусть за меня отвечают мои тоненькие книжки».

— Все нас забыли, деревню забыли. Всех и все забыли. А ты помнишь, сердцем помнишь! Не глазами и умом, а — сердцем.

Эти слова моего одноклассника прозвучали во мне так отчетливо и внятно, что я вздрогнул.

«Помню», — сказал я себе вслух. И встрепенулся: жив ли мой дружок детства? Месяца два я его не видел.

Завтра надо сходить к нему: у него матери с отцом давно уже нет, как у меня.

«...И жена ушла», — запоздало вспомнилось.

И все мои ночные размышления при этих мыслях показались ненужными, мешающими жить, работать, писать...

Два Ивана

Есть два человека, без которых я не представляю город Самару и без которых моя жизнь стала бы намного беднее. И хотя мы встречаемся нечасто, и в суете городской подолгу пропадаем друг у друга из виду — мы словно в одной большой деревне. По крайней мере, так обстоит дело со мной. Я не могу назвать их своими друзьями, как не могли мои отец и дед назвать друзьями своих односельчан, хотя судьбы многих из них самым причудливым образом и в войну, и в мирное время в быту переплетались так, что диву даешься.

Они не мои односельчане, нет. Мы из разных сел: Иван Иванович Морозов из Кошек, а Иван Ефимович Никульшин из Сосновки, что под Мало-Мальшевкой. Мы — сельчане, живущие в одном городе. Сельчане-горожане. И вроде бы я не подхожу к ним со своим отчеством и фамилией. Мне и самому иногда кажется, что живу я под псевдонимом, и очень долго в студенческие годы желал, чтобы фамилия у меня была матушкина — моих русских деда и прадеда — Рябцев. И назвать меня могли Ванечкой, ведь дед мой — Иван. Но мама моя! Она хотела остаться верной своему обещанию, которое дала моему отцу. Это обещание ещё более стало незыблемым, когда отец мой не вернулся с войны. Она дала слово тогда, в лихолетье, сохранить и сберець Сашу Малиновского — меня.

...Каждый по-своему: Иван Ефимович — в литературе, а Иван Иванович — в театре, делают своё и в то же время наше общее дело — как могут сохраняют и несут русский дух. Органично, ненавязчиво. Просто как могут, так и живут, и работают, и думают — по-русски. И другими они быть не могут. Они такие по сути.

В аннотации одной из книг Ивана Ефимовича прочитал: «...писатель продолжает исследовать народный характер, оставаясь верным правде жизни, он не пытается приукрасить ни своих героев, ни те жизненные обстоятельства, в которых они действуют».

Так ведь эти слова можно отнести и к артисту Ивану Морозову.

«Так вот чем дороги мне эти два человека, — однажды подумалось мне, — верностью правде жизни, той верностью, ко-

торая была всегда в поведении и в самих поступках моих земляков».

Проза Ивана Ефимовича, как и он сам, соткана из спокойного, лирического света, интонации доверительной и наполняющей энергией человечности. Это так. И в этом прелесть его письма.

Родился Никульшин в 1936 году в поселке Сосновка — совсем недалеко от моей Утёвки. Он и теперь летом живет в домике рядышком с родительским, который купил когда-то. Я бывал у него в гостях в Сосновке, все так до боли родное и знакомое, что о многих вещах с ним не было нужды говорить вслух. Всё понятно без слов, как когда-то бывало у меня с моими родителями. А ведь Иван Ефимович старше меня всего-то на восемь лет.

Но в нем такая надёжность и то незаметное мужество, которого требует наша нынешняя российская действительность, что невольно проникаешься признательностью, ведь это все органично переходит в его книги. Он надёжен и в своей литературной работе, не слишком поддаваясь воображению, что очень дорого мне лично, не конструирует сознательно жизнь своих героев. Берёт в большей степени то, что есть в самой жизни, что увидел и пережил лично, не боясь обыкновенных, сотни раз повторяющихся событий, видя в них повседневный быт и дорожа этим бытом, как самой российской действительностью, самой жизнью. Жизнью, которая обязательно должна быть освещена добром и светом для каждого из нас.

Так сложилась судьба писателя, что свою первую книгу повестей «Молочные реки, кисельные берега» он издал в 1978 году, когда ему было уже за сорок. До обрушившегося на нас беспредела, в том числе и в литературе, оставалось совсем немного, всего-то меньше десятка лет. Но сколько им написано замечательного за это время! И сколько сделано потом и, я знаю, делается сейчас. Если человек рожден тружеником, то он им останется на всю жизнь. Это касается и писателя.

...Я уже издал десять своих книжек, а его рассказ «Утица луговая» помню постоянно. Помню начало: «За околицей бабы метали стога...» Помню и конец: «Я нес чемодан и, пока виднелись стога, все оглядывался на них...» Почему помню? Сразу не объяснишь... Ближе все очень моему сердцу.

...Словно осенние палые листья ворошу старые областные газеты. Но грусти нет, есть радость за людей, чьи жизни и творческие судьбы состоялись. И состоялись у многих самарцев, в том числе и у меня — на глазах.

Вот, кажется, первые заметки, на одной газетной странице и о сельском кинемеханике, затем заведующим сельским клубом в Кинельском районе Иване Никульшине, и об Иване Морозове.

«Познакомьтесь: Иван Никульшин», — так начинается одна из них. И под ней три стихотворения.

А чуть выше — «Новое имя» — это уже об Иване Морозове. Они начинали одновременно.

Родился в деревне. В детстве мечтал стать художником, испачкал немало бумаги. Потом переехал в Куйбышев, поступил на завод, на 4-й ГПЗ. Армия и закалила Ивана, и укрепила его творческую натуру. Он посылает документы в студию при МХАТе в Москву, но невезение — опоздал к началу приемных экзаменов. Так и вспоминается история поступления Василия Шукшина во ВГИК...

И вот декабрь 1963 года. Премьера «Матери». В роли Весовщикова бывший студиец Иван Морозов. Дебют недавнего студийца нашего, теперь Самарского, драматического театра оказался удачей, очевидной для всех. Кроме всего, молодому исполнителю, я думаю, крепко помогло его умение чувствовать народный язык Горького.

Так рождался когда-то на нашей самарской сцене русский народный актер (по другому о нем не скажешь, именно — народный) Иван Морозов. У него все герои потом будут добрые, как и герои писателя Ивана Никульшина. Я заметил, что попытки дать неприглядные стороны человеческого характера у Никульшина, как бы сказать, чтобы не обидеть его, не очень удачны... Может, от того, что нет такого душевного опыта у автора? И слава Богу, что нет!

...В театре, кто помоложе, зовут Морозова дядей Ваней. Доброта и совесть — качества народные. И доброта эта «нутряная», корневая, идущая от глубины народного отношения к жизни.

«Я вас всех помню и люблю, и чтобы я ни делал на сцене нашего театра, я всегда помню, что я кошкинский, а в Кошках

живут замечательные люди, и я им желаю всего самого доброго», — это признание Ивана Ивановича своим землякам.

А вот что написала звезда Самарского драматического театра Ершова на фотографии, где они сфотографированы с Иваном Ивановичем: «Ванечка! Ванюша Иванович! Этот «неожиданный ракурс» — свидетельство моего нежного отношения к Тебе — хорошему самобытному актеру! Человеку необыкновенному, неповторимому в своей доброте человеческой...»

С 1960 года и до нынешних дней быть в одном театре дано не каждому и не каждому дано с достоинством пережить многолетние творческие простои. Ведь так далеко ещё было до «Старосветских помещиков» Гоголя!

...Если быть более точным, первая роль у Ивана была в начале занятий в студии. Постановщик Петр Львович Монастырский ввел его в уже идущий спектакль «Мария Стюарт».

Ну, а первая роль со словами — Яков Лаптев в спектакле «Егор Булычов и другие».

Потом их было немало, самые любимые из которых для актера: Васильков в «Бешеных деньгах», Маргаритов в «Поздней любви», Иванов и Кузовкин в «Чужом хлебе» и, конечно, деревенский мужик Касьян в «У святских шлемоносцах» Е. Носова.

Многим зрителям запомнились его роли в классических пьесах И. Тургенева, А. Островского.

Права была драматург И. Тумановская, сказавшая однажды, что талант Морозова растили «всем миром».

«Весь мир» — это родители артиста, сельская деревенская школа, послевоенная, холодная, с замерзшими чернилами, первая учительница Федотова Клавдия Васильевна, Лия Петровская, первая заразившая его сценой, его педагог по сценической речи и мастерству актера народный артист РСФСР Михаил Гаврилович Лазарев, главный режиссер Петр Львович Монастырский. Играть с такими мастерами сцены как Александр Иванович Демич, Сергей Иванович Пономарев, Варвара Евгеньевна Красова, Николай Николаевич Засухин, Николай Николаевич Кузьмин, Вера Александровна Ершова и другие — разве не школа?! Школа. И школа человеческой доброты.

В свободное время он работает над «безделушками» — из корней деревьев, всевозможных наростов на коре творит чуда. Под его ножом и резцом рождаются забавные и дивные,

чаще добрые, чем злые, загадочные существа. Он и сам мне иногда кажется сотворенным из огромного с развесистой кроной и крепкими корнями дерева прочной, надежной породы, сердцевина которой тонко и по-своему органично отзывается на все, что вокруг него. Надо только суметь прислушаться внимательно, не поддавшись суете наших дней, и, призадумавшись, вдруг обнаружить: есть разные таланты, но есть такие, без которых сама наша жизнь потеряла бы свою основу — талант любить людей, любить мир вокруг себя: небо, поле, речку.

...Я пригласил его на мой творческий вечер в Нефтегорске.

Он читал моим землякам главку «В грозу» из повести «Под открытым небом». И читал её так, как будто он это сам написал, так ему все было дорого и значительно. Читал с улыбкой, которая не сходила с его лица. Он блаженствовал, и мне казалось, что это не я написал, а он, а то, что там значится моя фамилия — это какое-то недоразумение. Все было как будто из первых рук, словно не было бумаги, пера, автора, издателя. Книги, наконец, самой, а был — Иван Морозов — единственное связующее звено между нами и героями рассказа.

*Не на сложности века —
На себя мне пенять,
Если я человека
Не умею понять.*

Это написал поэт Иван Никульшин, но я уверен под этими строками с готовностью поставил бы свою подпись и артист Иван Морозов.

Когда смотрю на него, всегда вспоминаю, и не я один, мастеров Малого театра — Жарова, Ильинского. В них много общего, но у Ивана Ивановича есть одна особинка, которая для меня несказанно важна, он наш — самарский. И он — «паренек из Кошек» — так о нем когда-то сказала И. Тумановская.

...«Однажды иду по городу и вижу маленькое объявление: «Школа-студия при драмтеатре набирает артистов». Пошёл. Приготовил басню и отрывок из «Судьбы человека», где Андрей Соколов пьет водку у немцев. Экзаменаторы: Лазарев, Блюмин, Монастырский, Пономарев, Аренский. Приняли. И сразу же меня поставили стражником в «Марии Стюарт», а я ещё гуманитарные экзамены сдать не успел».

Так бесхитростно и просто о себе может рассказывать только очень щедрой души человек.

Я не был на родине Ивана Ивановича и об этом написал ему в стихотворении, которое прочитал на творческом вечере в Нефтегорске.

*Взять бы в дорогу какое лукошко,
Хлеба краюху, бутылку вина,
Да потихоньку отправиться в Кошки —
Манит родная твоя сторона.
Не замечая бензиновой гари
По большаку, а потом и проселком,
Дальше уйти от галдящей Самары
И затеряться в березовых колках.
У родничка бы, глядишь, посидели,
Около пня, в окруженье оянт.
И помолчали б, а может, попели.
В небо взглянули, а может — в себя.
Много увидели б, много узнали,
Чувствуя рядом друг друга плечо.
Потолковали бы и повздыхали.
Спросят: о чем?*

Враз не скажешь о чем...

Мне очень хочется побывать на родине этого светлого человека, а если бы ещё приехать туда вместе с Иваном Никульшиным, то был бы праздник души. Честное слово!

...И артельное дело бы любое сработали. С такими-то мужиками отчего не сработать!

Море

Мой новый знакомый рассказывает:

— Из Крыма пришлось уехать. Двадцать лет прожил. Все было нормально. А теперь... Приехали жить к маме в Новокуйбышевск. На улице Успенского — две семьи в двухкомнатной квартире. Ничего, но дети страшно скучают по морю, каждый день вспоминают Мисхор.

...А вчера утром Димка вышел на балкон и кричит оттуда:

— Папа, пап! Морем пахнет, здесь же где-то море рядом. Иди сюда! Все идите!

Вышли с женой на балкон. Глаза у сына светятся.

— Чувствуете! — и радостно ручонками машет. — Ветер с моря.

— Чувствую, — говорю, а сам не знаю, как объяснить, чтобы сына не ушибить.

Я ведь уже надыхался этого моря на нефтеперерабатывающем заводе, куда устроился недавно работать. Порой от сероводорода деваться некуда, а глаза закроешь — похоже очень на морской воздух. И в ушах иногда шум морских волн...

Старший, Виктор, в мореходку собирается. Как я когда-то...

Уметь делать жизнь

О каждом из нас можно написать рассказ или повесть. Литература тем и особенна, что ей интересны самые простые, самые незаметные и движения души, и поступки, и дела человека — ибо в них раскрывается природа человеческая, в них ищем мы ответ: какие мы, кто мы на земле, для чего призваны?

О человеке, который и сажал деревья, и вырастил детей, построил вместе с коллективом, им же созданным, завод можно писать роман.

Первый директор нашего завода Анна Сергеевна Федотова была человеком своего времени...

От воли, таланта и ума руководителя в любых политических и экономических условиях зависит очень многое — эту истину мы постигли, выживая в нашу не совсем удачную перестройку. Этому учила и Анна Сергеевна Федотова, как бы готовя нас к будущему, ещё тогда, в пятидесятых годах.

Каждый из нас — оглянитесь, внимательнее посмотрите. И дай Вам Бог понять, что без труда, самоотверженности, преданности избранному делу — ничего в жизни путного не сделаешь. И наше общество без этих качеств каждого из нас неинтересное и ущербное.

...Ещё со школьной скамьи меня мучил вопрос: почему российская литература, гении литературы, так много сказав о душе человека, не сказали так же сильно о ней, но в соединении с делами рук человеческих.

«Не одни же Раскольниковы и Печорины были в жизни, — недоумевал иногда я. — Были люди, которые переживали беды, личные драмы, но ещё всё-таки строили мосты, паровозы, ходили в экспедиции. Люди, которые делали жизнь нашу, где они?» Я искал такие книги, но их всегда было мало. Потом пошла другая крайность: если книга о производственниках, то там сплошные битвы за урожай, за сроки, за объемы.

И масштабы, и объемы поглощали рядового работника — от директора до рабочего. Были и исключения, но они так редки!

Мне уже немало лет. Я проработал около 15 лет директором завода, который строила и пускала Анна Сергеевна Федотова. А хочется, ох как порой хочется посидеть за одним столом с ней и её помощниками. И поговорить бы. И не только о заводе. О жизни поговорить!

О том как она, жизнь, строилась. И пусть пришли бы к нашему столу все те, кто работал рядом с ней. И мы посмотрели бы друг на друга. Мы бы нашли о чем поговорить и чему поучиться друг у друга. Может быть, пришлось порой и помолчать... Были и ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

«...Почему-то некоторые думают, что быть директором — это привилегия. Это огромная ноша.

И если, научившись нести ношу, ты ещё можешь придать этому интеллигентный вид, усилия не будут казаться натужными и окружающие не будут шарахаться от тебя, несущего неустойчиво на плечах огромную глыбу, а наоборот радоваться этому и подставлять добровольно, а не только по приказу, в помощь своё плечо, заразившись твоей энергией, удачливостью и коммуникабельностью — ты директор».

Так говорил мне когда-то главный инженер Скворцов. Его слова я привёл в повести «Отклонение». Сохранил и фамилию его.

Мне кажется, что и я имею некоторое право сказать своё слово об этой категории тружеников.

Я начинал на заводе рабочим. Так вот: ни одна профессия не требует столько душевных и физических сил, как должность первого руководителя. Это уже и не профессия, а образ жизни, когда ни выходные, ни отпуска, ни болезни не заслоняют тебя от твоих обязанностей.

Твой завод с тобой круглые сутки. Неважно, где ты. Только

крепкая психика, здоровье, нервы, умение видеть каждого человека и перспективу всего дела, которым занимаешься, знание дела глубже и лучше, чем все остальные, делают из специалиста директора.

Конечно, то, что Анна Федотова оказалась у истоков создания первенца нефтехимии на Среднем Поволжье, в известной степени определяет интерес к ней.

Но ведь главное не в этом, а в том, как она вообще делала своё дело. Под грузом огромных производственных забот видела она жизнь простого работника? Понимала ли она истинное — самоценность самой жизни? И видела, и понимала. И это, очевидно, шло у неё не от рассудка, а от сердца, потому-то и тянуло так к ней людей.

Я уверен: большинство людей, работавших с ней, да и она сама, окажись в водовороте на порядок выше, масштабнее события, чем строительство, скажем, не очень большого, хотя и важного химического завода, — они и на более крупных стройках достигли бы успехов, ибо велика была жажда действовать.

Но вопрос в том: теряется или нет интерес к человеку при огромных масштабах дела? Если сохраняется и умножается, как в случае с директором Федотовой, это замечательно! Её радость, боль, надежды раздробились на тысячи сверкающих благодарной памятью осколков, и они, будучи, казалось бы, разрозненными, эти осколки, порой причудливым образом соединяясь вместе, дают такую мозаичную светлую картину происходившего, что становится радостно на душе.

Почётный садовник «Господин Лаптефф»

Небольшой немецкий городок Бад-Гацбург нас поразили своей ухоженностью и аккуратностью. Тогда, в 1987 году, не так уж часто и немногим из нас, производственников, удавалось бывать за границей. Удивляться было чему: на наших глазах рабочие шампунем мыли кирпичный забор и тротуар во дворе здания, где располагались аудитории академии менеджмента, в которой мы обучались. Мыли шампунем — настоящим тогда дефицитом в России. Медные водосточные трубы, аккуратно

соединённые с канализационными колодцами, привели большинство из нас в замешательство.

Больше всего в первый день меня поразили берёзы во дворе нашего отеля. Помня по книгам, по фильмам особую страсть немцев к нашим берёзам, я полагал, что у них этого дерева нет. Оказалось по-другому. Обычные наши берёзы, приветливые и такие привычные глазу, белели повсюду.

Потом, когда я оказался в Америке, и там мне пришлось удивляться берёзам. В Блумфельде, на зеленой лужайке перед домом хозяина, господина Меддока, пригласившего нас к себе, красовались берёзы. Правда, хозяин их называл серебристыми, делая акцент на «серебристые». И впрямь: листочки их были как бы посыпаны слегка серебристой пылью и оттого теряли простодушную прелесть и казались модницами, приготовившимися на бал, заботливо и прихотливо...

Лекции по основам менеджмента нам читал профессор Хен. По его словам выходило, что он участвовал в разработке программ по восстановлению промышленности ФРГ после войны. Он часто нам рассказывал об этом периоде своей жизни.

Видимо, профессор действительно знал и жизнь, и свой предмет, но вот нас, русских... ему приходилось изучать на ходу.

Когда он рассказал нам, директорам, как лучше всего строить свой рабочий день, мой сосед слева — Виктор Лаптев, генеральный директор одного из крупных нефтехимических заводов в Сибири, пробасил себе под нос:

— Так не бывает.

Фраза прозвучала громко и профессор попросил пояснить сказанное.

— Не всегда я могу так четко планировать свой рабочий день, как предлагаете вы.

— Почему? — допытывался дотошный немец.

— А меня могут в один день с утра пригласить в горком партии, в обком партии, в исполком и ещё в кучу учреждений, куда я не могу не ехать лично.

— Да-да, — вежливо согласился профессор, — в такой дерганной системе работать нельзя. Мы ей дали название «инфарктная». Нам это известно.

— Вот те ну? — удивился сибиряк. — Зачем же тогда преподавать?

— Мы учим работать вообще, то есть в условиях нормальных. Лаптев, кажется, понял, но ненадолго. В следующий раз, когда речь шла об организации производства, он опять задал вопрос:

— Господин профессор, вот вы говорите, что все построено на четкости, ритме. Что, например, на участок железобетонных изделий вагон с цементом должен прибыть в четверг в четырнадцать часов.

— Да, так точно, это естественно.

— «Естественно», — ужаснулся Лаптев и обвел аудиторию ошалелым взглядом. — Вот рядом со мной сидит мой коллега Александр из Самары, — он указал на меня, — если он закажет цемент на четверг, то вагон запросто может прибыть на пару дней позже, и уж не к четырнадцати ноль-ноль. А может прибыть и не в Самару, а проскочить в Сызрань и службы будут искать его чуть ли не неделю, верно?

Он обратился с вопросом ко мне и я кивнул согласно головой.

Аудитория притихла, зная наперед, очевидно, ответ профессора.

— Молодой человек, что вы хотите? В таких условиях нельзя работать. Эти условия экстремальные. А я говорю о рутинных, обычных делах.

Наш Виктор Иванович после таких ответов сник и перестал задавать свои неудобные для опытного профессора вопросы.

Правда, один раз он ещё сделал попытку кое в чем разобратся, но опять получилось, ну просто, черт знает что.

На этот раз он спросил госпожу Беме, как компенсируют у них вредные условия труда на химических предприятиях, дают ли работникам, как у нас, молоко.

— Зачем? — удивилась госпожа Беме.

— Как зачем, чтобы нейтрализовать в организмах отраву, — справедливо возмутился Лаптев. — У нас на заводах так делают. Это забота о здоровье рабочих.

— А зачем сначала травить, чтобы потом давать молоко? Лучше не травить вообще. Сегодня должны работать соответствующие технологии, чистые.

...На следующий день Лаптева в аудитории не оказалось. А чуть позже мы все его увидели на зеленой лужайке перед окнами нашего класса. Он косил газонной косилкой траву. Когда

мы вышли после занятий, пахло подвяленной зеленью. Знакомый запах враз напомнил мне наше Заволжье и деревенский сенокос.

Оказывается, Виктор Иванович давно приметил косилку, и вот теперь, договорившись с рабочими, завладел ею.

— Здесь интереснее, — простодушно улыбаясь, односложно пояснил он. Потом добавил: — Учиться работать надо в наших условиях, а не в их, стерильных...

И стал, нагнувшись, что-то поправлять в агрегате. Косилка, конечно, нам всем была в новинку. На электрической тяге, компактная, ярко рыжего цвета — она была словно игрушка для взрослых. Мы потянулись к ней. Каждому хотелось потрогать, но Лаптев был строг. Как-то так получилось, что все приняли только его право на косилку. Они подходили друг другу — косилка и генеральный директор, крестьянский сын из далекого сибирского села. У него и фамилия-то как бы подтверждала его особые права.

Подошедший профессор Хен дружелюбно похлопал косца по плечу. Я побоялся, глядя на него, увидеть оттенок снисходительности или иронии, но их, к радости, не было. Было нечто похожее на озабоченность, так мне показалось. Старый профессор хотел, мне кажется, быть понятным всем, в том числе и вот этому светловолосому русскому, бросившему свой парадный галстук и пиджак на скошенный газон. Более того, немец, кажется, понимал, что этот русский не так прост.

На другой день повторилось тоже самое. Мы сидели на лекции, а Лаптев косил траву, благо лужайка была приличных размеров. Так он тихо протестовал. Потом мы узнали, что его приятель записывал лекции профессора Хена на диктофон.

...Лаптев деловито хлопотал на лужайке и накануне защиты наших выпускных работ. К его косьбе все уже привыкли.

Когда нам вручали дипломы, профессор Хен подготовил маленький сюрприз: кроме получения основного документа, свидетельствующего об успешном окончании учёбы, «господин Лаптефф» был за особое усердие и трудолюбие награждён дипломом «Почётный садовник».

Так мы и звали потом Лаптева «почётным садовником». Отзывался он, не обижаясь, на такое обращение и много позже, когда уже защитил докторскую диссертацию.

Чёрные ящики России

16 ноября 2000 года. 10-й съезд писателей России. Первый день. Очень пожалел, что не взял с собой диктофон.

Писательский дом в Хамовниках собрал известных литераторов России. Валентин Распутин, Виктор Лихоносов, Валерий Ганичев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев и многие другие, те, кого я читал, но видел и слышал впервые, присутствовали в зале.

Одна из мощнейших творческих организаций страны показала на съезде, что она выстояла, выжила. Созданный сорок лет назад Союз писателей России, объединяющий более пяти тысяч человек (90 процентов литераторов России), ведет огромную работу по поддержанию единого духовно-культурного пространства и формированию державно-патриотического образа Отечества.

Странные впечатления были от многолюдья, встреч, разговоров, от рукопожатий тех, кто составляет суть нашей литературы, от зияющей пропасти, разделяющей истинную ценность для страны дела, которому служит наша литература и того безразличия, которое наше государство проявляет к писателям. Вся система ценностей (если вообще таковая система есть), которую выдвинули нынешние реформы, обнаружила бессилие в создании чего-либо значимого в области культуры, литературы. Все стоящее, что когда-то было создано и создается в литературе, крепится отрицанием духа наживы и совестью. Все, что сейчас выходит истинного из-под пера достойного литератора — низкооплачиваемо. Понятие гонора исчезает повсеместно.

Увы, то, что случилось в промышленности, то случилось и в Союзе писателей. Так называемая социальная сфера, «социалка» не только урезана, но подрублена под корень. У Союза нет ни фондов, ни путёвок в дома отдыха. Нет никакого подспорья, помогающего литератору трудиться. Конечно же, нужен закон о защите русского языка, нужен закон (его надо срочно принять) о творческих союзах, который прошел думские чтения, но не был подписан президентом Ельциным.

Собственность, отнятая у писателей приватизацией, конечно же, должна быть возвращена Литературному фонду. Дома творчества должны вернуться прежним владельцам.

От многих, в том числе и от Председателя Союза писателей Валерия Николаевича Ганичева, отрадно было слышать, и соглашаться, что на смену писателям старшего поколения, таким как Валентин Распутин, Василий Белов, Петр Проскурин, Юрий Кузнецов и другим идёт новое сильное поколение уже известных многим в стране литераторов.

Имена моих земляков Евгения Семичева и Дианы Кан не затерялись среди других и звучали крепко. Я и порадовался за них и ещё раз ужаснулся, вспомнив их бытовые злоключения, которые, казалось бы, могли заглушить любое творчество, но нет — крепки мои земляки.

...Как-то по-будничному, безо всякой официозности, но основательно открыл съезд Герой Социалистического Труда Михаил Алексеев, участвовавший в работе всех, кроме 1-го, съездов писателей.

В президиуме: Валерий Николаевич Ганичев, Валентина Ивановна Матвиенко — заместитель главы Правительства, Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Сергей Артамонович Лыкошин и другие.

Простуженным голосом Ганичев сделал доклад и пошла череда выступающих: Феликс Феодосьевич Кузнецов — директор Института мировой литературы, подробнее, чем это было обнародовано накануне в газетах, прокомментировал сенсацию, связанную с находкой рукописи великого романа «Тихий Дон», затем выступила Валентина Ивановна Матвиенко.

...И вдруг: выступление Мирзо Давыдова.

«Обстановка в Дагестане и голос писателя», — так оно называлось. Давая слово Давыдову, Лыкошин сказал, что Мирзо представляет страну, в которой произошли такие события, которые могут быть и в России.

Начав выступление с того, что передал привет съезду от Расула Гамзатова, Мирзо сообщил, что поэт, к сожалению, болен и не смог приехать. Но по мере сил работает и уже заканчивает поэму «Черный ящик».

— Как? — невольно вырвалось у меня.

Мой сосед Александр Лысенко — издатель из Орла, удивленно посмотрел на меня, а я показал ему мою повесть «Черный ящик», вышедшую года два назад в Самаре.

— Потом. Надо записывать, что говорится. Потом.

— Да, надо запоминать или записывать, — спохватился я, это же все неповторимо, все уйдет, как в песок. Буду потом жалеть. Надо побыть самому сейчас «черным ящиком».

...Теперь вот пересматриваю свои отрывочные торопливые записи и многое нахожу в памяти дополнительно. Но, без этой протокольной фиксации, очевидно, не было бы многого, что я вынес со съезда.

Вот первая фраза, которую я записал на слух из доклада Председателя: «Думаю, что вполне уместно «вето» на такие формулировки, как «Россия гибнет», «спасать Россию». Хватит вкладывать в молодое сознание гибельные миссиформы. Надо по-настоящему широко представить нашему человеку, нашему обществу реальный ход духовного стояния, крестный ход отечественной культуры, литературный процесс и протест, который идёт в стране».

Далее, говоря о книге Ланщикова «Черета окаянных дней», он цитирует из неё: «Делали вид, будто метили в коммунизм, а попали туда, куда и метили на самом деле, — в Россию».

«...Николай Переяслов обладает даром высвечивать заметные литературные явления русской провинции. Диву даешься, сколько он читает, сколько внимателен к зарождающимся тенденциям, к погрешностям и бедам нашей литературы. Его обзоры в «Роман-газете-XXI век», в «Литературной России», в «Дне литературы» — это хороший, добротный материал».

Эти слова я записывал с особым чувством. Николай Переяслов совсем недавно жил и работал у нас в Самаре и, уехав в Москву, не потерялся, а вовсе наоборот, голос его зазвучал сильнее и многоголосно.

Листаю свою толстую записную книжку — мой сегодняшний «черный ящик» и попадаю на слова Достоевского, приведенные на съезде: «Богатство прибывает, а душа убывает». Далее: «Говорить мы научились — научиться бы теперь молчать».

«Леонид Леонов — последний гений XX века», — это произнёс Валерий Ганичев. В моём «черном ящике» эта фраза подчеркнута жирной чертой.

А через пару страниц — из выступления Валентина Распутина: «Мы оказались не там, где мы должны быть... Литература питается энергией ответной волны... За десять лет число

читателей сократилось в тысячу раз». И далее то, о чем я думал не раз: «Литература привела к революции, и она же спасла Россию после революции. Большевики не уничтожили русскую классику и она спасла Россию». «Труд — это совесть, а его героизировали большевики». «Вторая революция (перестройка) — подлее, чем первая».

Из не очень внятного выступления Василия Белова осталась одна четкая запись: «Чужебесие — главная причина разложения России».

«Но ведь и определённой части нашего общества от свалившейся на голову свободы предстоит перебеситься, — подумалось мне. — Нашей доморощенной бесовщины хватает».

В перерыве съезда ко мне подошёл Александр Громов, земляк, издатель моей повести «Черный ящик».

— Ну, как впечатление?

— Я обескуражен тем, что Гамзатов пишет «Черный ящик». Это как наваждение.

— Почему? — совершенно спокойно возразил он, — вы же сами пишете в своей повести, что все мы в одном самолете и все мы не знаем, когда и как приземлимся, помните?

— Ну, конечно!

— Так, там же далее вы говорите, что мы все — пассажиры и в каждом из нас сидит свой черный ящик — регистратор событий. Так Расул — тоже пассажир, не лишайте его места в нашем самолете и успокойтесь: у него свой «черный ящик». До своего срока он молчит.

— Да, но вот название, его и моё, оно...

— Разве дело в названии, дело в ощущении. Выходит, вы, как автор, попали в точку. Многие так себя чувствуют, а пишущие тем более, особенно, когда написанное очень трудно издать. Безденежье губит.

Он метнулся в сторону и пропал из виду. Я спустился на первый этаж и пошёл в задумчивости по коридору в конец его, где обычно находился Николай Переяслов. Безотчетно, очевидно, направляясь поговорить с ним.

И тут я встретил Мирзо Давыдова. Сразу разговорились. Я попросил передать Расулу Гамзатову книжку «Под открытым небом». У меня была и «Черный ящик», но я почему-то не решился её предложить. Мы обменялись адресами и телефона-

ми. Мирзо обещал на следующий год приехать на Волгу, и я с радостью пригласил его к себе в Самару.

Как теперь они там?

...Феликс Кузнецов рассказал о том, как нашлась рукопись «Тихого Дона». Выходило, что рукопись 1-го и 2-го томов существует, ксерокопия шолоховского текста находится в ИМЛИ и над ней работают специалисты-шолоховеды. Центр криминальной экспертизы, изучив тридцать страниц рукописи, подтвердил, что текст написан рукой Шолохова. С учетом того, что сто сорок страниц рукописи 4-го тома хранятся в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге, разговорам о каком-то якобы плагиате пришел конец. Получалось, что работники института давно уже знали о существовании рукописи, но не могли выйти на её след. Журналисту Льву Колодному удалось это сделать. Можно, очевидно, надеяться, что пересуды вокруг авторства величайшего романа XX века прекратятся. И слава Богу!

...Сегодняшней ночью, душной и долгой, приснился сон. Вернее, во сне увидел зримо, как в яви, написанную Вадимом Телицыным в его книге «Нестор Махно» сцену:

«У села Макеевка махновцы ведут приговоренных к расстрелу двадцать бойцов-продотрядовцев, оказавших сопротивление и прославившихся в округе особой жестокостью. На выходе из села встретились с самим Махно.

— Кто таков? — обратился Нестор Иванович к подростку.

— Шолохов, Мишка...

— Годков-то сколько?

— Пятнадцать...

Покачал головой грозный батька и скомандовал охране:

— Отпустить его, пусть подрастет и осознает, что делает. А нет, в другой раз — повесим...»

Так ли это было на самом деле, но прочитанное совсем недавно постоянно возникает в памяти, и все время, в связи с другой трагической и светлой фигурой — Фёдора Дмитриевича Крюкова, известного в своё время на весь Дон, на всю Россию писателя. Книги его издавали Петербург, Москва, Ростов.

«...Странное дело: меня давно уже, ещё до перестройки, не очень-то волновал вопрос авторства «Тихого Дона». Мне однажды почему-то подумалось, что, может быть, и нет никакой разницы, кто написал эту великую книгу. Один из русских. Как

«Слово о полку Игореве». И этого достаточно для русского человека, чья судьба на таком сейчас изломе, что авторство — это частное дело, касающееся автора, родственников да литературоведов. Русский народ: это и Шолохов, и Федор Крюков, о котором вы говорите, и тысячи, тысячи людей. И что изменилось бы сейчас, теперь, в судьбе и сознании русского человека, если бы автором оказался белогвардейский офицер, а не красный продотрядовец? По большому счету, ничего», — это сказал мне попутчик. Мы ехали в одном купе, он сошёл в Сызрани. Бывший директор школы, теперь пенсионер.

Можно ли так думать нам, русским? Благо ли то, что мы поняли наконец, что мы все — и белые, и красные — русские? Россияне? Конечно, благо. Пора понять. Но здесь вопрос не в этом...

«Если бы книга вообще не появилась на свет, была бы зияющая воронка», — так думал я и боялся своих мыслей, Шолохов был мой любимый с детских лет писатель. При жизни Шолохова, при советской власти — авторство имело особую окраску. А теперь? Народный роман был рожден народом. Вправе ли так думать? Можно ли? Конечно же, автор Шолохов. Все говорит об этом. И для меня это очевидно.

...Но были и другие «казаки». Так уж получилось, что незадолго до съезда попалась мне «Забывтая книга» Федора Крюкова, и я неотрывно думал о судьбе её автора, без всякой связи с авторством «Тихого Дона», но с удивлением человека, услышавшего «черный ящик» человека, о котором молчали более семидесяти лет. И почему всё-таки его великий земляк Шолохов не обмолвился об этом ни разу? «Время было такое», — уговаривал я себя. Время было такое, что, проявив неслыханное мужество в написании своего романа, великому писателю хватило мудрости и терпения о многом молчать... Так я думаю, пытаюсь оправдаться за свои непутевые мысли.

Опять «черный ящик». И доступен ли он будет когда-нибудь? Не случится ли так, что когда-то мы узнаем от самого Шолохова причину забвения Крюкова? Из его «черного ящика».

...Вот уж действительно:

*«Братья-писатели! В нашей судьбе
Что-то лежит роковое...»*

«Рукописи не горят — но слишком часто время сжигает их авторов...»

Федор Дмитриевич Крюков с 1892 по 1920 год написал и печатал, в основном в периодической печати, около двухсот пятидесяти повестей, рассказов, очерков, воспоминаний, рецензий, стихотворений в прозе. Отдельным изданием вышли только два сборника его произведений. Оба дореволюционные.

Писатель родился 2 февраля 1870 года в станице Глазуновской на Верхнем Дону и прожил на свете 50 лет. Образование он получил в Петербурге, работал учителем в Орле, Нижнем Новгороде. В столице работал библиотекарем, журналистом, в первую мировую войну — корреспондентом на фронте. Семья у писателя была исконно казацкая. Отец был станичным атаманом в Глазунах, справедливым и строгим.

Вот что пишет Георгий Миронов о Крюкове: «В Гражданскую сказался прямой, негибачаемый характер «казака»: никогда не искал компромиссов, был до конца правдив в жизни, в творчестве, как теперь в общественной борьбе. По таланту и место в схватке оказалось значительным: кандидат в учредительное собрание от Войска Донского, секретарь Большого войскового круга (местного парламента), редактор «Донских ведомостей» — официоза Донского правительства, активный публицист ряда изданий юга России, а в пору белого похода пошел в ряды войск... Ф. Д. не пожелал остаться в тылу. «Никто не должен упрекать нас в том, что мы лишь звали на бой, а сами остаемся в тылу», — говорил он. Писатель остался до конца патриотом родного Дона. В забитой отступающим войском и горькими таборами беженцев прикубанской станице Новокорсунской ему вроде и места на кладбище не нашлось. Стреляли в блеклое зимнее небо из карабинов, наганов и плакали пропахшие потом, махоркой и порохом неслезливые фронтовики. «Какой человек ушел!.. «Не сберегли для Дона, для России...» — «Прощай Митрич — светлая душа, пусть будет тебе пухом кубанская земля...»

...Читаешь ли его повесть «Казачка» или другие вещи: «В родных местах», «Картинки школьной жизни» — везде автор любит быт, особенно казачий. Привержен правде, не позволяет себе фантазировать, во всем правда изображения, высокое достигается безо всякого полета фантазии.

«Его рассказы — ряд смиренных красавиц без притираний на свежих лицах, без великих ухищрений в костюмах, но за

этой простой наружностью чувствуется благородство врожденного вкуса и сила здоровья» (Пинус С.А. «Бытописатели Дона. Родимый край»).

...За несколько дней, в течение которых я прочитал все, что достал о Крюкове, я влюбился в него. Почти целые сутки безвылазно провел в Москве в номере гостиницы «Ленинградская», запоем читая рассказы Крюкова, так же как когда-то читал «Тихий Дон» Шолохова. Донщина вновь покорила своими запахами, красками, характерами. «На речке лазоревой» — так называется рассказ у Крюкова, а ко мне слово «лазоревый» пришло от Шолохова, тогда ещё, когда я мальчишкой открывал для себя мир донских рассказов. Как и слово «майдан», которое почему-то меня заворожило своим звучанием тоже с детства.

«Край родной.

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов её над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов... Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок над лавкой в уголку, из серебра узор чеканит в окошке месяца молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных могил, и над левадой дым кизячный, и пятна белых куреней в зеленой раме роц вербовых, гумно с буряющей соломой, и журавец, застывший в думе, — волнуют сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья.

Тебя люблю, родимый край... И тихих вод твоих осоку, и серебро песочных кос, плач чибиса, в куге зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый, милый Дон — не променяю ни на что... Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной... Молчанье мудрое седых курганов, и в небе клетот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной... Не ты ли это, родимый край?

Во дни безвременья, в годину смутного развала и паденья

духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил, все же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой... Вскипит, взволнуется и кликнет клич — клич чести и свободы...

И взволновался тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебряный подголосок звенит вдали, как нежная струна... Звенит, и плачет, и зовет. То край родной восстал за честь Отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол...

Кипит волной, зовет на бой родимый Дон... За честь Отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон, — родимый край!..»

Это стихотворение Федора Крюкова меня в себе просто растворило. Я заснул, читая его поздно ночью в поезде под стук колёс и с самого раннего утра на следующий день, взяв вновь книгу в руки, был во власти его ритмов.

...Каждый из этих двух певцов Тихого Дона — и Шолохов, и Крюков — по-своему необычайно сильно любили казачество. Намного старший по возрасту Федор Крюков успел-таки сказать своё выстраданное. И мы теперь слышали его голос и почувствовали силу его духа. Нельзя не почувствовать: «В дни безвременья, в годину смутного развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил...» Это не строки из стихотворения. Это судьба человека, судьба нашей России.

...Я отложил книгу и посмотрел в окно, самарский фирменный поезд «Жигули» выскочил на мост через Волгу. Позади была Москва, впереди — родимый край! Огромное спокойное водное пространство и вся округа там вдали, на берегу, жила своей жизнью. Все было покойно и будто не смотрели во сне на меня сегодня ночью из смуты начала двадцатого века два человека и третий, сохранивший с легкостью необычайной одному из них жизнь...

Вот так неожиданно соединил в моём сознании съезд писателей два имени: Михаил Шолохов и Федор Крюков.

...А чуть позже свершилось важное и нужное дело. Выполнено завещание великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Писателя и его жену Ольгу Александровну похоро-

нили на родине, на кладбище Даниловского монастыря, рядом с могилой отца. Русский писатель проделал свой последний путь от кладбища в Сент-Женевьев-де Буа под Парижем до Москвы. И в самом центре Замоскворечья при пересечении Большого Толмачевского и Лаврушинского переулков был открыт памятник писателю.

Панихиду по Ивану Шмелеву служил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Ещё один писатель встал в полный рост и фигура его меня неодолимо влечет к себе.

...Я видел с каким интересом, а вернее, как запойно читала моя дочка его «Лето Господне». Открывая мир неизвестный и завораживающий. А впереди у молодого читателя «Богомолье», «Няня из Москвы» и «Пути Небесные». Дошел-таки светлый лучик, через пятьдесят лет после смерти, от покинувшего Россию в двадцать втором году писателя. Кто знал после Октября его имя? Совсем немногие. Ему удалось больше, чем Федору Крюкову и многим-многим другим. Ещё до революции было издано собрание сочинений. Пророческое предсказание старца Варнавы в обители Троице-Сергиевой Лавры: «Превознесешь талантом своим», — сбылось. Это было сказано ещё юноше, с детских лет читающему Евангелие и молитвинники.

Какие разные судьбы у этих писателей. И какая сила любви к своему народу, к языку русскому!

Утренний свет

Довольно странной была эта моя поездка... Вначале пришло письмо:

«Уважаемый Александр Станиславович!

От имени организационного комитета программы «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» имею честь пригласить Вас к участию в последней церемонии награждения уходящего века. Причастность к данному событию позволит Вам войти в следующее тысячелетие с почетным званием лауреата награды «ЭРТСМЕЙКЕР-2000», что в вольном переводе на русский язык звучит, как «ЧЕЛОВЕК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЛИЦО ПЛАНЕТЫ».

По результатам исследования, проведенного независимыми экспертами на основании информации, полученной из авторитетных источников, Ваше предприятие удостоено международной награды «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» в номинации «ЗА ДИНАМИКУ И ПРОГРЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ», а Вы лично, как его руководитель, удостоены персональной награды «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» в номинации «ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЛИ ЛИДЕРА И УПРОЧЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ».

В динамично меняющихся условиях современного мира залогом успеха в делах является изучение и адекватная оценка потенциального партнера на предмет его предсказуемости и надежности. Ценность информации в этой сфере оправдывает постоянные и дорогостоящие усилия. С этой точки зрения заслуженная Вами награда «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» является ещё одним способом укрепления Вашего имиджа и развития атмосферы доверия в деловом мире.

Во время торжественной церемонии награждения, проводимой в Швейцарии с 21 по 27 декабря 1999 г, Вам будут вручены художественно выполненные символы нашей награды — хрустальный рыцарь «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» и золотой нагрудный знак, а также корпоративный и персональный дипломы. Эти регалии станут свидетельством Вашей принадлежности к сообществу лидеров различных отраслей промышленности, науки, культуры и здравоохранения XXI века.

*С уважением и наилучшими пожеланиями,
Питер Мамо*

Действительный член Института банкиров в Лондоне

*Президент международной программы
«ЭРТСМЕЙКЕР-2000»*

Был конец года. Горячая пора. Более того, я готовился через неделю передать один из двух заводов, которые были под моим руководством, новому директору, и мне казалось, что сейчас не до поездок. Но мне стали говорить, что поездка нужна, что такое бывает редко, когда и завод, и директор так отмечены.

...И вот я в Женеве, одной из главных банковских столиц мира. Большой номер четырехзвездочного отеля «Бристоль»

на улице Монблан. За окном река Рон, а чуть дальше за островком — Женевское озеро.

Все настолько опрятно, ухожено и вылизано, что, даже находясь на улице, чувствуешь себя как в наскучившей своей прибранностью квартире и хочется куда-нибудь выбраться туда, где больше не так гладко причёсанного.

Когда я смотрел на Женевское озеро, мне невольно вспоминался наш санаторий «Волжский Утес» недалеко от села Усолье с громадной морской водной гладью внизу и широко раскинувшимися лесистыми отрогами Жигулевских гор. Невольно напрашивались сравнения. И наши Жигули в этих сравнениях чаще выигрывали.

...После церемонии награждения, на другой день, в конце долгой автобусной экскурсии по городу нам было предложено на утро проехать вдоль всего Женевского озера и добраться до города Монтре. Всем это сразу понравилось и мы охотно согласились покинуть свой ухоженный скворечник.

...Очень мне хотелось попасть в Шильонский замок, так когда-то поразивший поэта Шелли своей холодностью и олицетворением бесчеловечности, которую люди часто проявляют, чтобы влиять на себе подобных. Это там, в камере Боннивары, Байрон вырезал своё имя, и поэты попросили рассказать им историю жертвы тиранов, а Байрон в одну ночь написал «Шильонского узника».

Здесь они, однажды отправившиеся на прогулку по озеру, были застигнуты бурей у Мейерн. Байрон, натура, унаследовавшая кровь великих бунтовщиков, разделся и предложил спасти Шелли. Но не умеющий плавать Шелли сел на дно лодки, готовый потонуть, не сопротивляясь. Этот эпизод я помнил из прочитанного у Андре Моруа.

«Байрон, глядя на отражение звезд в воде и на громадные тени гор, как будто слышал, как вокруг него смутно колеблются доброжелательные и таинственные силы. Но эти ощущения были в нем мимолетны».

Что-то похожее ощутили потом и мы — горстка туристов. «Забывать своё «я», раствориться в красоте всеобщего — возможно ли это для Великого Эгоиста?» — эти строки я отыскал у Андре Моруа в его книге «Байрон» уже по приезде домой, следуя своей занудливой привычке сравнивать случившееся со

мною с мыслями и ощущениями тех, кто ценит подобное и для кого они — сама жизнь.

...Мы вышли из гостиницы «Виктория» и пошли к фуникулеру, намереваясь попасть к замку. Нас было человек десять. Надо было спускаться к Женевскому озеру метров семьсот вниз, так нам сказали в гостинице «Виктория».

Оказалось, что фуникулер не работает, отключено электричество. Недоумевая — бывает же и у них такое — не раздумывая, решили спускаться самостоятельно. То, что поступили опрометчиво, мы поняли уже минут десять спустя. Спускаться по узеньким с мокрым асфальтом тропинкам и большим уклоном вниз, было довольно трудно. Каждую минуту мы рисковали. Наша группочка, как нанизанные разноцветные бусы на незримую нить, протянутую между высокостоящей гостиницей «Виктория» и угрюмым, неприветливым Шильонским замком — там внизу — повисла, казалось, в воздухе. Порой сильный ветер заставлял прижиматься к изгороди и ждать момента, когда можно проскочить через очередной участок пути. Это начинало походить на опасную игру.

Общее спортивное настроение изменилось, когда элегантный и галантный замминистра украинского правительства, неудачно ступив кожаными подошвами на мокрый и скользкий асфальт, вдруг потерял устойчивость и его понесло вниз. Собразив, что лучше бежать, иначе, остановившись, сорвёшься вниз, он стремительно пронёсся по извилистой тропинке метров пятнадцать, повернувшись вокруг собственной оси на повороте. Выбрав участок изгороди, поросший кустарником, ринулся на него. Он оказался удачлив — зелёная изгородь самортизировала удар. Мы подошли к бедняге, кроме небольших ссадин на руке и щеке ничего не было. Но то — внешнее. Ноги его не слушались. Он не сразу смог идти. Стоял, стараясь не смотреть вниз.

До замка оставалось метров двести. Внизу манили к себе ухоженные домики, крохотные дворики. Все было бы прекрасно, если бы не этот сильный ветер.

И странное дело: озеро и Альпы по ту сторону то раскрывались перед взором в изумительной красоте рериховских красок, иссиня-черной враждебной и космически необъятной — становилось не по себе, то все куда-то враз девалось, оставалась сплошная тёмная завеса. Триста метров глубины озера и

около семидесяти километров его длины давали знать: могучие волны, когда мгла вокруг в считанные минуты уходила, чтобы возникнуть вновь, вздымались так, что даже с высоты захватывало дух от мощи, великости происходящего. Ничего подобного по грандиозности я раньше не видел.

Посоветовавшись, мы решили не испытывать судьбу, не спускаться отвесно вниз, а по положим тропинкам не спеша взять вправо и уйти в город. Монтре был справа от нас... «Вот тебе и тихая, наскучившая квартира, если бы я не оказался на этом конце озера — я не знал бы Швейцарии», — думал я.

Глядя на резко меняющуюся картину над озером, смену изумительной красоты на неуступчивую жестокость природы, вспоминал я и Шелли с Байроном, застигнутых бурей в лодке, и слова молоденького русского гида, который ещё в автобусе обронил, что Швейцария занимает первое место по количеству самоубийств в Европе. В Лозанне даже есть мост, где дежурят добровольцы Красного Креста, чтобы круглосуточно прийти на помощь... Что это? Есть много объяснений, есть и самое, очевидно, верное, но мне почему-то вспомнился поэт Шелли, который отказался, чтобы его спасали от гибели в разбушевавшейся стихии... Таится что-то притягательное в природной мощи, в её всепоглощающей претензии покорить и поглотить все в себе. Гуляют вокруг нас силы, против которых не каждый способен устоять. Эти мысли мне пришли естественным образом, я с ними ни с кем не успел там, в Монтре, поделиться.

Я все искал глазами виллу Диодати, зная, что она где-то здесь. Спросить было некого. Вокруг удивительно пустынно и космически одиноко. Я знал, что роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» был написан здесь, в Швейцарии, в 1816 году дождливым летом на вилле Диодати, недалеко от Шильонского замка, на берегу Женевского озера. Общеизвестно, что инициатором создания романа была Мэри Годвин, жена поэта Перси Шелли. Оба они приехали отдохнуть в Швейцарию по приглашению их друга, молодого поэта, аристократа со спорной репутацией Джорджа Гордона Байрона. Было решено сочинить роман с тайными роковыми страстями, кошмарами, вперемежку с тогдашней новомодной наукой, граничащей с чертовщиной. Поэтам скоро наскучила эта идея, а вот Мэри Шелли не отказалась от этой затеи.

Потом Мэри Шелли писала: «Мне хотелось сочинить нечто такое, что вернуло бы читателя к его собственным внутренним кошмарам, что вызвало бы в душе его ужас. Тот ужас, который заставляет с замиранием сердца озираться в пустой комнате и студит кровь».

Что ж, страшилку, в свои девятнадцать лет, она создала грандиозную, на века. Вот уже две сотни лет герой её навевает ужас на читателей. Одним из первых игровых фильмов в истории оказался «Франкенштейн», снятый ещё в 1910 году.

Мне представляется, что этот роман мог быть написан только здесь, у Женевского озера, где кажется, что таинственные и космические силы так ощутимо и неотвратно действуют на человеческую психику. Под стать и сама Мэри Шелли — волевая, капризная и авантюрная, ставшая в свои шестнадцать лет любовницей Перси Шелли, а затем его женой, через двадцать дней после того, как утопилась жена поэта.

...А Перси Шелли всё-таки утонул, но не в этот раз на прогулке с Байроном, а позже — в июле 1822 года, отправившись кататься на яхте. Страшные эти две смерти — поэта и его первой жены, связаны с водой, и не одна ли следствие другой?..

Бог обошел природными ресурсами Швейцарию, но наделил красотой. Ледники в своё время сделали своё дело — снесли плодородную часть земли, и Женевское озеро, самое большое в Европе, образовалось в результате того, что скалы когда-то обвалились, перегородив реку Рон. Река разлилась, образовав в расщелине озеро шириной в шестнадцать километров.

Это озеро терморегулятор. Летом охлаждает воздух в городе. Температура не более 22 градусов. Частые туманы, ветра здесь вызывают головные боли. Странное озеро — в нем не купаются. Засилье уток породило множество блох. И они, окаянные, кусаются. Очень много уток черных, есть кряквы. Много лебедей.

Местные жители на противоположной стороне от гостиницы «Бристоль», где причал и стоят разнокалиберные катера и яхты, любят подкармливать птиц. Я видел, как раскрасневшийся от холодного декабрьского ветра человек с двумя сыновьями, лет по десять-двенадцать, кормил из рук хлебом чаек. Чайки крикливой стаей налетали на протянутую руку с куском хлеба, хватали и тут же отлетали в сторону. Это повторялось

многократно, отец радостно каждый раз подбегал к рюкзаку за хлебом, поспешно и самозабвенно ломал замерзшими руками корку. На большом, почти греческом, его носу висела тривиальная сопля. Он даже её и не смахивал. Он, как мне показалось, был счастливее в тот момент своих сыновей.

После этого похода я стал замечать и других птиц. Во дворе за гостиницей спокойно уживаются сизые голуби, воробьи, чайки. Переводчик нам сказал, что кормивший чаек мужчина, возможно, кельт — представитель коренного населения Швейцарии. Их мало, они живут по окраинам. Хотя конституция и написана на языке кельтов, язык этот мало кто хорошо знает.

Курьез: в Швейцарии всего два местных дерева. Бук и граб. Остальные все привозные.

Бедность — сестра рачительности, а последняя прародитель достатка. Химические удобрения здесь запрещены, пользуются только органическими. Даже для уничтожения насекомых — пожирателей их привозят из-за границы, они почему-то «не додумались» до нашего: бац с верхотуры с самолета сразу всем на голову отраву и... как ножом отрезало... от всего живого.

«В двадцать пять лет надо жить в Париже, а в пятьдесят — в Швейцарии». Эти слова принадлежат, кажется, Вольтеру.

...Странное было ощущение, когда мы вошли в город Монтре. То порывы ветра срывали куски черепицы с крыш, то уличный фонарь, сорвавшись, катился по тротуару. На улицах — редкие прохожие. Все будто вымерло. И лишь когда мы спустились совсем вниз к озеру, увидели признаки активной жизни. Но не саму жизнь. Приглаженную и как бы затаившуюся. Странно было узнать, что в Монтре ежегодно проходят джазовые фестивали, что Игорь Стравинский здесь жил и писал балеты.

Я поотстал от своей группы и шёл один, находя удовольствие в своей обособленности от нашей шумливой компании. Где-то здесь жил в своё время Чайковский.

Озеро продолжало бушевать. На безлюдной набережной появилась невесть откуда семья: родители и двое мальчиков. Они подошли к озеру, до воды оставалось метров двадцать. Вырвавшаяся из озера волна огромной своей дикой и прекрасной массой ударила о землю, и брызги её окатили ребятшек. Порыв

ветра потащил их за отступающей волной в озеро. Шипя, белопенная волна уходила по газонам, по изумрудной и картинно красивой набережной назад в свою огромную замораживающую чашу, обрамленную с той стороны столь же красиво картинными хребтами.

Напуганная мать схватила одного из мальчиков, тот успел зацепить своего брата за полу куртки. Так, балансируя, пытаясь устоять на ногах, они двигались к воде. Подоспевший отец, включившись в эту цепочку, приостановил сползание их вниз, в какой-то момент ему удалось ухватиться за фонарный столб. Порыв ветра ослаб, они все собрались вокруг столба. Улучили момент и вновь цепочкой, во главе с отцом, метнулись к ограде, а потом пропали в парковой зелени, изредка мелькая разноцветными спортивными куртками.

Сзади крепко захрустело. Я обернулся. Ураганом рвало два дерева. Заваливаясь одно на другое, а потом, согласовавшись, будто в каком-то чудовищном танце, они вывернулись корневищами из земли и рухнули на три припаркованные рядышком машины. Послышался хруст ветвей, звон разбитого стекла. Стволы деревьев огромными ветвями накрыли автомобили и легли, как громадный веник, забытый кем-то в разноцветном металлическом мусоре.

Была во всем в этот день какая-то несоразмерность. Стихия природы, сама природа не сдерживала своей огромности, великости своих сил. И это делало все то, что сотворено человеком и самого человека второстепенным, не главным, как он себя считал в своей самонадеянности.

Вокруг, кроме меня, никого не было.

Одежда моя намокла. Я поднялся выше в город и рассеянно побрел по улице, удивлённый тем, что видел и чувствовал.

Чтобы как-то согреться, зашёл в отель и, задумчиво глядя перед собой, вздрогнул. Передо мной, ссутулившись, сидел бронзовый... Владимир Набоков. Не веря, я вышел на улицу и прочёл название гостиницы. «Монтре палас» — это, конечно же, была та гостиница, в которой, кажется, около шестнадцати лет в конце своей жизни прожил Владимир Набоков.

Я знал, что похоронен писатель на кладбище в Монтре. Где-то в этом городе живет его сын, бывший певец, а теперь — переводчик.

Набоков, живя в Монтре, не писал. Все уже было написано. Он собирал здесь бабочек. Человек без дома и без Родины. Писатель и умер в этой гостинице.

Сидящий напротив меня в холле металлический Набоков был крохотно мал в сравнении со своими делами, которые он совершил живой. Его как будто нарочно, с умыслом, уменьшили теперь, когда он уже ничего сделать не мог...

Подобное чувство было у меня, когда я впервые увидел фигуру Ломоносова, поставленную в центре нашей заводской площади в Новокуйбышевске. Наш первый директор завода очень хотела сделать как лучше, но привезенная из Москвы подростковая (по-другому не скажешь) фигурка великого ученого никак не соответствовала масштабам его великих дел. Памятник тут же заводские остроловы прозвали «Местный главный специалист»...

Странно, в этом пустынно-загадочном городе, где ураган разогнал жителей по домам, я, никогда не страдавший от одиночества, а наоборот, находивший в нем неотразимую прелесть, почувствовал себя сиротой. Как это бывало в детстве: ты много чувствуешь, знаешь, понимаешь, хочешь помочь, а тебя не принимают всерьез. Ты — никто. Что ты есть, что тебя нет — это твоё личное дело. А то, что в душе твоей лежит, сокрыто то, что готово сделать нечто большое — никому не надо, это недоказуемо. Если сейчас войти в гостиницу, подойти к администратору и сказать: «Я — русский», — то он, вспомнив возможно фильм, который вчера вечером был на одном из телевизионных каналов, будет смотреть на меня, как на тех, которые полуголые в вытрезвителе, матерясь, валялись поперек коек.

В последнее время я слишком раним. А, оказавшись за границей, глядя издалека, отсюда на нас, русских, которые там далеко на огромных своих просторах все ещё «выживают», стал необъективен? Не может быть! И там, на родине, и здесь, в одной из главных банковских столиц мира, я — русский. И думаю о нас — русских. В голове был сумбур. Я не смог с утра, а вернее, со вчерашнего вечера, ещё прийти в себя после того, что увидел по телевизору.

В отличие от номера в Женеве, здесь, в Монтре, в «Виктории», в сотом номере, куда меня поселили, не было российского канала, к которому я привык и постоянно смотрел.

Вчера на одном из 34 каналов я наткнулся на фильм о русских. Он был не на русском языке. Начала я не видел, но мне показалось, что авторы фильма — русские.

Фильм был о том, как мы пьем. Отвратительный фильм об одной из неискоренимых наших дурных привычек.

«Для них Россия, как матрешка. Каждый раз открываешь и каждый раз можно ждать сюрприза», — так в Женеве сказала нам наша улыбчивая переводчица-полька.

В этом фильме никаких сюрпризов от русских уже не ждали. В нем был поставлен крест на русских как нации. В фильме пили все. Дома пили. На поминках. На работе. На рыбалке. На стройке. На улице. В подворотне. Пили работяги, нищие, полковники. Пили помногу и тупо. Потом шли безобразные, скотские сцены в вытрезвителе. Женщины и мужчины были одинаково животными.

Пристегнули в конце фильма и шолоховского Андрея Соколова с его стаканом водки в немецком плену. Все в кучу.

Было жутко и стыдно смотреть на нас таких и нестерпимо больно оттого, что с нами так могут обращаться. Смаковать нашу беду.

«Неужели мы так бесприсветно погрязли в этом? Ну, хорошо. Мы давно уже не сверхдержава, да и раньше-то наша сверхдержавность строилась не на экономике, а на ядерном оружии. Бог с ним, двуполярным миром. Меньше уйдет сил на противостояние. Пусть США будут сверхдержавой. Так что же наш мир — будет однополярным? Живут же Швеция, Норвегия, даже Люксембург, не претендуя на лидерство. И довольны. Будет своя иерархия меж тех государств, которые стоят ниже. И они найдут в себе силу. Но культура, здоровый образ жизни — эти признаки нормальной жизни должны быть. Не все же мы пьем, и далеко не большая часть из нас. И не надо топить нас в вине и водке. Вкладывать в наше сознание, что мы уже ни на что не способны. Это просто кому-то надо». Так думал я ночью. Так сбивчиво думал и в этот странный день, наблюдая необычное действие природы в необычной для меня стране.

«С надеждой на мировую и мирную миссию ООН, но я — русский, и вера моя начинается с веры в мой народ», — так я записал в Книге почётных гостей Организации Объединённых Наций 23 декабря, куда нас пригласили после награждений.

Совершенно ясно, что модель двуполярного мира окончательно распалась. В русских силу уже не видят. После десятилетий разрушительных, большей частью экономических, реформ победил Запад. Претензия теперь на единоличное лидерство. США и Западная Европа ухватились за идею «глобального мира» — по сути мирного распространения рыночного мирового капитализма. Остальные — за «многополярный мир». А что остается делать? Теперь сделка будет определять все.

Теория концентрического расширения Европы-НАТО, по которой вначале страны СНГ, потом по частям территории России должны объединиться под единым органом, не совсем уж и теория — в горячих головах она бродит как реальный план.

Россия стала окраиной Запада. Об этом я думал дома в России. Это приходит на ум и здесь, за границей.

Окраина, но великая. Окраина, которая и в однополярном мире не позволит себя просто так кантовать, кому куда захочется...

Но для этого надо экономически окрепнуть. Надо успешно работать. Но разве наше поколение, поколение наших отцов не работало? Работало! Жизни целых поколений, результаты их деятельности были принесены в жертву чему-то абстрактному и всепоглощающему. Мне порой начинало казаться, что я вот хожу по чужой земле, смотрю, а мои земляки, мои россияне, глядят на меня из своего далека, а те, кого уж нет на земле, смотрят на меня сверху, из этого бездонного, синего, ничейного, огромного неба и ждут от меня чего-то такого, что я должен обязательно сделать. А может, понять для себя, может, сказать слово...

Огромность неба своей бездонностью и неохватностью всего того, что в нем сейчас отражалось и глядело на нас, живущих, давило...

Казалось, все, что было с моими отцами и дедами, все каким-то образом закреплённое, зафиксированное, приумноженное — посылало мне какие-то знаки.

У меня побаливала голова и я чувствовал себя разбитым.

...Я вновь зашёл в холл гостиницы. Зачем-то подошёл снова к скульптуре сидящего в задумчивости монтрейского старца. Сколько осталось за властными языковыми опытами, прихотливой игрой с читателем, аристократизмом, каламбурами.

Где вымысел, а где сама жизнь? Почему-то более всего удручал меня факт его жизни в гостинице в течение шестнадцати лет..

Как вам жилось здесь, маститый писатель, на чужбине, пусть и прекрасной? Как вы выживали на Западе, русский человек? Многие известно о вашей жизни. Но сколько всего осталось втуне! Ведь выживать всегда досадно. Я сел в кресло напротив, слева от входа. Мысли путались, я не пытался их привести в стройный порядок. Меня удручал тяжеловесный вывод: русский народ всегда находился в режиме выживания.

...Подойдя к администратору, я зачем-то попросил сфотографировать меня около Набокова. Элегантный и услужливый молодой человек исполнил мою просьбу. Я поблагодарил и вышел, не зная, куда деть себя со своими мыслями.

Вспомнил, что где-то неподалеку есть город Вивей, в котором жил наш Федор Михайлович Достоевский, работая над «Идиотом». В Вивее у него родилась и умерла дочь. На доме должна быть мемориальная доска. Я взял было уже такси, намереваясь наугад махнуть от неприкаянности в Вивей, но, почувствовав перегруженность от всего, увиденного за день, и слабость (кажется, была повышенная температура), попросил шофера довезти до гостиницы.

Минут через двадцать мы подъезжали к подъезду «Виктории». Расплатившись с таксистом, я направился в номер. С левой стороны гостиницы лежало вывороченное с корнем огромное, метровой толщины, дерево. Корни его вздыбились над ямой, похожей на огромную воронку. Время было обеденное, но электроэнергии ещё не было и кормить нас в ресторане было нечем.

...Вечером, когда восстановили подачу электроэнергии, по телевидению сообщили о первых жертвах в Альпах — погиб ребенок. После пошли страшные сообщения: в обвалах во Французских Альпах погибло 26 человек. Затем уточняли цифры, но число жертв трагически росло!..

Таким оказался второй день католического рождества.

...Ночью опять не спалось. Я пришёл к мысли, что надо бы написать небольшую повесть о том, что чувствует русский в подобных командировках. Не давали успокоиться те чувства, которые я испытывал, посмотрев фильм о пьянстве. Я понял, что напишу повесть. И название пришло: «Записки провинциала».

А под утро написал стихотворение «Утренний свет», о котором и не помышлял.

*Колки мои и мои перелесья,
Лица моих земляков в поднебесье,
Лица живых земляков! И поныне
В сердце моём к вам любовь не остынет.
Зной над равниной и тень чернолесья —
Все уместилось в сердечную песню.
Русичи, где мы?! Какими мы стали?
Колки мои и равнины устали
Ждать возвращенья бывшего усердья.
Вялость душевная хуже ведь смерти.
Дух наш восстанет, я верую свято
Будут поля и посёлки опрятны.
Будет в душе не разврат, не смятенье,
Снова придут и покой, и уменьье.
Радость придёт. Без неё не бывает
Жизни цветущей. И тень побеждает
Утренний свет. Над моею равниной
Сумрак уходит. И разум былинный
Крепнет и крепнет. На подвиг великий
Благословляют нас светлые лики!*

Весь следующий день это стихотворение не выходило из головы. Состояние было приподнятым. Будто я обрёл новые силы. И знал, как их тратить и на что...

...О повести не забыл и ещё утром добросовестно начал записывать в блокнот все, что видел в комнате. Потом подошёл к окну, стал искать мелкие подробности. Вновь прислушиваясь к себе, понимал, что все это может оказаться тем самым строительным материалом, из которого способно вырасти то, что пока неведомо мне... Но что-то очень нужное...

...Я посчитал и оказалось, что побывал в пятнадцати странах. Разные были цели поездок. Деловые, туристические. Были поездки: в Париж, Рио-де-Жанейро, связанные, как теперь, с получением международных наград. Во время этих поездок за границу написал всего одно стихотворение — «Матери». В Нью-Йорке, в гостинице «Веллингтон», оно приняло свой окончательный вид. А «пробормотал» я его в томительном долгом ожидании отложенного рейса «Боинга» в аэропорту «Шереметьева-2»:

*Как хлебную корку
В далеком Нью-Йорке
Я память о нашей
Утёвке храню.*

Потом, в гостиничном номере, я по сути ничего не мог существенного добавить к тому, что пришло в ожидании самолета. И меня тогда сильно поразило то обстоятельство, что свои чувства и ощущения, которые потом были у меня, впервые прилетевшего в Америку, один к одному легли на уже написанное. Все было предвосхищено ещё там, на Родине. Тогда, помню, впервые подумал о том, что, как бы это точнее сказать, пишущий человек тем проникновеннее и ярче пишет, чем больше он закомплексован на чем-то. В этом случае срабатывают неведомые силы на иррациональном, рефлекторном уровне, как родниковые воды, они подпирают, а уж выйдя наружу, попадают в русло, которое зависит от очень многого, в том числе, конечно, и от владения ремеслом, в самом лучшем смысле этого слова!

...Рейс номер 272 «Женева-Москва» отменили. Прибыв 27 декабря в аэропорт «Женева», мы сели было в самолет, но, просидев около часа, получили вежливую команду выгружаться. Оказывается, перед самым взлетом, уже при работающих двигателях, командир экипажа обнаружил утечку из топливных баков керосина. Как нам потом говорила бортпроводница, керосин протекал по крылу до фюзеляжа. Фирма «Люфтганза», продавшая американский самолет нашему «Аэрофлоту», выслала для ремонта своих представителей, а наш рейс задержался ровно на сутки. Среди пассажиров гуляла кислая шутка, которую вроде бы обронил командир экипажа: хорошо, мол, что утечку обнаружили на земле, а не в воздухе. Негде было бы дозаправиться.

Меня лично как-то не очень беспокоили возникшие неудобства. Я думал о моей повести, и моё внешнее спокойствие, раздражающее попутчиков, моя неактивность в переживании возникшей ситуации с задержкой вылета были мне просто необходимы.

Внутреннее волнение от зародившегося замысла заслоняло многое, если не все...

Но наши души...

К счастью, не одни только супермаркеты растут на улицах Самары...

На самом видном месте, чуть левее «Белого дома», если смотреть со стороны Волги, на холме вознесся красивый храм-памятник Георгию Победоносцу. И теперь я по несколько раз в день вижу его. Каждый раз, проходя мимо, не могу не обернуться, чтобы не посмотреть на это великолепие.

6-го мая 2001-го года над самарской площадью Славы был поднят главный, облицованный сплавом титана, одиннадцатиметровый купол его. Около тысячи людей наблюдали, как сверкающий в лучах майского солнца купол вознёсся над Волгой, став украшением нашего старинного города.

Купол был освящен архиепископом Самарским и Сызранским Сергием. И долгие годы и десятилетия теперь будет радовать прихожан.

Я живу рядом с храмом. Но не только поэтому оказался в день поднятия купола около него. Потребовалась особая грузоподъемная техника с большим вылетом стрелы. И наш заводской кран «Като», купленный у японцев, грузоподъемностью сто двадцать тонн пришелся к месту. Я разговаривал с крановщиком Иваном Матвеевичем Шевченко, который вместе со своим тридцатилетним сыном Александром, тоже крановщиком, поднимали главный купол.

— Это мой шестой храм. Так хочется со стороны Волги, с воды посмотреть на него. Красивый очень!

Спрашиваю:

— Крещеный?

— Да. С детства.

— А сын Александр?

— Окрестили недавно, в прошлом году. Спихватились.

— Что чувствовали, — спрашиваю, — когда поднимали?

— Радость. Сын поднимал. Я около него — с рацией, мастер на храме — координировали. Сын все порывался вторую скорость включить, а я держал его на первой — столько народу было, пусть посмотрят. О каждом храме в память у меня дома стоит иконка в переднем углу.

...К радости идёт не только активное строительство храмов.

Наметился, хотя пока и с наслоениями всяческими, издержками, возврат к Вере.

Все же «смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе». Неискренность в отношении всего, что связано с верой, видна часто. И храмы, возводимые на несправедливые деньги... Истинную веру принесут ли? Но я сейчас не об этом...

* * *

Город Новокуйбышевск — «безбожный город», который родился-то как результат комсомольских всесоюзных строек, размахнувшихся на голых степных просторах, поверг меня в радостное удивление. Сотни граждан приехали на Престольный праздник Серафимовского храма 1 августа, на его освящение в честь завершения строительства. На улице изнурительная духота, внутри храма такая жара, что плавятся свечи, но многочасовая служба свершилась при огромном стечении прихожан, наблюдавших установление в храме святыни, подаренной городу по благословию Нижегородского митрополита — капсулы с частицей мощей Серафима Саровского.

Именно 1 августа девять лет назад стало особым днем для всей России, а теперь и для Новокуйбышевска в особенности. Тогда в Ленинграде, в Казанском соборе произошло повторное обретение мощей святого старца. Сам Патриарх Алексей II побывал в Дивеево, на той земле, где Серафим Саровский совершал свои молитвенные подвиги.

...Утром радостный колокольный звон возвестил о приезде в Новокуйбышевск высшего духовенства Самарской епархии. Путь Владыки к храму был устлан живыми цветами. Так новокуйбышевцы откликнулись на это событие. Не только строятся храмы. Происходит гораздо большее. Угнетенность, безверие, неприкаянность и загнанность потихоньку сменяются верой. Верой, которая ведет к созиданию. Пусть пока в малом, пусть порой не всеми замеченному созиданию, но мы, россияне, это видим и радуемся этому. Серафим Саровский, добровольно подвергнувший себя семнадцатилетнему уединению в Саровской пустыни, тысячедневному стоянию и молениям, десятилетнему безмолвному затворничеству в монастыре, исцелявший больных и ясновидящий, мог бы возрадоваться — его

и сто пятьдесят лет спустя знают и помнят. На нашей памяти держится все доброе и светлое. Дошли Добро и Свет его до нас, забывших было самих себя, своё прошлое, но очнувшихся, словно от черной напасти какой и вспомнивших себя сразу всех: кто мы и какими нам быть надобно.

...За капсулой с частицей мощей преподобного старца ездил священник Новокуйбышевского храма отец Сергей, мы с ним хорошо знакомы. Он жил в Кулешовке, недалеко от моего родного села Утёвка, затем работал в Нефтегорске. Был несколько лет партийным работником. Окончил духовную семинарию. В Новокуйбышевск его пригласил отец Константин — наш мудрый новокуйбышевский старец, теперь — почетный гражданин города. Участник Отечественной войны, бывший боевой танкист.

...Бережно держа святыню, владыка Сергей прошел в правую часть храма, приблизился к иконе Серафима Саровского и вложил капсулу в специальное углубление...

Храм построен и освящен всем миром. Потихоньку светлеют наши лица. Но наши души, наши души... В них храм ещё построить надо.

Вишни в снегу

Есть такой давний анекдот. Ведет палач осужденного на казнь, а тот спрашивает: «Который сегодня день?» — «Понедельник», — отвечает палач. «Ну и неделька выдалась», — произносит осужденный.

Нечто подобное случилось и со мной с самого начала нового года третьего тысячелетия. В первый рабочий день недели, 3 января, на расширенном заводском собрании в присутствии более полусотни начальников цехов, отделов, главных специалистов было объявлено явившимися из Москвы новыми владельцами комбината, что с первого января я отстранен от должности генерального директора.

Таким новый год выдался!

Очевидно, невольню могу попасть в Книгу рекордов Гиннеса — 1-й безработный директор в третьем тысячелетии. Если учесть, что за неделю до этого я получил звание заслуженно-

го инженера России, а чуть раньше Международную премию за проявление роли лидера и упрочение позиций своего предприятия, случай явно курьезный. Конечно же, полной неожиданностью это отстранение для меня не было. Когда два с половиной года назад нанимали меня по контракту попробовать поднять развалившийся комбинат, имеющий непомерные долги, выплачивающий заработную плату с полугодовым опозданием, я понимал: чем быстрее я подниму на ноги этот некогда один из крупнейших нефтехимических комплексов России, а точнее, СССР, тем скорее он станет привлекательным на рынке и возможно будет выставлен на продажу. Другими словами, чем лучше буду работать как директор, тем скорее останусь без должности, ибо по заведенной практике новый хозяин, обычно, меняет директора и часть управленческой команды.

Понимать-то понимал, но ведь и рассчитывал на разумное: ведь если мне удалось (а другим троим директорам, сменившимся в течение четырех лет — нет) поднять завод, обеспечив и хорошую устойчивую рентабельность и прибыль, то какой резон новому владельцу комбината менять команду управленцев — мы нанятые специалисты, мы далеки от имущественных амбиций?

Ан нет. У нас, у русских, не как у всех. Обязательно по своему: уж если ломать, так ломать. Да ещё чтоб хребты трещали. Когда так нашу психику тронуло? В 17-м году или раньше? Но топчем друг друга в азарте борьбы и увечим. Будто не ведаем, что не соперника ломим, а самих себя.

— Да-да, мы хорошо знаем: ты — один из лучших директоров. Конечно. Но, понимаешь сам, когда уходит президент страны, премьер и его команда — тоже уходят. Такова норма.

— Но президенты меняются, когда политический либо экономический кризис. Мой же завод работает так, как не работал уже лет десять. И ваши технические специалисты согласились с нашей концепцией дальнейшего развития. Для чего менять? Я же не резидент иностранной разведки, — очевидно, не очень внятно пытаюсь добраться до истины.

— Послушай... знаешь что... мы тебя найдем, не горячись с выводами, у нас куча заводов...

...В тот день третьего числа после окончания рабочего дня непроизвольно собрались у меня в кабинете человек пятнад-

цать главных специалистов. Понурые и притихшие: завтра в этом кабинете утреннюю планерку уже буду проводить не я, а новый генеральный директор. Молча расселись за стол, все на свои обычные места. Мне невольно захотелось пересесть. Я встал со своего места около микрофона и сел к столу среди коллег. Они молча переглянулись. Шёл разговор глаз.

— Рентабельность по году тридцать два процента, объем переработки против прошлогоднего вырос в полтора раза. Таких показателей у комбината не было десять лет. Похуже бы работали, дольше бы комбинат наш не продали.

Это высказался под общее одобрение главный технолог, подтверждая ещё раз вслух то, что мы все понимали.

Я посмотрел на своих помощников. Мне было обидно за них. Собирал я команду по крупцам в течение последних двух с половиной лет. Отбирал «штучно». Большую часть пригласил с институтов. Многие с учеными степенями. Привыкшие к аналитической работе в вузах, они поначалу малость подрастерялись, увидев объемы, масштабы производства. Шутка ли: территория, которую занимает комбинат, равна семистам гектарам. Свои четыре тепловоза, депо, тридцать километров только заводских железнодорожных путей. Для того, чтобы оперативно вывозить продукцию, требуется иметь постоянно в обороте около девятисот железнодорожных цистерн. И над всем этим, над заводоуправлением высятся семидесятиметровые громадины-колонны центральных фракционирующих установок.

Мы притерлись в работе. И я считал всех и себя готовыми начать строительство новой, так нужной заводу, импортной установки.

Но...

— Вспомнил я один рассказ нашего цехового механика, — в тишине, подбирая медленно слова, с расстановкой заговорил мой заместитель. — На фронте ему однажды душновато показалось в блиндаже, вышел на воздух покурить. Немец помалу постреливал и вдруг совсем неожиданно как дербалызнет прямо, как в точку, в блиндаж — и всех до одного, кто там был, наповал. А он лежит рядом целехонький, механик наш будущий.

— Не совсем понял, к чему это? — бесстрастно произнёс главный технолог.

Под стать ему бесцветным голосом мой заместитель пояснил:

— Наш генеральный, сдается мне, вышел покурить и — уцелел. А нам — копошиться в развалинах блиндажа, пошатнется ведь все.

...Когда ехал домой, в машине запоздало вспомнил, что в повести «Отклонение» описал первые дни и месяцы безработного, бывшего главного инженера крупного завода. И подивился. Я, выходит, один-то раз уже пережил такое. Забыл? У меня же есть опыт. Когда писал о главном инженере Касторгине, не спал ночами, так болел за него. Я его временами отрывал от себя, старался, чтобы он не был похож на автора, иначе читатель, знающий меня, будет недоумевать: кто есть кто? А теперь? Теперь мне захотелось приблизиться к герою моей повести — главному инженеру — и присмотреться. Поучиться тому, как он думал, как выщарапывался из волчьей ямы, в которую попал. «Есть ли у меня дома экземпляр повести «Отклонение» или нет? — думал я. — Надо к Касторгину прислушаться. Где неточно сказал, ведь теперь-то сам безработный. Был опыт на Касторгине, теперь — на самом себе. Может, поторопился писать повесть, вот теперь бы в самый раз...»

От завода до дома езды около сорока минут, кое-что можно успеть поворошить в памяти.

Виктор Стражников, директор из моей повести «Черный ящик» смотрел на меня испытующе из своего времени. Мне кажется, я чувствовал рядом его дыхание, видел его лицо. Он подтолкнул меня в начале этого года на мысль делать эти записки. Он как бы выверял автора на стойкость. Ну что ж, смотри, мой герой, на своего автора.

...Вспомнился недавний разговор с писателем Семеном Ивановичем Шуртаковым в его московской квартире на улице Усиевича в последнюю мою московскую командировку.

— Странное дело, вот ты же неизмеримо занятый человек, руководишь огромным комбинатом, казалось бы, где время брать, а в прозе твоей не чувствуется никакой поспешности. Это хорошо. Но как это удается?

Его манера говорить, легкая походка и отцовская доброжелательность напоминали мне Григория Федоровича, моего старого приятеля, живущего в Новокуйбышевске. Как оказалось, они одногодки, фронтовики. Они из того поколения наших от-

цов, которое дало нам все, чем мы владеем. Они многое прошли и многое повидали в жизни.

— Да вот... — пытаюсь я как-то ответить на вопрос. Но он, я вижу, не ждет ответа, быстрыми легкими шагами передвигается в своей заставленной книжными шкапами квартире и ищет, во чтобы мне упаковать четыре тома самого полного третьего издания словаря Даля. Мои уверения в том, что у меня есть дома в Самаре второе издание этого словаря, сделанное книгопродавцом-типографом М.О. Вольфом в 1880 году, его не останавливает:

— Вот привезешь в Самару, посмотришь и увидишь, какая разница между ними. Это же репринтное воспроизведение с третьего издания 1903 года под редакцией профессора Бодуэна де Куртене. Самый полный словарь. А роман мой прочел? — вдруг спрашивает без всякой связи.

— Не нашел пока в библиотеках, — мямлю я. — Сборник рассказов «За все в ответе» у меня на столе.

— Ай-яй-яй, мог ведь бы и прочесть.

Он ведет семинар прозы в Литературном институте и менторские, учительские нотки в разговоре иногда проскальзывают. А может, мне только так кажется. Может, это возраст толкает к тому, а не учительство. Я не был студентом Литературного института и не могу знать тамошних отношений ученика и учителя.

Он быстро присаживается за небольшой стол в углу и что-то пишет, не спеша и аккуратно. Встает и протягивает мне номер «Роман-газеты XXI век» с его романом «Одолень-трава», за который получил когда-то Государственную премию СССР.

Потом спиной к окну садится в кресло, некоторое время сосредоточенно смотрит на меня и произносит:

— Видишь ли, так тянуть долго нельзя, конечно, советы давать легко, да я и не советы даю. — Он помолчал. Затем не очень уверенно сказал: — Но ведь надо что-то делать?! Надо отказаться от производственной деятельности. Твои повести — это серьезно. Надо писать. Ты — писатель.

«...Да-да, очевидно, так. Журнал «Молодая гвардия» начинает публиковать мою повесть. В журнале «Москва» готовят к печати отрывки из другой вещи «Колки мои и перелесья...» — мысленно соглашаюсь я.

Вдруг мой собеседник, застыв посреди комнаты, вполне искренне спохватился:

— Но надо же самому думать, самому решать. Дело-то такое тонкое.

Что теперь решать, дорогой Семён Иванович, мой неожиданный наставник? Всё решено.

Одно ясно: меня внезапно выбросило из мутного потока, в который попала наша отечественная нефтехимия, на берег и я вместо того, чтобы сопротивляться этому, кажется, помимо своей воли, все ближе и ближе подхожу, опасливо озираясь и удивляясь непрактичности своих намерений, к другому мощному и мутному потоку: литературному...

...Но стоит ли торопиться?

Может, отлежаться некоторое время на берегу, меж двумя потоками, до своего времени...

...Делаю эти записки девятого января после похорон моего хорошего знакомого, похожего на Семена Ивановича. Такой же поджарый, приветливый и доброжелательный, и фронтовик — Интересов Григорий Федорович — умер шестого января. Мы знали друг друга лет тридцать. Работали в одном цехе. Потом он ушёл на пенсию. Но мы продолжали встречаться, несмотря на большую разницу в возрасте. Нам было интересно общаться. Он любил мне дарить что-нибудь из своего сада: черенки винограда, смородины.

В памяти всплыли майские дни двухтысячного года. И его вишни в моём саду. Я приехал на свою дачку с ночевой и, проснувшись утром рано 1-го мая, был изумлен. Накануне обещали сильные заморозки на почве и я долго вечером ходил около буйно цветущей, другого словосочетания, как ни банально, не подберешь, вишни и с досадой вздыхал. Уж больно хорош был наряд красавиц! Белые и чуть нежно-розовые лепестки так невинно и безропотно смотрели на меня! Я, весь уже покорившись неизбежности грядущей с сумерками для них беды, не знал, что делать. Такого цветенья вишен ещё не было, да и не плодоносили они пока ни разу, хотя пошёл шестой год, как высадил я их под окошком около березы. Каждый год Григорий Федорович вместе со мной ждал первого урожая.

Утром 1-го мая случилось чудо. Выпал снег, он лежал толщиной до 10 сантиметров, искрящийся и необычайно чистый!

Был страх за все растущее и цветущее. Сразу вспомнились строки Есенина:

*Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синюю свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.*

И не к месту вроде бы, и совсем иной смысл звучал сейчас, применительно к майским заморозкам в словах:

Я по первому снегу бреду...

Всё увядало, замерзало на глазах, совсем неожиданно, случайно. Пропадала логика явлений в природе: вначале тепло спровоцировало буйное цветенье, а потом природа сама себя и губит.

Я подошёл к вишням. Картина была изумительна. Не знаю, чего было больше на ветвях: цвета или снега. Все вперемежку. Всё нежно, невинно и — гибельно. Неизъяснимая нежность возникала в душе при виде этого сказочного убранства вишен. Холодно-изящные веточки, опушенные искристым снегом, пронизанным нежно-розовым цветом, рождали неожиданную тревожную радость. И это несмотря на то, что все должно было погибнуть!

«В сердце ландыши вспыхнувших сил...»

...2-го мая весь снег растаял.

На удивление в свой срок появилась завязь и настал день, когда ветви стали ко всеобщему восторгу ломиться от наливающихся ягод. Это было чудесно. Когда я брал в рот ягоду, то ощущал и тот холодок, который коснулся вишен в мае.

Мы, все, кто жил на дачке, договорились: есть только с куста, не собирать ягоды в посуду — так вкуснее. И вся детвора в округе это одобрила. Было вкусно и забавно. Около вишни был часто смех и радостные лица...

Почему я сейчас пишу об этом? Казалось бы, не к месту эти мои воспоминания.

Но они жили во мне все лето, осень. И сохранилось до зимы это изумление, которое я испытал при виде заснеженной цветущей вишни. Я тогда, на бегу, записал кое-что на обрывке бумаги. И потерял написанное. Но снова всплыло в памяти все. Оттого ли, что похоронил я сегодня одного из моих друзей, потому ли, что меня ушибла моя отставка (не думаю, что так).

Или пришло на моём пути по моим колкам и перелесьям время вспомнить и обернуться: уже многих нет и с теми, кого нет — кого любил — отлетела частица меня. И меня становится все меньше и меньше. Так привязался душой к ним. Неужто так уходят от человека жизненные силы? От тебя к другим — кого любил. И многих уже нет. Куда же все уходит?!

Вечер синюю свечкой звезду

Над дорогой моей засветил.

...Чем старше становишься, тем тоньше и пронзительнее любишь...

Иногда в школьные годы, лет в четырнадцать-шестнадцать возникал вопрос: а какой он будет двадцать первый век? Какие мы будем? И тут же рождалась холодноватая, но не пугающая мысль: а доживу ли я до этого времени?.. Уж больно солидный, казалось, ещё был впереди запас времени. Казалось, его вполне на все хватит. Ан, нет. Не хватило на всё.

...И вот, оказывается, не только дожил, но пришел по своим колкам и перелесьям к рубежу столетия, как ни странно, молодым...

О, наш рациональный и циничный век!

Уже и анекдот есть про третье тысячелетие.

Один мужик спрашивает другого накануне нового года: «Ты что будешь делать в третьем тысячелетии?» Тот, усмехнувшись, ответил незатейливо: «В основном лежать».

...Я ещё в свои 56 лет до конца не понял, что самое главное в жизни. И себя не понял до конца.

И застигнут в пути третьим тысячелетием в таком состоянии, когда многое в жизни ещё не попробовал... И так много ещё хочется сделать!

...А моя отставка как неожиданные заморозки в майские дни. Она не может быть губительной для меня. У меня есть пример белоснежных вишен в моём саду, расцветших в посуровевшие майские дни последнего года второго тысячелетия.

И перед глазами моими — налитые алым соком ягоды вишни! И детские весёлые лица!

И детский смех — бессмертный во всех тысячелетиях!

«А избы горят и горят...»

Такой тяжёлой поездки в Москву у меня прежде не было. В издательстве «Российский писатель» только что вышел двухтомник моей прозы «Под открытым небом».

Я ехал на радостную встречу, а попал на похороны.

19 мая на 89-м году после долгой болезни не стало Михаила Николаевича Алексева.

Едва поднялся в Правлении Союза писателей России на второй этаж, встретился с горестно озабоченными Мариной Ганичевой и Сергеем Котьяло. От них-то и узнал печальную весть. Тут же подошёл Николай Иванович Дорошенко, издавший мою прозу. С ним мы и вошли в открытую дверь кабинета Валерия Николаевича Ганичева.

Короткие, лаконичные приветствия. Не поворачивается язык говорить что-либо, не связанное с горькой утратой. А говорить о ней нет слов.

Почти машинально передаю Валерию Николаевичу свой двухтомник, а он тем временем озабоченно принимает от кого-то телефонную трубку.

Понедельник. Первая половина дня. Забот в связи со случившимся предостаточно. И все они требуют особого внимания.

Немногословность присутствующих, вовлечённых в общий поток организационных похоронных дел, сковывает.

Трудно быть на людях.

Спустился на первый этаж, туда, где, чуть дальше, в узком закутке коридора дверь с надписью: редакция газеты «День литературы. Не тронул дверь.

Хотелось побыть одному.

Так много связано с именем Михаила Алексева, с жизнью героев его книг.

* * *

Всплыло в памяти давнее...

...Многоголосые, шумные сентябрьские дни, как водится, были у нас заполнены всклень школьными новостями, футбольными сражениями на стадионе за огородами, и рыбалкой,

страсть к которой у нас, пацанов, с началом занятий в школе не только не утихала, а разогрелась с новой силой.

В тот день мы всей семьёй шумно и весело копали картошку. Я не услышал скрипа калитки, когда в огород к нам пришла моя бабушка Груня.

— Шура, возьми-ка! Нашла на дороге, — она протянула мне тугой, схваченный в трубку обычным шпагатом, сверток.

Я отряхнул от теплой земли руки, поднялся над кучкой ядреной красной картошки и шагнул ей навстречу. В свертке оказались портреты русских писателей.

И бабушка Груня, и мама моя были неграмотными, едва могли написать свою фамилию, но к книге отношение всегда было трепетное.

...Вечером того же дня мы втроем наклеили портреты под самым потолком в нашей избе, на беленые саманные стены. По несколько штук в разные стороны от иконы в углу.

В начале левого ряда оказался Лев Толстой, в начале правого — Пушкин. А далее за ними: Герцен, Чернышевский, Куприн, Короленко, Лермонтов, Тургенев, Островский, Горький, Чехов, Достоевский...

Какие звучные и необычные фамилии.

«Эти люди особенные, — размышлял я, обозревая их долго и внимательно. — И люди ли они? Почему бабушка Груня предложила разместить их около иконы?.. Она просто так ничего не делает!..»

Многие из этих писателей мне были уже известны, но книги Чернышевского, Островского и Достоевского не попадались.

Я решил обязательно наверстать упущенное, разыскать их книги, раз они рядом с теми, кто написал «Филиппок», «Капитанская дочка», «Белый пудель», «Дети подземелья». И многое другое, что теснилось в голове, с невероятной крепостью оставаясь в памяти.

Но вскоре случилось неожиданное...

* * *

Едва я вошёл в дедовой избе в горницу, как увидел на столе две толстенные книги. Размер их меня не удивил. Уже были прочитаны Майн Рид, Фенимор Купер, Дюма. Поразило завораживающее, емкое название: «Тихий Дон». Что-то

манящее и бездонное слышалось в этих звуках, песенное: ... дон, дон, дон...

Довольный, шагал я задами домой, заполучив на неделю от моего дяди книгочея Алексея первый том, совсем не представляя, как потрясет меня эта книга.

«Михаил Шолохов» — такого имени в длинном ряду на белёной стене нашей избы не было. Какое-то необычно тихое, шелестящее на губах. И главный казак: Григорий Мелехов!.. Он совсем не похож на Печорина, Гринева...

Правда жизни и глубина, масштаб событий и характеры русских людей в романе ошеломили с первых же страниц. Это я теперь могу так формулировать своё отношение к прочитанному. Тогда, в детстве все чувствовалось нутром, и не хватало сил осмыслить и выразить словом...

Позже мне попало известное высказывание Серафимовича о том, что шолоховские герои «вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор».

Верно, все так и было. Так и есть!

И эти непривычные слова: майдан, чирики, шлях, гитарют!.. Читал эпопею о народной казачьей жизни, такой далекой и такой вдруг знакомой, запоем.

...Солнечные зайчики, словно блики от жгучей шашки Григория, легко перехватываемой им из правой в левую руку, запрыгали в моих глазах. На четвертой книге почувствовал резкое ухудшение зрения. Но не забеспокоился. Торопился дочитать.

Прячась в тенечек за широкими нашими сенями от необычно яркого сентябрьского солнца, преодолевая рябь в глазах, дочитал до конца.

К врачу все же пришлось обратиться. Он приписал мне очки.

В пятидесятых годах в сельской школе «очкарикам» было непросто. Правда, я мог постоять за себя и дать сдачу... Но... Носил очки я с полгода. Зрение моё поправилось. Где-то через год перечитал роман вновь. Уже спокойнее. Увидел и пережил многое, ранее незамеченное. Жуткие сцены гибели белых офицеров и Чернецова, а затем Подтелкова и Кривошлыкова — потрясли. И эти оброненные, негромкие вроде бы слова Григория: «Спутали нас ученые люди». Они не давали покоя...

Мне теперь кажется, я тогда, после «Тихого Дона», крепко

повзрослел. И... стал думать о писателях. Откуда берется такой дар? И как это случается? «Как ему повезло, — размышлял я по-мальчишески об авторе великого романа, — он родился на Дону, среди казаков, в необычной жизни. Нельзя было ему поиному писать! Одно слово: Дон-батюшка! Такая яркая жизнь! Только записывай...»

* * *

И тут новая книга: «Вишневый омут»!

И опять: тихое и совсем простое имя автора: Михаил Алексеев. Поразительно: почти наш, самарский. Можно сказать: земляк. Из-под Саратова! И оказалось, что не только донская, и наша жизнь, притягательна! Заразительна! И она: чудо!

Забавно, меня тогда всерьез занимал вопрос: как рождаются, кто придумывает слова? С чьих губ впервые сорвалось: урёма, дубрава, Отчина?.. Когда находил в книжке редкое «своё» слово, радовался.

А тут у Михаила Алексеева столько «наших» слов: терн, синьга, подволока, стышной, дудак, калякать... Особенно радовало у Алексеева слово подволока. Мне всегда было обидно за это слово. У нас говорили: «Возьми на подловке», «Там где-то на подловке». И звучало... не очень... Я это всегда чувствовал. И тут полная прямо-таки реабилитация! Подволока! Для меня это было как награда...

Намного позже, уже когда учился в институте, попалась мне на книжном прилавке тоненькая, выпущенная издательством «Правда» в серии «Библиотека «Огонька» повесть «Карюха». Все в ней было наше и моё! И не мудрено. Жил я в доме деда. А там и рыдван, и мерин Карий. И быт, состоящий весь из сенокосов, рыбалок, нескончаемой работы на земле: на травокоске ли, на конных граблях, с косой в руках... И в доме отца тоже самое. Только по инвалидности не мог он работать конюхом, как мой дед.

...Все будто про нас и про предшествующее поколение, живущее уже взрослой жизнью...

Я перечитывал повесть несколько раз. Читали её все родные и многие знакомые. К тому времени на моей книжной полке давно прописались «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Фурманова, «Дерсу Узала» Арсеньева, «Капитанская дочка» Пушкина. И среди них теперь — «Карюха».

Я тогда уже писал стихи. Никому их не показывал. Сам удивлялся тому, что пишу. Зачем? Читал стихи других и недоумевал: зачем они пишут? Ведь были уже Пушкин, Лермонтов, Есенин? Разве можно написать лучше?

Но стихи рождались! Печатать в местных газетах не хотел. Однажды решил послать их Дмитрию Ковалеву на адрес журнала «Наш современник». Почему Ковалеву? Понравилась его тоненькая книжка стихов, выпущенная издательством «Молодая гвардия» в 1965 году в серии «Библиотечка избранной лирики». Оригинальность сопроводительного текста от составителя Василия Федорова притягивала.

Ответ пришёл, к моему удивлению, быстро. С первой страницы письма бросались в глаза обжигающие размашистые строчки:

«...Стихи у вас пока получаютс я наивные, не самостоятельные.

В стихотворении «Платочек» сразу же похожее на пушкинское:

*«Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ли во многолюдный храм».*

И по интонации, и по ритму похоже. И с платочком, и с колодцем уже много раз было у других поэтов. Зачем же хуже повторять уже сказанное кем-то?

В других стихах есть верные мысли, но также не свои, не новые».

И далее:

«...Вы не лишены поэтического видения и даже думаете подчас поэтично, но это лишь отдельные слабые пока проблески.

...Читайте внимательно русских поэтов. Учитесь у них быть непохожими на других... Сказать что-то своё».

Ничто в письме не утешало, не давало, казалось, надежду на что-то настоящее. Даже упоминание имени великого поэта.

«Учитесь сказать что-то своё», — звучало как приговор. Но я ведь и говорил своё. Но оно совпадало со сказанным до меня. Но оно моё?! Другим я не мог быть. Говорить по-иному, непохоже на других, значит перестать быть самим собой, изменить

себе? Но я бежал от искусственного... Я хотел оставаться какой есть. Жизнь самоценна! В ней поэзия, в жизни!

Мне явно не хватало литературной учебы. Но я не искал её, полагая, что писатель должен родиться самостоятельно. Конечно, в этом было многое от молодости, от избытка сил.

«Я молод был, был жаден и уверен».

Мои крестьянские корни не позволяли мне суетиться. Я и сам понимал, что наивен в стихах, но не боялся этого. Мастерство казалось сомнительным достоинством стихотворца. Ценил истинность чувств. Я явно что-то не понимал тогда...

А стихи фантанировали. Мог написать пять стихотворений в один день...

* * *

После того как прочитал «Карюху», начал писать прозу. «Вот оно кровное моё!», — ликовали все внутри, когда я держал в руках повесть о Карюхе. И тут же моя радость тускнела: «О «моём» уже сказано. И опять не мной!»

Михаил Алексеев писал: «...В передней, под потолком, на ввинченных кольцах всегда висели две зыбки, и в них обязательно пицало по ребенку». То же самое было и в нашей избе. Висела, правда, одна зыбка, но через неё прошло четверо.

Только потолок у нас был «свой»: об этом и о находке свёртка с портретами писателей я упомянул позже, в рассказе «Мишкина песня». Вначале-то никакого потолка в нашей саманной избе вообще не было. Была одна соломенная крыша. Потолок появился позже. Его настелили из слабых половых досок при замене пола.

Отец мой после госпиталя лет пять ходил на костылях. На конце каждого костыля у него было вбито по гвоздю, для надёжной опоры. Весь пол от этого был в мелких точках и рытвинках. Большая часть тех досок и попала на потолок. Теперь, когда я ложился спать, эти, будто изъеденные оспой, доски были перед глазами.

На той же странице удивительной повести до сердечной боли знакомое: «Оживление за столом возрастало по мере приближения к ответственному моменту: щи почти выхлебаны, на дне оставалось одно мясо, и вот-вот прозвучит команда: «Берите».

Все в этой сцене из повести было «моё»!

Только мой дед не подавал за столом команду, а говорил нарочито буднично, как бы вынужденно: «Таскайте потихоньку». И едоки начинали ловить куски мяса.

«Сказать что-то своё», — это во мне засело крепко. Вскоре мои коротенькие лирические новеллы одну за другой начала печатать областная газета.

И что бы потом ни делал, жила во мне постоянно мысль: «И об этом напишу, и об этом. Ведь это я узнал изнутри как никто, и это...»

Получилось, что пошёл я в прозе не самым легким путем: сначала прожить, потом написать. Так случилось почти со всеми моими опубликованными вещами. Только когда мне перевалило за сорок пять лет, решил напечатать свою прозу отдельной книгой. И те первые мои короткие новеллы составили основную её часть

Не ведая того, Михаил Николаевич подтолкнул меня как мудрый отец в прозе к вполне осознанному мной шагу.

А за его спиной стояла фигура гения, чьи слова, взятые много позже в качестве эпитафии, Михаил Николаевич использовал в своём романе «Драчуны»:

*«Мне кажется, что со временем
вообще перестанут выдумывать
художественные произведения...
Писатели, если они будут, будут
не сочинять, а только рассказывать
то значительное и интересное, что
им случалось наблюдать в жизни».*

(Л.Н. Толстой)

«Перестанут выдумывать...», а мне и не хотелось начинать это делать. Я, очевидно, был слишком конкретным и деловым. Очарование «привычных мелочей» было дороже вымысла.

* * *

...А тут пришла, ворвалась неуёмная страсть к химической технологии и связанной накрепко с ней наукой. В которой порой факт и опыт оказывались фантастически значимыми.

И люди науки, научная интеллигенция, по сути своей схожие в большинстве своём с крестьянством преданностью своему делу, трудолюбием, подлинностью и надёжностью, бескорысти-

ем, покорили меня. Я и сейчас чувствую себя должником всех тех, с кем рос на селе, а затем работал в науке. Это странное, на первый взгляд, соединение дало мне очень много.

Страсть к научной работе удерживала меня в своих объятиях до середины 80-х годов, пока не почувствовал, что желание писать неистребимо.

* * *

Рукопись своей первой книжки прозы принес директору Куйбышевского книжного издательства поэту Борису Соколову. Мои маленькие рассказы ему понравились. Книгу включили в план издания. Но меня удерживало одно обстоятельство.

Казалось: все, что я написал и напишу в последующем, как-то не соотносится с моей фамилией. Не соответствует она той действительности, в которой я вырос и которая — суть моей книжки. Со стороны для читателя либо фамилия автора, либо содержание книги могли показаться искусственными. Я боялся фальши, пусть даже кажущейся.

Позвонил Соколову и попросил поставить на книжке фамилию Вдовин.

— Это ещё зачем? — требовательно прозвучало в трубке.

— Псевдоним.

— К чему он вам?

— Ну, как? — мялся я, — моя фамилия не соответствует. Для стихов ещё может быть...

— Не валяйте дурака. Славянская фамилия. И красивая!

Я продолжал настаивать на своём.

— Поздно, понимаешь? Обложку уже сделали! — нашелся издатель. — Назад хода нет!

Полагая, что он лукавит, я помчался в издательство.

Ершисто глядя на меня через толстые линзы очков, директор басовито произнёс:

— Фамилия у тебя — твоя?

Я согласился:

— Моя.

— Чего ж тебе надо?

— Она как бы случайная... Там, где я родился...

— Александр! Запомни: ничего случайного не бывает.

Он протянул красочную обложку. Недовольно нахмутив брови, произнёс:

— Извини, брат, получилась немного не того... Рассказики неплохие... да... А обложка больше подходит для брошюры по кулинарии. Художника смутило название книги: «Степной чай».

Странно было такое слышать. Но слова: «рассказики неплохие» перевешивали все.

В висках стучало: «Неужели я всё-таки писатель?...» Открывались в собственной судьбе такие дали...

— А можно посмотреть, как все делается? — спросил я.

— Не понял?

— Ну, как рождается книга? Как набирают? Брошюруют и так далее?

Брови у поэта-директора полезли вверх.

— Малиновский! Станный вы, вообще, человек. Впервые вижу автора, рвущегося посмотреть, как набирают его книгу.

— Ну и что? Технология. Это всегда интересно!

— Ну, во-первых, делают это не здесь, а в типографии. Надо долго ехать.

— У меня есть время.

Директор посмотрел на меня, как на малое дитя:

— А, во-вторых, гоните из себя технаря. Вы чересчур конкретны.

— Но без конкретики, подробностей нет и литературы настоящей, — как бы оправдываясь, произнёс я. — Все же из мелочей состоит...

— Как это у вас такая проза идёт? — вслух удивился мой собеседник. — Как вы соединяете в себе все это? Он мне говорил то «ТЫ», то «ВЫ».

Свои стихи показать ему я не решился.

Эта рукопись стихов, которую я около двух десятков лет назад подготовил и с которой тогда намеревался всё-таки поступать в Литературный институт, пылилась дома на полке. Тогда, в последний момент перед отъездом в Москву, я передумал ехать «учиться на писателя»: ещё продолжал барахтаться между догадкой, что настоящие стихи научиться писать нельзя и огромным желанием глубже познать поэзию. Все-то мне казалось, что я не готов, не знаю пока жизни.

*«О чем не подумал — про то не расскажешь;
о чем не поплакал — про то не споешь».*

Через полгода женился и о своём намерении поехать в Москву учиться вспоминал с иронией.

* * *

Мою повесть «Степной чай» издали 25-тысячным тиражом. И я даже получил гонорар. И хотя деньги были по сравнению с тем, что я тогда зарабатывал, совсем небольшими, гонорар, по моему разумению, свидетельствовал о чем-то очень серьёзном.

* * *

Впервые я увидел Михаила Алексева в ноябре 2000 года на 10-м съезде писателей России. Он открывал съезд. Я так давно ждал встречи с автором «Карюхи» и «Вишневого омута».

Он оказался невысоким, негромким и лишенным всякой официозности человеком. Прихрамывающий. Это обстоятельство, несмотря на орденские планки и звезду Героя Социалистического Труда, ещё больше делало похожим его на моего отца Василия Федоровича Шадрина. Я-то знал, что неродной мой отец — Герой труда, как и десятки других моих безвестных односельчан, только не замеченных...

К тому времени я был уже членом Союза писателей России, получил за повесть «Под открытым небом» Всероссийскую премию, а чувствовал себя на съезде школьником.

Едва объявили перерыв, попытался приблизиться к Михаилу Алексеву. Мне это удалось, когда он направился по коридору на обед. Я подошёл. Назвав себя, сказал, что очень рад видеть автора «Карюхи».

Кто-то из сопровождавших его услужливо попытался, тесня меня, увлечь писателя вниз, в кафе. Я заторопился сказать самое важное. И заговорил о том, что и у меня в детстве была лошадь, только не Карюха, а Карий, слепой на левый глаз здоровенный мерин, что дед мой — конюх и все мои родственники и знакомые очень любят повесть. Выглядело, наверное, это забавно...

Михаил Николаевич доброжелательно, улыбаясь, слушал. Очевидно, уловил в моём косноязычии искренность и, что меня особенно тронуло, совсем по-свойски, как давно знакомому, сказал:

— А я ведь её написал всего за месяц...

Больше он ничего не успел сказать. Его увлекли в дверной проем все те же услужливые руки. Он пропал из виду.

Сказанная им короткая фраза покорила меня своей доверительностью.

Потом ещё несколько раз видел его. Мы говорили. Но на ходу. Он вел себя все также просто.

Написав свою повесть «В плену светоносном», я попытался через Ямиля Мустафина, который наведывался к Алексееву в Переделкино, передать её ему. Добрейший Ямил Мустафьевич стал для меня особенно близким, после того, как поехал со мной на мою родину, перезнакомился с моими земляками, сходил в дом моего деда, в котором я родился и вырос. И всем понравился. Его теперь у нас многие помнят. Взяв книгу, он невольно развел руками: «Михаил Николаевич прибаливает крепко. Вряд ли сможет прочитать»...

* * *

Роман «Ивушка неплакучая» я прочитал, когда уже закончил институт.

Теперь снова держу в руках заветный томик. Читаю аннотацию: «В романе «Ивушка неплакучая» Алексеев создает образы русских женщин, в дни и годы суровых испытаний не только не утративших свою душевную красоту, но проявивших всепобеждающую любовь и огромную внутреннюю силу».

Все так! Все, конечно, тогда так и было.

Но что стало с нами потом?

Где те женщины? Какие они теперь?

Не дает покоя голос моей землячки Татьяны, схожей по возрасту то ли с дочкой, то ли с внучкой алексеевских Фени Угрюмовой или Журавушки:

— Саша, что же это Богу-то не до нас? Либо так сильно нагрешили мы? Неужто наша доля такая? Прибрал бы он мово Миколая.

— Совсем спился? — спрашиваю, глядя в землистое лицо собеседницы.

— Ладно что пьет и не работает. Теперь стал из дома что ни попадя тащить и пропивать, — отвечает будничным голосом. —

Устала. Когда-нибудь не стерплю — пришибу насмерть его. Разорит нас. Мне ещё двух дочерей замуж надо отдать. Пристроить как-то.

Прибрал бы потихоньку его... Увел бы от греха меня. Убью... Неужто наша доля такая?

Дико было слышать все это и видеть самого Николая. Два десятка лет назад был он одним из лучших механизаторов. В почете был. «Разбабахали», как он говорит, местный совхоз. Растащили все. Как большие рыбы скелеты белеют за селом обветшалые железобетонные конструкции коровников. Там когда-то работала Татьяна. Теперь без работы. Только огород. В прошлый мой приезд стен не было, но перекрытия оставались на месте. Теперь и плиты наполовину утащили. Николай мог быть только при большом общем деле. Не стало такого дела, забыли про специалистов, и — потерялся человек. Не стало смысла жизни.

Фрося Угрюмова, Журавушка — стоят непридуманно, живыми перед глазами. А моя землячка Татьяна, как с ней быть? Не одна она теперь такая... С пьющим беспробудно мужиком или без него, давно сгнувшем...

О русской женщине ещё в 1960 году, почуяв запредельную бездну, так сказал Наум Коржавин:

*...Столетия промчались. И снова,
Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
А кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят!*

...Когда-то Михаил Алексеев в своих повестях резко повернул от военной темы к деревенской. В последние десятилетия вновь вернулся к тяжким военным годам. Как ни трудны они были, но в них он увидел опору для духа. В них, а не в нашей теперешней «мирной жизни».

Города меняются.

Деревни исчезают на глазах. А люди?

Россиян становится почти на миллион в год меньше. А остальные?

Идёт угрожающее расслоение, а вместе с ним и некое дья-

вольское отсеивание. Как на больших, гигантских ситах просеиваются судьбы людей. Идёт отбор. И в результате его одни как бы остаются для жизни в будущей «демократической» России, другие будут не жить в ней, а существовать, на самом её дне: в нищете, трущобах. Таковы реалии нынешней жизни.

Одни россияне среди апатии и безволия пытаются не опуститься на колени, не смириться с навязываемым порядком. Другие все ещё где-то в уголках сознания таят веру и ждут, что государство вот-вот объявит всенародно главную цель, и все встанет на свои места. Затаённость рождает бездействие. Третьи хорошо помнят, а вернее, сбились со счета, сколько раз власть надувала народ, и уже ни во что не верят.

Последних становится все больше и больше.

* * *

Сколько воды утекло и сколько дум передумал за перестройку один из миллионов ограбленных победителей Второй мировой войны. Когда-то в начале 70-х вложивший в уста одного из персонажей романа «Ивушка неплакучая» Максима Пакленникова слова:

«Выдюжили! Скажи на милость... выдюжили! Да, да! ... Что бы вы там ни калякали насчёт нас, как бы ни каркали, а она у нас двужилъная, Советская-то власть! Хрен возьмешь её голыми руками!..»

Это писал один из доблестных крестьянских сыновей. Вначале солдат, испытавший всю горечь отступления в 41-м и 42-м годах до Волги, потом победоносный ратник, который сражался и наступал от Сталинграда через Курское сражение, Прохоровку, Днепр и — до Праги и Вены. Победитель Великой войны.

Михаилу Алексееву было суждено прожить долгую жизнь. И он заполнил её великим содержанием. Вначале защищая Родину, а потом создав более 40 художественных произведений. И среди них общеизвестные: «Солдаты», «Дивизионка», «Вишневый омут», «Хлеб — имя существительное», «Ивушка неплакучая», «Карюха», «Драчуны», «Мой Сталинград». Крестьянский сын стал драгоценной частью нашего русского мира, выжившего благодаря таким людям, как его герои: хлебопашцы и воины. Благодаря таким, как он сам!

В чьих руках теперь окажется заветный мир. И каким ему

суждено быть? Кто о нем скажет так, как он — последний сталинградец. С «очарованием привычных мелочей» в «деревенской прозе» и мужеством в цикле своих военных романов.

Неужто наступит время тех, у кого не дрогнет сердечко при виде такого:

«...Шелковистая, бархатно-мягкая и нежная гривка жеребенка стремительно стекала по крутой длинной шее прямо на широкую спину, взбегающую на такую же крутую, раздвоенную часть трепетного, как бы все время переливающегося тела. Пушистый, как у зверька, хвост был пока что куцеват, но уже по-лошадиному мотался туда-сюда, как маятник. Брюшко поджарое и кучерявилось ещё не совсем просохшей и темной шерсткой. Продолговатые ноздри пульсировали, мигая красными точками, из них размывчиво выпархивал парок».

Так сказано Михаилом Алексеевым в его повести о Карюхиной дочери — будущей рысачке Майке.

* * *

Роман «Драчуны». Можно ли забыть голод в Поволжье. И можно ли допустить впредь такое! Саратовская и Самарская области рядом. Мой дед был опытным охотником и рыбаком. Тем и спасались. Да ещё нашёл он за селом в сугробе мерзлый труп лошади. Это было большой удачей. Собак и кошек в селе уже не было, съели.

* * *

«В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе её народа, об её роли на земле...»

Эти слова принадлежат Максиму Горькому. Их привел Михаил Алексеев в одном из своих томов прозы перед автобиографией «Познай самого себя...»

...Не только писатели, наш народ сейчас хочет понять, что же будет с нами, со страной?

Но вот беда: влияет он на свою судьбу все меньше. И поселяется равнодушие к смерти...

* * *

Приехав из Москвы, попал я на читательскую конференцию, организованную областной библиотекой и нашим Самарским отделением Союза писателей.

Мне дали слово сказать о своём, только что вышедшем в Москве прозаическом цикле «Под открытым небом».

Начал я с того, что не стало Михаила Алексева. Сообщение оказалось неожиданностью. Никто об этом не знал. Так позаботились о том средства массовой информации. Весь зал, около трехсот человек, всколыхнулся, и все, как один человек, встали, застыв в скорбном молчании. Учителя, врачи, работники библиотек — они-то и были частицей того великого народа, о котором и для которого писал Михаил Алексеев. Он был частью их.

Через неделю похожее случилось и в моём селе на встрече с земляками-читателями.

Уже на выходе из клуба, подошла ко мне пожилая женщина — бывшая школьная учительница и то ли пожаловалась, то ли поддержать захотела, сказала глухо:

— Мы уже привыкли, что втихую сиротеем. Ни в газетах, ни по телевизору... Молчок... И радио в селе давно не стало...

* * *

19 января 2005 года в конференц-зале Союза писателей России в Москве на Комсомольском проспекте, 13, состоялось вручение премий Союза писателей России, журнала «Новая книга России» лауреатам 2004 года. Тогда в прозе лауреатами премии имени Эдуарда Володина были названы Михаил Алексеев за повесть «Через годы, через расстояния», Виктор Потанин за книгу «Доченька» и Дмитрий Неверов за книгу «Хроника флотского спецназа». Была отмечена премией в разделе «Детская книга» и моя повесть «Под старыми кленами».

Общаясь после торжественной части с Михаилом Алексеевым, в который раз невольно отметил для себя магнетическое влияние на окружающих автора любимой мной «Карюхи».

Чуть позже, вернувшись в Самару, сказал об этом старейшему самарскому писателю Михаилу Яковлевичу Толкачу. И открылось мне неожиданное.

Оказывается, Михаил Яковлевич учился вместе с Алексеевым на Высших литературных курсах в Литературном институте. На одном потоке. Точнее: как он мне пояснил, на 2-м потоке, который был образован в 1955 году. Первый поток — в 54-м.

И засверкала россыпь имен: Михаил Алексеев, Николай Доризо, Марк Соболев, Юрий Левитанский — все они со второго потока. Однокашники.

На потоке учились сорок человек двадцати двух национальностей. Проходили курс обучения киргизы, осетины, белорусы, украинцы, тувинцы, татары...

И среди них: Чингиз Айтматов, Николай Шундик, Семен Данилов, Заки Нури, Юсуп Хаппалаев, Павлюс Ширвис, Ион Друца, Наталья Капиева, Вадим Очеретин, Степан Чернобривец, Юрий Усыпченко. И моряк из Белоруссии Дмитрий Ковалев — первый из поэтов, кому я решился показать свои стихи.

Каждый слушатель курсов со своим опытом, со своими пристрастиями, национальными особенностями в характере и судьбе. И старостой на этом удивительном потоке был Михаил Алексеев. Он явился на первое собрание в форме подполковника. Когда директор курсов — Тамара Казимировна Трифонова, сестра Веры Кетлинской, автора романа «Мужество», которым ещё до Великой Отечественной войны зачитывалась молодежь, сказала, что на потоке должен быть староста, выбрали без колебаний его — Михаила Алексеева, бывшего политрука, потом командира роты. Не удивительно, за его плечами были к тому времени боевые дороги через всю Украину, затем Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию.

Победный день Михаил Николаевич встретил в Чехословакии в качестве корреспондента армейской газеты «За Родину». В Вене, работая в газете «За честь Родины», написал свой первый роман «Солдаты». А в октябре 1952 года был переведен в Москву на должность редактора редакции художественной литературы Военного издательства.

Спрашиваю Михаила Толкача:

— Каким он был тогда, на учебе в Литературном институте?

— Тянулись к нему. Как магнит для большинства из нас. Простой. Много помогал начинающим.

— А потом, — спрашиваю, — после окончания учебы? Общались?

— Бывал у него в двухкомнатной квартире на Смоленской набережной. Жену Галину Андреевну запомнил приветливой хозяйкой. А хозяин дома любил украинские песни. Не забуду, как он пел «Распрягайте, хлопцы, коней», «Очи дивочи».

Я слушал и невольно отмечал: «Вот ещё одна притягательная черточка характера большого русского человека». Напомнил, что Алексеевых в селе Монастырском звали хохлами, читал об этом.

Услышал в ответ:

— Кажется, бабушка его была украинкой...

Из рассказов Толкача узнал, что жили литбурсаки, как они себя называли, в Переделкино, в восьмиквартирном двухэтажном доме. Отсюда их на автобусе Литфонда СССР возили на занятия в институт. Часто с ними в одном автобусе оказывался и Александр Фадеев. Он жил в Переделкино в дачном доме до самой своей смерти. Потом в книге воспоминаний «В одном строю» Михаил Толкач напишет об этом скорбном воскресном дне, 13 мая.

Из его разговора в тот день с садовником Фадеева в Переделкино:

«Утром Лександрыч позвал меня к себе. Сидим на лавочке, калякаем. Должно, с час обговаривали план на неделю. Что и где высадить. Какие цветы на какой клумбе. Какие деревца выкорчевать... Женка его, Ангелина Степановна, в отъезде. Сын в своей комнате зубрил за девятый класс. Лександрыч наказал:

— До обеда меня не тревожьте. Буду наверху.

После двух стучимся — молчок. Открываем дверь — лежит на постели. Подушка на груди. Из-под неё — красная полоска, на светлой рубахе. Видать стрелял под подушкой».

И далее уже о прощании с покойным классиком в Колонном зале Дома союзов на Пушкинской улице столицы:

«К полудню слушателей Высших литературных курсов сгруппировали и распределили среди них венки. Мне с Юрием Усыченко (прозаик-фронтовик из Одессы) достался венок от ЦК ВКП(б). Большой, из красных роз.

Гроб пронесли на руках до гостиницы «Гранд-отель». Затем траурная процессия направилась в сторону Ново-Девичьего монастыря.

...Гражданская панихида. Скорбные слова ораторов...

...Вдруг на ветку сиреневого куста опустилась пичужка, как мне показалось, овсянка.

Зацвенькала, вертя головкой, присматриваясь к людям у могилы. Это было так неуместно и поразительно символично, что очередной выступающий запнулся и умолк...

У многих слезы. Всхлипы рыдающих...

Так прощались с членом ЦК партии, депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР, секретарем правления Союза писателей, вице-президентом Всемирного Совета Мира...

И Александром Бульгой — комиссаром дальневосточной Сучанской партизанской бригады, родившимся на Волге, в селении Кимры Тверской губернии в семье вышедшего из крестьян в сельские учителя отца и материцы-фельдшерицы.

Как много вместила в себя жизнь Михаила Яковлевича Толкача.

«Бурятский хохол», как его звали в Литературном институте, двадцать пять лет проработал в Бурятии. Электрик. Партийный работник, инструктор обкома, собкор газеты «Гудок» и с 1963 по 1978 год — ответственный секретарь писательской организации Куйбышевской области.

Для него характерно постоянное пристальное внимание к человеку, пишущему, читающему... Не назидательное, не поучающее — товарищеское. Это, наверное, оттуда вынесено: из того времени и общения, когда он был «литбурсаком». Из того товарищества.

Это он первый сказал мне, что я заслуживаю быть членом Союза писателей. И написал рекомендацию.

* * *

Помню в студенческие годы, когда я отправлялся в своё село, говорил однокашникам: «Еду в свою столицу».

Тогда в пригороде Самары (бывший Куйбышев), название которому по-волжски крепко и глыбасто — Кряж, висела табличка-указатель и на ней крупно, почти одинаковыми буквами начертанное, красовалось: «Москва» и «Утёвка». Домой всегда я ехал по трассе на Москву, но сворачивал вскоре направо, где в восьмидесяти километрах от областного центра и было моё село.

Это соседство на одной табличке двух моих столиц: «Москва» и «Утёвка» всегда согревало душу. В любое ненастье!

В Москве я оказался только лишь в двадцать четыре года, когда получил первые в своей жизни отпускные. Тогда я уехал, никому об этом не сказав, молчаливо уклонившись от важнейшего дела, определявшего так много в отцовском доме — тяжёлого, но столь необходимого лесного сенокоса и заготовки дров на зиму.

Уехал не Москву смотреть, а в придуманное мною моё первое путешествие по маршруту, который сам себе определил: Рязань — Тула — Владимир, а точнее: к Есенину в Константиново, к Толстому в Ясную Поляну и к Солоухину в Алепино. Москва была в конце моего путешествия.

Об этой своей поездке как-нибудь в другой раз...

...Прошли годы. С той поры я побывал в 18 странах мира. Много видел столиц. Но эти две!..

Кружа по столицам мира, пришел к такой простой теперь для себя истине: надо много поездить, многое посмотреть! Но вернуться! И жить там, где родился. Где произошло таинство твоего появления на свет. Там истоки жизненной силы. Это я твердо себе усвоил.

Но есть одна червоточина в сознании.

Села Утёвки — столицы моей — как бы уже и нет? Моя Утёвка — теперь поселение. И дед мой, и бабка, и отец с матерью, и брат, и моя родня, к чьим могилкам на въезде в село я каждый раз при возвращении прихожу — враз стали поселенцами? Выходит, и я поселенец?

Да, когда-то наши прародители пришли сюда на берега Самары и осели. И зажили основательно. И живут уже около двух с половиной веков.

В 1810 году была построена первая Дмитриевская каменная церковь. И жителей тогда в Утёвке было более пяти тысяч. А в конце девятнадцатого века возвели вторую церковь. И ведь, кажется, всем известно, что обустроенное крестьянами место, в котором стоит церковь, и есть — село. Для чего же огород городить? С поселенцами-то? И кого это из нас, моих родственников, послали сюда на поселение по приговору суда? Не было такого!

«Поселеньем зовут место, заселённое ссылочными, а посёлённый — ссылочный, ссыльный» — это из словаря Даля.

...Мне, наивному, казалось всегда, что наши утевские предки Утовкин, Селезнев, Киселев добровольно, по велению сердечному выбрали красивейшее место на линии встречи леса и бескрайней степи, да и покоренные красотой вольной, пустили свои корни в раздольной лесостепной сторонушке...

Пусть даже они и были поселенцами в этих местах, но мы-то через два с половиной столетия, может, всё-таки сельчане? Нет, тут что-то не так! Не сходятся жизнь и закон РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных) органов государственной власти субъектов РФ».

Вот уж, действительно, как у Даля: «В городе рубят, по деревне щепки летят».

Но ведь и городам досталось. Сколько их попало в разряд городских поселений.

Сколько теперь стало как бы и не коренных жителей, а сельских и городских поселенцев.

Ладно, села Утёвки, моей столицы, затерявшейся в заволжских степях, как бы не стало.

Но Москва-то есть?!

О, да — мегаполис!

Но, став гигантским городом, она в своей нынешней мощи стала другой.

Указателя на перекрёстке том в направлении Утёвки нет. Давно нет. И указатель на Москву исчез. Не до поселений сейчас главной столице? Неужто она теперь сама по себе, а мы сами по себе? Без указателей будем жить?!

Вроде бы нет боязни путнику сбиться с направления. Но не ровен час, в ненастье-то, в непогоду?.. Или уже хуже того, что есть, не будет?

И никаких целей у нас теперь нет? Указывать и вести некому и некуда? Раньше государство вело за собой. А теперь?

...И споткнулся на мысли: а что, село Константиново теперь тоже поселение? Тимониха? Овсянка? Ширяево? Алепино? Монастырское, в котором родился и вырос Михаил Алексеев? Все это — поселения? И их великие питомцы? Есенин — поселенец? Снова посмотрел у Даля: «...Поселенцы поселяются вдоль рек, покидая позади себя безводные степи. Поселенец — что младенец, что видит, то и тащит».

Из моего села и из сел моего района (читай теперь поселений?) вышли дипломаты, доктора наук, художники, Герои Труда и Советского Союза... Я их всех помню и могу назвать при необходимости поимённо. Давно хочу написать о них повесть. Они — гордость моих односельчан. И так по всей России.

...Сельчане сейчас в одиночку, соборно, как могут — сопротивляются.

Восстановлены в Утёвке храм и колокольня. Народ потянулся к вере. В только что недавно вышедшей книге «Главное русло судьбы» житель Утёвки Владимир Петрушин написал простую историю своего района и, конечно, Утёвки.

Что значит его книга?

Чем она окажется через годы?

Неужто реквием?

Но уже не по крестьянскому укладу жизни, крушение которого идёт более 70 лет и которое так чувствовал Михаил Алексеев, а по самой нашей жизни? Не может того быть!

* * *

Когда мы в Переделкино выносили из храма после отпевания гроб с телом Михаила Николаевича, Сергей Николаевич Котькало обратился ко мне, протянув руку:

— Подержите пока...

— Что это? — не сразу понял я.

Он не ответил. В следующий момент стало ясно. В моей руке были винты от гробовой крышки. Я не был готов к такому. Это и определило моё состояние на похоронах. Вмиг воспринял все как знак. И какой?!

Сердце билось учащенно.

Винты жгли мне руку.

Будто все мы, присутствующие, оказались сейчас, в эти скорбные минуты, на пороге прощания со всем нашим крестьянством. Не знающим, не ведающим о кончине своего, может быть, последнего, неповторимого, искреннего певца.

В голове рефреном стучало:

«Не ища с завидным постоянством,

Кто отсталый, кто передовик.

Я бы в честь советского крестьянства

Персональный памятник воздвиг!»

Эти строчки Михаил Николаевич привел в своём очерке «Крестьянка» в далеком ещё 1973 году.

* * *

...Хочется вернуться в Переделкино. К могиле с деревянным крестом чуть сбочь от дороги, где течет речушка Сетунь.

Побывать там ещё.

О чем зажатая со всех сторон теперешней потускневшей жизнью тихо сетует эта речка?

Она слышала такие голоса и видела такие лица...

В мастерской...

Часто вспоминаю отцовскую мастерскую. Она была во дворе под развесистыми карагачами. В жаркий летний денек под деревьями вожделенный тенечек, а под позеленевшей шиферной крышей мастерской тем более: благодать!

Чего только не было в ней: и хомуты, и оглобли, и столярка, и детали мотоцикла, велосипедов...

На верстаке — то кучерявые золотистые стружки, то металлические опилки...

Помню, мама однажды вошла к нам и стала что-то забавное, как это она умела, рассказывать про соседку тетю Маню Сисямкину. Было смешно. Отец тогда сказал:

— Наша Манька любого в косые лапти обует!

Я так и подпрыгнул на пороге. Точнее и живописнее сказать и нельзя было. Конечно, мой мальчишеский ум тогда не был обременен тем, что я пережил, передумал, много позже, когда начал писать.

Лет через тридцать пять я припомнил эти слова отца и вставил в свою повесть. И так они хорошо подошли. Как там и были!

Я вспомнил об этом, думая о нашем русском языке. О том, как писать русскому писателю.

Ярко, красиво, сочно написанное восхитит. Но удержит на трех, пяти страницах. А далее? Далее без своеобразной пластики, музыки текста — скучно. Без развития мысли мне неинтересно.

Помню, как я ещё в детстве был поражен, прочитав рассказ Толстого «После бала».

Недавно, через пятьдесят лет, вновь прочел. И был очарован.

Но ведь в нем нет никакого изящества стиля. Чаще всего повествование на грани косноязычия. Эти бесконечные повторы: «Я», «ОН»...

Но бьется сама живая мысль. Если можно так говорить: сплав философии мысли и чувства.

Другая крайность: недавно через плечо внука заглянул в книжку, которую он читал. Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». И был удивлен тяжеловесностью слога. Конечно, многое зависит и от перевода, но думаю, здесь не тот случай. Пересказ, как указано в книжке, сделан Корнеем Чуковским. Мне скажут: это детская литература, у неё другие законы. Но родом-то мы все из детства. Давно сказано.

И уже более двухсот лет наши прадеды, деды и внуки читают взахлеб, эту удивительную историю о человеке неистощимой энергии, человеке дела.

Нельзя говорить цветисто постоянно, мне так кажется.

И мой отец скажет бывало так один раз и... до следующего случая. Выдаст, но через день, неделю... Не зря же говорливо-му своему родственнику Михаилу, у которого одна была профессия: «поди принеси», отец мой, когда тот чересчур раздухается, не раз говорил:

— Минь! Остынь! Дело скажи, хватит балаболить!

Русский мужик всегда любил живописную и красивую речь. Но по сути ему в конце-то нужно было настоящее: деловое, дельное.

Теперь мы знаем, до чего доводит пустая говорильня, пусть и кучерявая...

Ведь и в рассказе, повести мы чаще всего ищем вот это: настоящее, дельное. Язык писателя — это его стихия, судьба и его инструмент, средство.

Сейчас, после длительного стирания граней между городом и деревней, когда семьдесят процентов — городские, тридцать — сельские, после поголовной обработки в средней школе, все говорят, увы, на усредненном языке. Язык идёт своим путем развития. И это его развитие связано с бытом, с психологией человека.

Не стало определенного уклада — исчезли слова, его обозначающего. Время и изменения уклада вымывают добротный русский язык. Это печально.

Мало остается от исконно русского в стихии народной жизни, оттого и язык скудеет. И в городах особенно сильно.

На своём опыте знаю. Надо было мне в повести описать, как мы с отцом делали упряжь для нашей коровенки. Нужда была на чем-то сено возить, хоть помаленьку. И никак я не смог вспомнить, что же мы соорудили ей вместо хомута. Точно помню, его не было, но что же тогда вместо него?

Поехал в своё село. Никто из теперешних жителей уже не знает. Лошадь редко увидишь в хозяйстве, а тут коровья упряжка. Многим невдомек было, о чем это я? И только одна древняя старушка просветила:

— Шура, да как же это ты мог забыть-то? Дед твой кем был?

Я начал перечислять:

— Конюхом, рыбаком, плотником, скорняком...

— Ну, ну, дальше-то!

Я продолжил:

— Бондарем, шорником...

— Вот! Как же это ты не помнишь?.. Шорником! Хомуты делал, седёлки. Шорки для коров делал, вот потому и шорник.

Я могу привести десятки слов, которые молодые сельчане мои и не слышали ни разу.

Логунок, слега, чекушка, окосиво, бастриг...

Сколько их, таких слов, без которых в моём, ещё казалось, недавнем детстве, нельзя было просто обойтись в сельском быте.

Но быт теперь иной...

Остаются те слова, которые обозначают нечто корневое. Коровы — она навсегда останется коровой. По-другому вряд ли когда назовут. Надеюсь, то же будет и со словом «молоко».

Одна моя давняя знакомая — бывшая учительница, теперь уже старуха, сохранила эту удивительную способность: говорить живописно. Про разуверившегося во всем, ставшим квелимым, безвольным Суслове, когда говорили о моём двухтомнике прозы, она сказала:

— Он у тебя к концу книжки стал, как снятое молоко.

Я пожалел, что, когда писал повесть, не вспомнил этого выражения. Такого в кабинете не придумаешь. Пообещал ей вставить её слова при переиздании книжки.

Это старуха так сказала. Но молодые уже подобным образом не говорят. У молодежи нет такой умелости.

Похоже, интерес к такой речи останется, но... Яркий образный язык — неужто он станет достоянием только этнографических музеев и лингвистических сборников.

Язык не будет играть своей роли? Только содержание?
Сколько же тогда красок исчезнет в этом мире!

Русские

Готовясь к лекции, наткнулся на свои записи, которые делал в начале 2000 года. Сейчас — начало 2007-го. Прошло семь лет. Много изменилось. А вот то, о чем хотел когда-то сказать студентам, осталось прежним. Оно неизменно. Ибо оно наше. Оно волнует по-прежнему.

Более века назад наш выдающийся писатель Короленко считал: «Прогресс человечества и его улучшение проявляется наиболее ярко в расширении человеческой солидарности. Нет никакого сомнения, что национальному и государственному обособлению суждено постоянно стираться, и что над нами уже теперь подымается, величаво и властно, высшая идея человечества... Точно оживают в отдельной душе вековая борьба и страдания нашего народа, а с ними вековые стремления человечества к единению и братству».

Увы, прогресс привел к тому, что человек сам по себе становится все более и более индивидуалистом.

А страны, успевшие первыми овладеть плодами научно-технической революции, балансируют на грани уничтожения других и самоуничтожения, отстаивая свои узконациональные интересы.

Высшая идея человечества: единение и братство через стирание национального и государственного обособления? Где тут мера? Где середина? Где истина?

Нависающая над миром огромной, непредсказуемой тучей глобализация так или иначе затрагивает саму жизнедеятельность и сохранение этноса. Порою кажется, что развитие человечества идёт по вселенским законам, недоступным для четкого понимания ни одному гениальному уму. Ибо ум этот рожден этими же законами, и они не дали ему такой возможности, не заложили её...

У русского народа — большое сердце и высокие мысли. Об этом говорил и Ф.М. Достоевский: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите... Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов, наиболее предназначено, вижу следы этого в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина».

Русский человек не может жить без большой общей идеи в душе.

А в начале нашего третьего тысячелетия — каково состояние души? Оно незавидное... Но у россиян, у России есть терпение и труд!

И есть Вера! И великие сыны! Один из которых, Николай Языков, сказал:

...и будем

мы нашей верой спасены...

...и русский Бог ещё велик!

Так как же нам, сегодняшним, соединить грядущую глобализацию, отстаивание своих национальных интересов и сохранение этноса как такового?

Без веры нельзя! Но достаточно ли для этого только нашей веры? Что каждый из нас должен сделать для этого? И сможет ли сделать?

Утёвский почтмейстер

Прошло так много лет, а я все помню те давние свои переживания.

...Я пришёл к своему однокласснику Витьке, когда он пил чай. Мне сразу бросила в глаза на обеденном столе небольшая книжка «Детство Никиты».

— Садись, — пригласил приятель, — попьём и пойдём на стадион. Бери сушку, дядька из города привёз.

Сев за стол, на лавку, я тронул книжку. Она раскрылась почти на последних страницах. Вверху было заглавие: «Письмецо».

Я начал читать и был сражен наповал первыми же тремя строчками. В них говорилось про наше с Витькой село Утёвку.

На печке пыхла квашня с опарой. В полутёмной передней вторила ей на высокой кровати с кружевным подзором полная, сомлевшая от духоты мать Витьки. А я читал в третий раз, не веря глазам, одну и ту же страницу:

«Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошёл в почтовое отделение в селе Утёвке на базарной площади. За открытой загородкой сидел исключённый с опухшим лицом почтмейстер и жег на свече сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту.

Почтмейстера того звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтёт, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения же не прекращал. Шесть раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окаянные!»

Я с изумление посмотрел на Витьку. Точь-в-точь так, осерчав, кричал спившийся наш Ванька, по-уличному Никудьшкин, живший в конце Заколюковки.

Когда мы отправились на стадион, я захватил удивительную книжку с собой. Мой друг не возражал. Лежа на травке под кленами, я начал запойно читать дальше. Было не до футбола.

Я был переполнен своим открытием. Писатель Толстой рассказывал о нашем селе, о нашем чуде почтмейстере. Пускай не Лев Толстой, а Алексей, о котором я до этого ничего не слышал. Но все равно: писатель Толстой. Наша жизнь в книжке!

Глава «Письмецо» была маленькая, я начал читать книжку сначала, выискивая глазами, где же ещё про Утёвку.

Я не понимал, почему Витька не ликует, как я? Почему ему не до чтения. Он стоял на воротах, забыв и про меня, и про книжку.

Наша команда сражалась с тягаловскими (была такая улица). Ну и что? Есть другой Витька-Чугунок, он не хуже вратарь! Стоит сейчас каланчой рядом у ворот?

С неделю я ходил под впечатлением от прочитанного. Все в книжке было так живописно и ярко! Но почтмейстер Иван Иванович Ландышев не выходил из головы. Он заслони́л всех.

«Надо же, какой был человек! — думал я. — Такой, что даже Толстой его отметил как-то особенно, необыкновенно! А что частенько почтмейстер запивал, так кто у нас этого не видел в селе? Не удивишь этим. А вот как он, Ландышев, своей волосатой рукой лихо умел стукнуть печатью!»

Мне казалось, что я даже видел череп отправителя письма, по которому он вполне мог стукнуть печатью. Череп был большой такой и желтый...

Немного смущала меня фамилия: Ландышев. Были у нас Ореншкины, Осинкины, а вот такой не было.

«Изменил фамилию писатель или нет? — гадал я. — Наверное, изменил, чтобы начальство почтмейстера не тронуло. Он его пожалел... А может, все Ландышевы уехали из села. Времени-то прошло! Ещё до революции это было. А вдруг, — спохватился я, — он ещё про кого-нибудь из наших написал. Жил-то недалеко от Пестравки где-то. Надо в библиотеке его книги спросить».

Так много было в этой книжке близкого. Взять хотя бы скамейку, которую делал Никите плотник Пахом. У нас она называлась масляной. Мастерил мне её мой дед. Катались мы на ней с горы, которую поливали водой в мороз. По льду можно кататься дальше и быстрее.

А игра в чижик, чушки, орлянку? В Лаптаевом переулке на поляне каждая весна начиналась с этого. Чижики и куча чушек из нас в погребнице всегда зимовали за ларем с отрубями. Дожидались своего часа. Может, Никита приезжал к нам не один раз? Не только за письмами?..

Охладил меня наш учитель литературы:

— Это книжка не про нашу Утёвку. Ещё есть одна, под Пестравкой.

Видя, что я слушаю с недоверием, пояснил:

— Подумай, голова садовая, они на телегах возили в Пестравку яблоки на продажу. Значит, заезжали и на почту в тамошнюю Утёвку. Она ближе, чем наша. Посмотри на карте, убедишься. И Ландышев — литературный персонаж, не настоящий.

Я посмотрел карту. И нашел село Утёвку, недалеко от Пестравки. Все было верно: не резон в нашу даль тащиться на почту. Не наша Утёвка в книжке.

Горевал я сильно, придя к такому выводу. И не сразу точно скажешь, от чего горевал. А потом захотелось посмотреть на эту, вторую Утёвку. Интересно было узнать, живет ли там кто с фамилией Ландышевы?..

Раньше я такой фамилии не слышал.

«Может, фамилия и вымышленная. Но не сам почтмейстер», — не соглашался я с учителем.

То, что почтмейстер мог быть придуман, никак не укладывалось в моей упрямой голове. Он такой свой и такой живой смотрел на меня из удивительной книжки про Никиту...

Жених

Поздним рейсом прилетел из Москвы. Взял такси, еду в Самару. Шофер симпатичный такой, разговорились. Рассказывает:

— Шесть лет как приехал из Бишкека с русской девушкой в Саратов, где живет её мать. Денег на двоих: двести долларов. Намеревались начать семейную жизнь, сняли квартиру. Хозяйка сварливая, квартира двухкомнатная. В одной — она, в другой — мы. Недолго выдержали. Уехал с Надеждой в Калининград. Но жилья нет, снова маята по квартирам. Она не выдержала, уехала домой к матери. И я не задержался, махнул в Самару.

Работаю вот таксистом. Единственный способ устроить жизнь: найти женщину лет тридцати пяти-сорока с квартирой. Знаю, таких немало, но они ходят где-то... Трудно встретиться.

У хозяйки дочь есть. Ей тридцать лет. Бухгалтер. Но молчунья. Полгода знакомы — не пойму, что в ней сидит?..

Начал в фитнес-клуб ходить, вот таксистом работаю: может, через клиентов познакомлюсь. Нет у меня опыта в таких делах. Когда молодым был, меня выбирали. Я тогда в оркестре играл, проблем не было... А теперь застопорило.

Недавно познакомился с одной: она с деньгами. Муж умер. Пустила в свой богатенький круг. Но мне сорок, ей — пятьдесят. Несерьёзно.

Так время и идёт.

Вчера взял билет в Бишкек. Мама написала, что подыскала мне невесту... А вдруг!..

На линии противостояния

Этот разговор между издателем цикла моих повестей «Под открытым небом» Николаем Ивановичем Дорошенко и мной состоялся перед самым выходом двухтомника. И до того, и после я продолжал неотвязно думать о написанном.

Мне показалось, что наш диалог в какой-то мере продолжает те размышления, которые возникают на моём пути, обозначенном мной как «Колки мои и перелесья». Поэтому я его и привожу здесь.

— Александр Станиславович, у критиков сложилось о вас, как о прозаике, мнение, что вы следуете шолоховской традиции. Характеры и судьбы всех ваших героев помимо достоверности чисто художественной имеют ещё и историческую достоверность. По большому счету вас, как художника, привлекает, в основном, то, что вы пережили лично. Поэтому, наверное, главным героем многих ваших повествований, написанных как самостоятельные произведения и имеющих собственные художественные параметры, является ваш ровесник Ковальский. И, соответственно, каждый период его жизни — от деревенского детства до руководства крупнейшим наукоемким предприятием — это одна из живых страниц истории нашей страны.

Вы согласны с таким о вас впечатлением?

— Я высоко ценю гениальный роман Шолохова «Тихий Дон» именно за его художественные качества, за правду жизни.

Но я не задавался целью следовать чьей-то уже пройденной дорогой. Понимаю, что в искусстве это рискованное дело.

И потом, жизнь всё-таки шире и огромнее каких-либо традиций, в том числе, и литературных. Жизнь, свидетелем и участником которой был с малолетнего возраста и до солидных лет, я и попробовал отобразить художественными средствами.

Что получилось, судить читателю.

В повествовании много из пережитого лично. Но это не значит, что Ковальский — это я. Я попытался написать художественную вещь с необходимыми и присущими ей обобщениями и конкретикой, поэтому после публикации отдельных книг, как самостоятельных, многие читатели узнавали в Ковальском себя или часть себя, часть своей жизни.

Меня это только радует, Ковальский мне дорог, как часть меня, моей жизни, моего времени, моей страны...

В этом я согласен с Вами.

— Вся послевоенная пора была весьма разносторонне исследована русской литературой. И сельский паренек, отправляющийся в большой мир науки и индустрии с деревянным чемоданчиком, это, в общем-то, хорошо знакомый нам даже по кинематографу образ. Что заставило вас взяться за написание собственной картины жизни России во второй половине XX века? Что, на ваш взгляд, нового вы рассказали о судьбе своего поколения?

— Вы, Николай Иванович, говорите о послевоенной поре. А как мы жили в последние десятилетия XX века? Достаточно ли об этом сказано? Мы в середине века шагали под торжественные звуки гимна нашей страны и совершили многое. Были беды и назревающие проблемы, о них чуть позже.

А потом? Потом оказались в стране, которая не имела уже ни своего гимна, ни своего герба. В другой стране оказались. Началась иная жизнь. На наших глазах произошло крушение великой державы. Ковальский оказался, как и я, свидетелем и активным участником этих, таких разных жизней. Эти события стали частью нашей общей биографии.

Детство его пришлось на те годы, когда жизнь восстанавливалась после войны. От самых западных границ до моей Волги сметено войной было полстраны. И городам досталось, и деревням.

Я помню, как пришлось работать пацаном в бригадах по заготовке сена, дров на делянках, выделяемых сельсоветом инвалидам войны, пришедшим с фронта.

Мой отчим был инвалидом войны I-й группы. Вот его-то в работе мы с мамой и заменяли. Я был в бригаде довеском к маме. Она была маленькая и слабосильная. А дома две малолетние сестрёнки и братишка.

Мужики, без руки, без ноги, кто мог передвигаться, косили сено, пилили лес. Как могли. Всего насмотришься и наслушаешься всего.

Но, конечно, основная тяжесть лежала на бабах. И выстояли ведь! Не пропали! На бабьих плечах возрождались деревня.

А потом: укрупнение сел. И начали исчезать деревни с лица земли.

Затем: пьянство, потакаемое государством.

Сколько нас шагнуло с чемоданчиками в город, оторвавшись от земли... Горожан стало 70%, а селян — 30%, и страна стала иной, нежели она была в послевоенные годы. Со своими достижениями и назревающими бедами.

А потом, когда мои ровесники, вертикально поднявшись было вверх, став летчиками, моряками, заводчанами, учеными, активно прожили всего-то около 25-30 лет и вынуждены были совершить вынужденную резкую посадку. И часть их оказалась не у дел. Вернулись в саманные разрушенные избы. Ковальский до поры удержался в полете, но какой ценой? И надолго ли?

Жизнь таких людей, мне казалось, должна была заговорить сама на страницах художественной литературы. Их миллионы таких, наших сограждан...

Ковальский со своим «чемоданчиком» прошагал в трагическое время свой путь достойно.

Трагедии человеческих судеб в обновляющейся России заставляют на многое смотреть теперь по-иному.

Вот вопиющие факты: по данным управления Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков по Самарской области, за последний год «из незаконного оборота изъято 194 кг наркотиков. Из них 48 кг героина, свыше 48 кг опия, около 1 кг синтетических наркотиков и порядка 100 кг наркотиков растительного происхождения». Медики продолжают печальную статистику: в губернии зарегистрировано около 30 тысяч наркоманов, но реально эта цифра как минимум втрое выше и в основном это молодежь. Социологи пугают исследованиями: один наркозависимый приобщает к пагубному пороку 10-15 человек. Вывод взрослых: скоро все молодое поколение окажется на игле.

Что тут комментировать?

Взрослое население уселось на нефтегазовую иглу, молодежь — на свою: наркоту.

Чем теперь живет и о чем думает тот парнишка 60-х годов, владелец драгоценного для него деревянного чемоданчика, с которым многое ушло в прошлое?

Разве нам безразлична судьба одного из нас?

— Не появилось ли у вас ощущение, что для нашего времени свойственно мифологизированное представление как о прошлом, так и о будущем?

— Если говорить о литературе, то я не добавлю здесь ничего нового. Она всегда, вплоть до XIX века, была мифом.

Реализм молод в литературе.

Но ведь ещё Лев Толстой говорил, что «придёт время, когда не будут сочинять литературу, а будут писать её с жизни». Может быть, наступает такое время, и мифология уступает факту? А факт — действительно, вещь фантастическая.

Ещё грандиознее он становится, когда является к читателю художественно оживлённым! Тогда рождается истинное искусство.

Магия реальности и мифологическое ощущение грядущей жизни — может, в этом будущее нашей подуставшей нынешней литературы, сторонящейся больших и содержательных форм. Без большого содержательного романа я не мыслю литературу. Кто будет жить во второй половине XXI века, возможно, ответит на этот вопрос более определённо. Меня что-то удерживает.

— Насколько цельным вам, автору, кажется созданное вами художественное полотно?

— Я поставил точку, почувствовав, что больше на сегодня ни к содержанию, ни к форме что-либо существенного добавить вряд ли смогу. А может, оттого, что «засиделся» над текстами.

Давно не терпится попробовать написать пьесу (есть наброски), сказки. Внуку пообещал написать вторую детскую книжку, набрал сюжетов на книжку о цирке. Кто знает, придёт время, возможно, Ковальский вновь позовёт к себе. Если не он, то другой его сверстник... Ни в одной вещи ещё не удалось мне выразить до конца то, что хотел... Я, кажется, себя переоценил. Надежда на следующую книгу... Сейчас так важно и для писателя, и для читателя сохранить искренность.

Верю, что непременно родится на русской земле истинный её художник, который сумеет выразить всю глубину трагизма, произошедшего в XX веке с нашей страной. Сказать всю «неподъёмную правду».

Явится русский национальный писатель, для которого важнее всего художественно закрепить национальный дух своего народа. Сохранить его душу.

— Насколько предсказуемыми оказались у вас трагические события развала страны, нынешней нашей экономической и духовной деградации?

— Вернитесь к тексту главы «Черный ящик». Она написана в 1994 году, т.е. двенадцать лет назад. В 1995 году она была опубликована отдельной книгой. В ней есть многое из того, что с нами потом свершилось. Говорю это с огромной горечью. «Черный ящик» и был написан, как часть будущей большой вещи, но по свежим следам.

Я начал писать то, что вошло в двухтомник, а точнее, роман «Противостояние», ещё в 1987 году, будучи на учебе в Ленинградском технологическом институте, в общежитии. И продолжил в начале 1991-го, остро чувствуя, что в обстановке неприятия народом Горбачева и разброда в стране, многократно усиленном оппозицией Ельцина, народ сбит с толку, и это дорого нам обойдется.

Я полагал, что напишу только «Противостояние», но, почувствовав необходимость вернуться к истокам судьбы главного героя, дописал ещё три вещи о его детстве, юности и становлении как специалиста.

О нас, русских, у нас и за границей написано напраслины столько, глупостей столько наговорено... Захотелось сказать о нас самому. Молод был, оттого и решителен...

Так получилось это некое «пятикнижие» о моих ровесниках. И не только о них.

— Случайным ли является то, что Ковальский, которого многие из его друзей и подавляющее большинство окружающих людей (например, рабочие возглавляемого им предприятия) продолжают уважать и даже любить, тем не менее как фигура историческая оказывается в одиночестве? Какой смысл вы вкладываете в это историческое одиночество? Или вы верите в непобедимое значение «последнего праведника»?

— Мы живем в стремительном времени. Вокруг многое и многие перерождаются. И часто за такое перерождение стыдно.

Ковальский способен меняться, но не настолько, чтобы терять извечные человеческие ценности. Что-то его удерживает. И в этом, с позиции нашего циничного времени, он уязвим. Он не «последний праведник», он ценит в себе то, что оберегал всегда, ценил как плод усилий родителей своих и своих собственных. Он работал над собой. Таким, каким он стал, совсем ещё недавно он был крепко востребован обществом, которое по-своему заботилось о нем, о его родителях, сверстниках. Но куда все подевалось? Много изменилось. Он не готов изменить себе. Таких Ковальских было много у нас. Не зря однажды он обронил, говоря о родителях: «Они бы не одобрили». Это было сказано, когда ему уже за 50 лет.

Он не праведник. Ковальский сильный, деятельный человек там, где он привык действовать. И он... слабое существо, попавшее в капкан трагического времени.

Наше время так стремительно сжимается, так быстро меняются устои общества, что нормальный человек не успевает за ним. Он тормозится своим внутренним ритмом развития. И в этом беда наша и конкретно Ковальского.

Ковальский с достоинством принимает неизбежное. В том числе и некое одиночество. Хотя для него это не просто. Человеческое достоинство постоянно под прицелом. Но оно помогает Ковальскому находить силы и противостоять невзгодам и в дореформенной России, и после.

Как появляются такие люди? И об этом моё повествование.

Ковальский дорог мне тем, что он, кажется, бесповоротно давно понял (в отличие от Владимира Суслова): бесконечные блуждания, поиск и жажда перемен, так характерные для русской интеллигенции, должны уступить место отстаиванию, сохранению тех ценностей, которые уже найдены, которые хранили наши предки. Как он говорит: «надо делать конкретное дело».

Я не писал историю одной жизни, как это вынесено в подзаголовок двухтомника, а попытался дать возможность самой жизни рассказать о себе. Может быть, это удалось в самой большой главе «Черный ящик», где Ковальский решился писать о себе сам. Ковальский человек творческий. С жизненным

творчеством рядом часто шагает страдание и можно потерять веру в себя. Ковальскому удастся выстоять в этом противостоянии. В этой части противостояния он одинок, а по-другому и не может быть у творческой личности.

Последняя книга, пятая, так и называется «Противостояние». Но там столько ещё стихий, готовых сбить с ног... Так что жизнь Ковальского нелегка. А кто сказал, что сохранение достоинства дается легко?

Научно-технический прогресс, над которым часто размышляет Ковальский и который увлек его из села, так стремительно развивается, что человек не успевает перестраивать своё сознание под изменившиеся обстоятельства. То же и в общественной жизни, в переустройстве общества.

Не один Ковальский, по большому счету, оказывается не вписанным в систему ценностей либерального толка. И слава богу! Ибо эта самая система — явный симптом кризиса нынешней западной цивилизации. Для русского она, как дурмантрава. Потому это одиночество Ковальского временное. Сам он пока всего четко не осознает. У него, кажется, это больше заложено на иррациональном уровне.

Есть более глубокое одиночество. В историческом плане технический прогресс так повлиял на окружающий мир в планетарном масштабе, так его изменил и сделал таким хрупким, уязвимым, что природа потеряла способность самовосстанавливаться. И речь уже идёт не о толерантности в отношениях «человек — природа», а о спасении природы. Но где это есть? И когда это будет? Человек, как это ни парадоксально, стал в условиях технического нашего прогресса более близок к гибели. При шести с половиной миллиардах населения планеты каждый человек стал более одинок перед лицом катастрофы, теперь природа ему уже не помощник, она сама гибнет. Человек остается в одиночестве со своим столь агрессивным разумом. Спасет ли он его? Человеческий разум оказался бесконтролен...

Ковальский остро это понимает и, кажется, переживая, взял на себя, на свою совесть часть нашей общей вины. Трагедия нашего времени и в том, что международный терроризм и внутренние нескончаемые реформы, нестабильность режимов во многих странах не дают возможности заниматься сохранением среды обитания, обустройством нашего общего дома — планеты

Земля. Либо мы объединимся все и спасемся, либо погибнем все разом. Это не миф о нашем будущем, но жестокая реальность.

— Не кажется ли вам, что ваш дед Проняй похож на шолоховского деда Щукаря?

— Не кажется. Был такой у нас дед. Я его не придумал, как и Мазилина, и многих других.

Меня уже окликали однажды подобным образом, не в литературе: в жизни. На базарной площади один из приезжих городских позвал:

— Эй, казачок, подойди поближе!

Я не сразу сообразил, что зовут меня. Оказывается, его заинтересовала кубанка на моей голове. Дед выдeldывал овчины, вот и сшил её мне. С красным верхом. У нас и нарядная бекеша была. Когда дед её надевал, я замирал от восторга.

Был и огромный тулуп, который дед, когда зимой отправлялся в степь, обязательно надевал поверх бекеша или шубняка. Но с тулупом случилась одна загвоздка. Я не мог до конца понять тогда, в 12 лет, кто больше прав, Пушкин или мой дед?

Я жил с дедом на бахчах, которые он сторожил. Мама привезла мне из библиотеки «Капитанскую дочку» Пушкина. Начав читать, я тут же споткнулся о некоторое, по моим понятиям, несоответствие. В книжке Петю Гринева, когда провожали в Оренбург на службу, одели в заячий тулуп, а потом сверху — в лисью шубу. У моего деда был тулуп. Огромный, из овчин. Тулуп всегда у нас надевали поверх шубняка либо чего ещё. А в книжке было по-другому: на тулуп надевали шубу.

Там, на бахче, я прочитал деду несколько строк из книжки, те, что касались тулупа. Он тоже подтвердил, что так не бывает. «Тулуп — он и есть тулуп, хотя там, в книжке, баре, у них может быть по-другому», — рассуждал он вслух. Но я-то верил: дед всегда знал, что и как надо делать.

Таким был наш быт. В книжке своя правда, в жизни — своя. Это засело мне в голову ещё с детства.

...Дед Щукарь был принят оттого, что он был похож на нашенских...

А что мне делать с Миней Горбачевым — моим дальним сельским родственником, жившим на одной улице, напротив нашего дома? Непотопляемый мужичок. Проняй его не любил, а я Миню в книжку «вставил».

— Читал вашу вещь в рукописи и постоянно чувствовал боль автора за судьбу своих героев. Вы уверены, что выстоим, выживем?

— Да, мне трудно было остаться «за кадром». И стоило ли? Жил вместе с теми, о ком писал. Россияне умирают в год по миллиону. За годы перестройки, за пятнадцать лет — около пятнадцати миллионов жизней ушло...

Выживем ли? Об этом рассуждал и мой земляк Василий Петряев, высказывая свои доводы. Их я привёл в главе «Петряева правда». Коротко повторю.

Выживем! Но какой ценой? Ценой жизнью части нашего народа. Этот удручающий факт не дает покоя. Русский народ последние лет сто только и делает, что не живет, а выживает.

Сошлюсь на примеры из моей биографии. Об этом я упоминал в моих повестях и рассказах, сейчас повторюсь лишь для того, чтобы быть конкретным в нашем разговоре. Первый сын моей мамы, Саша, умер в начале войны. Когда родился я, меня назвали тем же именем — Саша. Мама как бы интуитивно сопротивлялась обстоятельствам жестокого военного времени. Как вызов!

А если заглянуть в другую войну — гражданскую?

У первого мужа моей мамы, Василия Федоровича Шадрина, был брат, «человек с ружьем» — Шадрин Василий Федорович, полный тёзка. Оба дожили до 70 лет.

С тёзками было так. Сына-чапаевца ранило под Белибеем в легкое. Привезли восемнадцатилетнего парня Василия умирать домой в село к матери. А она на сносях. Когда разродилась, решено было, коли старший умирает, родившегося назвать Василием. Назвали. Как бы некую гарантию продолжению жизни закладывали.

Сын-чапаевец не умер. Выжил. И жил всю жизнь с пулей в легком. И младший не подвёл. Так два сына Василия в России в одной семье у одних родителей и выросли. Двойной тягой свой род тянули. А отец их, Федор, умер через пару лет после рождения второго Василия в степи, поехав за солью...

Я в детстве молча плакал, когда пели песню про ямщика, умирающего в степи. Деда Федора, которого никогда не видел, жалко было...

Выживем, есть, увы, у нас такой национальный опыт.

— Ваш Ковальский часто приезжает в родные края, где никого уж нет из родных. Что главного в этом?

— «И познаем мы свой край и Родину свою настолько, насколько любим», — так гласит мудрость. И себя понимаем яснее там, где произошло таинство нашего появления на свет — на Отчине. Там сила, которая питает нас. Ковальскому это дано чувствовать.

— Что вы можете сказать о руководителях, специалистах прежней закалки?

— Таких и сейчас немало.

Прежние руководители? Они были державниками! Другими не могли быть. Это благодаря им моему поколению удалось пожить без войн, получить образование, достойно потрудиться. Они крепили мощь державы. На этом все и держалось. Каждый из нас, оглянитесь! Внимательно посмотрите, и дай вам Бог понять, что без самоотверженного труда, преданности избранному делу ничего в жизни путного не сделаешь.

И общество без этих качеств каждого из нас — общество неинтересное и ущербное.

«Не одни же Раскольниковы и Печорины были в жизни?» — простодушно недоумевал я в юности. Были люди, которые переносили беды, личные драмы, но ещё и строили мосты, железные дороги, ходили в экспедиции. Люди, которые делали жизнь, где они в литературе? Таких книг было мало. И став взрослым, я думал об этом... Была крайность: если книга о производственниках, то в ней только сплошные битвы за урожай, за сроки, за объёмы. Масштабы и объёмы вершимого поглощали, растворяли человека — от директора до рабочего.

Но были замечательные самородки. Вопрос в том: теряется или нет интерес к человеку при огромных масштабах дела, которое возглавляешь?.. Эти мои мысли есть в моем цикле повестей.

— Во втором томе мощно звучит тема труда. Что вы думаете в этом плане о Ковальском?

— Драматизм судьбы таких, как Ковальский, в том, что будучи натурами одарёнными, конкретными, заряженными на системную деятельность в обществе, на плодотворную работу, являясь по-своему цельными и необходимыми обществу, если не сейчас, то в будущем, они попадают в обстоятельства, за-

ставляющие полагаться порой, как это у нас, русских, повелось, на наше известное «авось».

На то «авось», которое порой определяет не одну человеческую жизнь, а судьбу целого общества... Так вот сложилось у нас.

Ковальский трудоголик, он не может жить без плодотворного труда. А действительность его лишает этого. Куда ему деваться? Как быть! Это его драма. Выходит, его судьба, свершенная во многом им самим, его дело, стали фатально зависеть от этого «авось», которым кончается вторая книга. Смирится ли он?

— Скоро в издательстве «Русский писатель» ваш многолетний труд выйдет двухтомным изданием с общим названием «Под открытым небом». Что бы вы хотели сказать своим читателям?

— Самое главное я уже сказал на страницах двухтомника.

Хочется, чтобы мои книги прочитало как можно больше читателей. И разного возраста. Мой Ковальский в повествовании вырастает из 12-летнего мальчика в 53-летнего человека. И все это на фоне порой оглушительных событий, которые выпали на долю его поколения.

Наступает время, когда не по силам переживать в одиночку, тогда хочется писать.

Чем больше читателей откликнется на боль моих героев, тем больше будет надежды на доброе и светлое в нашей общей жизни.

Был такой случай

Мы, деревенские ребяташки, относились к туристам, как к праздным людям, которым нечего делать.

Помню, закончился сенокос на правой стороне Самары. Дед поехал домой дальним путем через поселок Крепость. Я решил добираться на велосипеде напрямик через реку. Так я делал несколько раз, когда меня посылали за провизией. Прихватив дедову двустволку, поехал туда, где можно было перейти по выверенному не раз броду на левый берег.

Мне трудно сейчас представить, чтобы моему сыну или внуку в двенадцати-тринадцатилетнем возрасте было доверено

ружьё, и они в одиночку бы охотились. Тогда же такое у нас было в порядке вещей. Ружьё являлось непрременной частью быта, которым жила семья моего деда.

У меня, была личная одностволка, кроме тех ружей, что имели дед и дядьки.

К ружьям относились исключительно бережно. Дробь ка-тали сами. Заряжали латунные патроны сами. Оттого каждый патрон был на счету. Ружьё кормило.

В тот раз я перебрался через речку быстро. Положив велосипед себе на плечи так, что голова торчала в раме около цепи, сделал первую ходку. Раза два мне пришлось двигаться, поднимая велосипед над головой, по уши в воде. Когда после второго захода вышел на берег с ружьём в руках, на белой «Волге» подъехала веселая компания. «Туристы», — определил я. Уже видел два раза таких. От них в прошлый раз осталась куча банок, битое стекло и большое горелое пятно у обрыва. Жгли костер на самом вершуре. И, изображая по пьянке индейцев, дурачились, как могли.

— Ты откуда взялся, водяной, что ли? — удивился рослый парень в белой рубахе.

— А ты откуда такой краснокожий? — спросил я, узнав в нем одного из тех «индейцев».

— Такой шкет, и с ружьём! Тебе бы с рогаткой бегать, — осер-чав, проговорил парень.

— Аркадий, — обратился он к красивому смуглому своему приятелю, — давай заберем у него ружьё. Не имеет права.

И он пошёл на меня. Самоуверенный такой.

В следующий момент я увидел, как тот, которого он назвал Аркадием, двинулся в мою сторону.

«Аркадий, — пронеслось у меня в голове, — как здорово звучит и какую глупость они делают. Не понимают... Не понимают, что я не могу отдать ружьё просто так. Я выстрелю. У меня нет выхода, это равносильно тому, что отнять у меня руку...»

Парни приближались.

— Положи ружьё на траву и отойди к велосипеду! — командовала «белая рубаха».

В ответ я быстро взвел оба курка. Стволы держал опущенными в землю. Я уже хорошо тогда бил уток влёт, навскидку. Целиться мне было не нужно.

— Попужай, попужай, — уверенно шумнул «краснокожий». В следующий момент он резко метнулся ко мне, но я предупредил этот его маневр и, отскочив в сторону, выстрелил предупредительно вверх.

Парень, очумело сверкнув глазами, шарахнулся назад.

— Оставь его! — закричал Аркадий, — видишь, парень серьезный. Саданёт!

Я не понял, говорил он это одобрительно или осуждал меня. Не до того было.

Тот, который в белой рубаше, матерно выругался. Когда они отошли к машине, я не стал купаться. Боялся быть далеко от ружья. Надев на мокрые трусы брюки, с ружьем в руке погнал на велосипеде по песчаной дороге домой.

Я ещё не мог опомниться от того, что чудом избежал трагедии. Второй раз я бы не стал стрелять в воздух.

* * *

Теперь-то я ещё пронзительней понимаю: не было бы у меня после второго выстрела этой моей жизни, которой я живу. Была бы другая, такая, о которой страшно думать. Что меня спасло тогда?..

Увлеченный

Лекции по химической термодинамике читал нам заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки седовласый и грузный профессор Дамаскин.

...Мы сидим, слушаем, едва ли не раскрыв рты. Размашисто, словно из рукава своего широкого светлого летнего костюма, низвергает он на доску серпантин длинных формул.

Ему не хватает места на доске, левой рукой он тут же стирает за собой написанное, правой продолжает своё действие. Мы не успеваем записывать. Но никто не ропщет. Все смотрят на происходящее зачарованно, как на фейерверк.

Ещё бы: светило! Всесоюзная известность!

Остановившись на миг, профессор вопрошает:

— Сам процесс понятен? Суть его?..

Мы не успеваем ответить, он машет левой рукой с тряпкой:

— Проще объясню! Автомобильный карбюратор, знаете, что такое?

И не дожидаясь ответа, начинает подробно излагать работу карбюратора.

— Уловили главное! — уверенно восклицает лектор. — Молодцы!

Когда лекция закончилась, и профессор ушёл, мы обступили Владьку Серова, работающего по совместительству у профессора на кафедре лаборантом — признанного нами безоговорочно восходящей звездой химической термодинамики.

— Послушай, а причем всё-таки карбюратор?

— А что вы хотите? Вот чудаки! Мы два последних выходов с ним занимались ремонтом его «Волги». Еле карбюратор отрегулировали! Профессор вначале все не мог понять, как он работает. Я несколько раз объяснял... Когда разобрался, понял, рад был! А сегодня рассказал вам.

Донник

Вторую неделю мы сплаваемся по реке. Мой приятель Юрий не перестаёт меня удивлять своей деловитостью.

Июнь. Стоит невыносимая жара. Кажется, что не дотянуть до вечерней прохлады. Только что на перекаате резиновая лодка Юрия напоролась на коряжину. Порвало одну из секций, и теперь мы ремонтируемся на берегу, а заодно Юрий сушит содержимое своего огромного рюкзака.

Слева и справа золотое поле речного каленого песка, над головой — с редкими облачками небесная синь. Я тронул кучку намокших бумаг и обнаружился крохотный томик Бунина. Со всем сухой.

Открыл книжечку, и выпали мне строчки стихотворения «Донник». Словно о нас!

Будто кем посланы из дальнего Бунинского далека.

Брат в запыхлённых сапогах

Швырнул ко мне на подоконник

Цветок, растущий на парах,

Цветок засухи — желтый донник.

*Я встал от книг и в степь пошёл...
Ну да, все поле — золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное.*

*...Толчется сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет —
И, значит, завтра вновь жара
И вновь сухмень. А хлеб уж зреет.*

*Да, зреет и грозит нуждой,
Быть может, голодом... И все же
Мне этот донник золотой
На миг всего, всего дороже!*

— Удивительный поэт, — возвращая книгу, говорю я.

— Так ведь классик, — авторитетно согласился Юрий, — Иван Бунин.

И замолчал, принимая драгоценную книжечку.

— Вот, слушай! — сказал он, разглаживая высохшие мятые листочки, — я когда-то собирал сведения: бобёр живет до тридцати пяти лет! Представляешь, сколько они нам завалов смогут ещё сделать на реке! Жуть! Заяц живет до десяти лет. Из домашних животных дольше всех здравствует осел — до пятидесяти лет, лошадь и верблюд — до тридцати. Корова — не более двадцати пяти, а собака и кошка — до десяти-восемнадцати лет.

Мне показалось на миг, что, перечисляя все это, он дурачит меня, ему скучно стало! А может, перегрелся. Поток информации он напрочь готов подавить во мне все очарование от прочитанного стихотворения.

— Ну и что с того? — спрашиваю осторожно.

— Как что? Ты вслед за Буниным листком донника восхищаешься, а тут целый животный мир. Интересно же! Есть случаи, когда попугаи живут до ста сорока лет, а крокодилы — до трехсот, — лицо Юрия вполне серьезно.

— Зачем ты это возишь с собой? — допытываюсь я.

— А когда хорошее течение и ветер в спину, сажу, читаю. Систематизирую.

— С какой целью?

— Книгу хочу написать о братьях наших меньших. Пока есть о ком писать. Пока не всех извели.

— И как она будет называться?

— Ещё не знаю. Эпиграф уже есть, решушь ли поставить: «Человек — это величайшая скотина в мире».

— Ну ты скажешь!

— Это не я, это Ключевский, — в растяжку произносит Юрий, — другой великий. А вот случай: в Англии в 1887 году был подбит лебедь с кольцом...

Он продолжает что-то ещё говорить, мой серьёзный и добросовестный приятель, но я не слушаю его. Мысли мои в плену стихотворения о золотом доннике, по волшебству гения, ставшим для меня «на миг всего, всего дороже!»

Тихое мужество

Одна за другой появились две замечательные книги о моей «малой родине». В конце октября в Нефтегорске состоялась их презентация.

Первая — «Древности Нефтегорского района» авторов Павла Кузнецова и Анатолия Плаксина рассказывает о давней истории нефтегорской земли, богатой древними курганами и захоронениями. Вторая книга: «Главное русло судьбы», написанная Владимиром Петрушиным, душевно повествует уже о недавнем прошлом нашего края и о его сегодняшних днях.

Внешне, с высоты литературного Олимпа, выход этих книг в свет, скажем так, событие не особо приметное. Но по своему нравственному значению, написание таких и подобных им книг — событие знаковое.

Посмотрим, на каком фоне появились они.

Вся постсоветская литература так и не явила на свет, не дала читателю значительного художественного полотна. Шолоховского Мелехова сегодняшних дней мы так и не увидели на страницах современной литературы перестроечного периода. Протестная и порядочно притомившаяся, торопливая, часто сбиваемая с толку пресловутым рынком, художественная литература, кажется, утрачивает способность пристально,

внимательно вглядываться в нынешнюю жизнь, чтобы эту самую жизнь и впустить на страницы своих книг. Именно жизнь впустить, а не медийных персонажей, кочующих по страницам придуманных повествований.

И это тогда, когда в мире осуществляется организованное оглушение и вытравливается из памяти народа то, что было хорошего и значительного в нашей общей истории. Все затуманено априорной установкой на замутнение разума, на выветривание из сознания чувства патриотизма. Патриотизм у нас до последнего времени был оболган и задвинут, как нечто ненужное, в дальний угол. Пугают нас соблазнами либерального толка, а для россиянина — это как дурман-трава.

Слава Богу, теперь многим ясно, что либерализм, навязываемая его система ценностей — симптом кризиса западной цивилизации.

И тут стала появляться другая литература, незаметная, казалось бы, местная. Говорящая на языке факта: научно-популярная и документальная, скажем о ней так. И заговорил в этих книгах его величество факт.

И в этих книгах некоторые увидели только факт. И это, конечно, хорошо! Но я хочу сказать о другом. О тенденции. Такие книги делают то, что не удастся в полной мере художественной литературе. В них желание самого народа сказать о себе, не дожидаясь профессиональных литераторов. И сказать самое важное, чтобы помочь сохранить в памяти народной образ его жизнь, дух народа. Его душу!

Говоря это, невольно хочется отметить повесть «Вдали от войны» нефтегорского автора Алексея Михайловича Ильина. Она особенно соответствует этой тенденции. Вспоминается Александр Твардовский:

*«...За своё в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу.
И так, как я хочу».*

Что с нами происходит? Идёт нравственный раздрай на экранах телевизоров, в кино, на эстраде.

А эти авторы в глубинке с достоинством пишут душевные книги. Как не порадоваться!

Может, и не осознавая того, они совершили очень важный свой гражданский поступок, который мы должны приветствовать.

А эти знаковые профессии наших авторов!?

Учитель и бизнесмен.

Я глубоко уверен, что именно учитель должен стать ключевой фигурой в становлении и укреплении нравственных начал в нашем обществе.

И необычное: бизнесмен пишет книгу об истоках своих, о том крае, где напитался он соками и духом своей Отчины.

А впрочем, что здесь необычного, если он крестьянский сын, у него сейчас куча забот. Он дает односельчанам работу, сам выращивает хлеб.

Нависла угроза, что мы можем перестать быть самими собой. Люди не чувствуют, что смогут жить в полную силу. Уж больно давно начали уничтожать деревню, её дух. И чтобы сохраниться, нужны сосредоточенность и «тихое мужество»! Такое, каким обладают наши уважаемые авторы.

Вот какие мысли возникли у меня при чтении книг моих земляков-нефтегорцев. Таких разных и таких единых по своей сути.

«А он блистал...»

На моём столе давно лежат два пожелтевших листочка. На каждом из них по стихотворению, которые я выписал, не вполне сознавая, для чего это делаю.

Первое попало на глаза много раньше второго. Но выписал я их в один день. Не мог этого не сделать.

И с того дня они дают мне успокоиться.

Если первое вошло в меня свободно, излучая ясный свет, то второе — обрушилось. Навалилось на меня глыбой.

Сейчас оба эти листочка в моих руках. Они подрагивают, колышутся. Будто судьба человеческая на вселенском ветру.

Вот оно, первое стихотворение.

Приезд Тютчева

Он шапку снял, чтоб поклониться

Старинным русским колончам...

*А после дамы всей столицы
О нем шептали по ночам.*

*И офицеры в пыльных бурках
Потом судили меж равнин
О том, как в залах Петербурга
Блистал приезжий дворянин.*

*А он блистал, как сын природы,
Играя взглядом и умом.
Блистал, как летом блещут воды,
Как месяц блещет над холмом!*

*И сны Венеции прекрасной,
И грустной родины привет —
Все отражалось в слове ясном
И поражало высший свет.*

Это стихотворение Николая Рубцова.

И второе:

«Первая жена Тютчева»

Написано оно Александром Волобуевым.

*В незаслуженных муках она умирала...
Он боялся взглянуть на полночи вперед
И дрожащей рукой поправлял одеяло,
И готов был кричать, что она не умрет.*

*А она заслужила все лучшие блага
Добротою своей, чистотою души.
Только муж — неудачник, по службе — ни шагу,
И непросто хозяйство вести на гроши.*

*Все долги, постоянно долги. И к тому же
Он увлекся какой-то приезжей вдовой.
И однажды в протест похождениям мужа
Попыталась кинжалом покончить с собой.*

*Но и это прошло. И пожар парохода,
Где спасла она дочек с огромным трудом...
Но ведь были у них и счастливые годы,
Счастье очень надолго входило в их дома.*

*Вот и все. Уже горечью согнуты спины,
И ползет от кадила дурманящий дым...
Тридцатипятилетний поникший мужчина
Стал за эти часы совершенно седым.*

Какая бездна между этими двумя стихотворениями! И над этой бездной — гениальный Тютчев!

Я умолкаю. Я не могу осмыслить все то, что таят эти два стихотворения, что осталось за ними. Чтобы понять, надо написать, очевидно, роман о Тютчеве. О Человеке и Поэте, который так бесстрашно мыслил в поэзии.

При своём неистребимом жизнелюбии порой утверждавшим, что вся деятельность человека — «подвиг бесполезный»?..

Но возможен ли такой роман о гениальном поэте? И знали ли его, поэта, настоящего, авторы этих стихов?.. А современники?..

Мои несуразные опыты

Вспомнилось давнее ученическое время, когда как бы само собой безотчетно начал писать четверостишия. Возникали они у меня неожиданно, где угодно и когда угодно.

И совсем, казалось, содержанием своим не соответствовали тому, чем я был занят в момент их появления.

Такие, к примеру:

*Бывает, и пива стакан
Скучнее простой газировки.
Нам жизнь украшает обман.
Все дело порой — в дозировке!*

Или:

*Если порочные люди помрут,
Сгинет и лжец, и завистливый плут?
Скука какая вокруг воцарится!
Ну, и куда это дело годится?!*

Они пришли в голову, когда глубокой осенью на даче я рубил и таскал в погребницу мерзлые кочешки капусты.

Торопливо отыскав обрывок газеты, тут же подвернувшимся сломанным, непослушным карандашом на полях записал их.

Нечто похожее было и с другими подобными стихами, которых потом накопилось около двухсот. Они сохранились только

потому, что я взял в привычку постоянно носить с собой крохотную записную книжку и авторучку.

Набралось их на целый сборник. Самарский писатель и издатель Г. охладил мой пыл:

— Зачем вам это? Не ваше! Тоже Омар Хайям! Если уж пишутся, то пусть это будет, как гимнастика ума. Некий тренинг в домашних условиях.

Я был почти согласен с ним. Но многим, кому читал их, они нравились. А раз нравятся, может...

И тут появилась возможность развеять сомнения. В город к нам приехала известная писательница. Не долго думая, я решил показать стихи ей. Отобрал два своих и добавил к ним наугад два четверостишия великого Иоганна Вольфганга Гете. Все стихи представил, как свои. В какой-то момент стало страшно: вдруг она знает стихи великого поэта. Что тогда? Конфуз!

Её реакция была такой же, как у моего самарского коллеги:

— К чему все это? Несерьезно. Я читала вашу прозу. Очень неплохо. Я бы сказала, неожиданно хорошо. А это, — она перебирала листочки, которые я ей принес. — Ну разве вот эти два, — она положила мои стихи перед собой на журнальном столике, — в них ещё можно отыскать признак поэзии... Если днем, с огнем... А эти... — она держала на маленькой сухонькой ладошке два листочка со стихами Гете, — эти вовсе никуда не годятся. Не тратьте себя попусту.

Я молчал. Не знал: признаваться в подлоге или нет? Решил промолчать. Соображал, чего больше в случившемся. Мне попался неудачный перевод Гете или в такой степени писательница субъективна.

Радости за свои стихи не было. Было подтверждение моей нехитрой, но важной тогда для меня догадки, что восприятие, мнение талантливых людей порой очень субъективны и категоричны, в том числе это касается и стихов. Тем более когда под ними нет имени признанного мастера. Хотя для меня понятие «мастер» уже и тогда применительно к поэзии казалось сомнительным.

...Позже, когда моя проза, две повести вышли отдельной книжкой, писательница поздравила меня одной из первых.

Стихи писать я потихоньку продолжал. И не только четверостишия.

В Переделкино, в гостях у писателя, давно как бы причисленного к разряду, скажем так, близкому к классикам, я прочёл за столом одно из своих стихотворений, которое начинается словами: «Матица с крюком над зыбкой скрипела».

Хозяин дома стихотворение дослушал до конца, ни похвалив, ни поругав. Только обронил уверенно:

— Матица над зыбкой не скрипит.

Я опешил:

— Скрипит. У меня сестры намного моложе меня. Я качал их в зыбке.

— У нас тоже на крюке, вбитом в потолочную балку, висела зыбка. Она не скрипела. Не придумывайте.

«Может, у них на Севере матицу делают из толстых бревен, сосновых, — пустился я мысленно в рассуждения. У нас лесостепь: осина да ветла, изредка тополь. Даже дом мой дед срубил из чернолесья». Мысли мои путались: мне не хотелось себя оправдывать, доказывать, что я прав. Мне важнее было — для себя оправдать ошибочное утверждение уважаемого мной старшего собрата по перу.

Я не мог ошибиться: матица скрипела. Я хорошо помню, как появился в нашей избе потолок. Его у нас в старом доме не было. Над головой тогда темнела соломенная крыша. Когда новую избу строили, мы с отцом двуручным рубанком обрабатывали длинную ровную осину, она и легла обоими своими концами на саманные стены. «И потом, скрип мог идти от крюка, висевшего на петле. Не обязательно от самой матицы», — путался я в мыслях, все ещё пытаюсь оправдать категоричность собеседника. «Неужели не скрипела? И все это только в моём воображении так зазвучало через четыре десятка с лишком лет? Так зазвучало пережитое?» — пытал я себя.

Стихотворение, из которого была эта строка, давно уже стало песней. Песня попала в репертуар нашей областной филармонии. И вдруг такое: «Не скрипела».

Вернувшись из столицы в Самару, поехал я в отцовский дом, в село. Нашел в заброшенной мастерской похожее кольцо, при-

вязал к нему веревку. К веревке с другого конца приспособил сработанную когда-то ещё отцом тяжёлую табуретку. Набросил кольцо на мирно дремавший около полувека под потолком крюк. Тронул немудрёную конструкцию рукой, как когда-то давным-давно в детстве. И невольно подумал: мои-то ребята, сын и дочка, могли бы тоже оказаться в своё время в зыбке. Но так получилось: выросли в городе... Едва зыбка качнулась, прогонистая матица вздрогнула. Очнулась от долго сна. Она — заскрипела! Нет, она запела! Все было, как в моём стихотворении.

Все было, как в детстве. Изба ожила! Казалось, в ней стало светлее и уютнее. Я невольно прикрыл глаза. И поплыли передо мной самые дорогие, самые радостные картины из моей жизни — денёчки моего детства. Потом пошли голоса, родные и такие далекие. Чей-то, едва уловимый уже голос, запел песню. То ли мама пела, то ли бабушка моя...

При следующей встрече я не стал рассказывать мастеровитому писателю о своём странном опыте. Зачем? У него было своё детство, у меня — своё. Оно было только моё. Такое, без которого, оказывается, я себя и не мыслил...

Рыжая и красивая

Вчера на встрече со студентами одна девочка спросила:
— Скажите, как долго вы пишете рассказ или стихотворение?
Я ответил, что по-разному. Когда как.

Шагая домой, продолжал думать об этом её вопросе.

Есть у меня стихотворение из четырех строк:

*Немало в голову идёт сравнений,
Но все сравнения напрасны:
В неуловимой смене выражений
Твоё лицо прекрасно.*

Всегда мне казалось, что эти строчки из солидного стихотворения. И я искал остальные. Сколько было у меня вариантов! И все я браковал. Потом периодически возвращался к этим строчкам. Опять дописывал. Прошло двадцать лет. И только года два назад, поняв, что более ничего не могу добавить к ним лучшего, напечатал в сборнике как есть: всего четыре строки.

А стихотворение «Школа», ставшее песней, записал в боль-

ничной палате ночью, среди стонавших после операций больных, на клочке бумаги, нашарив в полутьме на тумбочке карандаш. На все ушло не более получаса. Теперь оно стало песней и её поют.

Лет тридцать назад, шагая по одной из Бакинских улиц, увидел стайку подростков, убегавших вдоль забора. Подошёл. Ткнувшись мордочкой к темной доске, лежал желтенький котенок, совсем маленький. Рыжая его, празднично чистая шерстка и кровь, идущая из носа, так не подходили друг к другу. Ноги котенка ещё дергались, но он был уже мертв. Рядом лежал величиной с кулак камень.

Выражение мордочки котенка было так трогательно, мило, что брала оторопь. Это несоответствие не выходило из головы.

Вернувшись в общежитие, попробовал тут же начать писать рассказ. Не получилось.

Не получалось и потом. Каждый раз выходило не то. И только через тридцать лет я написал повесть «Сергеич и Сима», о кошке. Она у меня там рыжая и красивая. Сима!

Я, кажется, понял, почему раньше не писалось. Мне не хотелось верить, во мне все протестовало против смерти кошки.

В моей повести Сима не только выжила, но и спасла жизнь человеку. Как это и случилось на самом деле. Только это была другая кошка.

Лучик света

Попалась на глаза давнишнее письмо одного из моих знакомых. Он — бывший преподаватель сельскохозяйственного института. Зовут его Николай Николаевич Краснов. В этом письме есть некоторые подробности, кажется, совсем незаметного дела. Скорее всего, эти подробности житейские. Но литература в известной степени и жива подробностями. Они её питают.

Николай Николаевич пишет, что послал мои книги своему давнему другу из Кинеля в Барнаул. Тот прочитал и сказал всего несколько слов ему в ответном письме о прочитанном.

Краснов переслал это письмо мне.

Один человек по велению сердца посылает другому на край света понравившиеся книги, другой — читает их и пересылает

назад владельцу. Все это они делают на свои пенсионные гроши. От души и для души: «Коля, высылаю посылку с книгами, которые ты просил вернуть. Большое спасибо за них. Высылаю и деньги, потраченные тобою при отправлении книг.

С А.Малиновским расстаюсь, как с родным братом, близким мне по духу, по отношению ко всему, что окружает нас, что с нами и нашей страной происходит. Как-будто он читал мои мысли и изложил их в своих сочинения, изложил великолепно, талантливо, как настоящий русский писатель».

Так пишет Николаю Николаевичу его друг.

О моих книжках высказывались многие. В том числе и профессиональные литераторы.

Но такое дорого особенно.

И пусть сейчас нет больших тиражей книг, какие были прежде.

...Есть вот такие благодарные читатели. Это ли не отрада для пишущего?!

И что проку от книг, изданных огромным тиражом и пылящихся на полках?

Тронули своей проникновенной задушевностью последние строчки письма, совсем уж не касающиеся меня лично:

«Коля, у нас весна наступает полным ходом. Ручьи льют уже и за городом. В воскресенье, дочитав книги, не без труда добрался в ботинках на дачу. Две яблони погрызли мыши, так как я не обтоптал вокруг них снег зимой. Он оказался рыхлым.

Коля, дожили до весны! Поживем ещё! Надо бы пожить!»

Мысли незнакомого мне человека о России, о моих книгах, в одном ряду с весной, с яблонями, с рыхлым весенним снегом... Со всем тем, что называется жизнью...

Это ли не замечательно!

Рынок

Идёт самый разгар моей встречи с читателями. Вопросов немало.

И вдруг такой:

— Как вы все успеваете? И литература, и наука, — это проносит дама, сидевшая до того молчаливо у окна.

— Да, так? — развожу руками...

Продолжить не успеваю, она опережает:

— А когда вы защитили диссертацию?

Я, не понимая подоплеку вопроса, ответил:

— В 1984 году.

— Тогда ещё... Это другое дело. Мой сосед по даче — в 2005 году, — она сделала паузу, — купил. И не скрывает этого. Ещё хвалится, что недорого. Дружок его дорожке заплатил... Рынок.

— Может, он дурака валяет. Ничего и не покупал вовсе? Бравада такая, — говорю я.

В углу откликнулся на мою фразу долговязый парень:

— В нашем районе, когда шли выборы главы и остались всего два претендента, борьба обострилась. Кому-то в голову пришла мысль проверить подлинность диплома о высшем образовании одного из кандидатов. Уж больно лексикон у него не тот. Сделали запрос в отдел кадров института. Оказалось, что специалист он «липовый». Не учился он в институте совсем.

— Нарочно выписываете такие случаи? Чтобы забить голову писателю? — решила заступиться за меня соседка долговязого.

— Это ещё зачем? — басит парень. — Фальшивые лидеры. Их вокруг сейчас столько!.. Прордыху нет. Жизнь наполовину фальшивая. Рыночная. Кто кого надурит...

Не сразу разговор вернулся к литературе. Что поделатъ, жизнь первична... Но... Стыдно за неё, такую...

День рождения моей мамы

21 августа 1918 года. Эта дата волнует меня с детства. Я слышал о событиях того дня от нескольких своих односельчан. Через полгода исполнится девяносто лет с тех пор, и память вновь встревожена.

В детстве этот день в моём восприятии был покрыт дымкой революционной романтики. Как же! Противоборство белых и красных! И где! У нас, в нашем селе. На наших улицах.

Позже захотелось знать подробности. Как все было?

А, повзрослев и узнав кое-что, и поняв, ужаснулся жестокости, которую творили люди.

Теперь я не могу назвать вершившееся в те дни и годы как-то иначе, нежели самоистреблением.

Были, были и пособники, может, вернее сказать, дирижёры этого самоистребления. Об этом в другой раз...

Вот как рассказывал о разыгравшейся трагедии утёвский краевед Пётр Дмитриевич Лупаев:

«Стояло позднее лето 1918 года. Вода в Ключевом озере была уже довольно холодной. Мальчишеской ватагой после купания, порядочно продрогшие, мы шли в свою Чернышевку (теперь улица Крестьянская). Вдруг со стороны старой церкви послышались недружные выстрелы. Что они значили, мы сразу не поняли...

Несколько позже узнали, что карательный отряд белогвардейцев расстрелял двух наших. Мы всполошились и, встревоженные страшной вестью, помчались к базарной площади.

Вот и это место: на сухом дне Утёвочки. у конопляников два темных пятна — кровь уже впиталась в землю — и розовые кусочки мозга. Тела погибших были уже убраны. Подходили мужчины и женщины, молча осматривали место недавней трагедии и расходились. Люди были потрясены».

Этот зверский расстрел явился прямым продолжением событий, происходивших в Самаре.

Действовавший подпольно в Самаре Комитет членов Учредительного собрания (КомУч), в начале июня с захватом города чехословацким корпусом легализовался и объявил себя верховной властью.

Была восстановлена дореволюционная система местных органов самоуправления, в число которых входили губернские, уездные и волостные земства, губернские и городские думы.

В окрестных селах начался набор молодежи 1897 и 1898 годов рождения в «народную» армию.

Землю начали возвращать прежним хозяевам.

Но идти в армию учредиловки было мало желающих. И землю крестьяне возвращать не хотели.

Петр Дмитриевич Лупаев так писал со слов односельчанина Ивана Дмитриевича Загвоздкина:

«В начале 1918 года в Утёвке были две политические группы. Во-первых, это группа сочувствующих большевикам. Её возглавлял Петр Семенович Игольников — сельский слесарь-

жестянщик, бывший балтийский матрос, примкнувший к большевикам ещё до 1917 года. Активистами были Григорий Гаврилович Перов — бедняк, Артем Иванович Кирсанов — середняк, Иван Степанович Савин — тоже середняк, Александр Иванович Блохин, Федор Иванович Пудовкин и другие. Техническим секретарем был Иван Харитонович Чекуров — бедняк.

В другую группу входили сторонники Учредительного собрания. Они ратовали за частную собственность на землю. Её возглавляли торговец мануфактурой Василий Кириллович Колебанов и Ефим Филиппович Печенов — владелец земельного участка в тысячу десятин в «Колках», на реке Ветлянке. К ним примыкали Василий Ксенофонович Орехов — лавочник, Василий Степанович Першин. Всего человек 15 из зажиточной верхушки села».

В те села, где отказывались служить, из Самары посылались каратели.

В ответ создавались отряды сопротивления. Одним из самых активно был создан в селе Домашка. В Утёвке отряд возглавил Петр Семенович Игольников.

Самарское правительство КомУча, которое называло себя социалистическим, быстро пало, будучи не в состоянии урегулировать непримиримые социальные противоречия между разными слоями населения того бурного времени. Но кровавый след оставило и оно.

Каратели Утёвку не занимали, производили внезапные налёты.

Я намеренно приведу подробное описание последующих событий в моём селе, сделанное Петром Дмитриевичем. Они стоят того. Он их записал со слов очевидцев тех событий. Что может быть дороже?

«В августе Ефим Печёнов и Василий Першин поехали в с. Богатое и доложили начальнику карательного отряда, что в Утёвке в «народную» армию никто не идёт, молодежь прячется в лесу и на гумнах. Они также передали список утёвских активистов. 20-го августа в наше село прибыл карательный отряд (около 20 человек), состоящий из русских. (Сынков зажиточных крестьян).

Начались аресты и порки. Пришли к Чекурову Ивану. Он сказал, что в состав группы сочувствующих не входит, а толь-

ко, как человек грамотный, вел списки и протоколы. Бумаги у него отобрали, а самого не тронули.

Василий Пудовкин был комиссаром Погроминского сельскохозяйственного училища. Домой прибыл временно. Его арестовали, когда он во дворе чинил веялку.

Семён Михайлович Проживин работал председателем Утевского волисполкома. Сеял хлеб. В этот трагический день его дома не было. Он с женой на своей лошади ездил в поле за розвязью (скошенной пшеницей). Каратели заставили сопровождать их его 12-летнюю дочь Пашу.

За селом, около больницы, встретили Семёна Михайловича с женой. Его арестовали и посадили с собой в фургон. Проживин попросил заехать к нему домой, чтобы искупаться после полевой работы.

Заехали. Конвоиры зашли в избу и закурили, а хозяин, с бельем под мышкой и ведром воды, пошёл в сарай. Семен мог бы убежать, но не оценил всей опасности — о плохом не думал. Его увезли и посадили в мазанку во дворе Владимира Пирожкова, к другим арестованным.

За Иваном Степановичем Савиным тоже приходили, но его дома не было — уезжал с сыном в поле за розвязью. Каратели ушли.

Федор Иванович Пудовкин успел скрыться в лесу. Каратели повели туда его жену Любовь Григорьевну и, угрожая плетью, заставляли кричать — звать мужа. А муж её в то время лежал под камышовым наносом, слышал, как белогвардейцы издевались над его женой. Его так и не нашли.

На другой день, 21 августа, Василия Пудовкина и Семёна Проживина повели через Курочкин переулочек к речке. Их подерживали под руки, они качались и едва волочили ноги. Там их и расстреляли.

Каратели потом ещё два дня шныряли по дворам — искали сторонников Советской власти. Других арестованных по очереди выводили из мазанки, привязывали к скамье и секли плетью. Были пороты Дмитрий Трайкин — бедняк, Илья Макеев — зажиточный, активист, С.Г. Таликин. Жена Федора Пудовкина была беременна. У неё после порки случились преждевременные роды. Всего выпорото было 17 человек.

Утевские активисты в бой с карателями не вступили —

слишком неравны были силы. Петр Игольников со своей берданкой степью ушёл в Домашку, к партизанам. Те прятались в лесу за Самаркой. Он прибыл в отряд 13-м. Григорий Перов отправился туда же другим берегом Самарки, лесом. Другие активисты попрятались на гумнах, в ометах и иных укромных местах. На пятые сутки каратели выбыли в Покровку».

Сохранилось описание расправы в Утёвке, сделанное агитатором КомУча В.Кодаковым:

«...Сегодня на станции Богатое я встретил председателя и секретаря Утевской волостной земской управы и выслушал печальный рассказ о действиях карательного отряда под командой капитана Бельских.

...Подробности расстрела, по словам очевидцев, отличались небывалой жестокостью. Так, например, труп Василия Пудовкина был изуродован: голова разбита, с вытекшим глазом, спина, бока носят явные следы ударов прикладом, руки до плеч буквально представляли кусок мяса с ободранной кожей. Кроме того, на спине имелись две-три колотые штыковые раны.

Характерное поведение добровольцев отряда: при обыске в квартире В.Пудовкина были найдены две сорокарублевки-«керенки», которые были взяты со словами: «Комиссары много награбили». Взято охотничье дробовое ружье.

В.Пудовкина хоронили за счет родных. Остались жена, 82-летняя мать и пятеро детей (старшей дочери 14 лет). Семья осталась без средств. По словам рассказчиков, все население с. Утёвки считает расстрелянных невинно пострадавшими».

Зверствовали каратели и в соседних селах.

Сотрудник аппарата КомУча В.Шемякин составил сообщение о том, как другой мобилизационный отряд побывал в селе Богатом: «...19 августа вечером и в особенности 20-го утром на глазах многочисленной публики клали лицом вниз на специально разостланный для этой цели брезент и по решению военно-полевого суда «вкладывали» 20-25 ударов нагайкой. Били казаки, и били так, что некоторые из наказанных после этого не могли сразу встать, а, встав, шли, качаясь, как пьяные. Били молодых парней, пожилых рабочих и крестьян, били женщин, которые уже, кажется, не могли бы иметь никакого отношения к призыву новобранцев...»

Досталось и доносчикам.

Василий Першин отступил с чехословаками. После скрывался у односельчан в городе Уральске. Там был обнаружен и расстрелян.

Василий Колебанов сбежал в Самару, но и там не ушёл от суда.

Не было борьбы в те августовские дни восемнадцатого года. Было убийство. Истребление русского народа. Самоистребление.

«...И розовые кусочки мозга в пыли на сухом дне речки Утевочки, у конопляника...»

Неужто такое замутнение может ещё повториться?! Так, чтоб кусочки мозгов... в пыль.

* * *

Под винтовочные выстрелы на задах хозяйка бревенчатой избы Груня Рябцева с перепугу разродилась девочкой, которую потом назовут Катей. Об этом я писал в одной из своих повестей.

Прибывший в избу по доносу двое из того самого карательного отряда произвели обыск. Искали хозяина дома Ивана Рябцева, который сбежал из Самары, не желая служить у белых.

* * *

Беглый солдат Иван Рябцев — мой дед.

Груня — моя бабушка, а новорожденная Катерина — моя мама.

Потом у Аграфены Федоровны и Ивана Дмитриевича родится ещё семеро детей.

Но выживут только трое.

* * *

Мне интересна была дальнейшая судьба Петра Игольниковва, ушедшего с берданкой степью в Домашку.

Ив от недавно удалось из воспоминаний его внука узнать некоторое подробности жизни первого в Утёвке председателя волостного революционного комитета Петра Семёновича Игольникова.

Родился Игольников в 19881 году. До призыва на царскую службу батрачил в селе.

То ли за смуглое, скуластое лицо, то ли за силу и стойкость в кулачных боях, прозвали его «Чугуном». И пошло: жена Екатерина Ивановна — «чугуниха», дети — «чугунята».

Призвали Чугуна в армию на Балтийский флот, служил в Кронштадте.

Там он принимает участие в подпольной работе. После событий 1905 года заносится в списки неблагонадёжных и его списывают со службы.

Вернувшись в родное село, снова батрачит.

Занимается слесарным делом, был и жестянщиком.

На утёвские базары вывозил вёдра, чайники, замки. Там же принимал заказы на ремонт.

Началась первая мировая война и его призывают в стройбат на строительство Мурманской железной дороги. Там он пробыл до октября 1917 года.

Вернувшись в Утёвку, вместе с односельчанами К.А. Лобачёвым, И.А. Загородниковым, П.И. Аверкиным, М.Н. Кочетовым организует в Утёвке волостной революционный комитет.

...Избегав тогда, в августе двадцатого года, расправы, Пётр Игольников прибыл в партизанский отряд, который был организован старым большевиком из села Домашка Фёдором Прохоровичем Антоновым и бывшим офицером царской гвардии Сергеем Васильевичем Соколом.

Есть свидетельства, что отряд спешно выступил в село и вышиб карателей.

С приходом Красной Армии партизанский отряд вливается в 1-ую Самарскую дивизию (ставшую потом 25-ой Чапаевской) и становится самостоятельным 219-м Домашкинским полком.

За бой под станцией Умёт-Грязный Пётр Игольников был награждён орденом Боевого Красного Знамени.

Известно, как он погиб. Об этом есть воспоминания комбрига Занина.

После ранения комбат-2 Пётр Игольников нуждался в лечении. Его назначают комендантом Богатинского укрепрайона. Там он активно организует Советскую власть на местах, создаёт партизанские отряды, открывает клубы, школы.

Борется с остатками контрреволюционных отрядов.

В марте 1920 года при возвращении из Гурьева, его подкараулили и зарубили саблями...

И там, вдали от моей Утёвки, лилась кровь людская, как вода. С обеих сторон.

Такие лихие годы.

Маэстро

Он с первой встречи стал говорить мне «ты». Сначала это меня удивило, но потом я понял: он такой, по-другому не может. Многие замечали: если человек ему симпатичен, он сразу переходил на «ты».

В нём было нечто широкое и огромное. Недаром в его квартире самая большая комната, где стоял рояль, всеми своими окнами выходила на Волгу. И с высоты четвёртого этажа, когда я подходил к окну, великая река с её дальними плёсами и Жигулями растворяла в себе. Его рояль казался большой птицей, парившей над Волгой.

Он был истинный волжанин по духу своему. Обладал бесценным даром доброты и сердечности.

Эти мои размышления о гордости нашей Самары — Гиларии Валерьевиче Беляеве — человеку, сделавшем очень много добрых дел для нашего города.

Как вырастают мастера?

Конечно, росток идёт от зёрнышка, и это зёрнышко — талант! Но сколько нужно вложить труда и упорства!.. Когда соприкасаешься с конкретной судьбой, в который раз невольно думаешь об этом.

Родился наш замечательный земляк 9 января 1931 года.

Семья жила скромно. Отец Валерий Аркадьевич был строитель. Мать занималась домом и воспитывала двоих детей. Имена детям выбирал отец. Гиларий в переводе с греческого означает «весёлый».

Едва минул год после рождения Гилария, отец умер от сыпного тифа. Профессии у матери не было. Как жить?

Заботы о семье взяли на себя её сестра Елизавета Ивановна Ситнова, состоявшая первым хормейстером ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа, и её отец Иван Иванович, известный в тогдашней Самаре закройщик. Одежду у него шили многие известные в городе люди.

В 1941 году, получив домашнее музыкальное образование, Геля поступает в музыкальную школу, которая была недалеко от ТЮЗа на Самарской улице. Жил он тогда в районе улицы Николая Панова. Транспорт в те годы туда не ходил. Так он и учился: в шесть — подъём, в семь выходил из дома, преодолел

вая несколько километров пешком, и в восемь часов был в музыкальной школе. После обеда шёл в общеобразовательную.

В 1947-м году после восьмого класса он поступил в музыкальное училище. Одновременно с училищем закончил и школу рабочей молодёжи. Получил аттестат о среднем образовании.

В музыкальном училище учился с той же самоотдачей, с какой много лет спустя будет передавать своё умение многочисленным ученикам. А учиться ему было у кого. И он этого не упустил.

Теоретические предметы преподавал Алексей Васильевич Фере, дирижирование вёл Марк Викторович Блюмин, фортепиано Александр Давидович Франк. Это известнейшие мастера в Самаре, люди высочайшей культуры.

В музыкальном училище Беляев получил три специальности: фортепиано, теория и практика дирижирования.

Жизненный путь был определён. Впереди — Московская консерватория.

Подрабатывал вечерами — руководил самостоятельными коллективами в Доме Офицеров и военном госпитале. Накопив денег, купил себе костюм, ботинки и отправился в Москву.

В семейном архиве Беляевых хранится фотография, на которой паренёк-волжанин запечатлён с большим чемоданом и узлом с постелью. Сколько таких пареньков в своё время ушло из российских сёл и провинциальных городов в многошумные столицы. Многие ли потом вернулись? А он вернётся, да в каком качестве!

Но об этом чуть позже...

Таких сведений о жизни моего замечательного земляка я, конечно, во время знакомства с ним не имел. Он не рассказывал, а мне говорить на эту тему не приходило в голову. Это потом, когда его не стало, от его дочерей, коллег, знакомых я узнавал дорогие мне подробности.

Мы так порой бываем непростительно близоруки!..

* * *

Экзамены в Московскую консерваторию! Без волнений не обошлось. Ещё бы, ведь поступал одновременно с Родионом Щедриным, про которого уже тогда говорили: «Это наше будущее!».

Первый экзамен, дирижирование, волжанин сдал на пять с плюсом. И далее в экзаменационном листе его начали выстраиваться одни пятёрки.

Так Гиларий Валерьевич стал студентом Московской консерватории по классу хорового дирижирования у профессора В.Г. Соколова. Учёбу закончил с красным дипломом. Но он был верен себе. Освоил параллельно и другую профессию — дирижер симфонического оркестра.

Есть особая привлекательность в людях, судьба которых связана с рождением их и всей последующей жизнью с местом, где они появились на свет, с Отчиной. Таков был Гиларий Беляев.

* * *

Я так жалею, что был знаком с ним всего несколько лет. Наше дружеское сближение произошло, я бы сказал, спонтанно.

Познакомил нас неутомимый Геннадий Дмитриевич Матюхин — председатель республиканского Центра Василия Шукшина, в недавнем прошлом артист Самарского драматического театра.

Поехали мы с ним однажды в моё село Утёвка, и обнаружилось, что местный хор гастролирует по окрестным селам и в его репертуаре несколько песен, написанных на мои стихи. Автор песен — художественный руководитель Дома Культуры Василий Першин.

Потом в Новокуйбышевске самодеятельный композитор, майор в отставке Николай Падуков приехал ко мне в гости с баяном и исполнил сразу три песни. Самарский музыкант Марк Левянт написал песню на мои стихи «Школа», ставшую своего рода гимном абитуриентов. Геннадий Дмитриевич, когда песен накопилось около полутора десятка, загорелся издать сборник.

Для меня все это было неожиданно и непривычно. Я никогда и не помышлял, в голову не приходило, что мои стихи могут запеть.

Довольно крепко сомневаясь в затеваемом, поставил непременно условие, что песни будут показаны кому-то из серьезных музыкантов. Только после необходимой проверки и доработки можно будет говорить о дальнейшем.

Геннадий Дмитриевич обратился за помощью к Гиларию Валерьевичу, оказывается, они давно были знакомы.

Вскоре я впервые оказался у Гилария Валерьевича в гостях.

Я, конечно же, и раньше знал его. Видел, бывал на концертах. Но это на расстоянии. А теперь я наблюдал этого высокого, красивого человека рядом. И никакой звёздности, ни капли позы или рисовки. Истинный талант!

Чуть позже, потом, я узнал, как неустанно он работает. И это мне объяснило многое. Людям, отмеченным даром труженика не до самолюбования. Мне говорили, что он всегда был таким, и в молодые годы.

А закружиться голове, казалось бы, были причины уже тогда.

После окончания консерватории ему единственному досталась столь престижная должность: дирижер Ансамбля песни и пляски Северной группы войск в Польше.

Пять лет он проработал в Легнице. Два раза в году — творческие отчеты-концерты в Варшаве. Там, в Польше, он и женился. Его женой стала Майя — солистка ансамбля танцев народов мира под руководством Игоря Моисеева.

Пять лет работы в Польше пролетели. Необходимо было возвращаться в Советский Союз. Куда конкретно? Решено было на родину, туда, откуда все и начиналось — в Самару.

Он вернулся в родной город и встал за пульт оркестра тогда Куйбышевского театра оперы и балета. Первым его спектаклем был балет «Лебединое озеро». Трудно представить: с тех пор Гиларий Валерьевич провел его 250 раз!

Потом в его репертуаре было около сорока названий опер, оперетт, балетов. Среди них такие партитуры как опера «Евгений Онегин», все балеты П. Чайковского, «Семь красавиц» и «Тропюю грома» Кара Караева, «Каменный цветок», «Золушка» С. Прокофьева и многие другие.

Мне не раз говорили, что зрители шли в театр не столько посмотреть балет, сколько послушать любимую музыку, когда за пультом: Беляев.

С 1979 по 1981 год мастер работал профессором Высшего института искусств и одновременно дирижером Большого Гаванского Театра имени Ф.Г. Лорки. Наши соотечественники, бывшие в те годы на Кубе, рассказывали, как после премьер и просто спектаклей «Лючии де Ламермур» Г.Доницетти и «Риголетто» Дж. Верди восхищенные гаванцы выносили на руках Маэстро Беляева.

Тогда же на Кубе ему предложили записать русскую музыку с хоровым коллективом радио и телевидения Гаваны.

Дела с обработкой песен для сборника шли, удивительно для меня, плодотворно. И что меня поражало, едва ли не к каждому моему приходу к нему, он показывал мне новую, написанную на мои стихи, песню. Так он написал восемь песен.

Потом я познакомился на его квартире и в рабочем кабинете в филармонии с певицами Раисой Гладковой, Аллой Азановой, Марией Кургановой, которые стали первыми исполнительницами этих песен.

Вокруг него почти всегда были люди. Он постоянно кому-то чего-то делал, советовал, говорил. И все не спеша, без суеты, по-домашнему. Во всем была некая матёрость. Мягкая поступь огромного существа.

В одну из наших встреч у него дома, он посетовал:

— Вот, понимаешь, есть у меня хорошая мелодия новогодней песни. Но слова мне не нравятся. Может попробуешь?

— Гиларий Валерьевич, я вам говорил, что вообще никогда не писал тексты для песен. То, что этот сборник получился, это какое-то... наваждение..., — я искал подходящее слово, — а тут писать слова под готовую музыку?...

Будто не замечая моего замешательства, он добродушно указал на диванчик:

— Сядь и послушай...

Когда он был уже за роялем, я сделал ещё попытку уйти от сомнительной затеи:

— С моим-то слухом?... Я...

Он словно не слышал меня.

Когда полились звуки, я был в смятении. Мне казалось, что я не улавливаю чего-то самого главного, и меня ждет конфуз. Прямо здесь, сейчас. Я не повторю мелодию, если он попросит.

Звуки умолкли, он спросил:

— Может, что-то ещё раз?

«Зачем? — мысленно ужаснулся я. — Мне хоть десять раз... все один результат будет!»

— Нет, не надо, — поторопился я с ответом.

И ответив так, совсем упал духом: «Он понял, что я в музыке не способен ни к чему. Он это видит! Стихи мои запели по недоразумению...»

— Ладно, — согласился Маэстро. — не надо, так не надо... Походи, подумай, если что возникнет, позвони — встретимся. Понимаешь: через неделю еду в Москву, хорошо бы внукам привезти новую песню.

Закрывая за мной дверь и добродушно глядя на меня с высоты своего солидного роста, обронил:

— Не забудь про слова...

Ничего себе: «не забудь!».

Я готов был искать слова. Но другие, те, которыми буду объяснять свою полную несостоятельность в затеянном.

Когда вышел на улицу, спохватился: «Надо хотя бы непонравившиеся ему стихи взять с собой, по их ритму вышел бы глядишь как-нибудь на мелодию».

Он словно закодировал меня. Я пришёл от него поздним вечером. Ночью спал плохо. Утром мне захотелось выйти на набережную, к Волге. Прохожих не замечал. Их, кажется, и не было. Меня что-то толкало изнутри. Я не мог стоять на месте.

Успокаивала, вернее, давала какой-то ритм, ходьба. Я понимал, что ночью в моём сознании свершилась какая-то таинственная работа.

Хрустел свежий снег под ногами, веяло ландышевой прохладой, и на душе было смутное ожидание восторга. Я не мог понять, откуда это исходило.

Как наяву увидел в большой светлой комнате с роялем посередине неё, пожилого, с незащищенностью ребенка, мудрого её хозяина, новогоднюю елку, шумную беззаботную ребятню, и... что-то случилось во мне.

Возникла мелодия. Не сразу, вместе со словами. Но так свободно, легко и напевно. Мелодия звала за собой слова. «Но та ли это мелодия?». Я был неопытен в подобных делах.

Мелодия бывала и раньше, когда сочинялись стихи. Это я только позже понял осознанно. Сейчас-то должна быть чужая мелодия... Но она стала и моей...

Я путался в мыслях.

...Вечером позвонил Гиларию Валерьевичу и сказал, что стихи готовы.

Он бесцветным голосом пригласил к себе.

«Не верит», — решил я. И я бы не поверил, что неплохие стихи можно так быстро написать, по заказу...

Маэстро развернул поданный мной листок со словами, прочел молча. С очень серьёзным лицом, сел за рояль. Не останавливаясь, не сбиваясь, проиграл от начала до конца. Губы его шевелились в такт мелодии.

— Полное попадание. Но какие слова! — произнёс он еле слышно. — И снова начал играть.

Он с трудом говорил после операции на горле. Прошептал с хрипотцой:

— Разве может такое быть?

Я развел руками. Не знал, как это все объяснить. И можно ли объяснить?!

Подошёл к широкому окну. В глаза мне тотчас хлынула волжская синь!

В необъятном просторе было море света. Появившееся из-за туч солнце освещало ту часть Волги, которая катила свои волны мимо Жигулей, Царева Кургана, села Ширяево. Все на глазах преображалось, оживало своими осенними красками.

Солнечного света становилось все больше и больше, полосой он пошёл вниз по течению великой реки, туда, где еле угадывалось село Шелехметь, далее — к Васильевским островам...

Словно кто-то всемогущий, раздвигая гигантские шторы, тоже смотрел сверху вниз. Любовался божественной красотой.

— Что так внимательно смотришь? — прозвучало за спиной.

— Да, так, — смутился я.

И больше ничего не сказал. Словно боялся посторонним словом нарушить увиденное.

Гиларий Валерьевич тоже молчал. Запомнился его взгляд. И потом я не раз видел его таким в общении с другими: он благоговел перед творческой удачей.

Стихотворение «Новогоднее» потом входило во все мои сборники. Я не обольщаюсь его художественными данными. Оно дорого мне историей своего появления. Такова была магия душевного таланта Маэстро.

Конечно же, то, что в Самаре не иссякает интерес к хорошему пению, большая заслуга и Гилария Валерьевича. Он знал изнутри художественные интересы и запросы Самарцев. Но он не только отвечал им, он как мудрый педагог готовил слушательскую аудиторию на многие годы вперед. Он воспитывал музыкальный вкус её.

Приехавший в Самару на фестиваль «Композитор и фольклор» эстонский композитор Вельо Тормис, послушав выступления хоровых коллективов, удивился:

— Для нас, прибалтов, слово «хор» — весомо и зримо. Никогда не думал, что с таким же представлением о хоровой культуре я встречусь в Самаре.

По примеру Д.Б. Кабалевского, Беляев двадцать лет руководил хором гимназии №11 в Самаре. Он любил хоровое пение. Когда работал на Кубе, в его ведении в Гаване только взрослых хоров было шесть: Высшего института искусств и Национальной школы искусств, любительский хор районного Дома культуры, хор Кубинского радио и телевидения, хор Гаванской оперы и Государственный хор.

В Самаре как дирижер и режиссер-постановщик он руководил фестивалями и концертами многочисленных детских коллективов.

Гиларий Беляев подготовил к изданию сборник приложений популярных произведений для детского хора, ансамбля и солистов.

Только хоровых аранжировок и обработок у Гилария Беляева свыше трёхсот.

И конечно же восхищает Гиларий Беляев — пианист. Репертуар его включал и русскую классическую музыку, и современную, произведения зарубежных композиторов и сочинения самарских композиторов.

Окинем мысленно взглядом хотя бы несколько его программ: «Музыкальный салон XIX века: вечер русского романса», «Музыкальная гостиная «Оперетта, оперетта, оперетта!», «Праздничный концерт в Хрустальном фойе филармонии», посвященный Исааку Дунаевскому, камерный концерт из произведений Георгия Свиридова, вечер памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева, на котором он исполнял произведения Рахманинова, Шопена, Баха, и конечно любимейшего им Моцарта. Программа «День памяти Василия Шукшина».

Какие все имена!

«Бывают пианисты, которые поработают рояль. Бывают такие, которые становятся его рабом, третьи вступают с ним в дружеские отношения. Гиларий Валерьевич сразу заключал рояль в свои объятия, и в этом великом акте любви все получали самое высокое наслаждение», — так отзывался об игре самарского пианиста наш земляк: врач, писатель Георгий Ратнер.

Увлечённость — одна из замечательнейших черт талантливых людей. Почти на протяжении пятнадцати лет: с начала шестидесятых и до середины семидесятых прошлого века Маэстро работал со сборной Советского Союза по художественной гимнастике пианистом-аккомпаниатором.

А увлѣк друг, заслуженный артист Самарского театра оперы и балета и заслуженный тренер СССР Виктор Сергеев, солист Самарского театра оперы и балета.

Среди многочисленных, не перечесать, наград, есть у Гилария Беляева одна, которая говорит о многом. Это медаль участника войны в Афганистане. Она — память о концертах артистов нашей филармонии, которые проходили при непосредственном участии их руководителя.

Ошеломляющая работоспособность и широта поля деятельности! И все это без утраты душевного, сердечного отношения к конкретному человеку. Наоборот: участие, соучастие с жизнью окружающих — потребность его души.

* * *

Был такой случай.

Рукопись сборника песен уже готова, а я все не могу никак определиться с его названием. Очень мне хотелось озаглавить его «Окошко с геранью» по одной из песен, входящих в него.

Но меня отговаривали:

— Для одной песни такое название ещё ничего, но для всего сборника?.. Герань — мещанский цветок. Притом просто уж очень, обиденно...

А мне все казалось, что поэзия как раз там, где сокровенная простота. И обидно было за герань, за мамино окошко с геранью в родительском доме.

С Гиларием Валерьевичем по этому поводу мы не разговаривали.

И вот однажды иду к нему. Почти уже полдень, но холодно-вато. Солнца не видно. Конец октября.

Перешѣл улицу Молодогвардейскую со стороны Волги у Самарской площади и от газетного киоска вдоль заветного дома направился во двор его.

И вдруг мне что-то, довольно ощутимое, упало на голову. Я посмотрел наверх. Над головой, под окнами второго этажа, красовались два довольно приличных размеров цветочных ящика. В них — с крепкими сочными листьями цвела герань. Увесистые бело-розовые цветы её свисали вниз. Как я их раньше не замечал?! В этой шумной части Самары такие домашние, тихие — они не потерялись! Наоборот: украшали серый дом. Не дом, а герань было главное здесь!

Я наклонился и поднял лежавший у ног сочный цветок, вернее целую гроздь. Она была как живое существо. Хотелось погладить её, спрятать, укрыть.

Я поднялся на четвертый этаж.

Что-то там в звонке не срабатывало. Я с необычным нетерпением нажимал на кнопку. Наконец звонок заверещал..., дверь открылась и, когда я шагнул в длинный узкий коридор, хозяин квартиры, попятившись спиной вправо, на кухню, спросил:

— Что это у тебя?

— Герань, — отвечал я и почувствовал, что нелепо улыбаюсь. — Вот, дарю её вам!

И стал сбивчиво рассказывать о случившемся.

Он внимательно молча меня слушал, пристраивая герань на подоконнике в подвернувшийся бокал с водой.

К его немногословию я привык, меня оно не смущало.

— Так, может, мой сборник назвать...

Я не успел закончить фразу, продолжил он:

— «Окошко с геранью», по одной из песен. Я об этом думал.

Я поразился сказанному, но по инерции продолжал:

— Те, с кем советовался, не одобряют...

Он отреагировал спокойно:

— Никого не слушай! Тебе знак дан! Так чего же ты?

Он улыбался открыто. Светлые глаза его сияли.

Я так и сделал: никого не послушал, кроме себя и Маэстро.

Сборник был издан.

Многим запали в сердце эти два слова: «Окошко с геранью». Секретарь Союза писателей Николай Михайлович Сергованцев, большой любитель песенного творчества, когда я приезжаю в Москву, часто упоминает в разговоре понравившееся ему название сборника. А я все помню этот случай с цветком, упавшим мне на голову и по-детски улыбающееся лицо Маэстро.

* * *

Небольшая деталь: двери его рабочего кабинета в филармонии всегда были открыты, в буквальном смысле. Они как бы приглашали на встречу. Гиларий Валерьевич любил людей. Это ещё одна грань его таланта. И люди всегда шли к нему.

Об этом хорошо сказал самарский искусствовед Митигелло: «...Хочется перейти на ту сторону улицы, где он идёт, хотя есть люди, от которых, наоборот, бежишь, чтоб не встретиться».

Маэстро намеревался отметить своё 75-летие в Самарской филармонии. Но не дожил до этого дня.

Коллеги приурочили к его юбилею концерт в филармоническом зале, назвав его «Музыкальное приношение».

В этот вечер двери Самарской филармонии, как и его кабинет, были открыты для всех, кто тянется к искусству. На сцене чередовались хоровые коллективы, которые так много обязаны таланту Беляева.

Солистка балета народная артистка России Анастасия Тетченко танцевала «Русский танец» П.Чайковского. Под управлением народного артиста России Михаила Щербакова были исполнены фрагменты из Пятой симфонии П.Чайковского. Звучали музыкальные миниатюры «Белые ночи» М. Шварца и «Ноктюрн» А. Бабаджаняна, которые особенно любил исполнять в собственной обработке Гиларий Беляев.

Геннадий Матюхин объявил об учреждении премии имени Гилария Беляева и назвал первых её лауреатов.

А на экране, висевшем над сценой, шла череда фотографий, запечатлевших Беляева со многими знаменитостями, приезжавшими в Самару. Среди них: композиторы Тихон Хренников и Родион Щедрин, пианист Андрей Петров, певица Елена Образцова, дирижер Олег Лундстрем.

Звучали теплые слова о Гиларии Валерьевиче выдающихся музыкантов — народных артистов СССР Андрея Эшпая, Владимира Минина, народного артиста России пианиста Алексея Скавронского.

И над всем этим светлый взгляд Маэстро.

Особенно запомнились слова Андрея Эшпая:

— Это был прекрасный музыкант, прекрасный человек. К его сущности очень подходят слова Н.Я. Мясковского: «А всего-то и нужно быть искренним, пламенеть к искусству и вести свою линию».

Добавим к сказанному: «И уметь трудиться. Всю жизнь безоглядно трудиться!»

2008 г.

ОБ АВТОРЕ

*Из книги:
«Александр Малиновский.
Творческий портрет писателя»
(Союз писателей России.
«Российский писатель».
Москва. 2004)*

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Имя самарского прозаика и поэта Александра Малиновского стало одним из самых заметных в современной русской литературе. Нет, его не «раскручивало» наше телевидение, он не написал ни одной «коммерческой» книги, — просто без всего того, что он уже успел, как писатель, сделать, любая литература не может считаться национальной. Мы охотно читаем увлекательнейшие детективы, приключенческие книги, виртуознейше написанные стихи, но называем мы национальной и любим, как самую родную, только ту литературу, в которой находит своё отражение сама наша жизнь, наш многовековой духовно-нравственный опыт, наш характер (или, как теперь говорят, наш менталитет), наши самые сокровенные тревоги и надежды.

Александр Малиновский — наш национальный писатель. В его героях мы узнаем своё прошлое и настоящее, своих бабушек и дедушек, своих родителей, самих себя. И потому нам очень хочется, чтобы нашим детям и внукам книги А. Малиновского тоже были понятны и дороги. И — только в этом нашем столь вроде бы обыкновенном, «бытовом» желании обнаруживается бытийный, метафизический страх перед «концом времен», перед тем «царством», в котором извечная наша «душа-христианка» ощутит себя неприкаянной. А значит, нам сегодня будет весьма трудно найти для художника более высокую задачу, чем та, которую ставит перед собой Александр Малиновский.

Нас радует то, что разговор о творчестве самарского писателя уже давно стал органичной частью текущего литературного процесса (вышла книга А.Молько о судьбе и творчестве А. Малиновского («Нету мне в жизни покоя», Самара, 2001 г.), в Союзе писателей России состоялось обсуждение его двухтомного собрания сочинений (А.Малиновский. Избранное. М.: «Российский писатель», 2003 г.), в

котором приняли участие самые известные писатели и литературные критики, в литературной периодике опубликованы многие статьи и рецензии на книги А.Малиновского). И книга, которую мы предлагаем читателям, всего лишь попытка отразить характер этого разговора, попытка увидеть Александра Малиновского глазами его наиболее уважаемых коллег по перу и наиболее влиятельных литературных критиков, глазами читателей, открывших для себя его прозу и стихи. Кроме того, нам показалось важным привести в книге об Александре Малиновском также и некоторые его собственные размышления о литературе, о писательском призвании.

Если говорить о собственном впечатлении от собранных в нашем сборнике материалов, то оно у меня следующее. Не только в «золотой век» Пушкина и Некрасова, Достоевского и Толстого, но и сегодня настоящие русские писатели берутся за перо не ради самоутверждения, а по некоему высокому нравственному побуждению, ради любви, ради вечно незатихающего в их сердце сострадания к людям.

*Николай ДОРОШЕНКО,
писатель,
директор Редакционно-издательского дома
«Российский писатель»*

1. КОРНИ И КРОНА

Писатели об Александре Малиновском

* * *

Александр Малиновский — явление уникальное. Крестьянский сын, человек из народа с высоким духовно-нравственным потенциалом, он принадлежит также и к научно-технической, управленческой элите России в высоком значении этого понятия. Отсюда и замечательные, я бы далее сказал, редкие свойства его прозы. Непридуманые, взятые из самой жизни «простые» сюжеты под пером художника приобретают глубокий, бытийный смысл.

Читая А. Малиновского, ещё и ещё раз убеждаешься в простой истине: не бывает чистого писательского таланта, писатель по-настоящему интересен только тогда, когда он сам является яркой, незаурядной личностью.

*Валерий ГАНИЧЕВ,
профессор.*

Председатель Союза писателей России

* * *

Наконец я прочел его работы и сижу и радуюсь: я открыл для себя не просто писателя, но человека и мыслителя, больше того — родственную душу.

Мы почти ровесники, из села. На наше поколение легла тяжелейшая пора для России, мы вместе тащим ношу ответственности за Отечество. И, кажется, ноша Малиновского потяжелей моей: я иногда смотрю на происходящее со стороны, а он внутри этого происходящего.

Важно сказать, что у Малиновского растут и изменяются не только герои, но и он сам. Сохранив главные черты славянского характера: доверчивость, открытость, жертвенность, он не может, по логике развития, не идти далее, к высотам постижения главной истины — для чего живет человек?

И отвечает вместе с мудрецами: для спасения души.

*Владимир КРУПИН,
писатель, г. Москва*

* * *

Не мной первым сказано: нет биографии — нет писателя. Разумеется, речь идёт не о биографии отдела кадров: там-то родился, в такой-то школе учился. Речь — о школе жизни, о твоём соучастии (или не участии) в тех делах и событиях, которые вершатся вокруг тебя, в твоей стране.

И в этом смысле у Александра Малиновского есть дорого стоящее преимущество перед теми современными литераторами, которые и перо достаточно уверенно держат в руке, но пишут больше о соре и грязи, поскольку иной жизненный материал им то ли недоступен, то ли вообще мало интересен.

У Александра Малиновского есть большая, исполненная добрых дел, биография, есть огромный «запас» впечатлений от общения с сотнями людей, встреченных на жизненном пути. Так что у нас, его товарищей, есть все основания ждать от талантливой прозаики многого и многого.

*Семен ШУРТАКОВ,
писатель, Москва*

* * *

Александр Малиновский одним махом разрушил образ писателя, который часами бродит в тенистых аллеях, обдумывая сюжеты своих повестей, а потом затворником сидит за письменным столом в тихом кабинете, передавая чистому листу посетившие его озарения.

Заслуженный изобретатель, доктор технических наук, директор крупнейших предприятий, Александр Малиновский над чистым листом склоняется после напряженного, насыщенного событиями дня. И то, — если его рабочий день заканчивается хотя бы под вечер, а не за полночь.

Было время, когда писателей посылали в творческие командировки на заводы, стройки, в колхозы, чтоб они своими глазами увидели трудовые подвиги, беды и победы. Александр Малиновский уже из когорты качественно новых литераторов. Ему нет нужды погружаться в гуцу событий, он из неё и не выходил...

Это не открытие, что у любого горожанина корни — деревенские. Пусть хоть в двадцатом поколении горожанин, а корень, он все равно уходит туда, домой, в деревню. И душа человека питается соками, идущими по этому корню из той далекой, может быть, уже и забытой самим человеком родной земли, — его родины. В деревне связь человека с природой настолько сильна, что он и сам себя ощущает частью этой природы. В деревне все естественней: смех, и слезы, и свадьбы, и похороны и песни. Душой человеческой эта родина не забывается никогда. Услышит какой-нибудь, уже в десятом поколении горожанин:

*Степь да степь кругом,
Путь далек лежит...*

и затуманит слеза очи его. Вот она, связь...

А у Александра Малиновского его родная Утёвка так свежо перед глазами стоит, он ещё слышит, как бьют в подойник струи молока — мама корову Жданку доит.

Земля. Небо. А журавли? А жаворонки? Сперва из теста, а потом и настоящие. Жизни-то городской — всего несколько десятилетий. А деревенской — там века и века, поколения и поколения. И память будоражит душу. И сердце разрывается от нежных чувств к родной земле, близким людям. И приходит осознание того, что все люди на земле — близкие. Особенно выразительны эти чувства в повести «Под открытым небом», которой нет в этом сборнике, но которую так хорошо принял читатель. В 2001 году автор получил за неё всероссийскую премию «Русская повесть».

Читая Александра Малиновского, понимаешь, что общаешься с человеком не только участливым, чутким, сердечным и готовым щедро поделиться своей сердечностью, но и с человеком, пытливо вглядывающимся в происходящее вокруг.

Автор — наш современник. На его глазах рушилась наша великая держава, проходил парад суверенитетов, на его глазах останавливались крупнейшие предприятия страны. Лучшие отечественные кадры остались не у дел. Что происходит? Почему так происходит? Александр Малиновский не только не обходит эти вопросы, он ставит их и отвечает на них со всей прямоотой человека-практика. И в творчестве своём он во главу угла ставит нравственность. Только то, что нравственно, то и хорошо. То и во благо. Во благо огромной стране и каждому человеку.

Мы читаем с вами повесть «Отклонение», вглядываемся в образ Кирилла Касторгина, в его судьбу и понимаем, что такая же участь в этой жизни постигла и кого-то из наших близких, или друзей, или знакомых. А может быть, и нас самих. Видим, что этот образ как бы вырван писателем из самой жизни. И говорим себе: «Это правда. Да, правда». За писательской нравственностью всегда только правда. И ещё примечательно: автор никогда не прерывает своё повествование на безысходной ноте. Он всегда оставляет место надежде. И это тоже так по-человечески, так по-Божески...

Есть в Троице-Сергиевой Лавре икона художника Григория Журавлева. Многим ли это имя о чем-то говорит? Нет, не многим. И судьбе было угодно, чтоб спустя почти столетие после смерти художника, на его родной самарской земле поднялся писатель Александр

Малиновский и в своей небольшой по объему книжице поведал миру о замечательном иконописце-самоучке, который писал «держа кисть в зубах», поскольку с рождения был безрук и без ног.

Не могу удержаться, чтоб не привести здесь слова, которыми Епископ Самарский и Сызранский Сергей благословил этот литературный труд.

«Слава Богу, что в наше время восстанавливается историческая действительность и воздается должное таким талантам, как иконописец Григорий Журавлев. Рожденный с недугом, но имевший глубокую Веру и Силу Духа, он творил во имя Бога и для людей. Его иконы несли Божественный свет, помогая людям. Призываю Божье благословение на автора и на его повесть, открывающую людям путь к Свету и Правде». Очень высокая оценка. Не сомневаюсь, что даже взыскательный читатель, перевернув последнюю страницу этой книги, подумает о писателе Александре Малиновском — с благодарностью.

*Игорь ЛЯПИИ, поэт,
первый секретарь правления Союза писателей России*

* * *

Он держится за свои сельские корни. Из шумного и громкого заполошного городского житья-бытья с его злой энергией он уходит черпать новые силы в тишину работающей и скромной своей деревеньки.

*Андрей ВЯТСКИЙ,
писатель, г. Самара*

* * *

Я думаю об истоках его высокой интеллигентности. Если судить по сложившимся стереотипам, то он, родившийся в годы войны в семье крестьян, родившийся, когда отец уже пропал без вести на фронте, получивший воспитание в ватаге деревенских мальчишек и девочек, должен бы быть каким-то другим, грубей, что ли.

А истоки его душевной простоты раскрываются в его рассказах, коротких, образных, непритязательных. Тут во всей своей человеческой красе предстают и бабушка его, «искусная варительница дрожжей, на всю нашу улицу», и дед Андрей, сетовавший: «Ракеты запускаем, а простой керосиновой лампы завезти в село не можем», и его мама — неутомимая сельская труженица, учившая сынишку всему доброму. И тот удивительный пример из их района — безрукого и безногого односельчанина Григория Журавлева, писавшего иконы, держа кисть зубами.

*Иосиф ВЕННИКОВ,
писатель, г. Самара*

ИЗ ПРЕССЫ

* * *

«— Александр Станиславович, вы говорите, что детство прошло в крестьянской семье. Что это значит? Ведь многие пишут: родился в семье крестьянина, рабочего...

— Я не только родился, именно вырос. И «не детство прошло» — треть жизни, 18 лет, до института я жил дома, в Утёвке. Быт нашей семьи был таким, что мы даже для деревни были слишком деревенскими. Натуральное, в сущности, хозяйство, борьба за выживание. В моём роду издавна умели охотиться (дед, бежавший от голода в Сибирь, охотой только и спасся), ловить рыбу, сеять хлеб. И нам прожить можно было только речкой, садом, огородом. Мы (нас было двое девчат и двое ребят, все приземистые, кряжистые) целыми днями пропадали на окрестных озерах, или на Самарке, или в поле, в лугах, на сенокосе. И ещё крутились возле деда, он работал конюхом. Были тогда выездные лошади — в больнице, в райисполкоме, вот дед ими заправлял. Я на лошади верхом научился ездить в том возрасте, когда, чтобы забраться на неё, надо было залезть сначала на рыдван, на колесо. В 12-14 лет мог уйти с ружьем, переночевать где-нибудь в лесу, никого это не приводило в ужас. Пахал вместе с дедом, ставил бани, мало ли чего ещё делал...

С нами никто не обращался, как с детьми. Меня ни разу в детстве не поцеловали. Но и ни разу не ударили, над нами не смеялись. Нас не воспитывали в нынешнем понимании слова. Мы сами видели, кто чего стоит — дед, отец, мать, соседи. Все это, конечно, отложилось.

Несколько лет назад на субботнике надо было выкосить траву на заводском стадионе. Наши итээровцы стоят, переминаются. Ну, я взял косу, прошел ряд, метров двадцать, — они глаза вытарасили. В селе и сейчас ещё есть колодцы, которые я копал (не один, конечно, с артелью)...»

*Из интервью А. МАЛИНОВСКОГО
газете «Самарские известия», 1995 г.*

* * *

«...Это светлого облика человек, человек не замутненной совести, абсолютно честный и искренний как перед самим собой, так и перед читателем.

И это в самом высоком смысле слова интеллигентный человек, весьма деликатный и скромный, начисто лишенный какого-либо тщеславия и малейшей рисовки. Хотя все то, чего он достиг в обще-

ственной жизни, в производственной и научной жизни, в своём неумном литературном труде, уже обрушило на него такое признание и такую популярность, которые в состоянии вскружить голову и породить даже в какой-то мере извинительные если уж не высокомерие, то хотя бы завышенную амбициозность, что ли, или апломб. Во всяком случае, известно ведь немало примеров общественной снисходительности к людям, с которыми происходили да и происходят подобные метаморфозы по мере обретения ими и несравнимо меньших заслуг, степеней и регалий».

*А. ИЛЬИН,
г. Нефтегорск,
газета «Луч», 2003 г.*

* * *

«...Мне хочется, чтобы в России было много таких, как наш земляк А.С. Малиновский, талантливых людей...»

*А. ХАСАНОВА,
ученица 10-А класса
Нефтегорской средней школы №2,
газета «Луч», 2003 г.*

2. ...НО ОСТАНЕТСЯ «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»

*Капитолина Кокшенева,
литературный критик, г. Москва*

ХЛЕБНАЯ КОРКА

**Об «Избранном» Александра Малиновского
(в 2-х томах. М., «Российский писатель», 2003 г.)**

Александр Малиновский занимает в современной литературе место особое: его сочинения рождены «умом естественным», источником своим имеющим законное стремление сохранить в литературе тот реальный опыт, тот жизненный тип, к которому и сам принадлежит. Кажется, Малиновский считает себя должником — должником ближних своих, земли своей — села Утёвки и самарских волжских просторов. Должником народа своего, из которого он вышел в люди интеллигентом первого поколения. Сегодня именно в таком интеллигенте сохранилась подлинная благодарность к культуре, а сам он — прямое «доказательство» её достоверности, её реальной силы по выделке человека. Александр Малиновский не стал ждать, когда другим (профессиональным писателям) станут интересны его инженеры, технологи, заводские рабочие и директора-промышленники. И правильно сделал — не дождался бы он внимания, не стали они интересны литературе, столь стремительно убегающей от всякой «производственной тематики» как скомпрометированной (часто ими же). С документальной тщательностью и публицистической прямоотой повел Малиновский речь о том, что на самом-то деле оставалось фундаментом нашей жизни: да, все мы только и слышали о реформах экономики, о свободном предпринимательстве, но как реально выживали те, кто становился непосредственным «полигоном» для новых реформ, — о том не говорили. «Черный ящик» потому и написан, чтобы сохранить (и докричаться до будущих историков) тот простой опыт, который переживал так называемый «директорский корпус», тот простой опыт «негероической жизни», который стоил многим из них столь же простой «негероической смерти». Конечно же, принцип переустройства всех оснований нашей жизни работал на разрыв, на потери, на разлад. Но, пожалуй самым ценным в «Черном ящике» является описание такого человеческого типа (в лице директора Стражникова), который не позволил разорвать вре-

мена — не позволил все накопленное поколениями добро посчитать своим, личным, не позволил обанкротить завод, не позволил опуститься своим подчиненным. Его собственная жизнь, его воля стали той скрепой, тем цементирующим звеном, что не дали окончательно разойтись временам. Они, такие директора и совсем не герои, смогли так «согнуть» реформы, оставив лучшее от советского времени, что определенно можно было бы сказать, что именно по этому пути и нужно было идти: модернизировать, сохраняя. Читая Малиновского, я не раз вспоминала Юрия Федоровича Галкина, много лет отдавшему размышлениям о национальном труде, о тягловых условиях, о сущности административного труда и пришедшего в печальном выводу: у нас нет осмысленной концепции общенационального труда. Герои Малиновского, будучи прежде тягловым словом, трудом которого жило и богатело государство, таковыми и остаются, — только условия их нынешней тягловой ноши и совсем запредельно-тяжелы.

Это бойким публицистам и чистеньким «гигиеническим» экономистам можно было безответственно болтать о будущем цветении «рыночной экономики»; это интеллигентам-оппозиционерам можно было сколько угодно громко обругивать правительство, но реальным хозяйственникам нужно было работать с этим правительством, чтобы в результате все тот же оппозиционный интеллигент имел элементарные силы на свою ругань и «критику». В сущности, все большие произведения («Чёрный ящик»¹, «Отклонение», «Совмещение») Александра Малиновского стали своеобразными памятниками такой невозвышенной, будничной и изнурительной борьбе «производственников» против «оскала капитализма» — за человеческий облик нашего бытия, которое вообще стремительно переставало определять сознание. Сознание же самого Малиновского писателя, мне кажется, определялось верным «чтением жизни», живым отношением к живому. Он говорит о такой среде (людей дела, производственников), которая весьма далеко от эстетического благолепия, которая была в первую очередь искалечена и скомкана катком реформаторства, но он увидел и в ней, под её грубой экономической оболочкой, громко бьющееся сердце человека. Он увидел сквозь «хозяйственное», сквозь борьбу за элементарное пропитание, кусок хлеба глубокий идеализм русского человека. Где, в какой цивилизованной стране с рыночной экономикой, рабочие, утягиваю-

¹ Повесть «Чёрный ящик» в последствии вошла в роман «Противостояние» в качестве главы.

щие ремни на животах, придут к директору с предложением урезать зарплату для того, чтобы сохранить завод? Где не будут продавать свой опыт, инженерный талант только за «чечевичную похлебку» легких денег времен варварского обогащения (герой повести «Отклонение»)? Малиновский увидел человеческое достоинство, а значит и красоту, в облике русского мужика, рабочего, инженера. Он подтвердил своими героями, что русским людям скучно прозябать, скучно быть «негосударственными людьми», не иметь большой общей цели. Его герои живут в нужде (и в городе, и в деревне), но нужду внешнюю, лишения можно претерпеть, вот только она в богатейшем государстве оскорбительна для сердца. Это оскорбленное, разоренное сердце есть у многих героев повестей и рассказов, как есть и сильная тяга к преодолению раздора: один бросит своё дело, работу и будет, забыв все, описывать свои переживания, сочиняя то ли дневник-документ, то ли роман, другой уйдет в Церковь, пробиваясь к вере праотцев, третий будет ежедневно, с предельным упорством, склеивать «фрагменты бытия», оставшиеся живыми после катастрофического низвержения с государственных высот, четвертый примется искать всякие «древности» на родной земле, изучать историю. Бессознательная сила привычки к противостоянию разорению — не в генах ли она у русского человека?

За всей простой житейской действительностью, разместившейся в повестях и рассказах Александра Малиновского, стоит и ещё один чрезвычайно интересный опыт — опыт того, как на самом деле менялся простой человек за все эти годы реформ. И мы видим, что путь этот совсем не тот, что описан в нашей лихой прогрессивной журналистике. Это — опыт изменения народной толщи, донной жизни, который, действительно, был практически никому из писателей нашего авангарда попросту неинтересен. Увы, но историю пишут люди образованные. «Образованные люди» эпохи смуты, быстро закрыв (или зарыв) «тоталитарную тему» советской культуры и советской жизни, пустились во все тяжкие свобод: они не описывали реальность, исходя изнутри России, но вертели головами, вынюхивая запах ветра, предпочитая западный. Они не описывали реальных людей, но вбрасывали в жизнь и культуру новую мифологию, зараженную вирусом предательства.

Малиновский как раз и занял позицию «изнутри России», и, если случается его герою покидать пределы родины, то все равно это направление «к Западу от России» — все равно Россия остается на месте, в центре, вместо общепринятого движения «с Запада к России». Изнутри России все то же остается неизменной монетой, что и во

все времена: терпение и труд. Вообще у Малиновского человек по преимуществу крепкий и деятельный — тут, конечно, видна личность автора, но при его верности документальному ходу жизни, с автором хочется согласиться.

Народность героев Малиновского, как и его народной интеллигенции, совершенно невыдуманная и неидеологическая, хотя всеми своими сочинениями он дает нам возможность опираться на эту народность как на идеологию, дает тот «литературный чернозем», без которого дело любого критика национального толка будет шатко. Итак, как народным героем переживалось и проживалось все, что теперь называем революционным переворотом 1991 года? Во-первых, герои «Черного ящика», «Отклонения», «Опыты», «Всех помнишь?», «Про лошадиную биографию...», «Петряева правда» и др. не воспринимали этот «переворот» как «свой», народный, то есть сопровождавшийся подъемом национально-патриотического духа. «Усталую совесть» народа, конечно же, в нем использовали, но сам «катаклизм» никем из героев не воспринимается как происшедший «в пользу русского народа». Никакого самоопределения России не произошло, так как «ножки Буша» (в экономике, культуре) загрузили национальное пространство так плотно, что эта «формулу официальной народности» народом же и была встречена не без должного ехидства. Во-вторых, отказ государственных сил от «государственного народа» был понят сразу — никаких «народных интересов» государство не могло уже представлять, и удержал народ сам себя в рамках народа государственного (я думаю этот феномен самоорганизации, самоудерживания ещё предстоит в будущем изучать). Как отдельный директор завода (то есть ближайшая к народу власть), так и сам народ — по Малиновскому — обнаружили в себе такие запасы внутренней «тягучести», гибкости, пластичности, что и помогли соединить контуры, имеющие разные очертания. Народное «тело» как бы обтесало, округлило чудовищные перекосы «реформ», как морская волна округляет камень. Вот это-то живое в народе, в простом человеке и является для автора настоящим неуничтожимым началом. В-третьих, бороться за «право жить по-своему», то есть национально, может только мыслящий человек. И Малиновский особенно ценит этого мыслящего сельского учителя или простого селянина. Конечно, его герои, как и он сам в борьбе за память об утевском иконописце Григории Журавлёве, не создают никаких «национальных концепций», но просто выявляют действие народного духа в нынешних условиях. А условия эти, всем известные, абсолютно критические — антинациональные. Русский человек

в антинациональных условиях — тема огромная, для нескольких поколений писателей, но и Александр Малиновский внес в неё свою «малую лепту». Он сам, собственной практической деятельностью, совершенно не предполагающей никакого сочинительства, никакого художества показал, как велика в нас как в народе «сила сохраняющая» и «сила обновляющая». Последней, то есть обновляющей силой, стало для автора Православие: он совершенно не собирается высчитывать процентное соотношение «национального» или «православного» в характере нашего народа как это любят делать иные патриоты — но просто пишет о возрождающихся храмах, о нашедших себя в вере людях как о деле совершенно естественном. Силой же сохраняющей, безусловно, для Александра Малиновского, стало детство. Оно прошло, но автор не забыл детского чувства свежести и правильности мира. Все, что детством выращено, то и стало в нем самым крепким основанием характера, самым твердым составом души. Детский цикл рассказов А.Малиновского сродни любому русскому, выросшему в просторном месте: кто забудет сенокосы, с их благословенной усталостью? Кто забудет дедушкин чай сенокосной поры из трав, которые хороши только там, в поле? Разве что-нибудь может вытеснить эту радость молчаливой слаженности в полевой работе? Или манящую загадочность большого мира? или запойное чтение? или родительский дом, так вкусно пахнувший печным дымком и хлебным духом по утрам? У меня, и у тысячи тысяч русских людей все было так же, все было то же, и перечитывать страницы детства всегда сладко. Ведь это абсолютно не важно, что писано-переписано о том сто раз — важно, что наша литература держит эту чистую линию детства, охраняет его границы. Детство у Малиновского в повестях и рассказах остается в человеке «набело». В повести «Под открытым небом» мир повернут к нам со стороны ребенка: тут и честность взрослых по отношению к ребенку, тут и общий семейный труд и деревенские праздники. Герой повести Шурка на все свои вопросы получал ответы в своей семье — и эта особенность деревенского мира сегодня особенно в цене. Где нынешние дети получают ответы на свои вопросы о мире? Увы, но чаще всего за пределами семьи. «Под открытым небом» — это повесть ещё и о том, как мальчики вырастают в сильных мужчин. О том, что отец и дед, мать и бабушка в этом росте определяют практически все. Уже мальчиком Шурка знал отцовскую «силу и уверенность... во всем, что он делал». Уже подростком эта дедовская-отцовская сила «воспринималась как маленькая часть чего-то огромного, правильного, настоящего, что только и имеет право на жизнь». Правильное детство — это

счастье, это фундамент всей жизни. А настоящесть и правильность в герое Малиновского воспитывалась иногда и совсем простыми вещами, например, «сдержанностью за столом»: «...и эта сдержанность за столом и сосредоточенность не от какого-то недопонимания или горя, а от уважения к еде, к хлебу, ко всему тому, что дается нелегко и не вдруг». Потом деревенские пойдут в города, получают образование, станут государственными людьми при ответственных должностях, будут строить большую промышленность большой страны («Зеленый чемодан», «Совмещение»), но сохранят эти деревенские правила — «уважения к тому, что дается нелегко».

У кого было такое детство, тот, конечно же, любит своё земное Отечество совершенно естественно. Быть может в самом ясном виде любовь эта вылилась в стихах Александра Станиславовича, положенных на музыку и ставших песнями. «Сторона родная» — это русская пейзажная лирика. Степь, о границах которой и не помыслишь, церковка по середине, озера со звездами, березки-утешительницы, ветлы — горемычницы, звонкая речка Самарка, тягучий волжский говор, силушка Волги, долгой своей упирающаяся в далекую дальность, матушка, смотрящая в окошко с геранью. Простые слова. Сердечные песни. Простая сила «хлебной корки»:

*Как хлебную корку,
В далеком, роскошном Нью-Йорке,
Я память о нашей Утёвке храню.*

Только и досталось двум-трем поколениям русских людей успеть себя вырастить в личность; поучиться с радостью, властью; поработать с энтузиазмом, осмысленно. Он, Александр Малиновский, из этого поколения. Но в литературу он пришел, когда всякий общественный, публичный и государственный интерес к ней свелся к простейшей задаче — пиару и удовольствию. Пришел, быть может потому, чтобы размыслить о потерях и приобретениях. Пришел со своей «хлебной коркой» — Утёвкой. Такой мерой меряют у нас до сих пор те, кто чувствуют себя «сопричастными ко всему», кто предпочитает «ясные отношения с миром», — то есть писатели с совестью.

*Газета Союза писателей России
«Российский писатель», 2003 г.*

«ЗДЕСЬ МНОГОЕ ЕЩЁ НАДО ПОНЯТЬ...»

Заметки о книге прозы Александра Малиновского «Чёрный ящик»

В своё время кинорежиссер Андрей Тарковский назвал идеалом киноискусства хронику, понимая её как особый способ достоверного запечатления реальности, восхищаясь случайно зафиксированным на пленке диалогом: «Люди разговаривали, не зная, что их записывали. Потом я прослушал запись и подумал: насколько же это гениально «написано» и «сыграно»!» Повесть «Чёрный ящик», давшая название сборнику А. Малиновского и его открывающая, вполне можно назвать литературным эквивалентом того самого феномена, о котором говорил Тарковский. Ибо писатель последовательно выстраивает произведение как своего рода монтаж магнитофонных, стенографических, так сказать, дневников неожиданно и трагически рано ушедшего из жизни талантливого, опытного хозяйственника — директора крупного завода.

В то же время автор не называет его подлинное имя. Он действует под «псевдонимом» Виктора Петровича Стражникова. И этот прием далеко не случаен. А. Малиновский тем самым прямо намекает на определенную обобщенность, некую типичность личности главного героя.

Перед нами разворачиваются картины последнего, как оказалось, года жизни этого явно незаурядного человека, отчаянно и мужественно ведущего часто невыносимо изнуряющую борьбу с обстоятельствами и людьми, чуть ли не ежедневно грозящими разрушить дело, которому он беззаветно предан. И которому служит истово и несомненно талантливо.

Отсюда возникает и органично сплетенная двуплановость повествования: с одной стороны, здесь отчетливо выделен внешнесобытийный ряд, складывающийся из множества фактов и зорко подмеченных «подробностей жизни» (выражение известного прозаика П.Нилина), с другой — его достоверность подчеркивается и усиливается неослабевающим и напряженным движением мысли и борением чувств не только центрального, главного действующего лица.

Необычайны и трогательны заключительные страницы повести, рассказывающие об обнаруженном в бумагах Стражникова небольшом словаре, составленном им по заметкам, сделанным во время задушевных бесед с матерью. Что, кстати, перекликается с известным

«Словарем русского языкового расширения» Александра Солженицына. И в «Черном ящике» А.Малиновский нескрывается и страстно выступает против разрушительных тенденций, коснувшихся в последнее время и вековечной мудрости, и красоты поистине самоцветного народного слова.

Рассказы «Мишкина песня» и «Любка», следующие за «Черным ящиком», — не просто яркие эпизоды послевоенного детства, отмеченные подкупающей точностью деталей и проникновенной поэтичностью. Они пронизаны, я бы сказал, ненавязчивым оптимизмом и неустанным жизнелюбием. Поэтому они и являются удачным, на мой взгляд, «прологом» к документальной повести «На пепелище», название которой как бы контрастирует с описанием многолетних авторских изысканий, связанных с изучением обстоятельств жизни и творчества уникального самодеятельного художника Григория Журавлева, того самого потомственного крестьянина, родившегося без ног и рук и писавшего прекрасные иконы с помощью кистей, зажимаемых зубами.

Поэтому на фоне именно такой трагической судьбы, великой веры и мужества особенно остро звучит важная авторская мысль, завершающая повесть: «Я неверующий. Так куда мне податься? И огромная часть нашего народа неверующая, так вот получилось с нашим обществом. Но я, как и большинство, верю в свой народ, в будущность его. Здесь многое ещё надо понять, но начинается это понимание с бережного, пристального отношения друг к другу. К нашему прошлому и настоящему».

И эта, если можно так выразиться, мемуарно-публицистическая интонация вообще очень ощутима в книге А. Малиновского. Причем авторская рефлексия прежде всего связана с самооценкой, осмыслением писателя как в индивидуальном, так и в собирательном, социокультурном планах. Он словно бы задает нелегкие вопросы самому себе, при этом настойчиво пытаясь выработать этически убедительную, мировоззренчески объемную позицию в мире. В том самом, где непостижимо, калейдоскопически перемешались общественные уклады, традиции, эстетические ценности и нравственные принципы, житейские заботы и проблемы глобально-планетарного и геополитического характера.

Кроме того, в творческих исканиях А. Малиновского ясно ощущается одна из очень серьезных тенденций искусства нашего времени, связанная с давно проявившимся усилением в нем документального начала...

Специфика документализма в современном искусстве, как известно, — прямое следствие воздействия катастрофических собы-

тий середины XX века. Жестокость социальных революций и зверства фашизма, ужасы войн и массовых репрессий настолько страшны и потрясающи, что как бы и не требуют прикосновения руки художника. Ибо жизненная фактология сама по себе несет колоссальный и эмоциональный заряд, и способность смоделировать такие сюжетно-фабульные конструкции, которые не под силу никакой фантазии.

Читатель же, искушенный общением с причудливыми созданиями вольной творческой фантазии, глубоко переживает воздействие откровенной непосредственности документальной стихии.

Многие страницы сборника прозы А. Малиновского «Черный ящик» близки именно этой эмоциональной и смысловой тенденции современного искусства. Но и здесь автору ещё предстоит многое понять и художественно воплотить в дальнейших поисках.

Газета «Известия», 2003 г.

* * *

«...Повесть «Черный ящик» — своеобразный символ сегодняшней конкретики, памятник тем, кто гибнет в пекле экономических преобразований. Сгорает, но не отступает. В характере Стражниково сфокусированы прекрасные черты русского человека. Совестьливый и твердый в своих убеждениях, мягкий, отзывчивый со своими подчиненными, знающий дело и свою цель в «коридорах власти». Образ генерального директора в чем-то, пожалуй, сопряжен с исторической личностью Демидовых, королей «железного дела» на Урале, описанных в трилогии Евгения Федоровича «Каменный пояс».

...Вероятно, он в наше перестроечное время первым в России перенес образы конкретных личностей (Сосковец, Лобов, Гайдар, Каданников) в художественную прозу. Дано это в обстановке жестоких стычек, когда «гендир» из волжского городка выбивал средства для завода, отстаивал право жить по законам экономики, а не по указаниям «сверху».

Можно полагать, эта книга вызовет общественный интерес. Её будут читать не только руководители промышленных предприятий, но и широкая аудитория любителей хорошей словесности...»

*Михаил ТОЛКАЧ,
Заслуженный работник культуры России,
г. Самара, газета «Вестник», 1996 г.*

* * *

«...Удивительно чистую в нравственном отношении повесть самарского писателя Александра Малиновского «Под открытым небом» представил своим читателям журнал «Молодая гвардия» (№ 5-8, 2001). Повесть эта с виду проста и незатейлива, в ней показана жизнь русской глубинки глазами малолетнего героя Шурки, но те бытовые сценки, которые запали в память, можно без преувеличения отнести к энциклопедии исчезающей народной жизни. Творчеству Александра Малиновского вообще присуще это стремление — спасти от забвения уходящий быт русской деревни, запечатлеть красоту её природы, образы удивительных русских людей. Ему повезло родиться в деревне Утёвка, давшей России такого художника-самородка, как Григорий Журавлев, который, родившись без рук и без ног, научился держать кисть зубами и стал замечательным иконописцем. Но и те, кто живет в повести рядом с маленьким Шуркой, являются по-своему тоже неповторимыми людьми — носителями самоценного русского языка, ярчайших индивидуальных характеров, разнообразнейшего мастерства...»

*Николай ПЕРЕЯСЛОВ,
секретарь правления
Союза писателей России,
газета «День литературы», 2001 г.*

* * *

«Что-то такое появилось в современной литературе, чему и названия нет. Какая-то тяга к тому, чтобы услышали, прочитали. Своеобразная исповедальная проза. Выговориться за долгие годы молчания.

В шуме и многоголосице нашего дня, в вихре информации, как ни странно, человек чувствовал себя одиноким, брошенным. Витии вроде бы и талдычили о народном благе, но в их глазах сквозил хитрый прищур рвачей и выжиг. Никому был не нужен человек со своею болью.словно рыба в аквариуме, он смотрел на мерцающий экран телевизора и молчал, молчал, молчал...

И наконец, это молчание стало прерываться. Торопливо записывая свои впечатления, стремясь объяснить с невидимым собеседником, поведать ему личное, затаенное, люди стали доверяться бумаге. Выплескивать в не оформившейся ещё прозе, в поэзии острое, все в иглах проблем и противоречий, содержание.

Нечто подобное, думается, произошло и с Александром Малиновским, автором нескольких книг прозы, поэзии и публицистики. Сам он родом из Самары, из среды, как говорили раньше, технической

интеллигенции. Сейчас директорствует на двух крупнейших химических предприятиях. С его литературным талантом (а к слову его тянуло с ранних лет) в прежние годы он бы издал, скажем, в «Новом мире»; «Записки директора завода «. Проблемная публицистика на злободневную рабочую тему. Такие воспоминания любил отыскивать в редакционном «самолетике» Твардовский. Тут же бы откликнулись в «Лит. России» «аналитики темы» типа Бровмана или Медникова. И на этом автора благополучно бы «закрыли».

Но в случае с Малиновским все серьёзнее и сложнее. Уж, казалось бы, какой интересный материал — будни современного производства. Какие конфликты, характеры, реалии!.. Что там происходит, так сказать, изнутри, после всех этих реформ? Но если человек, даже директор, не разобрался в самом себе, если он не выговорился (ибо некогда, некогда...) о том, что произошло в стране, то и его записки не могут касаться лишь производственных вопросов, он пишет вроде бы обо всем, но прежде всего о себе. Стремится понять себя, определить и защитить своё. «Что надо, чтобы жить с умом? — спрашивал тот же А.Т. Твардовский. И отвечал: — Искать свою планиду. Найти себя в себе самом. И не терять из виду «. Александр Малиновский, казалось бы, давно «нашёл себя», вся жизнь по заводскому гудку, но и в чем-то себя «потерял», ведь ещё в молодости мечтал поступить в Литературный институт. Спустя многие годы он находит себя и в писательстве. Как он сам выводит формулу существования: «Смысл всему придает человек, его искать надо в себе. Разобраться в себе. Поставить цель себе и сделать её смыслом жизни».

Стержнем всего творчества Александра Малиновского стала какая-то одухотворенная, прямо-таки восторженная любовь к родной земле. Много повидавав, автор вновь и вновь возвращается к своему селу Утёвка. Возвращается не только в воспоминаниях о детских счастливых временах. Возвращается весьма деятельно. На несколько лет Александра Малиновского увлекла история своего земляка художника-иконописца Григория Журавлева. Поистине широк русский человек, поубавить бы его! Почти забытый Григорий Журавлев в буквальном смысле от природы был «поубавлен» — не имел ни рук, ни ног. И, несмотря на такой безжалостный выверт судьбы, нашел в себе силы выучиться, сжимая зубами кисть, на прекрасного живописца, чем заслужил великое уважение земляков.

Но и эта судьба — героическая! — в трагедиях XX века забылась. Понимая всю несправедливость такого беспамятства, Александр Малиновский поставил своей целью собрать все, что было возможно, о Журавлеве, записать воспоминания о нем, найти разбросанные по

стране иконы его письма. В результате получилась очерковая книга «Радостная встреча», где в бесхитростной форме сложилась мужественная сага о народном таланте. Малиновский нашёл и фотографию своего героя, восхищаясь достоинством его лица, одухотворенностью взгляда. Всматриваясь в такой лик, не замечаешь и природного уродства человека.

Человек никогда не должен сдаваться — такому девизу следовал и дальше Александр Малиновский. Его размышления и наблюдения над современной жизнью вылились в прозаическую трилогию, полностью вошедшую в книгу «Повести». Здесь и деревенское детство героя, и трудовые будни руководителя крупного завода, и неустроенность личной судьбы. Публицистика перемежается с лирическими воспоминаниями, заграничные впечатления — с горестными раздумьями о путях-дорогах Родины. И вырисовывается портрет нашего современника, задерганного, усталого, разочарованного, но хранящего в глубине души надежду, что «все пройдёт, все перемелется». Только вот когда и как?»

*Вадим ДЕМЕНТЬЕВ,
литературный критик,
газета «Литературная Россия», 2000 г.*

ИЗ ПРЕССЫ

* * *

«Известный самарский писатель Александр Малиновский, пожалуй, из тех современных художников, которые наиболее осознанно и остро ощущают свои поиски как единственно возможной и необходимой путь созидания личности. И все его жизненные и творческие обретения, неотделимые от многочисленных осложнений, странностей и парадоксов, взаимопроникновения и борения различных тенденций, в конечном счете, интегрируют плоды напряженной духовной работы. При этом она замешана на неких глубинных закономерностях творческого поведения, неподвластных диктату сиюминутности, переменчивости обстоятельств внешней среды.

Все это впечатляюще демонстрирует выпущенный в начале 2003 года московским Издательским домом «Российский писатель» двухтомник А. Малиновского «Избранное», включающий наряду с хорошо известными читателям вещами совсем новые произведения —

«Колки мои и перелесья», «Зеленый чемодан», «Совмещение». Последние опубликованы впервые и вместе с повестью «Под открытым небом» составили трилогию.

Собранные в рамках одной большой композиционной структуры, все они представляют своеобразную, художественную целостность, в основании которой густо настоящее на колорите земли Самарской изображение двух материков — аграрной, сельской культуры и городской, урбанистической цивилизации, раскрывающихся в историческом, семейном и философском аспектах...

...Известно, что любое художественное явление в той или иной степени аккумулирует, по крайней мере, некоторые ключевые проблемы своей эпохи. С этой точки зрения проза Александра Малиновского воспринимается, прежде всего, как своего рода вариация тревожного, многоразветвленного вопроса о судьбах России.

События ушедшего века, на излете которого и сформировалась столь полно представшая на страницах двухтомника творческая индивидуальность Малиновского-прозаика, поистине страшны. Быть может, ещё и потому, что экологические и социальные перспективы перекрыли собой не только метафизические, но и физические горизонты жизни на Земле?!

Не обошли стороной все эти вселенские беды-напасти и наше Отечество: уж не подходит ли Русская держава, лишившаяся животворящих и фасцинирующих идей, к черте небытия? Ведь не случайно же выдающийся художник слова и мыслитель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын, имя которого, вероятно, далеко не случайно возникает в двухтомнике А. Малиновского, одну из своих книг конца 90-х годов предостерегающе-набатно озаглавил «Россия в обвале».

А сокровенная внутренняя память отечественной культуры связывает решение «российского вопроса», прежде всего, с обретением «духовной красоты» (П. Флоренский). Современная же наша действительность, многие грани и особенности которой отразились в произведениях А.Малиновского, увы, весьма далека от этого. А в искусстве, формально не руководимом более «единственно верными» идеологическими установками и «незыблемыми» законами творческого метода, к тому же возник ещё и своего рода вакуум оригинальных художественных идей. В атмосфере подчас весьма убедительной имитации внешней свободы и как бы раскрепощения заметно усилилось тяготение к эклектике, сплошь и рядом откровенно заигрывающей с банальностью.

Тем более отрандно, актуально то, что один из ключевых лейтмо-

тивов, несомненно, отмеченного чертами внутренней свободы искусства А. Малиновского, о чем свидетельствует его московский двухтомник, — возвращение и утверждение идеальных, национально-самобытных начал и ценностей, открытых к тому же всем ветрам большого мира, с его многоцветием и многокрасочностью.

...Когда творца спрашивают, какое своё произведение считает лучшим, он обычно отвечает: то, что ещё не появилось. Что ж, судя по всему, это относится и к Александру Малиновскому, ибо двухтомным «Избранным» его творческий путь не заканчивается. Путь далекий и бесконечный, обещающий новые произведения, быть может, совершенно неожиданные и непредсказуемые».

*Анна СОХРИНА,
журналист,
газета «Волжская заря», 2001 г.*

ИЗ ПИСЕМ

* * *

Я — эмигрант. Я — поволжский немец. Я — бывший житель Самарской земли. А теперь, вот уже несколько лет — пенсионер великой Германии. Конечно, судьбе не позавидуешь, и всё-таки я счастлив. Сейчас я как бы живу во второй жизни. А первая? Как будто бы нужно её забыть. Но оказывается, что это очень не просто. Да, не все было гладко, но и хорошего было немало. Великая волжская земля, прекрасные русские люди, праздники и будни русской деревни — ведь все это было в моей жизни, и забыть это нельзя.

Часто бываю в Самаре и, конечно же, местах, где прошла первая жизнь, моё детство, моя молодость. Не помню, как у меня оказалась маленькая серенькая книжка, которую долго не замечал: А.Малиновский «Под открытым небом» (рассказы). Но как только начал читать, не мог оторваться. Повяло чем-то родным и знакомым и имя этому родному — детство и моя первая жизнь.

Шурку полюбил сразу. Читая, мысленно с ним играл в лапту, ходил на рыбалку, танцевал, влюблялся, работал в клубе и просто жил в волжской деревне.

Кто этот Малиновский? Откуда? Какая простота и какая сила творчества! Неужели новый, истинно русский писатель! Замечательные, прекрасные рассказы талантливого и самобытного писателя. Много раз перечитывал некоторые, особенно нравятся «Скворцы».

Сегодня, прочитав в очередной раз несколько рассказов, решил взяться за перо, чтобы сказать А. Малиновскому и Вам большое человеческое спасибо. Я долго не мог прийти в себя от нахлынувших воспоминаний и раздумий. После такого чтения мне кажется, что моя первая жизнь поворачивается ко мне совсем другими красками. Оказывается, есть ещё в России таланты, и это несмотря на то, что происходило и сейчас происходит в России, несмотря на то, что книжные прилавки завалены гангстерской, эротической и бульварной продукцией. Передайте г-ну Малиновскому большую благодарность и пожелания больших творческих успехов.

Какой писательский дар, какая самобытность!

Надеюсь при ближайшем визите в Самару побывать у Вас в редакции, чтобы с Вашей помощью познакомиться с автором и лично поблагодарить его за доставленное огромное удовольствие от прочтения его замечательной книги.

С наилучшими пожеланиями,

*А. BURDT,
3 ноября 1998 г.».*

ВРЕМЯ ТИХОГО ГЕРОИЗМА

До выхода в свет двухтомного собрания сочинений «Избранное» (М., издательство «Российский писатель», 2003 г.) известного самарского писателя Александра Станиславовича Малиновского, читатели газеты «Российский писатель» нередко встречали его мудрые размышления о текущей жизни и мягкую, очень лиричную прозу, в которой авторская боль и согревающая сердце его любовь к людям воспринимались как единое, никогда не расторгимое на составные части чувство. И вот, наступил тот момент, когда коллеги по перу, литературные критики, издатели, друзья Александра Станиславовича собрались в конференц-зале Союза писателей России на вечер, посвященный выходу к читателю «Избранного». Собрались поразмышлять о творчестве А. Малиновского, высказать своё мнение по острейшим проблемам той жизни, которая нашла своё отражение в произведениях писателя...

В обсуждении двухтомника приняли участие Председатель Союза писателей России В. Ганичев, секретари СП России С. Перевезенцев, Н. Переяслов (ведущий вечера), Г. Иванов, Н. Дорошенко (директор издательства «Российский писатель»), писатели К. Кокшенёва, С. Шуртаков, В. Дементьев, Я. Мустафин, Н. Сергованцев, И. Аверьян-Блудилин, А. Громов, академик, член СП России Г. Белов и многие другие.

Обсуждение открыл *В. Ганичев*:

«Дорогие друзья! Конечно, обсуждение книг собратьев, это всегда событие радостное. И особенно приятно, когда на литературном горизонте появляется писатель, литератор, знающий жизнь, глубоко проникающий в сложнейшие механизмы взаимоотношений людей, в хитросплетение причинно-следственных связей явлений и событий — и он может художественно представить эту жизнь своим читателям, коллегам по перу, обществу, опираясь на свои твёрдые жизненные принципы. Будь то христианские заповеди, или они покоятся на каких-то других гуманистических формулах, выстраданных человечеством...

Александр Станиславович Малиновский появился не так давно на нашем литературном горизонте, но приход этот был человека уверенного в себе, в своём назначении на этой земле. И он как-то сразу был признан, хотя не было никакого, как сейчас говорят «пиара», носящего (по рекомендации специалистов) явно выраженный скандальный характер...

Выход этого двухтомника, да и других произведений А. Малиновского, показал, что в нашу русскую литературу пришёл серьёзный реалистический писатель. И не случайно он стал лауреатом премии «Русская повесть», премия тихой, но основательной... Мне бы хотелось пожелать вам, Александр Станиславович, творческого состояния, успехов в это трудное, и в определённом смысле, невыносимое время, особенно для человека, который пытается совместить дело и слово...».

Разговор продолжил *Николай Переяслов*:

«Мы неоднократно размышляли с А. Малиновским один на один о том, как донести, как сделать так, чтобы воплотить в художественном слове очень важные проблемы, с которыми он сталкивается в жизни — завод, химическая промышленность, судьба героя Ковальского, ушедшего из села, мечтающего преобразить край и верящего, что химия способна переделать жизнь, что крестьяне, когда сюда придёт нефтедобыча, заживут хорошо. На этот алтарь Ковальский кладёт свою жизнь, созидает. Жизнь, действительно, на каком-то этапе, преобразуется, но какова цена?.. Преображение села оборачивается его же гибелью, так как тот, кто получал по 300 руб. на буровых, не вернётся на 80 руб. в колхоз... Эти процессы проходили по всей стране, завязывая в один узел высокое и низкое, возвышающее и несущее гибель...

А если ты хочешь отобразить всё это в художественной, литературной материи, то вокруг какой оси развернуть литературный сюжет, внедрить ли детективную основу?.. Или честно рассказывать, как было. В большинстве случаев, Александр Станиславович про-

сто пишет свою жизнь от лица персонажа с другим именем. Наверно, это самый опасный в литературе путь, потому что самый невыигрышный, он не предполагает специально смоделированной завлекаловки, держащей, как сейчас принято, читателя на лихо закрученном сюжетном крючке. Современный читатель отвыкает читать нормальную, повествовательную прозу, рассказывающую о реальной жизни. Здесь необходимо, чтобы читатель, по воззрениям, совпадал с автором. Кстати сказать, такая же проблема, безусловно, стоит и перед другими писателями реалистической русской школы, например, перед Валентином Григорьевичем Распутиным, который, естественно, не будет «на потребу» переключаться на детективы, триллеры — он пишет так, как писал, сохраняя круг своих читателей.

Не знаю, насколько А. Малиновскому помогли наши беседы, но, перечитывая двухтомник, я увидел, что мне самому больше всего нравятся те части повествования, где автор пишет без вымысла, где он не натягивает на повествование «романные» одежды, — где в виде гармонично выстроенного, последовательного ряда миниатюр, встаёт живая жизнь волжского села. С какими-то потрясающе зримыми картинами, пришедшими из памяти детства, из той жизни — ушедшей, почти музейной, и потому остро воспринимаемой...»

Включившаяся в разговор *К. Кокшенёва* отметила, что любое серьёзное обсуждение — это всегда праздник для автора, а представляемый сегодня двухтомник — результат большого этапа творческого пути человека, обладающего уникальным жизненным опытом, что в современной писательской среде встречается не так часто.

«Будучи недавно в Санкт-Петербурге, в редакции нового журнала «Всерусский соборъ», я участвовала в разговоре о современной литературе, и, в частности, зашёл разговор о том, почему у нас сейчас такая не героическая проза, а ведь время требует как раз обратного... Но ведь писатель не пророк, он совершенно не обязан конструировать некую искусственную героику. Что получается из искусственной героики, из искусственной проповеди силы, мы знаем на примере того же Лимонова...»

Мне кажется, что Александр Станиславович Малиновский как раз и принадлежит к героическим писателям, просто время и характер воплощения героического сегодня изменились. Было время, когда в литературе самой жизнью было востребовано появление «тихой лирики». Я считаю, что сейчас пришло время «тихого героизма» — этот тип личности очень много сохранил, удержал и отстоял в нашей культуре. Слава Богу, этот тип личности сформировался во всех областях современной жизни, он явлен и в писательской среде — здесь

сидит немало писателей, которые не соблазнились всякими коммерческими проектами и оказались способными отказаться от денег ради правды и истины, ради своего понимания жизни...

Накопленный бесценный опыт А. Малиновский передаёт через деяния героев своих произведений. В частности, в «Чёрном ящике», его герой, как и сам Малиновский, — волевая, пассионарная личность, с деятельной, активной жизненной позицией. Если бы наши экономисты изучали жизнь по такой литературе, по живым реальным человеческим типам, а не устраивали искусственные социологические опросы (с заранее заказанным результатом), то мы бы, наверно, пришли к выводам, что Россия, действительно, существует только благодаря тому, что на всех уровнях, пусть в небольших количествах, но остаются люди охранительного типа. Люди, для которых чувство любви к Родине предельно осознано и закреплено в реальных делах. К слову сказать, как я понимаю, Александр Станиславович, действительно, с одной стороны, сумел реально сохранить заводы нефтехимической отрасли, а с другой, эта любовь осмыслена и воплощена в его произведениях...

Что ещё очень важно и ценно в обсуждаемых книгах для нашей культуры, для современной ситуации в литературе, а я отдельные отрывки из них включила бы даже в школьную программу (имея немалый опыт преподавания, могу утверждать, что современное «перестроечное» поколение крайне тяжело чем-либо заинтересовать, вопросы задаются такого типа «Зачем нам нужен Толстой?», с требованиями перечислить по пунктам) — это тема детства. В «Под открытым небом» с героем-подростком. «Тропинки детства» — целый цикл рассказов... Конечно, городской ребёнок лишён этой чудесной стороны воспитания — воспитания живой, первозданной природой и свободной жизнью в ней, когда в какой-то ситуации нужно совершить отчаянный поступок, в какой-то — живое пожалеть, в третьей ситуации ты видишь, как живое растёт на твоих глазах и требует от тебя заботы, защиты. Сегодня у многих детей нет такого нормального детства. И в этом смысле, детская часть двухтомника мне кажется чрезвычайно ценной, — как начальный этап формирования личности...

О чём ещё я думала, читая «производственные» эпопеи А. Малиновского. Есть такой писатель Юрий Галкин, который много лет бьётся над литературно-философско-публицистически-экономическим трактатом, посвященным концепции национального труда в историческом разрезе, теме реального участия разных сословий в дореволюционной России и в советский период в производстве национального продукта, и, вообще, есть ли у нас концепция национального труда.

Ю. Галкин пришёл к выводу, что эта концепция в нашей культуре не сложилась, так как очень невелики результаты нашей политэкономической мысли. В писательской среде, кому он только ни давал читать свой трактат, Галкина не поняли (и отказались печатать), публицистам же кажется он очень литературным... А вот книги Александра Станиславовича (жаль, что Ю. Галкина сейчас нет в Москве) могли бы быть очень полезными для Ю. Галкина, в том числе и потому, что, в отличие от него, А. Малиновский услышан в профессиональной литературной среде...»

«Действительно, — продолжил обозначенную К. Кокшенёвой тему *Н. Переяслов*, — для формирования концепции национального труда очень важно наличие оси координат, всё должно куда-то проецироваться. Почему в произведениях Малиновского существует ощущение непрерывности созидательного процесса? Вот эти фрагменты, рассказы, яркие воспоминания возникающие в памяти героев из «Чёрного ящика» и «Отклонения», подсознательное обращение к сценам из детской жизни, это не просто самые лучшие, самые интересные рассказы на детскую тему — это тот оселок, та матрица, на которую он всё время проецирует события сегодняшней жизни, с чем он сравнивает ту окружающую его реальность, сравнивает с той чистотой, с той нравственной глубиной, с той радостью созидания, которые заложены у него в эту матрицу в детстве, когда конструирование любого велосипеда, колеса, карусели — нечто вселенски важное, служащее всем, приносящее всем радость. Ведь если эту память в человеке уничтожить, то незачем восстанавливать заводы, лучше распродать их на металлолом, нахапать и уехать на Канары. А поскольку эта память держит, заставляет проецировать собственные деяния на то, что делали деды, односельчане... то и возникает поднимающееся из глубин подсознания и обращающееся к реальному сознанию чувство стыда — стыдно делать хуже, мучительно стыдно уже от осознания самой возможности совершить подлый поступок.

Ведь почему меняется Россия, почему меняется мир? — осуществляется цивилизационного масштаба попытка лишить всех своих корней, стирают из памяти картины, напоминающие о совести, картины, которые мешают распродавать за гроши наши земли, недра, флот и т.д. В этой стране делай всё, что хочешь, лишь бы тебе было хорошо...

В противостоянии реализации этого глобального замысла — и заключается глубинная нравственная суть лучших произведений Александра Малиновского, призывающих человека оставаться Человеком».

«Я считаю, что само понятие изменился мир, неточно, — вступил в разговор С. Шуртаков, — мы живём в другом обществе, в другом государстве. Поймите, перестройка — это кодовое название разгрома нашего государства. Теперь это уже абсолютно ясно. Вспомните недавнее прошлое. Коллективизация нанесла страшный удар по русской деревне, по быту, по всему укладу, но здесь есть одно но — коллективизм по своей сути совпал с понятием коллективного труда, свойственным русской общине, т.е. в обоих случаях был труд созидательный. И поэтому, не будь у нас колхозов, неизвестно, выстояли бы мы в Отечественной войне...

А. Малиновский, в определённой степени, продолжает и деревенскую тему в литературе, а, между прочим, деревенская литература (само определение «деревенская» довольно условно) — это высший взлет нашей послевоенной прозы, это литература, которую читал весь мир — Абрамов, Белов, Распутин... И ставили они проблемы, которые интересовали весь мир...

В произведениях А. Малиновского я бы хотел отметить удивительную ёмкость, плотность письма, особенно в деревенских рассказах. Здесь можно открыть на любой странице — и интересно. Сразу встаёт перед глазами картина...»

«Беда России на протяжении вот уже 300 лет, — вступил в дискуссию С. *Перевезенцев*, — состояла в том, что в правящем её слое всё больше и больше разрасталась прослойка, которая была воспитана либо в чужой культуре, либо вообще никак не воспитана. То есть, жила каким-то исключительно эгоистическим бытием. Всё больше появлялось руководителей разных уровней, начиная с высших партийных и государственных, и кончая средними и высшими хозяйственными должностями, для которых традиционная русская культура, да и вообще любые традиции были чужды...

Собственно, почему я начал об этом говорить — Александр Станиславович Малиновский, по своей карьерной судьбе — учёный, изобретатель, руководитель производства. В подчинении большое количество людей... Забот выше крыши. И, казалось бы, какое там ещё дело до литературы. Ан, нет, литература — не только чтение, но и сочинительство — сердечная потребность этого человека. Для меня А. Малиновский не просто руководитель, который в свободное от работы время создаёт ещё и литературные произведения — романы, повести, рассказы... Кстати, я думаю, в свободное от работы время, если к этому относиться как к хобби, написать два тома, причём хорошей, добротной, настоящей прозы, невозможно. То есть, это глубинная потребность души... И есть у меня такое ощущение, что наметилась

пусть робкая, но тенденция как бы приобщения, вrastания в культуру и руководителей разных уровней...

Если рассматривать творчество Александра Станиславовича, то мы увидим, как сначала из-под его пера выходили художественные повести, зачастую связанные с реальными событиями. Но тут появилась «Радостная встреча» (опубликованная в «Роман-журнале XXI век»), из которой читатель увидел, что А. Малиновский не просто вошёл в русскую литературную традицию, но он пошёл и дальше, в глубь — начал искать её духовные основы, тепло и сердечно воспринял нашу православную традицию. Он не только написал повесть о талантливом художнике Журавлёве, но ещё и начал собирать эти иконы, помогать... Человек, создатель, писатель А. Малиновский, ищет в своём сердце истину, ищет те основания, с которых сдвинуть личность человеческую уже невозможно...

Г. Белов:

Я сейчас взял и открыл книгу А. Малиновского. Это 409 страница. «Мамино окошко». Прочитал — и, действительно, из этого окошка излучается в пространство свет такой силы великой... — что ясно, какого масштаба художник пришёл на службу Духа. Уже этого мне достаточно, чтобы сказать: «Читайте Александра Малиновского. Это настоящая русская литература! Она обращена к родовой Памяти»...

Но ведь именно Память питает своими живыми токами Душу, Душу народа. Память — основа её неразрушения. Ибо Память — индивидуальная, генетическая, национальная — архетип народа, это есть та самая концентрированная сила, которая обеспечивает его движение во вселенной... Россия уникальна тем, что именно в ней реализован удивительный Божественный замысел — создана не имеющая аналогов великая Общность. Посмотрите, в природе муравей вне своей общности не выживает. То же самое и пчела. И в истории человечества — только в совместном труде мысли, в духовной сопричастности всех ко всем и рождается настоящее Слово. Модель такого мироустройства и несёт в себе Россия. Отсюда и её великая литература. Посмотрите на Европу, что произошло с западным архетипом, отработавшим механизм индивидуального выживания, схему механической Псевдообщности — полный коллапс искусства, пустота, поэзии просто не существует... А духовная разьединённость великого искусства, великой литературы не рождает...»

«Я долго пытался сформулировать, — сказал издатель двухтомника Н. Дорошенко, — чего же мне всё-таки не хватало в прозе Александра Малиновского, а вот сейчас понял, что не хватало мне в прозе Малиновского того, чего не хватает и в жизни. Да, Ковальский мог бы быть

и другим героем, но — где те Ковальские, о которых мы мечтаем? Они такие, какие есть. Вот, например, по ТВ идут отечественные сериалы, где наша милиция доблестно ловит преступников, но в жизни-то этого нет. И поэтому все наши добрые пожелания, советы должны быть, в общем-то, обращены не к Малиновскому, а к нашей реальности...

А с другой стороны, за этой прозой открывается какая-то сказочная русская глубина, русская духовная жизнь. Причём, в самых простых людях — крестьянах, в людях, которые сами себе не отдают отчёта в том, что они являются такими прекрасными, такими вочеловеченными людьми. Это тоже поражает. И я так думаю: если, допустим, от России ничего не останется, то потомки наши будут искать некий «чёрный ящик», чтобы понять: что же это были за люди? И вот книги А. Малиновского могут дать нашим потомкам наиболее полное представление о характере русского человека, о его собственном опыте и о чудесно отразившейся в нем небесной красоте...

Да, можно сказать, что герои А. Малиновского в какой-то степени представляют Русь уходящую. Но, с другой стороны, ничего не исчезает. Каждый новый век будет заново открывать для себя ту духовную высоту, на которую был способен подняться русский человек...

И вот когда будут читать книги А. Малиновского, то обнаружат, что человек, в общем-то, не такая уж и скотина. Главный герой А. Малиновского — это вочеловеченный человек.

Н. Сергованцев:

«...Лучшие произведения А. Малиновского — по самой высокой оценочной шкале — воссоздают атмосферу, в которой решались гигантские задачи. Вот мы посмеивались над формулой «советская власть плюс химизация...». А ведь это была задача огромнейшего масштаба — сделать невысказанный рывок, поднять химическую отрасль. И герой Малиновского, вместе со всем народом, этот рывок совершил...

Я думаю, сейчас существует немало институтов, изучающих геополитическую технологию разрушения Советского государства (в Китае есть точно), но я уверен, что в не меньшей степени они будут интересоваться и накопленным этим государством опытом (и положительным и отрицательным). Это абсолютно необходимо для чёткого понимания путей выхода из страшных тупиков, куда сейчас загнали не только Россию. В этом смысле и герой А. Малиновского, к примеру, повести «Совмещение», собственно, и вся повесть, является неоценимой и новаторской, так как представляет собой живое свидетельство глобального исторического процесса — такие книги потомки будут изучать. Это стратегическая задача, которую Александр Малиновский решил методом реалистического искусства...

И второе, частное, но не менее важное. В книгах нашего автора поднимается всё время вопрос о двойственности в области национальной самоидентификации — отец — поляк, а мать — русская. Этот мотив время от времени возникает, и, совершенно очевидно, волнует и лирического героя, и автора... Мои же рассуждения по этому вопросу очень просты — от подобного «совмещения» двух звуковых генетических волн у нас родились, к примеру, Пушкин и Лермонтов — великие русские национальные поэты. Этот процесс во всём мире сейчас с колоссальной силой нарастает. Он принесёт как обретения нашей культуре и национальной духовной жизни (из уст героя Малиновского даже вырывается крик: «Я — русский!» — утверждая главное в себе), так и, в отдельных случаях, потери — две мелодии могут диссонировать, нанося при этом, быть может, значительный урон нашей духовной жизни и культуре.

Все эти мысли родились у меня от чтения двухтомника Александра Малиновского. Я сердечно поздравляю нашего автора с победой. Кроме того, хочу высказать слова поздравления в адрес нашего издательства «Российский писатель». Это издательство молодое, но оно уже заявило себя, как издательство большой, серьёзной художественной литературы».

И. Аверьян-Блудилин подчеркнул сам факт неслучайности того, что в процессе обсуждения литературного творчества Александра Малиновского были затронуты и национальные и государственные проблемы, проблемы промышленности и сельского хозяйства... — это говорит о ярком и самобытном таланте писателя:

«Писатель на Руси — это всегда гражданин самой высокой пробы. Недавно я беседовал со своими давними знакомыми, немецкими учёными-профессорами. Говорили о современности, о том, как нас воспринимает Европа и наоборот. То, что они мне сказали, удивило меня: «У вас в России произошла странная вещь. Когда существовал Советский Союз, мы (имеется в виду думающая прослойка) смотрели на него, как на возможный ориентир нашего развития. Когда с такой помпой и грохотом вместо СССР, вместо коммунистической диктатуры, возникла новая Россия, это было воспринято Европой с надеждой, что теперь будут убраны все мешающие прогрессу препятствия, то вы, к сожалению, пошли по нашему пути». Когда я спросил, чем же им не нравится их путь, то получил такое разъяснение: «Европейское общество — общество слепых, управляемое слепым поводырем. Причём, мы идём уже так лет тридцать — с чётким осознанием, что идём к обрыву. А на Россию мы смотрели с надеждой. Но она, вместо того, чтобы отвести нас от этого пути, с великим удовольствием присоединилась к нашей группе слепых».

А заговорил я об этом потому, что как раз в это время мне попала повесть А.Малиновского «Под открытым небом», где в очень подкупающей и импонирующей мне мозаичной манере (повесть-мозаика) рассказано о том, как в детстве русский человек прислонялся и общался к национальной идее. Удивительно тёплое повествование. Причём выполнено предельно скупыми штрихами. Эта творческая манера заслуживает, на мой взгляд, пристального изучения всеми пишущими, так как с помощью этого «скупого» метода автор достигает результата — когда читаешь, не оторвёшься. И вопрос встаёт такой: как этот чистый мальчик, чистый отрок отреагирует на наше всеобщее современное движение к обрыву. Ответа на этот вопрос в повести нет. Да и вообще нет пока ответа на вопрос, как человек из чистого отроческого состояния превращается в среднестатистического гражданина страны, идущей в никуда. Это трагедия нашего времени. И мне хочется пожелать Александру Станиславовичу, чтобы в его последующих произведениях читатель нашёл тропку, уводящую всех от обрыва... А ведь в этом поиске — и есть вся суть творчества А. Малиновского».

В. Дементьев:

«К. Кокшенёва говорила о национальной идее труда в обсуждаемых произведениях ... Так вот, не только А. Малиновский отдувается за всех, пытаясь построить своё видение этой проблемы, скептикам или просто желающим немного разобраться в этом, действительно, не простом вопросе, я порекомендовал бы почитать монографию О. Платонова «Русский труд», где он впервые, в 1990 г., совершил попытку обобщить значительный исторический материал. Книга Василия Ивановича Белова «Лад» — не только об эстетике народной жизни, но и о труде...

Так вот, национальная идея труда у А. Малиновского опирается, прежде всего, на идею малой Родины. Не было бы его Утёвки, не было бы и масштаба его последующих деяний, не смог бы он понять удивительный глубинный смысл души народной. Вообще, сама тема малой Родины обширно представлена в нашей литературе, но только в образах, а в осмыслении — практически ничего и нет. Я писал рецензию на повесть об Утёвке, о Журавлёве — и действительно поражает судьба этого человека...

И вот что я подумал. Когда мы говорим хорошие, правильные слова о теме труда, о том, что Малиновский заводы сохранил — мы не тому человеку говорим. По одной простой причине: не нам его учить. Сам ведь писательский союз не смог сохранить свою собственность. Тут, скорее всего, он нас может просветить...»

В возникшей острой полемике с В. Дементьевым об отношении писателей к процессам, протекающим в народном хозяйстве, в том числе, к химизации, к повороту северных рек были высказаны ряд полярных мнений. Что очень порадовало самого А. Малиновского.

«Мне вообще-то трудно сейчас говорить, — обратился к собравшимся со своим ответным словом Александр Малиновский, — было сказано очень много. Это тоже испытание — два часа выслушивать, в основном, позитивную оценку собственного творчества. Но все же мне очень важно было услышать вашу строгую, профессиональную оценку моей работы. И, честно скажу, я очень переживал за своих героев, потому что они — часть моей жизни.

Кто-то здесь очень верно сказал, что пройдёт время, и начнут описывать, как это было, по крупицам восстанавливать и... много врать, потому что фактов не останется, людей не останется. И меня тоже однажды вдруг осенило: как же так, ведь я же всё-таки могу писать, все эти события происходят на моих глазах. И люди, которые мне дороги, живут рядом со мной, трудятся... А пространство для меня, как писателя, было огромным — мой завод и моя жизнь. Максимальная задача, которую перед собой я поставил — не соврать! Так появился «Чёрный ящик», а потом и остальные вещи.

*Записал Александр ДОРИН,
газета «Российский писатель», 2003 г.*

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

*Алексей Молько,
г. Самара*

«УМРУ — ОТ ЛЮБВИ К ЭТОЙ ЖИЗНИ»

Итак, попытаемся более пристально взглянуть в некоторые стихотворные произведения Александра Малиновского, опубликованные с 1992 года, дабы как можно лучше понять смысл, пафос и, главное, душевные порывы, часто называемые вдохновением, водившие пером поэта. Сам же он избегает таких возвышенных понятий и считает, что «много строк сгубил оттого, что не записал их, а ещё больше оттого, что сразу записал, и потом все — прекратилась музыка. Как тут быть? В принципе стихотворение можно написать в любой момент, но поэзия неуллова. Почти».

1

В лирической поэзии А. Малиновского как бы преодолевается издавна существующее в художественно-культурном сознании несогласие противоположных тенденций: с одной стороны, уход от всего земного, материально-предметного, размежевание реального и идеального, с другой — стремление к их гармоничному слиянию.

Эти антиномичные начала находят в его стихотворном творчестве своеобразное примирение, словно переплетаясь и синтезируясь в синкретическом и непротиворечивом художественном мироощущении. Хотя оно и далеко от «благолепия»: лирический субъект отнюдь не закрывает глаза на все подчас болезненные и мучительные диссонансы сущего.

Лирическое «Я» поэта признает реальность высшего, сверхчувственного порядка, осознает, подчас весьма остро и пронзительно, преходящий характер своего пребывания в земных пределах, тянется душой к иномирным сферам:

*Мне и раньше приходилось
Ни о чем поплакать наяву
А сегодня мне приснилось,
Что на небе синем я живу.
Что меня к себе позвали боги,
И кругом такая благодать.
Не могу я без степной дороги,
Без тебя, моя седая мать.*

Но и в самой эмпирической действительности А. Малиновский обнаруживает черты некоего идеального начала:

*Пусть светло на небе и привольно,
Но душа моя сейчас кричит:
Без земного здесь ей очень больно,
Без земного маюсь я в ночи.*

К этому стихотворению примыкает другое:

*Суров мой быт. В нем горечи немало.
Но разве ж в горечи вся суть ?
Досталось сердцу средь любви-обвала,
Но ты внимательнее будь.*

*И ты увидишь будто внове
Сквозь недосказ и суету,
Во вздохе каждом, в каждом слове
И боль, и дерзкую мечту.*

«Мир гармонии есть совершенное творение Божье, — утверждал Н. Лосский, — состоящий из множества существ, из которых каждое по-своему живет в Боге и для Бога, и, в силу такого единства целого, все они живут также друг в друге и друг для друга. Это подлинное царство Божье. Множественность в этом царстве обусловлена только идеальными отличиями одного члена от другого (...) без всякой вражды одних существ к другим. Всякая часть этого царства существует для целого, и, наоборот, целое существует для всякой части (...) вследствие полного взаимопроникновения всего всем. Здесь исчезает различие между частью и целым: всякая часть здесь есть целое».

В связи с этим интересно сопоставить две редакции, видоизменения текста стихотворения «Когда замерзшая дубрава...». В сборнике 1994 года «Я любить не устану» стихотворение публикуется под названием «Лист»:

*Когда замерзшая дубрава
Стряхнула лист последний свой,
Стоял ноябрь, и берег правый
Покрыт был коркой ледяной.*

*А левый берег речки нашей
Распахан был, и у села —
На краешке темневшей пашни
Стояла старая ветла.*

*И лист, на тонкий лед упавший,
Скользнул к задумчивой ветле
И там притих у сизой пашни,
Припав доверчиво к земле.*

А в сборнике 2000 года «Не так живем» не только уходит «заземленное» название, но и заключительная строфа приобретает иное значение:

*И лист, на тонкий лед упавший,
Скользнул к задумчивой ветле —
И стих, припав к замерзшей пашне,
Как странник ко Святой Земле...*

Что же стоит за этими отнюдь не просто редакционно-стилистическими, так сказать, а концептуально-смысловыми метаморфозами поэтического текста? Здесь отражаются как духовная эволюция, движение поэта, так, очевидно, и сосуществующие параллельно изменения, ипостаси его художественного мироощущения.

В первом варианте чувствуется присутствие антропоцентризма. Воплощенный в фигуре автора человек, как субъект эстетического переживания, созерцания красоты природы и передачи непосредственного впечатления от этого созерцания, является некоей божественной силой, творящей представление о красоте. Он и сам вмещает в своей душе отблески этой вечной красоты, стремясь к совершенствованию самого себя по её образу и подобию. (В некоторых других стихотворениях А. Малиновского мотив этот звучит ещё более отчетливо.)

Во втором варианте произведения через созерцание красоты природы автор пытается найти путь к Богу. Зная, разумеется, что природа — посредник, мост между человеком и высшим разумом, через неё Бог являет своё величие. Лирическое «Я» освобождается от всего порочного и злого, устремляясь душой к светлому идеалу. Ведь Бог — вечный, единый, не уходящий и в час «захода всех светил», незримо присутствует в каждом проявлении человеческой жизни.

И сорванный непогодой в то почти неуловимое мгновение, когда земля окончательно погружается в зимний сон, листок — теперь уже не просто пейзажный штрих, мелкая деталь, частная подробность. Это личный знак — флаг чувств и мыслей лирического «Я», и трепещущий на ветру знак — дитя природы, и знак свыше — знак Бога. Лист здесь — универсальный «иероглиф», несущий в себе целый ряд значений. Постигание и познание бытия осуществляется тут не просто через созерцание, думание и говорение. Оно предполагает и теснейшее взаимодействие человека и мира, субъекта (понимаемого не только в аспекте чистой духовности, но и как единое нераздельное телесно-духовный феномен) и объекта. Оно эмоционально, в какой-то степени экстаично; это всегда переход некой границы, преобразование одного качества в другое, то, что Уолт Уитмен считал в своё время «Химией жизни».

Все это в чем-то весьма важно, принципиальном созвучно древним мифологическим представлениям, в каких-то иных обличьях продолжающих существовать среди нас. В них мироздание предстаёт огромным связным универсумом, в котором все земное и космическое, живое и неживое пребывает в состоянии внутренней согласованности и поразительной целостности. Структура единства и многообразия, феномены порядка и хаоса, спонтанно фиксируемые в первобытном мифологическом сознании, являются своего рода пропедевтикой к той гармонии мира, внутреннего согласия человеческой жизни, образы которых складываются позднее, уже в классической, так сказать, мифологии, столь хорошо знакомой по искусству

и эстетике античности. И потому на вопрос о том, что для них прекраснее всего, следует, быть может, ответить: прекраснее всего живое и одушевленное тело космоса, который организуется универсальной безличной силой, и организуется ею в предельно обобщенном виде. Прекраснее всего космос видимого нами звездного неба и Земли, покоящейся в центре, со всеми свойственными этому космосу правильными и вечными закономерностями, круговоротом субстанций и веществ в природе, а вместе с тем и с таким же круговоротом душ. Эта универсальная космология древности отразила ту стадию развития цивилизации, «когда человеческое сознание чувствовало себя в таком текучем взаимопроникновении, радостном единстве с природой — и легко, не мучаясь и рефлектируя, покоряло мир своей проснувшейся духовностью (...)».

И все это у А.Малиновского сходится в одном слове-определении — «Вечность», которое становится названием проникнутого философским размышлением стихотворения:

*Мы шли к селу. Далекий скрип тележный
Мне душу бередил. А на границе
Большого леса и небес — неспешно
Садилось солнце огненной птицей.*

*Смеркалось, когда дороги млечной
Над нами засветилась полоса.
И показалось мне, что мы с тобою вечны,
Как эта даль и эти небеса...*

Здесь проступает и такой отличительный характерный признак мифосознания, как стремление пронизать все элементы картины мироздания единой волей. Встречаемся мы тут и с примечательным параллелизмом «малой» и «большой» вселенных, микро— и макрокосмоса. Более того, вся художественная структура текста стихотворения проникнута им.

Глубоко переживаемое в мифосознании и воплощаемое в искусстве единство мироздания должно быть строго организовано и рационально упорядочено. Вместе с тем при таком способе мышления творческое начало преимущественно проявляется в интуитивно-чувственной сфере: разум лишь воспроизводит универсальный порядок мироздания, чувство же именно творит высокую радость его постижения. Погруженное в подчас очень бурную эмоциональную стихию единство всех представлений порождает и такое свойство мифосознания, как специфическая парадоксальность, алогичность, даже иррациональность. «Мифологическое мышление игнорирует реаль-

ные причинные связи», оно нет-нет, да сводит вместе «самые разнообразные предметы и явления, часто никак не связанные в реальной действительности. Всеобщее «оборотничество» — существенная черта мифосознания».

*Под открытым синим небом
Ем арбуз я с черным хлебом.
Конь буланый у меня —
Не могу я без коня.*

*И без этого вот неба,
Без арбуза с черным хлебом...
Мне Отчизна — даль без края.
Для чего же мне — другая?..*

В этом стихотворении, очевидно, не случайно открывающем один из поэтических сборников А. Малиновского, действительно есть нечто от того самого «оборотничества», живо напоминающего некоторые идеи и образы народной карнавальной культуры. Тут налицо и парадоксальность, алогизм. Все перемешано — арбуз, хлеб, конь, небо... Но все эти очень разные, я бы сказал, разнопорядковые вещи каким-то образом, тем не менее, сопоставлены, слиты в гармоничное целое, вписаны в координаты безграничной пространственной горизонтали и безмерной пространственной вертикали, как бы уходящих в бесконечность.

Поэтому-то так глубоко и искренне переживает лирический субъект автора любое нарушение этой сакральной целостности, выпадение, гибель даже самой малой частички её. И в стихотворении «Озеро Песчаное», обращаясь к брату Петру, с болью вспоминает:

*(...)Но с какою тоской мы смотрели
(Погорельцами в кучу золы),
Как из ближних лесничеств артели
Деловито валили стволы.*

*И до ночи кричали сороки
Над рыжеющим голым бугром.
И казался лесничий нестрогий
С этих пор нашим злейшим врагом...*

*...Приезжай! Здесь у светлой водицы
Нынче снова шумит молодняк.
Посидим, похлебаем ушницы...
Жаль лесничего. Умер на днях.*

А вот весьма показательная перекличка. В стихотворении без названия, первая строка которого — «Зимою прошлою здесь дуб спилили», возникает похожий, очень похожий мотив.

Композиционно это стихотворение делится на три части. Первая строфа — грусть, даже какая-то скорбь по поводу уничтоженного дерева:

*Зимою прошлою здесь дуб спилили.
В лесу большущем — экая беда.
Едва спилили — позабыли.
Но мне он помнится всегда.*

Далее, во второй строфе, явно становящейся структурным центром стихотворного текста, лирический герой вдруг обнаруживает на месте загубленного патриарха-дуба совсем молодое, едва проклюнувшееся деревце:

*...Бреду заросшею тропинкой.
И вижу, подойдя к бугру,
Дубочек тонкий паутинкой
Звенит, качаясь на ветру!*

И вот, наконец, третья строфа, резко контрастирующая с началом стихотворения:

*И так светло в душе вдруг стало,
Как если бы взошла звезда.
И сердце так затрепетало,
Как никогда, как никогда!*

В этом четверостишии нельзя, просто невозможно не заметить прямо-таки бьющего в глаза светового и цветового колорита, вдруг возникающего сильного освещения, никак не мотивированного вроде бы объективными, неустраняемыми и предзаданными свойствами той частицы природы, того самого лесного уголка, где пребывает лирический герой.

Что ж, в данном случае явно изменяется соотношение субъективных и объективных моментов в световом и цветовом видении лирического «Я», что придает какое-то особое смысловое звучание и стилевую окраску художественной целостности произведения. В заключительных строчках стихотворения не просто возникают и меняются какие-то оттенки субъективного восприятия естественных, объективно существующих цветов и световых потоков. Нет, происходит быстрый и радикальный сдвиг к какому-то совершенно необычному, особому, вроде как ситуативно немотивированному загадочному освещению, источник которого — то ли внутри лирического героя, то ли — в каких-то горних высотах.

И это не случайно, ибо, увидев тот самый «дубочек тонкий», лирический герой испытывает очарование и даже потрясение, быть может, проистекающие от чудесного восстановления нарушенной было гармонии и цельности сущего. Происходит интуитивное схватывание, переживание и в то же время своеобразное осмысление перво-вместимости мировой красоты. И благодаря этому волшебному, нездешнему свету первородство природы предстает в изначальном значении прекрасного. Перефразируя Андрея Битова, можно сказать, что в стихотворении видимый пейзаж озаряется невидимым светом и окрашивается в невидимый цвет, обозначая некую явленность не-явленного восстановления гармонии, столь важной в духовном плане для лирического героя.

Это свидетельствует и о том, что А.Малиновскому близко представление о миссии художника-творца, из бесформенного хаоса выстраивающего нечто стройное, и что важную созидающую роль в этом деянии играет свет; хаос и мрак часто преодолеваются у поэта чудодейственным явлением света.

*Не был здесь полгода —
Мчал на поездах.
На Самарке в воду
Падают звезда.
(.....)
При любой погоде
Твой я навсегда...
На Самарке в воду
Падают звезда.*

При этом идея торжества ясности над мировым беспорядком воплощается в самых разных образах, включающих светоносное начало. Будь то внезапно блеснувший в сумраке солнечный луч:

*Брожу один, один в осеннем поле.
Рассветный луч прервал тумана пелену.*

Или же «излучение» близкого, дорогого человека:

*Ты светлая. Я не привыкну
К твоим губам, зачем желать
Иного счастья? Без тебя я сникну,
Не в силах сущее понять.*

*Любить доступное. Я мудрость эту
Не сразу принял. Но сейчас
Иным наполнено все светом
И все мне будто в первый раз.*

Ну и, конечно, примечательно частое обращение А. Малиновского к образам неба. Его лирика прямо-таки насыщена разными описаниями небесного свода и впечатлениями от его красоты. В любых состояниях — будь то закат или рассвет, погожий денек или пасмурная непогода. Но более всего его привлекают лазурные, безоблачные небеса. Вспомним уже известное нам стихотворение «Под открытым синим небом» и приведем другое — «Золотистый зной»:

*Как много женственности в лете,
В спокойных летних вечерах,
В туманной дымке на рассвете,
В ржаных развеженных полях.*

*Нет в небесах ни облачка, ни тени,
Лишь золотистый зной течет,
Когда нас лето в плен берет
Раскованностью мыслей и движений.*

*Желанная, люблю я лето.
У вас с ним общие черты.
В нем та же нежность, бездна света.
И нет весенней маеты.*

Здесь пейзажная картинка залита золотым солнечным светом, усиливающим впечатление красоты мира, выступающего одним из источников прекрасного в природе (В.Соловьев). И, пожалуй, его отблеск является важнейшей смысловой и, конечно же, собственно колористической доминантой всей поэзии А.Малиновского.

Пронизана, окрашена этим светом и, пожалуй, одна из осевых, важнейших её тем — тема Родины, образное воплощение которой у него достаточно многогранно...

2

Родина для Малиновского — это прежде всего природа. Вглядываясь вместе с его лирическим субъектом в разворачивающиеся пейзажи, заражаясь его нескрываемым волнением, невольно отмечаешь, что в них часто фиксируются мимолетные мгновения жизни и природы. Поэт словно останавливает их на лету, как в «Кукушке»:

*Осенью почти ещё не тронутый
Дуб притихший загрустил над омутом.*

*А на дубе том, на его макушке
Примостилась молча поздняя кукушка.*

*Куковать не смея, смотрит в тишине
На листву холодную на речной волне.*

*Но ещё минута, и под звук дуплета
Улетит кукушка — дар роскошный лета.*

Но всё-таки чаще всего на первый план, пожалуй, выступает нечто типическое, непреходящее, неизменное в природе и облике родного края. Поэтому нередко у Малиновского панорамные картины, рисующие природу в её спокойном величии. В стихотворении с явно программным названием «Жизнь» лирический герой как бы с высоты оглядывает волжские просторы, откуда открывается беспредельная широта, синтезирующая самые разнообразные эмоционально-смысловые измерения:

*Какая синева над Волгою.
И как покойны облака.
Мне бы жизнь прожить хотелось долгую,
Как эта древняя река.
Чтоб встречи были бы сердечные,
Чтоб песнь была в душе проста,
Как эти дали бесконечные,
Как эта русская река.*

И, конечно, в поэтической панораме родной и близкой с детства поэту природы он, естественно, обращается к «характеристике» времен года:

*Я любить не устану,
Много сердцу дано.
На ночном полустанке
Я открою окно.*

*В лунном свете неровном
Слышен с белых полей
За сугробом дородным
Скрип далеких саней.*

*Сколько жил я, не помню.
И считать не берусь.
Весь тобою заполнен,
Моя добрая Русь.*

Не правда ли, здесь, как, впрочем, и во многих других произведениях А.Малиновского, так или иначе связанных с темой Родины — России — природы, слышится и смысловая, и интонационно-стилевая переключка со знаменитыми есенинскими строчками:

*Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»*

Наиболее характерные приметы национального пейзажа, эти спутники вечности, знаки непогибающего, нетленного, субстанциального, часто сливаются в эстетическом переживании природы у Малиновского с интимно-личностным началом. И тогда стихотворно-поэтическая ткань разворачивается как своего рода лирический дневник, в котором проникновенно запечатлены многообразные переливы напряженной психологической жизни. То трогательно-волнующие, упоительно-захватывающие, а иногда драматичные любовные переживания:

*В душе моей — любви моей осколки.
И прошлогодний снег,
И дым вчерашний...
Стою один.
А за пустым окошком
Летят грачи над темно-сизой пашней.*

*Все тот же мир теплыни и простора,
Как будто вовсе не было зимы.
И только там, за синим косогором,
Спилили дуб... Под ним встречались мы.*

То раздумчивая грусть в «Одиночестве»:

*Осенний лес и холоден, и пуст.
Ноябрь настал.
Какая тишь кругом.
И только гулко раздается хруст
Валешника под мокрым сапогом.
Один лишь дуб хранит свою листву,
Как лета дар
И как о нем печаль.
Глаза мои все ищут синеву,
Но нет её, есть лишь седая даль.*

Или стихотворение «Зазимок» — мысли о смерти, вдруг пришедшие на первозимье, в мгновение меж осенью и зимой при взгляде на первый снег:

*Ночью выпавший зазимок
Изменил все на пруду.
Знаю: жизнь неумолима,
Срок придет — и я уйду.*

*Как следы мои в порошу,
Я исчезну, не вернуть.
Дорогой моей, хорошей
Кто облегчит трудный путь?*

Однако остановимся. Ибо произведения А. Малиновского можно читать и цитировать долго и не без удовольствия. Важно отметить, что есть в его природно-поэтической картине один мотив, ещё одна, на мой взгляд, существенная особенность: поклонение дереву и порой очень трогательное его описание. Кстати, нечто подобное наблюдается и в прозе А. Малиновского, начиная с названий некоторых вещей: «Дикая яблоня», «Пронькин осокорь», «Кривая ветла»... Особо теплое, интимное отношение к дереву неизменно ассоциируется у Малиновского с чем-то самым дорогим, очень сокровенным. Вот как в этих строчках:

*Я тополек за пазухой принес.
Я отогрел его в своей рубахе.
И вот теперь меня он перерос
И превзошел и в силе, и в размахе.*

*И я в густой тени его сижу,
Перебирая желтый лист опавший.
И на него задумчиво гляжу,
Как на меня глядел отец уставший.*

Как-то в одной из наших бесед он обмолвился, что когда-то задумал и частью исполнил лирический цикл о дереве, но потом стихотворения из него включал вразбивку в различные сборники. Вероятно, этот замысел возник из самой глубины близких, как мы уже знаем, Малиновскому по духу архаико-мифологических представлений, питающих народную философию и фольклор. В своей известной книге «Национальные образы мира» Г. Гачев говорит: «Человек (...) — среднее существо между небом и землей. Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа (каким является и русский. — А.М.) таким архетипом-братом человека является дерево. И модель Мирового Древа руководяща в Логосе равнинных народов, так же, как животные — в космосе пустынь, кочевья (Конь, Верблюд и др.)». Это Древо несет в себе некую универсальную концепцию, определявшую на протяжении целых исторических эпох черты мировоззрения многих «человеческих коллективов Старого и Нового Света».

У разных народов роль Мирового Древа играют разные виды деревьев. У славян, кроме нереальных, фантастических деревьев (Вырий или райское дерево), — это чаще всего дуб, береза, явор, сосна, верба

и яблоня. И эти деревья очень часто встречаются и в произведениях А. Малиновского. А о вербе сказано даже так:

*Никак не привыкну жить
В порыве и страстном, и нервном.
Хочется голову обнажить
И поклониться вербам.*

Как и в древнейшей мифологии, в том числе и славянской, в «лесу поэзии» А.Малиновского встречается описание некоторых параметров мироустройства через одно дерево. Скажем, в стихотворении «Одиночество» дуб, хранящий в позднее-осеннем сквозном лесу листу как «лета дар», символизирует чередование времен года. А в уже цитировавшемся стихотворении «Я тополёк за пазухой принёс...» подчеркнут другой временной аспект — движение, смена поколений.

В художественном развитии мотива дерева в поэзии А. Малиновского налицо и трансформация, своеобразное переосмысление вошедшей в народно-философские представления и фольклорное искусство идеи волшебных и очень разных связей дерева и человека. Например, стихотворение «Ветла», где, кстати, использован и важный для поэтики Малиновского приём олицетворения, широко распространённый и в народной устной традиции:

*У реки на бугре, где тропинка кончается,
Там седая ветла и скрипит, и качается.*

*И в холодной ночи, уронившая ветви,
Что-то шепчет своё под метели и ветры.*

*Но не холодно ей, не от холода стынет,
Будто горе сечет, будто плачет о сыне.*

*Ей бы, матери, весть — пусть совсем небольшую.
Вот и вышла она на тропинку лесную*

*Вот и плачет, и шепчет, и смотрит вокруг —
Нет ни старых друзей, ни недавних подруг.*

*Есть лишь темная ночь, одинокая старость.
Тихо плачет она. Долго ль плакать осталось?*

А. Малиновский рассказывает: «У меня есть в нашем лесу деревья, с которыми я знаком десятки лет и которым я всегда рад при встрече. Они не только свидетели моей жизни, они — помощники мои и товарищи. Есть и такие, о существовании которых вообще ни-

кто, кроме меня, не знает. Они видели и помнят встречи-расставания с моим дедом и отцом, которых уже нет. У нас общие утраты и общие радости...». А вот отрывок из стихотворения «Затворник», где сходятся тематические мотивы любви, творчества и пребывания в лесу как своего рода священнодействия:

*Я отложил стихи и в рощу вышел.
В шумевших зеленью лесах,
В необозримых небесах,
В былинке серой у дороги,
В осинке тонкой — недотроге —
Все пело о тебе одной —
Все было песней молодой.*

...Одна из вечных тем всей мировой поэзии, да и всего искусства, — любовь. А некоторые особенности любовной лирики А. Малиновского в своё время так охарактеризованы им самим: «Здесь я многое пытался (...) себе уяснить. Мне часто думается (...), что любовь (взаимная) — это что-то вроде заговора (сговора) двоих против всего мира, и не иначе. Что-то есть от этого». Но это, естественно, лишь частица безграничной темы.

Любовные переживания лирического субъекта у Малиновского обращены либо к прошлому — пережитому некогда волшебству откровения, восхищению, доходящему до экстаза, которые ещё как бы продолжают в по-юношески сладостных грезах пополам с горечью утрат. И к настоящему. И к будущему, с которым связывается надежда на возможное обретение подлинного счастья и вера в предстоящие радостные встречи. Часто эти временные измерения сливаются в единое целое. И отделить их друг от друга становится почти невозможно. Но есть и стихотворения, обращенные только в прошлое или только в будущее, как это:

*Я по характеру — запойный пьяница.
Строку лишь только пригублю,
Рука к перу с бумагой тянется,
Я вновь тоскую и люблю.*

*И вновь мечтаю, как о чуде,
Всю ночь, до ранних петухов,
Что мы всегда с тобою будем
Вдвоем.*

...И никаких стихов.

Да, любовь в поэзии Малиновского действительно предстает как чудо, как высшее и священное чувство, в изображении которого всег-

да существует какая-то тайна и недосказанность, хотя ему не чужды подчас черты бытовой конкретности и объективизации случаев и обстоятельств. Но чаще всего все остается в неопределенности, в пределах зыбких символических намёков.

Поэтическая «история» любви у Малиновского почти всегда драматична. Но не своими внешними, так сказать, проявлениями, а крайней внутренней напряженностью, как в стихотворении «Память». В нем глубокий, развернутый подтекст, пережитое лирическим героем и героиней в прошлом обозначено лишь в нескольких внешних знаках-деталях. Но как много они говорят! За ними таятся драматические и впечатляющие перипетии. Их нельзя пересказать, а, скорее, можно лишь ощутить. Здесь слиты радость свиданий и грусть разлук, невольное, быть может, жестокосердие, равнодушие и милосердие, прощение, раскаяние и упование. А, главное, возникает такой остающийся без ответа вопрос: возможно ли духовное возвращение лирического героя к тем чистым истокам высокой любви и взаимопонимания, утраченным по воле судьбы и каких-то остающихся «за кадром» событий?

И, наконец, идеалом в любви выступает нежность, далекая от всякой, тем более грубой, чувственности, как в стихотворении с посвящением «Ларисе»:

*Я глядел веселыми глазами,
Отчего же,
Непонятно мне,
Теплыми июньскими ночами
Ни о чем печалюсь в тишине ?*

*То ли сердце чувствует разлuku?
То ли вижу жизни скорбный край?
Дай твою с изгибом нежным руку,
Наглядеться на тебя мне дай!*

И всё-таки при всей интимно-камерной «замкнутости» и упорности любовь и нежность у лирического «Я» в какой-то момент неожиданно и невольно смыкаются с очень широким по звучанию и пафосу чувством Родины, как в стихотворении «Я болен был...»:

*Не знаю, кто из нас двоих в ответе,
И мне ль судить, что сделано тобой.
Но наш разрыв так жизнь мою отметил,
Что долго был я ко всему глухой.*

*Вот почему теперь я тонко слышу,
Вот почему сейчас мой взгляд остёр:*

*Я болен был — но разлюбил и выжил,
Моя душа стремится на простор.*

*Нам теперь дорогою песчаной
Не бродить вдоль наших сонных сел,
Но образ твой, то ясный, то туманный,
В понятие родины моей вошел.*

Красоту родного и близкого поэт находит не только в том, что открывается взору в настоящем, но и в том, что существует лишь в сердце — в эпизодах детства. Внутренний взор лирического субъекта часто воскрешает состояние особого гармонического родства с окружающим, свойственное, пожалуй, лишь ребенку. Поэтому, наряду с пейзажами, написанными как бы с натуры, у Малиновского возникает и абрис сияющего идеального мира детских впечатлений. И некоторые его стихотворения вполне можно назвать путешествиями в прошлое в «поисках утраченного времени», лучшей поры жизни с её безмятежностью и незамутненной радостью бытия. Одно из них так и озаглавлено — «Светлый берег»:

*Движение — всему начало.
Земля уменьшена до глобуса.
О, как Утёвка б заскучала
Без ежедневного автобуса.
Без этих грустных расставаний
И добродушно-строгих глаз.
Мои сельчане-горожане,
Я часто думаю о вас.
(.....)
И наше суетное бегство
Нельзя предательством назвать...
Чем дальше светлый берег детства,
Тем все труднее уезжать.*

Ещё одной органической «составляющей» развертывания темы Родины является образ матери, той, что всегда «откликается далеким эхом» лирическому «Я» и бережно собирает сердцем все его радости и все тревоги. Эта заветная фигура воплощает и ту «малую» Родину поэта, его Утёвку, летописцем и певцом которой он в какой-то мере оказался.

И неудивительно. Ведь А. Малиновский признается: «Всегда с радостью возвращаюсь в Утёвку. Сегодня у меня в селе ещё остались родственники, друзья и родной дом — школа. Прекрасно помню, как на попутках добирался (...) домой, и последние два-три километра до-

роги до села — пешком. Мимо церкви, тогда разрушенной, к матери, к её святящемуся в ночи окошку. По дороге читал стихи, пел песни...

Никогда мне не расплатиться за все, что дали родные места. Делаю что могу. Как бы ни был занят, но с новой книгой в первую очередь еду домой. И знаю, что здесь меня и моих друзей ждут, встретят гостеприимно. Мне кажется, нет добрее и прекраснее людей, чем на моей родине (...).

3

«Несерьезные» поэтические миниатюры, собранные в книге «Звездное коромысло», а затем в сборнике «Окошко с геранью» — ещё одна серьёзная ипостась творчества А. Малиновского, обнаруживающая его способность не только предельно лаконично, афористично выражать свои размышления о жизни, но и весьма органично соединять на сверхмалом, точечном, так сказать, поэтическом пространстве шутливые, юмористические интонации с серьёзной философской мыслью.

*Мой внук,
мы все на звездном коромысле, —
И ты, и я, и шумные друзья.
Где с двух концов
над бездною повисли
«Я так хочу!» И твердое: «Нельзя!»*

И вновь — все «от себя» и «о себе», все от накапливающейся с течением времени мудрости, прокладывающей наиболее верный путь по жизни. Что не могла не заметить критика: лирические миниатюры — это «короткие, но точные, бьющие, как говорится, не в бровь, а в глаз, четырех-шестистрочные стихи, раскрывающие действительность с нестандартной стороны». Или: «Очень любопытна книга (...) «Звездное коромысло», где автор, вторя Омару Хайяму, с грустью, но не без иронии размышляет о жизни. Как признается писатель, эта книга как своего рода учебник предназначается внуку Саше. И ему же она посвящена».

Появление «Звездного коромысла»¹ к концу десятилетия первых крупных публикаций А. Малиновского, несомненно, связано с двумя отчетливо наметившимися в них тенденциями. Это, во-первых, тяготение ко все более глубокому проникновению в подчас загадочные хитросплетения бытия: «Более всего сейчас (и уже давно) волнует Человек, — говорит писатель, — хотя раньше для меня был интереснее

¹ В последствии издано как отдельный цикл «А я такое бы сказал» в книге «Окошко с геранью».

мир вокруг Человека». Во-вторых, стремление к предельному художественному аскетизму, становящемуся важным свойством поэтики. И, кроме того, миниатюры бесчисленными нитями связаны с другими, в том числе эпико-прозаическими произведениями А. Малиновского. Потому что эти «крохотки» (воспользуемся словом А. Солженицына) почти всегда содержат несколько образно-смысловых слоев, предполагающих возможность очень широкой их интерпретации. Например:

Течет ручей.

Течет, почти не слышимый.

Полметра вишь, и только-то всего!

Но этот куст черемухи душистой

Растет не где-нибудь, а около него.

Или:

Любить доступное.

Я мудрость эту

Не сразу принял, но сейчас

Иным наполнено все светом

И все мне будто в первый раз.

Малиновский (пока, во всяком случае) не разделяет свои миниатюры на привычные тематические циклы, а создаёт их как естественное течение, поэтическое «эхо» биографии души. Поэтому, как верно подметил поэт Е. Семичев, книга «Звёздное коромысло» словно «составлена из: песчинок, которые, пересыпаясь из одной плоскости в другую, отсчитывают время подобно песчаным часам».

Но одну тематическую линию, выражающую и конфликтное противостояние, и взаимосвязь мысли и чувства разума и эмоции, во внешне прихотливом и непредсказуемом движении-роении этих песчинок всё-таки стоит выделить. Тем более что сам А. Малиновский считает: «(...) определенным сдерживающим фактором в моём творчестве является постоянный поединок (...) между рациональным и эмоциональным. (...) Когда-то, в 16-18 лет, я глушил в себе эмоциональное, теперь врага вижу в прагматизме и рациональности. В наш рациональный век поэзии (...) тяжеловато». Не будем забывать также и очень важную творческую и в высшей степени рациональную научно-техническую сторону жизни А. Малиновского, признавшегося как-то в минуту откровения: «Сказывается рационализм моей профессии, хотя бы то, что имею более двух десятков авторских свидетельств на изобретения — этот род деятельности великолепен, но поэта он сушит».

Всего в «Звёздном коромысле» около сорока миниатюр, которые так или иначе касаются того, о чем только что шла речь. Приведу лишь некоторые из них:

*Порой под бурные овации
Нас убеждает интонация.
И истину тогда забыв,
Мы попадаем под призыв.*

Или:

*Пришла пора воспоминаний,
В мечтах давно уже не рею.
Я принял мудрость без терзаний:
Что ж, видимо, пора — старею.*

Или:

*С самую сутью не переча,
Дадите ценный вы совет.
Но теплоты в вас человеческой
Как будто не было и нет.*

Итак, рассматривая некоторые стихотворно-поэтические миниатюры «Звездного коромысла», мы видим, что их автор стремится уйти от имеющего протяженную художественную и философскую традицию резкого и категоричного противопоставления, разведения разума и чувства. О чем Блез Паскаль писал: «Будь у него (человека. — А.М.) только ум (...) или только страсти (...) Но, наделенный и разумом, и страстями, он непрерывно воюет сам с собой, ибо примиряется с разумом, только когда борется со страстями, и наоборот. Поэтому он всегда страдает, всегда раздираем противоречиями». Конечно, момент этого острейшего борения у Малиновского присутствует. Но главное — иное: снятие абсолютной противоположности мысли и чувства, рационального и эмоционального начал. И здесь поэт, на мой взгляд, перекликается с концептуальными идеями Т. Визенгрунд-Адорно — философа, эстета, искусствоведа, одного из столпов знаменитой Франкфуртской школы. Он убедительно обосновывает необходимость выражения переживания радости, боли, страдания на сухом языке строгих, однозначных определений, при котором рационалистическая понятийность и холодная рассудочность проникаются жизненной непосредственностью, импульсивностью и стихийной природностью. И за всем этим отчетливо просматривается какая-то новая духовность, разительно контрастирующая с широко распространившейся в современной цивилизации и культуре «ледяной пустыней абстракций», где правит технологическое рации, основанное лишь на расчете и вычислении. Там, в этих пустынях безжалостно преследуется все, что не укладывается в жестко очерченные рамки, что непредсказуемо и идет от сердечного жара.

Этот-то жар и входит в ту духовную субстанцию, которая питает «Звездное коромысло» и многие другие, не только, кстати, стихотворно-поэтические произведения А.Малиновского. Ощущаем мы её дыхание и в этой его миниатюре, прямо подводящей нас к разговору о музыкально-песенной трансформации некоторых собственно стихотворных текстов А. Малиновского:

*Ты далека,
Так далека, что песней
Своей я до тебя никак не дотянусь.
И я, создавший мир в себе чудесный,
Один с сокровищем ненужным остаюсь.*

4

Так уж получилось, что последним серьезным выступлением писателя, завершившим первое десятилетие его публичной литературной активности в поэзии и прозе, неожиданно оказался песенный сборник «Окошко с геранью» (консультант — Г.Беляев, составитель — Г.Матюхин), выпущенный издательством «Парус» при участии Литературного центра В. Шукшина и детской организации «Клуб «Движение» и посвященный 150-летию Самарской губернии.

...Все начинается с обложки художника Г.Дудичева, являющейся своеобразным «зримым эпитафием», образно-смысловая суть которого — выразительный фотопортрет писателя, выполненный К. Байгузиным.

На первый взгляд, просто будничным момент — присел человек отдохнуть у колодца. А сосредоточившись, представляешь, будто Малиновский продолжает творить. Так из схваченного фотографом жизненного мгновения вырастает то сокровенное состояние, которое наиболее полно и ярко передается, пожалуй, именно в песне, когда «душа стесняется лирическим волнением». Таким же волнением, несомненно, были захвачены и композиторы, независимо от их профессионального образования, опыта и дарования, — Г. Беляев, М. Левянт, В. Першин, С. Тютерева, Н. Подуков, А. Евстигнеев и А. Плаксин.

...Ещё до выхода сборника мне довелось услышать некоторые из составивших его песен в различном исполнении. И уже тогда подумалось: насколько же органичным оказалось музыкально-интонационное воплощение поэтического слова Малиновского. Более того. Некоторые песни убедительно доказывали, что их звучание рождается исключительно из самой словесно-художественной ткани. Потому что «автору слов» свойственны абсолютная искренность чувств, предельная естественность и безыскусность.

«Ведь когда человек поет?» — задаётся вопросом автор предисловия, тоже чуткий к слову и жизни поэт и прозаик Иван Никульшин, — (...) когда не в силах удержаться от прилива нахлынувших чувств. Когда (...) заходится сердце, трепещет душа и само существо как бы устремляется к небу».

*Сторона родная,
Болен я тобой.
Справа степь без края,
Слева лес с рекой.
Церковь посредине
И зари костер.
Край ты мой низинный,
Радостный простор.*

О Малиновском можно сказать, что он думает сердцем. И потому его глубокие жизненные раздумья пропитаны сильными переживаниями. Теплая, живая мысль рождается и существует в поэтическом тексте как органическое проявление его внутреннего «Я» и особенности стиля. И поэтому в песнях проступают и захватывают слушателя достоверные приметы быта и бытия.

Наиболее отчетливо это проявилось, пожалуй, в песне «Окошко с геранью», не случайно озаглавившей весь сборник. Ведь в окошко это, если угодно, видны многие важнейшие мотивы творчества А. Малиновского, близкие некоторым особенностям национально-русского мелоса. И сокровенное чувство родных истоков, отчего дома. И образ матери с её песнями. И мелодическая напевность. И восторг перед земной благодатью. И какое-то особое ощущение гармонии разномасштабного мира в единстве и неслиянности крошечного домика и земного шара. Ну и, конечно, зоркое видение большого в малом.

*Матица с крюком над зыбкой скрипела —
Матушка песни сердечные пела.*

*Детство моё уж давно отзвенело,
Матица в доме своё отскрипела.*

*Выпорхнул, встал на крыло и умчался —
Шарик земной небольшим оказался.*

*Все-то мне кажется раннею ранью —
Матушка смотрит в окошке с геранью.*

*Где я, какой я, и песни какие
Нынче пою в наши годы лихие...*

*Матица с крюком над зыбкой скрипела —
Матушка песни сердечные пела...*

5

Завершая далеко не исчерпывающий, неполный анализ продолжающихся стихотворных исканий А. Малиновского, подчеркну, что они так или иначе соотносятся с двумя имеющими давние и много-разветвленные корни концепциями поэтического творчества.

Одна из них выдвигает в нем на первый план насыщенность текстов сложными, изошренными, подчас весьма непростыми, даже трудными для спонтанного восприятия изобразительно-выразительными средствами и приемами, мобилизующими едва ли не все ассоциативные ресурсы языка. При этом они даже могут обрести статус так называемых «нервных узлов поэтической системы» (А.Веселовский). О крайних проявлениях данной тенденции уже знакомый читателю Х. Ортега-и-Гассет говорил как о «метафорических вывертах», когда молния сравнивается с «плотницким аршином», а «зимние деревья» превращаются в «веники, чтобы подметать небо». Лирическое оружие обращается против естественных вещей и убивает их.

Вторая концепция не приемлет лавины предельно усложненных приемов построения словесно-художественного целого. В. Брюсов писал о том, что «задачи поэта вовсе не сводятся к тому, чтобы выискивать новые, ещё небывалые образы и сочетания слов. Поскольку нов будет общий замысел произведения, постольку будут новы (...) его образы. Поэзия всегда — синтез между двумя представлениями (...) На этом основаны все тропы, все метафоры («зеленокудрые леса» — синтез между кудрями и лесом). Но этот синтез должен быть оправдан основной мыслью художественного произведения. Где такое оправдание есть, нечего бояться быть банальным или слишком изысканным в образах.

Его образы, подчиненные единому замыслу и единому стилю, будут те единственные, которые возможны в данном произведении». А вот мнение С. Есенина, которому, как мы уже говорили, близок А. Малиновский. Он ратовал за конкретность и однозначность даже последовательно ориентирующегося на сложную метафористику языка: «Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотделимо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства». Отсюда, кстати, и оригинальная есенинская модель естественного саморазвития поэтического образа как «узловой завязи природы».

Именно в русле этой концепции и развиваются искания А. Малиновского с их лаконизмом, подчас демонстративно подчеркиваемым аскетизмом, скупостью словесно-художественной, так сказать, палитры. Хотя ему и ведом вход в «лавку метафор»:

*Край неба, как будто арбузная мякоть,
А семечки — звезды в прохладном соку.
Но вечер-прохожий в осеннюю слякоть
Доел тот арбуз и уснул на боку.*

Но всё-таки главное для А. Малиновского — простота, о чем с самого начала упоминалось не раз.

*Все о деревне, о деревне,
В лучах закатных меж деревьев:
Все о раздумье дальних плесов.
О новом дне, зачатом в росах,
О боли в сердце — о России
Ищу слова, слова простые.*

Критик Ю. Баранов, вспомнив хрестоматийную пастернаковскую формулу о плодотворности впадения «как в ересь, в неслыханную простоту», справедливо отметил: «простота» эта для Александра Малиновского — не ересь, то есть не отклонение от правильного. Ему нет нужды поминутно заверять читателя, что вообще-то он может любую загогулину прописать, а простота — это лишь один из фокусов. Для Александра Малиновского простота (отсутствие выкрутасов) — норма. Они ему не нужны. Заявлять об этом прямо смеют не все. Александр Малиновский — смеет».

Но всё-таки что это за простота? Так ли с ней, прибегнем к вынужденному каламбуру, все просто? Ю. Баранов говорит и о стремлении поэта «передать вечное, исходное, глубинное, корневое»:

Вот именно! Оттого простота Малиновского — интегральная, емкая и сердечная.

И ещё... таинственная. На это «таинственное» определение натолкнули следующие строки:

*Таинственность бежит от простоты.
И мудрости большой в ней явно нет.
Я это понял так же, как и ты.
Но вновь в плену её! Так в чем секрет?*

Способ художественного изложения у Малиновского действительно внешне прост. Но не потому, что элементарна содержательная его сторона. Она-то как раз весьма сложна — в непрерывном движении слитых с мыслями чувств, изобилующем их оттенками и полутонами, взаимопереходами и пересечениями. А фигура поэта, на мой

взгляд, предстает как точка сложения многих, подчас очень разных, воздействующих на человека сил, которые сгущаются и преломляются в лирическом «Я». При этом сугубо частное, индивидуальное словно расширяется до горизонтов общезначимости.

А сам труднейший путь поиска остается как бы за скобками, свертываясь, что особенно заметно в стихотворных миниатюрах, в открыстализованных выводах. Множество, сжимаясь, концентрируется в единичном. Отбрасывая все лишнее, поэт, как он сам говорит в одном из стихотворений, добирается до истины «целиной».

И обнажается некая суть, начисто лишенная благости, благолепия и безоглядного оптимизма, пронизанная порой нотами усталости, боли, тоски и разочарования. Отсюда — и «вспышки», правда, нечастые, обнаженной публицистичности, питаемые открытым пафосом неприятия теневых сторон текущей действительности. Так возникает в поэзии А. Малиновского этико-эстетическая катализиция, как бы предвещающая и облегчающая познание и преобразование мира, захватывающая сопереживанием неравнодушного читателя.

К тому же поэт почти всегда избегает соблазна внешне убедительных, прямых, простых, так сказать, ответов. Его постоянная, неуходящая тревога включает в себя и то мучительное порой сомнение, которое, как известно, обостряет творческую чуткость и восприимчивость художника.

*Я никого не обвиняю.
Моя же в том, должно, вина,
Что больше чувствую, чем знаю, —
И в этом вся штука-ко-ви-на.*

И ещё:

*Блажен, кто истину познал,
Но трижды — кто не знает о ней!*

Так видимая простота у Малиновского оборачивается сущностной художественно-концептуальной сложностью, «адовой работой» венчания в саду жабы с розой.

Как писатель и личность, А.Малиновский находится в движении, творческом развитии, в сомнениях и тревогах продолжая свой путь. А значит, вполне возможна самая неожиданная дальнейшая его эволюция, она, быть может, внесет серьезные коррективы, уточнения и в уже сложившиеся представления о поэтическом мире этого художника слова.

*Я пропащую жизнь не считаю
Ни свою, ни Вашу. Ничуть.
Но я честно скажу, что не знаю,
Не знаю, где — истинный путь.*

МУЗЫКАНТЫ О ПЕСНЯХ НА СТИХИ АЛЕКСАНДРА МАЛИНОВСКОГО

* * *

«Сборник песен на стихи Александра Малиновского—редкий. Редкий потому, что он родной, русский. Он вызывает жгучее желание ещё раз задуматься над тем, кто мы, какие мы, как мы живём — и возвращает нас к национальным истокам. Поэзия нашего земляка наполнена неизбывными и дорогими для нас впечатлениями от красоты и просторов нашей земли, нашей малой Родины.

Подлинно национальный смысл и звучание песен на стихи Александра Малиновского моментально вызывает отклик в душе любого слушателя. Песни незримо, но мощно объединяют нас в самых глубинных основах бытия России. Поэт приглашает каждого из нас найти дорогу к себе, к людям, к Богу. Он искренен и в своих ошибках:

*Замаливаю прежние грехи —
Пишу стихи, и как всегда, опаздываю.
А, может, просто жизнь свою оправдываю...*

Но и лучшее в себе А. Малиновский готов отдать людям:

*Так пусть же радость в сердце льётся
И вдаль летит, за зеленыя.
И пусть счастливее живётся
Живущим около меня.*

Не случайно, что поэт нашёл живой отклик у своих земляков — музыкантов. Они написали мелодии песен, которые услышали в необыкновенной напевности и лиричности стихов. Каждая песня родилась с такой простотой и естественностью, как рождается трогательный и безыскусственный напев в голосах природы...

Это органичное единство русской природы, авторов музыки и стихов включает в себя самый широкий круг людей, принимающих эти песни как свой внутренний голос, как голос своего национально проявленного сознания. Глубочайшая обобщённость интонаций соучастия, сострадания в стихах и песнях, поднимают их на уровень высокой художественной значимости.

Песни сборника «Окошко с геранью» очень непохожи друг на друга. Они написаны в разных стилях и жанрах: это и народная песня, и городской романс, и баллады, и колыбельные, и шансон. Все эти жанры бытовали раньше и продолжают жить в музыкальной культу-

ре нашего времени. И это — вечное проявление нашего национально-го духа, его нравственности, что сегодня более всего нужно русской земле: как и встарь, она погружена в страдание...

Гиларий Беляев, Марк Левянт, Василий Першин, Николай Подуков, Александр Евстигнеев, Светлана Тютерева, Анатолий Плаксин — музыкальные авторы сборника. Каждая из песен уже давно нашла своих исполнителей и слушателей, завоевала признание наших земляков. Сборник собрал эти песни вместе. Важный творческий вклад в публикацию этих песен осуществил самарский музыкант Леонид Виноградов. Он обогатил песни изысканной гармонией, многообразием ритма и пианистической фактуры. Все эти авторы вместе с замечательным поэтом Александром Станиславовичем Малиновским — соль от соли земли русской, они — наше упование и надежда на духовное обновление России.

*Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
дирижёр Самарского Академического
симфонического оркестра.*

* * *

«Уважаемый Александр Станиславович!

От всего сердца хочу поблагодарить Вас за песни. За то, что я какой-то отрезок своей жизни провел совсем в другом мире. Мире, который так давно уже закончился — и вдруг снова — любимые сердцу слова, образы, голоса, Родина. Во время работы над альбомом Ваших песен постепенно осуществлялась моя мечта — создать цикл произведений, аранжированных в стиле популярной музыки 70-х— 80-х годов, от которых веет теплотой, душевной искренностью и лёгкой ностальгией по ушедшим годам. Моим слушателям понравились многие песни — значит, они побуждают людей переживать, чувствовать, думать, они востребованы, значит — деятельность создателей воспринимается как художественно содержательная, значит, песни также естественны для слушателей, как и для авторов. Цель достигнута. Мечта сбылась. Спасибо. С глубоким уважением,

*Л. ВИНОГРАДОВ,
композитор,
Самара, 2002 г.»*

ИЗ ПИСЕМ

* * *

«Книги твои удивительны. Мы всей семьей читаем их с большой радостью и интересом. Я даже в Утёвке по ночам допоздна зачитывался, а дома уже перечитывал. Не буду говорить о стиле, художественности, композиции, авторских приемах и т.п., я в этом мало смыслю, а как читатель скажу, что написано правдиво, талантливо, смело, честно, убедительно и понятно. Потрясающая связь со временем, густота содержания. Чувствуется, что у автора в запасе ещё много, много есть чего сказать. Произведения читаются увлекательно, зовут к доброму, светлому и радуют душу. Это сейчас очень необходимо.

Нонна увидела, что пишу тебе письмо и подсказала: «Напиши Александру Станиславовичу, как мы прослезились, слушая песни на его стихи».

Мы — это Нонна и её сестра Дина, чуть младше её. Она больше месяца жила у дочери в Америке и приехала поделиться впечатлениями. ...Может там останешься жить?— пошутили мы. А она нам: «Надо чаще бывать за границей, чтобы крепче любить Россию». Я в это время предложил им послушать музыку и песни с твоей кассеты. Проиграли все песни. Слушали с удовольствием. А на слова в песне: «...Я через чужое стал больше своё понимать», — прослезились. Оказались созвучными настроению. ...Ещё раз от всей души благодарю за доставленную нам радость».

*В.Д. ЛОБАЧЕВ,
бывший летчик,
полковник в отставке.*

ИЗ ПРЕССЫ

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ О СЕБЕ:

* * *

«...Никогда мне не расплатиться за все, что дали родимые места. Делаю что могу. Как бы ни был занят, но с новой книгой в первую очередь еду домой. Здесь меня и моих друзей ждут, и всегда встречают гостеприимно. Мне кажется, нет добрее и прекраснее людей, чем на моей родине...»

*Из статьи Анны СОХРИНОЙ
«Тайна Малиновского»,
газета «Волжская заря», 2001 г.*

НА ВСТРЕЧНЫХ ВЕТРАХ

Одной из важнейших духовно-нравственных проблем отечественного искусства, выражающих нечто самое сокровенное и существенное в национальном культурном сознании, является проблема пути. Она знает, без преувеличения, бесчисленное множество образных воплощений и вариаций.

А вот в выпущенном в 2007 году Редакционно-издательским домом «Российский писатель» цикле прозаических произведений А. Малиновского «Под открытым небом» ещё один путь, ещё одна дорога — прежде всего многосложное, многотрудное становление и мужание личности Шурки — Александра Ковальского. Его движение из пространства сельской, аграрной культуры к материку городской, урбанистической цивилизации. И к впечатляющим достижениям не только в науке, в организации новейших производств нефтехимии, но и... в словесно-художественном творчестве.

«Под открытым небом», «Зелёный чемодан», «Совмещение», «Встречный ветер», «Противостояние» — каждое из составивших циклическое единство произведений композиционно обозначает этапы, которые проходит Ковальский. Открытие мира (детство); выход в его большие пределы; постепенное, но неуклонное утверждение на избранном профессиональном поприще; искушения и успехи; дружба и любовь, приносящие радости и горести; крушение выстраданного и созданного; возвращение к исходной точке, к отчему дому; наконец, полная тревог и надежд остановка перед вновь ушедшим вперёд горизонтом... Скрупулёзно, в многочисленных психологических нюансах, используя некоторые приёмы субъективированного изображения прослеживает писатель этот неблизкий путь Александра Ковальского к постижению и освоению сущего через изучение и осмысление собственного микрокосма.

Густо настоящая на колорите провинциального края художественная концептуальность цикла А. Малиновского больше и шире, нежели хроника дней и трудов одного человека, его духовного роста и самоутверждения. Хотя, конечно же, и это уже немало само по себе. Ведь Александр Ковальский непрестанно испытывает властное воздействие трагических поражений и великих побед своего времени. Его не стихающих ни на миг встречных ветров. То поднимающих высь, то пригибающих к земле.

Через изменения в индивидуальном мироощущении и повороты частной биографии писатель так или иначе рисует более, чем пять десятилетий страны — от середины XX века и до начала Второго тысячелетия. Стремясь как можно точнее и эмоциональнее обнажить подвижность, текучесть связей человека и общественного контекста, более точной обрисовке реалий которого справедливо уделено особое внимание. Не случайно наиболее удачные страницы цикла отмечены диалектическим взаимопроникновением частного и эпического. Это — важнейший момент общего движения жизни, её, говоря словами Бориса Пастернака, «необъятной тождественности».

Сюжетика цикла предстает и как цепь испытаний героя на стойкость в подчас стремительно меняющихся и усложняющихся политико-исторических обстоятельствах, лишённых раз и навсегда готовых, застывших социальных и культурных форм. Именно в них-то и складывается личностное целое Ковальского.

При этом он встречается и общается со множеством людей. Иные из них выписаны подробно, обстоятельно, развёрнуто, другие персонажи — скупой, лаконично, с прямо апеллирующими к воображению читателей недомолвками. Но при этом у каждого — своя судьба, свой материк. Здесь родные и друзья детства, учителя и одноклассники, наставники, однокашники по институту единомышленники и оппоненты, наконец, непримиримые враги Ковальского...

Это и деревенский балагур и мудрец, завзятый спорщик дед Проняй, метким, ядрёным словцом колеблющий, невзирая на лица, так называемые «очевидные» вещи. И большой русский учёный-патриот Котельников, в бурном «перестроечно-постперестроечном» водовороте вынужденно и спешно переквалифицирующийся в коммерсанта для спасения уникального коллектива талантливых исследователей. Или вот Суслов, близкий друг и верный помощник Ковальского, сломавшийся в жёстких тисках нагрянувшего кризиса. Разочаровавшись в своём ремесле, изверившись в миссии интеллигента, он обрекает себя на добровольное изгнание, уединение в глухом уголке почти ещё нетронутой природы...

Ну, и, конечно же, череда женских образов. Первая любовь Верочка — Вера Рогожинская, Аксюта, Ганя, Влада Чарушина, Анна... Все они очень, очень разные. Но герой неизменно ищет и нередко находит в них прежде всего черты неискажённой человечности и душевного благородства, так или иначе противостоящих чёрствости и своекорыстию, всему вульгарному и низкому. Подаваемые крупным планом психологические состояния и переживания, большие и малые драмы, возникающие в общении с женщинами, тоже становятся

для Ковальского моментами, этапами постижения корневого начала жизнестояния, которое и можно назвать подлинным «Я».

В архитектонике цикла возникают и развиваются микро-сюжеты, своего рода «конспекты» возможных подробных повествований и о других заслуживающих самого пристального внимания биографиях — путях.. Вводятся они по принципу «естественного» потока жизни, бросая отблески на центральный характер. И Ковальский постоянно сопоставляет свои позиции, подчас корректируя их, с «координатами», задаваемыми другими людьми. И в этой соотносённости проявляется по-разному, приоткрывая отсутствие в человеке не статичного, единожды заданного мироотношения, акцентируя всю сложность четкого различения и разграничения в нём света и тени.

Но, пожалуй, главное, что эти микро-сюжеты так или иначе работают на воссоздание объёмности, даже неисчерпаемости жизни, в которую влетается и биографическая нить Александра Ковальского. Многоголосая полифоничность повествования реализует и принципиально значимое для художественной идеи цикла представление— о нераздельности и неслиянности общего, универсального и единичного, частичного. Да, это — антиподы. И вместе с тем, одно существует в другом, одно оборачивается другим, помогает осознанию или реализации другого. Разумеется, каждое время и каждый серьёзный творец должны искать здесь свои коллизии и свою, определяющую: проблемность.

Вспоминается в связи с этим одно суждение Леонида Леонова, чьё имя, видимо, далеко не случайно возникает в произведении А. Малиновского, о судьбе, предназначении и ответственности национально самобытного художника на излёте XX века:

«В плане большой русской литературы я бы обозначил роль писателя как следователя по особо важным делам человечества (...) Потребность осмыслить события текущих дней, самый трудный перергон из позавчера в послезавтра крайне велика и у современников (...) чем крупнее объём времени, из которого мыслитель выцеживает свой опыт, тем глубже и выводы».

Вот и А. Малиновский примеряет на себя, часто не без успеха, роль этого самого следователя. Например, в цикле «Под открытым небом» проводится расследование и такого рода. В студенческую нору Ковальский близко сходится с профессором-историографом Николаем Засекиным. Его независимая, взыскующая мысль, без оглядки на высочайше утверждённые табу, смело опрокидывает мертвящее обществоведческое доктринерство, прикасаясь к самым болевым точкам современной цивилизации. В пространных, взволнованно-страстных, но и выверенных, отточенных по формулировкам высказываниях За-

секина происходит своего рода сжатие всего прожитого и пережитого человечеством. Он не просто констатирует: экологические и социальные перспективы перекрывают собой не только метафизические, но и физические горизонты жизни на Земле. А мучительно переживает и препарирует вставшую во весь рост альтернативу: конец истории — или её обновление и продолжение.

«(...) Понимаешь, пришло время, когда стихийное развитие мировой экономики не рационально. Требуется плановое управление на глобальном уровне. Очевидно, через несколько десятков лет сырьевые ресурсы могут иссякнуть. Нехватка продовольствия приведёт к катастрофе. Прирост населения надо будет поставить под жёсткий контроль. Экономическое развитие свести к простому воспроизводству. (...)

Вот человек, — он сомкнул пальцы обеих своих нервных рук в одну крепенькую конструкцию. — А вокруг него всё. И это всё (...) зависит от того, что здесь, — он указал взглядом на свою конструкцию, внутрь её. — (...) Главная задача нашей эпохи — совершенствование человечеством своего качества. Изменения самосознания архиважных для решения глобальных проблем. Человеческие качества имеют, здесь решающую роль. (...)

Мы затёрли от частого употребления понятие «духовно богатая личность» (...) человек, я теперь, после многих лет глупостей, ясно понимаю человек — это неразрывное единство материального, телесного и нематериального, духовного. И духовная часть не существует без материальной. А материальная без духовной. (...)

Когда-то Бог создал Вселенную, Землю с уникальными условиями для органической жизни. Он создал человека, обладающего телом и душой, способного мыслить и чувствовать, дал ему дар творчества и свободу в выборе поведения. Сделав (...) богоподобным и завещав ему «возделывать землю, из которой он взят». (...)

Существует три трёхмерных мира. В виде, упрощенно говоря, трёхэтажного дома. На первом этаже наши обезьяноподобные пращуры, снежный человек, они существуют благодаря своему атавистическому свойству. Они никогда не умирают на нашей земле. Мы (...) — на втором. Жильцы третьего этажа в своём развитии от нас чрезвычайно далеки, но они не могут, прилетев, оставить нам предостережение или практический совет. Они из другого мира. Мы сами обязаны сохранить цивилизацию».

Итак жизнь землян, во всех странах, считает Засекин, нацелена только на сугубо потребительское, «техническое» (в самом широком смысле) отношение к миру, приходящему в «упадок» из-за исчезновения или радикального искажения силы, ведущей к совершенству.

Предельно откровенно и прямо отвергая эту самую ложную цивилизованность, Засекин вместе с тем не умаляет, а скорее возвышает человека. Поскольку полагает: только человек, гармонически воссоединившись с бытием, способен как-то предотвратить апокалипсическую катастрофу. А сам Бог конституируется им и как итог жертвенных усилий человека и человечества, как своего рода центр спасённого и преображённого бытия — спасённого и преображённого нескончаемыми жертвенными деяниями.

Однако, это укрупнение воззрений о цивилизации, жгучая потребность определить доминирующие параметры её эволюции не являются в поэтике и содержательном поле цикла «Под открытым небом» самодостаточными и самодовлеющими.

Всё-таки главное, что волнует писателя в предпринятом им художественном «следствии по особо важным делам» — это русский, российский путь, его уникальность, не отделяемая и не изолируемая, разумеется, от совокупного всечеловеческого опыта.

«Что с нами происходит?» — вопрошал некогда с нескрываемой душевной болью Василий Шукшин. «Что с нами произошло? И что ещё может произойти?» — вторит ему А. Малиновский.

И по ходу неспешного развёртывания цикла, по мере выстраивания его архитектоники писательская мысль, избегая, по большей части, навязчивого морализаторства, конкретизирует эти жгучие вопросы. Почему вдохновляемый и питаемый отнюдь не только советской мечтой, но и наследием предков, «Великий Разгон» (А. Солженицын) завершился упадком державы, а чаемые реформы обернулись утратой животворящих, фасцинирующих идей, разрушительными потрясениями и человеческой деградацией? (Примечательно: тот же Александр Солженицын, неоднозначные искания которого, кстати, привлекают внимание и некоторых героев А. Малиновского, одну из своих книг конца 1990-х годов предостерегающе-набатно озаглавил — «Россия в обвале»).

В чём же суть и значение исторической миссии вышедшей из крестьянства интеллигенции «первого поколения», которую и олицетворяет Ковальский? Восполнимы ли потери рубежа XX-XXI веков, когда само время безжалостно расправлялось с такими героями прозы А. Малиновского, как Любаев, Головачёв, Засекин, Калашников, Котельников? Состоится ли новое поколение, многие черты которого проявляются в образах детей главного героя? Сможет ли оно достойно пройти труднейший «перегон» на эпохальном стыке? И не повторит ли ошибки отцов, в частности, обусловленные индустриальным напором, попытками переделки природы в угоду прямолинейно понятому прогрессу и социально-утопической экзальтации?

Отказываясь от разрушающих конкретно-чувственные формы слишком явных и прямолинейных приёмов раскрытия и манифестирования авторской позиции, совмещая, и часто не без успеха, элементы аналитического психологизма с интеллектуальной напряжённостью, писатель исподволь, ненавязчиво втягивает, вводит читателя в дискуссию по актуальнейшим, сложнейшим вопросам национального духа и уклада и глобального порядка.

И при этом весьма органично подводит к очень весомым и значимым по мысли предфинальным сценам празднеств в родной деревне Александра Ковальского.

Кроме того, на юбилее Бочарова встречаются, сходятся многие его спутники. И за щедрым столом стихийно образуются два вступающих в соревнование импровизированных хора.

«— А что, гостёчки дорогие! Может, споём!? — Аксюта задорно глянула на правое «крыло». — Покажем старичкам, на что способна молодёжь! Один ряд поёт куплет песни, другой — следующий. Поехали!

Она, озорно потряхнув головой, завела:

*Черноглазая казачка
Подковала мне коня.*

Левое «крыло» тут же её поддержало. Ровные, установившиеся голоса пожилых звучали душевно:

*Серебро с меня спросила,
Труд недорого ценя.*

Аксюта повернулась с молодёжному «крылу», ожидая продолжения, но его не последовало: (...)

Выручил, неожиданно по-молодому подбоченясь, совсем незаметный ранее дедок, приятель Бочарова, запоздало приехавший из соседней Зуевки. (...)

Голос его звучал доверительно и чисто, Ковальскому захотелось, чтобы дедок пел один».

Этот воплощаемый в развёрнутых и вдохновенных хоровых и сольных партиях мелос — словно оплот жизни, неуываемость её красоты, коллективная мудрость и подлинная свобода человеческого духа. К тому же и важнейшая констатация стихии справедливости, приходящей на помощь в трудный час.

В своё время талантливый поэт, литературный критик, переводчик и мемуарист Русского Зарубежья Владимир Смоленский написал:

*Какое там искусство может быть,
Когда так холодно и страшно жить?*

Но, оказывается, оно всё-таки может быть едва ли ни при любых условиях и обстоятельствах!

Толкуемое и понимаемое как один из высших бытийных взлётов хоровое искусство неотделимо здесь от определённого типа пространства традиционного, деревенского русского дома, выражая лучшее в национальном характере. (Здесь, пожалуй, кстати привести тонкое, пронизательное суждение Марины Цветаевой о том, что, сочиняя «Пир во время чумы», Пушкин спасся от стихии смерти отнюдь «не в пир и не в молитву», но в песню!).

Возникая в лихую годину тотального ниспровержения многих прежних краеугольных ценностей и связей, в том числе и национальных, мелос в цикле А. Малиновского являет собой чудо некоего нового мироустройства, мирозидания. На началах, идущих, казалось бы, вразрез своему времени, нетипичных, скажем так, для него: не разрушения, подавления или уничтожения прежних ценностей и связей, а на основе их углубления, расширения и пополнения.

Это пение, хоровые экзерсисы, упражнения, рулады, попевки бросают особые отсветы на обращения к Божественному, щедро рассыпанные на страницах прозы А. Малиновского. И они видятся, прочитываются теперь и как обращения к тем неизведанным до конца, загадочным, таинственным силам, которые заложены в самом бытийном теле и могут быть раскрепощены, направлены на преобразование мира только с помощью соборных усилий. А ещё к той «духовной красоте» (П. Флоренский), с которой сокровенная потаённая память отечественной культуры так или иначе связывает решение «русского вопроса».

Отсюда протягивается и смысловая нить к финалу последней части и всего цикла. Под окнами кабинета Ковальского возникают рейдеры — «чёрные ангелы», возвещающие о том, что важнейшее дело всей его жизни обречено.

Но во всём этом нет, пожалуй что, безысходности и трагичности, нет цепящего ощущения последней грани. Подхватывая одну из заветнейших идей литературной классики, писатель убеждает в том, что даже из глубочайшей бездны, из самого глухого тупика возможен, есть-таки выход, путь к свету, к настоящим созидющим свершениям, к возвращению и утверждению национально-самобытных начал и ценностей, открытых к тому же и многоцветию, многокрасочности большого мира. Путь, который пролегает через обретение внутренней свободы и обретение истинной, нерушимой веры в высшее предназначение человека.

Это тем более значимо и потому, что в искусстве, формально не руководимом более «единственно верными» идеологическими установками и «незыблемыми» законами творческого метода, возник и довольно остро ощущается своего рода вакуум оригинальных худо-

жественных идей. В атмосфере подчас весьма убедительной и даже завораживающей имитации внешней свободы, независимости и раскрепощённости заметно усилилось тяготение к эклектике, сплошь и рядом заигрывающей с банальностью. Цикл «Под открытым небом» полемически противостоит тенденциям подобного рода.

При этом его структура способна раздвинуться, впустить новые эпизоды жизни Ковальского. И это отнюдь не аморфность, а концептуальная недосказанность, подразумеваемость многого. Самой незавершённой и разомкнутостью «Под открытым небом» в конечном счёте сохраняет и утверждает глубинные контакты и диалоги времён, смыслы национальной истории, какими они предстают в смене и чередовании эпох...

*Алексей Молько,
г. Самара*

ПОД КЛЁНАМИ ДЕТСТВА

«Кризис российской детской литературы...» На протяжении бурных «перестроечных» и «постперестроечных» лет слова эти раздавались неоднократно. Хорошо известны и его фундаментальные причины.

Резкое сокращение тиражей книжек для дошколят и детей постарше в связи с закономерной коммерциализацией издательского дела. Очевидное угасание, снижение, падение интереса к трогательно-наивному, открытому, доверчивому читателю и у молодых, начинающих, и у опытных, маститых писателей. Наконец, впечатляющая, захватывающая дух и детское воображение видео-техническая революция, стремительно и неумолимо переноси́щая центр тяжести мирового культурного движения от печатного текста к экранам телевизоров и мониторам компьютеров...

Но и при всем при этом, есть, оказывается, литераторы, не только пишущие для детей, но даже и ухитряющиеся издать написанное! Так что живо, не угасло это замечательное направление отечественного словесного искусства!

Одно из отрадных подтверждений — книга для детей и о детях «Под старыми клёнами» А. Малиновского, впервые опубликованная в 2004 году Редакционно-издательским домом «Российский писатель».

Герой-повествователь, облюбовавший деревенское уединение для работы над очередным произведением «для взрослых», знакомится и близко сходится с Алёшкой, Настей, Денисом, Ромкой и другими

сельскими и городскими ребяташками и взрослыми. Они-то и уведут его то в лес, то на рыбалку, увлекают в круг своих занятий и забот.

И вся эта шумная, весёлая, разношёрстная компания объединяется очень редким, почти не встречающимся в современном искусстве смысловым пространством пасторали. Понятие это употребляется чаще всего в двух смыслах: как обозначение древнего поэтического жанра, прочно ассоциирующегося с архаикой и обладающего высокой степенью условности и особого типа отношения к жизни, образа мыслей, по удачному выражению Гегеля, особой системы ценностей, воплощённой в соответствующей художественной структуре.

Именно в этом и можно найти ключ к пониманию повести «Под старыми клёнами».

В самом деле, люди в пасторали представлены сообществом безоблачного согласия, разумного порядка и дружбы. Именно так и складываются отношения детей и старших у Малиновского. Природа в ней — своего рода вполне гармоничное сообщество домашних и диких животных и растений, которыми плотно населена и повесть А. Малиновского. Ключевые для пасторали образы — дом, река и сад.

Типично пасторальным представляется, скажем, следующий отрывок из произведения: «Три клёна — один перед окнами дома в палисаднике с почерневшим штакетником и два во дворе — стали такими старыми и огромными, что солнечные лучи не проникают через живую зелёную завесу — и под деревьями всегда прохлада. Эти три клёна росли, когда дед Сергей и дед Андрей были ещё маленькими, а речка Ветлянка, которая под боком, была намного шире и глубже. В этот прохладный уголок часто собираются ребяташки. Землица здесь вытоптана крепенько ногами не одного ребячьего поколения».

В верхушках деревьев птичий гомон и щебетня; а под деревьями — детский смех. Такой двор у Чураевых!

Даже речка Ветлянка к вечеру становится тише, будто прислушивается: что там во дворе?»

Этот текст, как, впрочем, и некоторые другие страницы А. Малиновского подтверждают точку зрения известного исследователя П. Маринелли о том, что «если пастораль жива для всех нас в настоящее время, она живёт за счёт своей способности выйти за пределы (...) прежних мест обитания на пастбищах Аркадии и поселиться в обычных сельских ландшафтах современного мира, ежедневно сокращаемых и вследствие этого всё более драгоценные как проекция нашей жадности простоты». А у Малиновского, кроме того, осязатима и острая писательская жажда света, добра, любви, таких необходимых в детстве и столь часто попираемых и уничтожаемых жестоким миром современности.

Именно поэтому в книжке господствует стихия захватывающей и волнующей упоительной радости бытия, ничем не обременённой, не замутнённой, не осложнённой. И нет никаких признаков столь талантливо изображённых многими детскими писателями и не только ими мук и потрясений становления сознания взрослеющего человека, напряжённо ищущего, нередко безо всяких шансов на успех, себя и своё место в окружающей реальности, где все отнюдь не так просто и безоблачно, где столько острых углов и крутых поворотов.

Что ж, такая авторская позиция, наверное, не всеми может быть принята и понята. Но воплощена она весьма последовательно. И очень существенно, что почти у всех героев произведения А. Малиновского высвечены те особенности душевного строя, которые более или менее убедительно объясняют их поступки и поведение. К тому же, писатель подхватил имеющую давние и прочные корни традицию, идущую, в частности, от ставших уже классическими книг «От двух до пяти» Корнея Чуковского, «Вопросы изучения детской речи», «От первых слов до первого класса» замечательного самарского филолога Александра Гвоздева. «Под старыми кленами» изобилует меткими наблюдениями над своеобразным словотворчеством ребёнка, выразительными по интонации и лексике сценками и диалогами. Вот лишь один небольшой пример:

«— Бабушка, — спрашивает Настя, — а почему у нашего дедушки Сергея такое большое тулбище? Он поэтому на самолёте не летал, а на машине ездил? Не умещается в самолётной кабине?»

— Не тулбище, а туловище, — смеясь, поправляет бабушка, — чудись ты нарочно, что ли?»

Известно: всякий детский писатель в идеале в поле творческого внимания должен держать две потенциальные аудитории — детскую (или отроческую) и взрослую. Трудная, очень трудная задача. Не просто решить её. Не каждому дано, не каждому по плечу.

Лучшие страницы книжки «Под старыми клёнами» свидетельствуют, что А. Малиновский неплохо понимает это. И нередко разговор с читателем разных «возрастных планет» складывается в ней весьма естественно, органично, ненавязчиво. Поэтому в одном словесно-художественном целом каждый возраст почти наверняка обнаружит и прочтает близкий себе, «свой» пласт.

Что делает «Под старыми клёнами» — ещё и книгой для семейного чтения, напоминающей о почти совсем уже исчезнувшем виде словесности. И во многом определяет её место на пёстром и практически необозримом книжном развале начала нынешнего века...

*Николай ДОРОШЕНКО,
писатель,
директор Редакционно-издательского дома
«Российский писатель»*

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

У писателя Александра Малиновского не было ученического периода. В то время, когда его ровесники печатали свои первые слабозрелые произведения, он был уже одним из ведущих спецов народного хозяйства, отвечал за организацию производства в сложнейшей химической отрасли.

Но получилось так, что, когда на рубеже XX-XXI веков литература и жизнь разминулись, когда их вечного связного — «массового» читателя — не стало, появились повести А. Малиновского, в которых жизнь, такая, какая она есть, вдруг сама напомнила о себе. И сначала эти повести были восприняты критикой как исповедь человека, которому есть что сказать. Но вскоре стало ясно, что повестями А. Малиновского сама литература вернулась в своё естественное русло. И теперь уже невозможно представить современную литературу без этих повестей. Они помогают полнее и глубже понять то, что в нашей жизни случилось во второй половине XX века.

Всё дело в том, что Александр Малиновский, не учившийся в альма-матер писательского мира — Литературном институте им. А. М. Горького, не участвовавший в литературных тусовках, не переболел и всеми теми литературными болезнями, всеми теми новейшими «измами», которые литературу с жизнью разлучили. И получилось так, что в его лице к нам пришёл писатель, традиционно исповедующий вот эти высокие и до сих пор самые животворные принципы русской классики: художественное произведение не может быть вещью в себе; для его появления на свет нужен глубокий личностный, правомерный и общественно значимый повод; мастерство писателя оценивается его способностью отражать жизнь в её реальном историко-культурном значении, в её чувственной и духовной полноте, в психологической и событийной достоверности. Поэтому мы все и узнаём себя и в Гринёве, и в Андрее Болконском, и в Наташе Ростовской... А повести Александра Малиновского для нас ценны ещё и тем, что их автор — наш современник. И, значит, в них мы узнаём свою эпоху, значит, вместе с героями А. Малиновского мы заново переживаем всё, что на протяжении второй половины прошлого столетия являлось также и нашей личной болью, нашей личной судьбой.

Вряд ли писатель изначально ставил перед собой задачу сложить из своих очень разных по изобразительным и жанровым свойствам произведений единое художественное полотно. Ему просто хотелось не оставить не запечатлённым ни одно из тех личных жизненных пространств, каждое из которых когда-то казалось бесконечным, самодостаточным, требующим максимального напряжения душевных сил. Послевоенная деревня, где свет и печаль едины, где тревоги и надежды одинаково уютны и велики, где старики похожи на детей, а дети — на стариков. Стремление сельских подростков найти применение своей неуёмной энергии, их уход из обречённой на умирание деревни в стремительно развивающуюся индустрию, в осваивающую высокие технологии армию, в науку... Далее — перестройка, криминализация всех сфер жизни, когда бывшие селяне, по сути внуки самого трагического героя русской литературы первой половины XX века — шолоховского Григория Мелехова, отдав стране всё, что было в них лучшего, оказываются лишними людьми. И, как и в «Тихом Доне» М. Шолохова, высокие, достойные античных героев житейские смыслы вместе со вновь порушенными основами самой жизни превращаются в ничто.

Поскольку же писатель А.Малиновский ничего не придумывал, писал только о том, что сам пережил, — то и всё, им написанное, само сложилось в единое эпическое полотно, стало восприниматься как обстоятельнейшая, с разных ракурсов запечатлённая «История одной жизни» (жизни его главного героя Ковальского и шире — жизни всего его поколения). И даже название этой «Истории...», родившееся вроде бы совершенно случайно для одной из самых ранних и самых светлых повестей, вдруг обрело общий для всей «Истории...» философский смысл. Началась-то жизнь писателя и его героя под небом, открытым для вертикального взлёта, открытым для самой смелой мечты, открытым для взгляда, устремлённого к горным далям. А затем, когда у писателя и его героя сложилась большая, в полной мере соответствующая этому открытому небу судьба, открытое небо стало символизировать незащищённость каждой человеческой жизни, полное отсутствие тех ценностей, которые только и дают ощущение мироздания как большого родного дома.

Вот это трагическое расстояние между двумя диаметрально противоположными смыслами открытого неба и предстоит преодолеть читателю собранных в двухтомник произведений писателя.

И ещё хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Главный герой А. Малиновского, в отличие от шолоховского Григория Мелехова, не покоряется вызовам нового времени, продол-

жает свою жизненную стезю. И, основываясь на этом, можно было бы полагать, что автор поручает самой жизни довершить историю нынешней русской драмы. Но в том-то и дело, что многие другие его ключевые герои обречены заканчивать свой век в той непонятной жизни, которой живёт их некогда великая страна. Так в чём же больше правды? В писательской надежде, всегда таинственной, всегда не поддающейся простой логике, или в той жуткой картине умирания России, которую сам же писатель с такою пронзительной болью изобразил?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо признать, что в истории последнее слово остаётся именно за человеческой болью. Из болевого шока на руинах Римской империи возникла наша христианская цивилизация. Из боли, ставшей нестерпимой, на Куликовом полеросло могучее дерево Российской империи...

Из нашей общей боли, которую так глубоко чувствует А. Малиновский и которая зазвучала со страниц его книг, из нашего читательского сопереживания именно его непридуманному герою, а не медийным призракам, будет, как из чистейшего родника, брать своё начало и будущая Россия.

Хватит ли нам нашей боли? Вот вопрос, с которым сегодня литература должна обратиться, и в лице Александра Малиновского уже обращается, к читателю.

Сбережение правды и добра

В конце 2007 года на очередном заседании Совета по прозе Союза писателей России под председательством Н. Дорошенко и Н. Переяскова состоялось обсуждение двух томов прозы Александра Малиновского «Под открытым небом» (Издательский дом «Российский писатель», 2006 г.).

Ниже приводится стенограмма заседания, которое открыл председатель Совета по прозе СП России М. Попов.

Михаил Попов:

Мы будем сегодня говорить о двухтомнике избранных сочинений прозаика Александра Станиславовича Малиновского.

Его двухтомник — это итог многих лет творческой деятельности. Здесь собраны несколько повестей. Бывают романы в рассказах, а тут повествование в повестях, — в лучших традициях русской реалистической прозы 19-го и 20-го веков. Первая его работа посвящена, конечно же, детству, вторая — юности и так далее. И в последнем повествовании появляется уже зрелый человек, осмысляющий пройденный путь. Тем самым как бы закольцовывается замысел. Хотя, конечно, многое будет написано Малиновским и после этого. Вот сегодня мне Александр Станиславович подарил две новые небольшие книжки, то есть работа идет.

Несколько слов о творческом методе, об особенностях его письма. Я уже говорил, что это русская реалистическая проза, если прибегать к самым общим определениям, это — пережитое. И, что лично мне симпатично, автор ничего не выдумывает. У него до такой степени богатый, разнообразный жизненный опыт, что он не нуждается в каких-то ухищрениях, додумываниях. Трезво, правдиво и последовательно человек описывает свою жизнь. И как выясняется, если этот метод соблюден, то это само по себе очень интересно.

Николай Дорошенко:

Для начала нашего разговора я хочу добавить следующее. У каждого писателя есть свой центр духовного и душевного притяжения. Для Александра Станиславовича это — его родная деревня, его близкие и друзья, тот мир, в котором он вырос, то, что формировало нравственный стержень его жизни. Вот и в повести «Радостная встреча» он предстает перед нами даже как исследователь — краевед, влюбленный в свою родную самарскую землю, как человек, ощущающий свое

родство с главным героем своего исследования. Точно так же и в своей прозе, вместившей значительную часть его собственного жизненного опыта, Александр Малиновский не просто рисует череду героев, связанных между собою какими-то сюжетными притяжениями и противостояниями, а, прежде всего, воссоздает тот мир, внутри которого ему самому нужно ответить на многие жизненно-важные вопросы. То есть, как писатель А. Малиновский состоялся не потому, что ему захотелось сплести из слов какие-то притягательные для читателя кружева, а потому что для него являются наиболее притягательными те истины, которые прояснить можно только с помощью художественных образов.

Впрочем, давайте дадим слово самому автору.

Александр Малиновский:

— Я изначально не собирался написать такое большое по объему повествование. Было временное пространство, уже прожитое, но по-настоящему не осмысленное — с начала 50-х годов и до конца 90-х. И от книги к книге я стал двигаться в этом направлении. При этом каждая книга писалась как вполне самостоятельная, со своей творческой задачей. И всегда что-то оставалось недосказанным, и потом появлялось уже в пространстве другой книги. Приходилось и дневник писать, и что-то надиктовывать на магнитофон. А затем строить из этого книгу. Наверно, обычное это дело, если отталкиваешься не от сюжета, если хочешь осмыслить, понять на примере своего поколения, какими мы были, какими мы стали. Эти два тома обозначены как «История одной жизни». Это, конечно же, история моего поколения или, той его части, которая прошла сквозь мое сердце, через мою судьбу. Сначала пришлось прожить, а потом писать.

Николай Переяслов:

Первые журнальные публикации и первые книги А. Малиновского я хорошо помню. Это были 90-е годы. Переломные, нелегкие, интересные. Когда все пускалось на самотек и, одновременно, все нами переосмыслялось.

И вот мой друг Саша Громов заразил меня и Александра Станиславовича желанием выпускать в Самаре литературный журнал «Русское эхо». Этот журнал состоялся вопреки всему, вопреки даже своему названию (в 94-м году в слове «русский» виделся только негативный оттенок). Нам говорили чиновники: «Уберите слово «русское» из названия, и тогда будет финансирование, тогда будет все». А мы уперлись. А какое еще эхо — китайское что ли? Мы начали выпу-

скать этот журнал. Александр Станиславович подпер его своим плечом, благо у него была такая возможность. И сам начал раскрываться как писатель. Огромное количество того духовного запаса, что в нем скопилось, искало выхода.

Мы все приходим в эту жизнь, чтобы реализовать данный нам Богом талант. Очень часто приходится до старости обеспечивать только свое материальное существование. И затем вспоминать, что ты всегда хотел рисовать картины, лепить скульптуры. Слава Богу, что Александр Станиславович, успешно занимаясь другими делами, помнил о том, что человек приходит в жизнь, чтобы её еще и осмыслить.

Так появилась его книга о Журавлеве. Сейчас-то об этом художнике много пишут, а открыл его по-настоящему для всех нас именно Александр Станиславович. Да и этот двухтомник — вещь, по своему, тоже уникальная. Все в этой жизни, а тем более в литературе, символично. И когда я вижу фамилию Ковальский, я понимаю, что это эпопея о том, как ковался характер настоящего, совестливого, чуткого, любящего все вокруг себя человека. При том, что очень многое в этой жизни оказалось не спасенным, не сбереженным, но пока есть примеры людей, которые ковали свою судьбу, не ломая чужие судьбы, есть надежда, что следующие поколения эти крупинцы подхватят, сохранят и взрастят в себе. Неважно, как называется режим, политический строй, главное, чтобы сама жизнь строилась людьми чувствующими, любящими, ответственными за дело. Тогда и какая-то доля награды, славы достанется книгам Александра Станиславовичем Малиновского.

Алексей Шорохов:

Очень хорошо, что до меня выступил Николай Владимирович Переяслов, земляк и сотоварищ Александра Станиславовича Малиновского. Сложилось более глубокое представление об авторе.

Вот эта большая книжная форма, безусловно автобиографична, это не скрывается автором. Не скрываются и его польские корни. Но и создателю самого лучшего словаря русского языка Владимиру Далю не надо было свои корни как-то ретушировать.

Надеюсь, мне в скором времени удастся написать обстоятельную статью по поводу этой книги. И есть у меня такое размышление: может быть, это самарские степные просторы, может быть, эта четко и достоверно изображенная народная жизнь, роднят Малиновского с Шолоховым. Вплоть до некоторых сцен. Например, сцена ловли сома.

Другая мысль — о совмещении нелитературной судьбы и литературного таланта. Были у нас такие случаи, когда физики спорили с химиками. А здесь у нас случай, когда химик спорит с лириком в одном и том же человеке.

Если б Василий Иванович Белов, 75-летие которого мы отметили, пошел по комсомольской райкомовской линии и дослужился бы, скажем, до секретаря обкома, или, может быть, в Москву нырнул и здесь чего-нибудь такого достиг... И при этом имел внутренние, Богом данные художественные способности... Прожил бы честную, оснащенную крестьянской правдой жизнь... И сегодня написал бы честную повесть или роман о своей жизни... Был бы это равноценный для нас размен или нет? Был бы он тем Беловым, которого мы знаем, который рванул в Москву, поступил в Литинститут и пошел по другому пути.

Меня интересует вопрос возвращения человека в уже зрелом периоде своей судьбы к своим природным талантам, насколько возможно совмещение литературной судьбы с другими видами деятельности, как это воссоединяется в мировоззренческих и духовных поисках автора.

Александр Арцыбашев:

— Любая книга, тем более, книга о судьбе человека, достойна внимания и уважения. Но планка, которую поставили наши предшественники, и в частности, в деревенской прозе, очень высокая. И каждый из нас, прежде всего, оглядывается на написанное до него...

Я пришел на этот круглый стол ещё и потому, что Александр Малиновский из глубинки российской, из Самары. А я очень тепло отношусь к русской глубинке и к тем, кто из нее вышел. Я хочу пожелать вам, Александр Станиславович, чтоб вы, как тягловая сила, тянули этот воз, совершенствовались свое творчество, и знали себе цену. Вам уже не страшны ни похвалы, ни упреки...

Николай Сергованцев:

— Я давно знаком с творчеством Малиновского. Эта презентация его книг — третья, в которой я участвую. Этот двухтомник, полный, академический. В нем есть особое очарование, заключающееся в том, что ты познаешь автора во всей совокупности его возможностей. И в этом хорошо изданном, продуманном двухтомнике для моего поколения, как и для поколения более молодого, картина жизни России.

Скажу, что тут сравнения с деревенскими писателями не совсем уместны. Здесь есть последние сорок лет нашей жизни, показаны

и деревня, и город, и все, чем мы жили, что мы утратили и что сохранили. Другое дело, что богатый словарь автора вобрал в себя так же и деревенскую речь. И его крупный капитан индустрии, ученый-химик Ковальский — это все-таки герой в хорошем смысле патриархальный. То есть, автору удалось соединить в единый образ то, что всегда казалось несоединимым! Поэтому, я б хотел, чтоб появился этот двухтомник в свое время, когда литературе помогало государство, когда возможными были огромные тиражи. А тысячным тиражом невозможно изменить погоду, сложившуюся на дворе. Но, с другой стороны, надо радоваться, что хотя бы эти костерки реалистической прозы не гаснут.

Григорий Калужный:

Александр Малиновский — это писатель, пришедший в литературу из жизни, он сам участвовал в её создании, сам достоин стать ключевым героем своего времени. Таких людей среди писателей, я вам скажу, очень мало. Их даже почти и нет.

Вот, самое начало его двухтомника... Там есть потрясающие строки. Далеко не всем поэтам удастся так ясно, так чисто нарисовать пережитое в очень краткой форме. Это небольшие, но очень честные, как я это ощущаю, и очень емкие картины.

Есть у меня и замечание, касающееся начала миграции беспаспортного сельского населения в города... Или — точным ли является у Малиновского метафорическое значение высаженных при Сталине лесополос?

Николай Дорошенко:

Чтобы мы зря не тратили время, я хочу вас немного предостеречь. Дело в том, что по прозе Малиновского можно сверять любые часы, в том числе и исторические. И если у него написано, что крестьянин раньше 1961 года мог получить документы и уехать в город, то, я уверен, что так оно и есть. Что касается лесополос, то лично я воспринял эти лесополосы как образ былой государственной мощи. Ведь эти лесополосы обняли и защитили поля всей нашей необъятной страны. Они — такое же рукотворное чудо, как и Великая китайская стена. Но это не значит, что Малиновский — сталинист, он вообще лишен политических предрассудков...

Ямил Мустафин:

Был такой старик, Лев Николаевич Толстой, который говорил — пять процентов идеи, а девяносто пять процентов — осуществления

ее. Так вот, Сталин оказался человеком, который сумел решить проблему защитных лемполов.

Сегодня Вадим Деменьтев говорил мне: «Я еду к Церетели, он там опять что-то открывает, поехали со мной». Но я приехал на вот эту нашу встречу. Мне кажется она более значительной.

Что касается одного из любимых героев Малиновского — художника Журавлева, то, наверно, только человек глубоко верующий мог создать такие удивительные произведения без рук и без ног, зубами, на подвесках, на ремнях. Образ Журавлева меня поразил. В нем, как в русских святых, яркий дар сочетается со смирением, с полным отсутствием гордыни, столь, все-таки, свойственной творческим людям. И для меня важно, что сам автор вдохновился не сенсацией, а подвигом, той глубиной, которая ему как человеку пронизательному открылась в жизни и судьбе героя.

Повесть «В плену светоносном» я прочитал ещё в рукописи. Запомнилось мне путешествие по реке, встречи с местными, с татарами, с мордвой, с чувашами. Это тоже не такая уж простая повесть. Она — вызов той беспредметности, которая характерна для современной литературы и искусства. И в этом двухтомнике автор остается верным реализму, без которого нет ни правды, ни добра, ни того простого сострадания к человеку, которое всегда отличало великую русскую литературу.

Семен Шуртаков:

Восприятие этого двухтомника может быть разным. Я хочу обратить внимание на то, как автор пишет.

Вот у нас есть высокое слово «искусство». Но есть и производное от него: «безыскусственность». Похвальное слово? Да! А «искусственный»? Отрицательное? Да. Но не странно ли? Вроде бы тот же самый корень. Но «искусственно», значит, неорганично.

К чему я это говорю? Меня особо тронула с самого начала чтения Малиновского предельная естественность его повествования. Ничего не придумывается. Течет словно бы сама река жизни и роднички бьют. Вот он сел за стол — и пошло, и пошло. Здесь свободное течение жизни. В этом, я считаю, уникальное свойство таланта Александра Малиновского. И герой его открытый, естественный, природный человек. Не придуманный.

Добиться естественности трудно. Паустовский всегда нам говорил: «Не надо, чтоб вы что-то придумывали, выжимали что-то из себя, пишите так, как видите. Постарайтесь человека в живом виде показать, и своими словами». У нас сейчас много очень опытных

литераторов, которые умеют что-то крепко завернуть, но не показать так, как в жизни. Ухо через голову почесать. Ошеломить... Малиновский далек от этого. Он как родник, который дает живую воду.

Малиновский много сделал, и сделает еще больше. О нем еще будет сказано как о прекрасном, истинно русском писателе.

Николай Коняев:

— Меня с Малиновским связывает довольно многое. Я помню, мы вместе получали премию «Русская повесть». Я часто бываю в Самаре. Вот недавно был, несколько недель назад. Хотя с Малиновским вижу только в Москве.

Мы любим вспоминать на таких обсуждениях о Шолохове и Белове. Конечно, это замечательные писатели. Но помните, Маяковский сказал, что когда-то рядом с Толстым Лесков был виден только через большой телескоп. Но, например, сегодня не без Толстого жить не могу, а без Лескова. Хотя и Толстой остается Толстым. В литературе все устроено так, что тебе не надо быть размером с Шолохова. Надо быть только настоящим. Как Малиновский.

Для меня Малиновский начинается с повести о Журавлеве. Очень много духовной энергии нужно проявить, чтобы этот художник стал явен всем. И вот: двухтомник о трагедии целого поколения. Колоссальное разочарование в конце многопланового и очень объемного произведения. Герой терпит полное фиаско. И тут надо вроде бы опустить руки. Но Малиновского (точно так же и Ковальского) художник Журавлев подхватил, как ангел, передал им свою духовную энергию.

Вот тут-то и обнаруживается духовное единство между Журавлевым, которого многие воспринимают как святого, и Ковальским, который вовсе не святой, между героями Малиновского и самим Малиновским.

У автора нет случайных тем, случайных сюжетов. Помните, в книге есть эпизод, где отец Ковальского ремонтирует печь, стоя на косяках. И он говорит замечательные слова: «Мне работать надо, значит держава, крепость нужна особая». Не понимая того, что нужно человеку, чтобы переступить через себя, Малиновский никогда не смог бы сказать о Журавлеве того, что он сказал. Вот эта органичность — самое главное качество прозы Малиновского. И он как писатель, независимо от его величины, будет существовать самостоятельно.

Николай Переяслов:

Неслучайно мы то и дело возвращаемся к повести о Журавлеве, хотя ее в двухтомнике и нет. Потому что она эпиграфична для всего творчества Малиновского. И буквально недавно она с новыми дополнениями о жизни Журавлева была опубликована в журнале «Всерусский собор».

А теперь давайте послушаем Николая Дорошенко уже как издателя.

Николай Дорошенко:

— Все согласятся, что если историю пугачевского бунта понять по «Капитанской дочке», то полувековую историю России с её основными смыслами можно понять по книгам Малиновского. Разумеется, имею я в виду степень исследовательской добросовестности и художнической ответственности.

Но при том, что интерес к истории у современного читателя остается самым живым, почему двухтомник не стал проектом какого-нибудь коммерческого издательства?

Увы, даже «Преступление и наказание» сегодня таковым не стало бы, хотя этот великий роман можно издать, например, в популярной детективной серии. Потому что коммерческие издательства сегодня делают ставку на несоответствии реальной жизни и её отражения в литературе. Миллионы людей унижены нищетой, стало привычным сексуальное и всякое прочее рабство. Коммерческая литература делает ставку только на то, что человеку, будь он бизнесменом, знающим, что законы его не защитят ни от произвола чиновников, ни от черных риэлторов, или сельским жителем, лишенным школ и больниц, ему надо от своих мрачных мыслей отвлечься.

Характер прозы Малиновского не соответствует и стремительно меняющемуся взгляду на человека, который при новом мировом порядке утрачивает право не только на защиту со стороны государства, но даже и на обыкновенное человеческое сострадание. И в этом несоответствии нашего идеала и новых реалий жизни трагедия не только писателя Малиновского, а и всей нашей христианской цивилизации.

А если все же исходить из того, что Бог есть, что и человек у человечества — это высшая ценность, то следует нам упрямо полагать, что не Малиновский не соответствует времени, а само нынешнее время опустилось ниже Малиновского.

Нас поставили перед выбором: переступить через нравственный закон и добиться успеха, или нести свой крест, оберегать в себе человеческое достоинство. Вот мы и выбираем...

Александр Малиновский:

В детстве, как и большинству наших сельских ребят, мечталось о чем-то героическом, хотелось стать то летчиком, то моряком. Но зрение подвело, и мне пришлось выбирать Политех, где было претендентов восемь человек на место. Я поступал именно туда. Трудность поступления — это тоже испытание. Так я оказался в химии. Потом мы строили заводы, затем на них работали. Не надо забывать, что Россия жила, как одна семья, вершившая одно дело, живущая одной целью. Лет двадцать я занимался наукой, защищал диссертации без отрыва от производства. Отсюда у меня и любовь к технической интеллигенции... Я думаю, что когда-нибудь особо напишу об этих людях.

И вот мои ровесники, настроенные на плодотворную, успешную работу, оказались ненужными. Пришлось им и жить, и работать уже на авось. При их-то привычке к высочайшей ответственности. В этом трагедия нашего поколения. Все это во мне переныло и переболело. Мог бы много написать. Но я написал только два тома.

Думаешь, что в новой книге скажется то, что хотел выразить, в максимальном приближении к истине. Оказывается, так не получается. Дай Бог, хоть чуточку ещё к себе самому приблизиться...

Такое обсуждение, такая заинтересованная проникновенность в написанное мной, которую я сегодня встретил, дает мне веру в себя, в то, что я смогу сказать своё самое главное. И меня услышат.

Спасибо!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

I. Основные издания произведений

А. Малиновского

1. «Светлый берег»: Стихи. Самара, Издательская группа INDEX, 1992 г., 22 с.
2. «Степной чай»: Проза. Самара, 1992 г., 64 с.
3. «Разговор с сыном»: рассказы. Самара, INDEX, 1992 г., 92 с.
4. «Я любить не устану»: Стихи. Самарское книжное издательство, 1994 г., 126 с.
5. «Горница»: Сборник прозы и поэзии. CopArt editions. Paris. 1994 г., 220 с.
6. «Черный ящик»: Книга прозы. Самарское отделение литературного фонда России, 1996 г., 224 с.
7. «Радостная встреча». Документальная повесть. Самарское отделение литературного фонда России, 1997 г., 48 с.
8. «Под открытым небом»: Повесть и рассказы. Самарское отделение литературного фонда России, 1997 г., 224 с.
9. «Звездное коромысло»: Стихи. Самарское отделение литературного фонда России, 1998 г., 160 с.
10. «Повести»: Проза. Самарское отделение литературного фонда России, 2000 г., 480 с.
11. «Не так живем»: Стихи. М.: Библиотека современной русской поэзии журнала «Поэзия», 2000 г., 64 с.
12. «Окошко с геранью»: Сборник песен на стихи А.Малиновского. Самара, «Парус», 2000 г., 90 с.
13. «Радостная встреча»: Повести. М. : «Палея-Мишин», 2001 г., 372 с.
14. Избранное в двух томах. М.: Издательский дом «Российский писатель», 2003 г., 976 с.
15. «Отклонение» (повесть), журнал «Молодая гвардия» (Москва), №№ 1,2,3, 2001 г.
16. «Под открытым небом» (повесть), журнал «Молодая гвардия» (Москва), № 5/6, 2001 г.
17. Отрывки из повести «Колки мои и перелесья», журнал «Москва», № 4 , 2001 г.
18. «Радостная встреча» (повесть), «Роман-журнал XXI век» (Москва), № 3, 2002 г.
19. «Зеленый чемодан» (повесть), журнал «Русское эхо» (Самара), № , 200?.

20. «В плену светоносном» (повесть), журнал «Наш современник» (Москва), № 2, 2005.
21. «Окошко с геранью». Стихи. Самарское отделение Литературного фонда России. 2006 г., 175 с.
22. «Радостная встреча» (повесть), журнала «Всерусский собор», Санкт-Петербург, № 2-3. 2007 г.
23. «Сергей Сергеич и Сима» (повесть), журнал «Наш современник» (Москва), № 4. 2007 г.
24. «Новое имя». Книга прозы. Самарское отделение Литературного фонда России, 2006 г. 64 с.
25. «Радостная встреча» (повесть), журнала «Русское эхо» (Самара, № 1, 2007 г.
26. «Под открытым небом». Прозаический цикл в 2-х томах. М.: Издательский дом «Российский писатель», 2007 г., 1 т — 600 с.; 2 т. — 580 с.
27. «А избы горят и горят» (очерк), журнал «Русское эхо» (Самара), № 1, 2008 г.
28. «Далёкое-близкое» (очерк), журнал «Роман XXI век» (Москва), № 1, 2008 г.
29. «Планета Любви» (повесть), журнал «Русское эхо» (Самара), № 3, 2008 г.

II. Литературно-критические публикации о произведениях А. Малиновского

1. В. Шарлот. «Путь далек лежит» (рецензия на книги, выпущенные в 1992 г.). «Волжская коммуна».
2. Г. Костин. «Истоки» (о сборнике «Горница»). «Самарские известия», 17.02.1995.
3. Карасев. «Сшибить меня трудно» (интервью с А.Малиновским). «Моя газета», 30.05.1995.
4. Т. Харитоновна. «Директор и его музы». Т.Харитоновна. «Яблоко». № 23, 1995.
5. А. Вятский. «В этой горнице чистой» (рецензия на книги А. Малиновского, вышедшие в 1992-1994 гг.). «Волжская коммуна», 13.02.96.
6. А. Молько. «Здесь многое ещё надо понять...» (рецензия на книгу «Черный ящик»). «Волжская коммуна», 27.09.1996.
7. А. Вятский. «Как ладья без весла...» (рецензия на сборник «Горница»). Седьмой канал, 23.11.1996.

8. Е. Ярыгина. «Что в «черном ящике» генерального директора?». «Число». 06.06.1997.
9. «Время собирать камни». «Волжская коммуна», 16.07.1997.
10. Д. Кан. «Радостная встреча» (рецензия на книгу). «Благовест», № 14, 1997.
11. «Писал, зажав кисть зубами» (рецензия на книгу «Радостная встреча»). Вестник Союза писателей России, апрель, 1998.
12. А. Сохрина. «Тайна Малиновского» (рецензия на книги). Газета «Волжская заря». 20.10.2001.
13. А. Сохрина. «Коль мог бы я сто раз на свет родиться» (интервью с А.Малиновским). «Волжская заря», 11.04.2002.
14. М. Толкач. «На стремнину могучей реки» (рецензия). Газета «Волжская коммуна», 25.12.2002.
15. В. Иванов. «Счастливый человек» (заметки о творчестве). Газета «Самарские известия», 15.03.2002.
16. А.Молько. «Нету мне в жизни покоя»: Судьба и творчество А. Малиновского. Изд. «Агни». 2001 г., 176 с.
17. Ю. Баранов. «Чего жаждет душа» (рецензия на сборник стихов «Не так живем»). «Роман-журнал XXI век» (Москва), № 6 (18), 2000.
18. А. Молько, П.Игошин. «Возможность невозможного», газета «Российский писатель» (Москва), №8 (35), апрель, 2002.
19. К. Кокшенева. «Хлебная корка» (рецензия на «Избранное в двух томах»), газета «Российский писатель», № 5 (56), март, 2003.
20. Александр Дорин. «Время тихого героизма», газета «Российский писатель», № 21 (72), ноябрь, 2003.
21. Александр Малиновский — творческий портрет писателя. Сборник статей и рецензий. Издательский дом «Российский писатель», Москва, 2004 г., 155 с.
22. Э. Анашкин. «Светоносный плен самарской глубинки», журнал «Русское эхо» (Самара), № 1, 2006.
23. А. Игнатов. «И вновь — радостная встреча», газета «Российский писатель», № 17-18 (165-166), сентябрь, 2007.
24. И. Гордеева. «Повесть о Григории Журавлёве». газета «Благовест», № 3 (345), февраль, 2008.
25. В. Иванов. «Оставаться самим собой», газета «Самарская губерния», № 71 (5299), апрель 2008 г.
26. Д. Кан. «В оппозиции к пошлости» (интервью А. Малиновского), газета «Вечерняя Самара», 6 сентября 2008 г.

Содержание

СТЕПНОЙ ЧАЙ.....	3
ФИЛОСОФ.....	45
СЕРГЕИЧ И СИМА	89
ОКОШКО С ГЕРАНЬЮ	139
ВЕРНОСТЬ.....	140
А Я ТАКОЕ БЫ СКАЗАЛ.....	199
КОЛКИ МОИ И ПЕРЕЛЕСЬЯ	231
Об авторе.....	431
Библиографический указатель	513

**Малиновский
Александр Станиславович**

**Собрание сочинений в 4-х томах
том 4**

Издание Собрания сочинений А.С. Малиновского в 4-х томах
осуществлено при поддержке издательства
Самарской областной писательской организации

Подписано в печать 23.12.2008 г. Формат 60х84 $\frac{1}{16}$.
Бумага офсет № 1. Гарнитура Exselsior.
Печать офсетная. Печ. л. 30,10.
Тираж 1000 экз. Цена договорная.

АНО «Редакционно-издательский дом «Российский писатель»
119146 Москва, Комсомольский пр-т, 13, тел. 246-58-43.
E-mail: ano-rospisatel@mtu-net.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов